

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й  
М И Р

3



1985

3

Н О В Ы Й  
М И Р

1985



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 3

Март, 1985 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПРИКАМЬЕ — ПРОДОЛЖЕНИЕ ВСТРЕЧ	
Е. Н. БАТЕНЧУК — Новостройка у Елабуги	3
—————	
ТАТЬЯНА КУЗОВЛЕВА — Новые стихи	10
МАРГАРИТА АЛИГЕР — Соловьиная песня, рассказ	13
КИРИЛЛ СТОЛЯРОВ — Федор Терентьевич, рассказ	40
МИХАИЛ БАСМАНОВ — Из китайской тетради, стихи	57
МАРИНА НЕКРАСОВА — Стихи	59
ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА — Между небом и землей, рассказ	60
ЛЮБОВЬ НИКОНОВА — Стихи	69
БОРИС ХАРЧУК — Соломония, повесть. Авторизованный перевод с украинского Э. Мороз	70
ВАЛЕНТИН СОРОКИН — Светлый миг, стихи	93
БОРИС РУНИН — Писательская рота	95
ГАЛИНА ШЕРГОВА — Стихи	124
ГАРИЙ НЕМЧЕНКО — На фоне неба...	126
УИЛЬЯМ СТАЙРОН — И поджег этот дом, роман. Продолжение. Перевел с английского В. Гольшев	150
ПУБЛИЦИСТИКА	
СИМОН СОЛОВЕЙЧИК — «Агу» и «бука». Педагогические размышления	179
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
АЛЕКСАНДР ПЕРЕГУДИН — Разведчики идут первыми	200
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ИГОРЬ ДЕДКОВ — Наше живое время	217

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

	Стр.
<i>Литература и искусство</i>	
О. Новикова, Вл. Новиков. В мире простых истин. Светлана Соложенкина. «...поэзия — это биография...». Алла Марченко. Песны и портреты.	242
<i>Политика и наука</i>	
В. Острогорский. Амнистии не подлежат. Ф. Новиков. Пионеры советской архитектуры.	254

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

АЛЕКСАНДР КАМИОНСКИЙ — Два истребителя Феропонта Головатого	259
---	-----

### КОРОТКО О КНИГАХ:

И. Завьялова.— А. Егоров. Мы — танкисты. Ю. Шищенко. Был отец рядовым. ♦	
А. л. Михайлов.— Григор Маргарян. Поэмы. ♦	
Владимир Осивин.— Антонина Баева. Тобол — степная река. Стихи. Антонина Баева. Голосники России. Стихотворения и поэмы. ♦	
Игорь Михайлов.— Виктор Мануйлов. Стихи разных лет. 1921—1983 ♦	
М. Злобина.— Современная китайская проза. ♦	
Владимир Лесовой.— Бэгзийн Явуухулан. Полдень. Стихи. Бэгзийн Явуухулан. Стихи. Б. Явуухулан. Где я родился. Стихи. ♦	
А. Курбатов.— Яков Гордия Три войны Бенито Хуареса. Повесть о выдающемся мексиканском революционере. ♦	
Н. Макарова.— Первопроходцы. Сборник ♦	
С. Ставкевич.— В. О. Печатнов, Гамильтон и Джефферсон ♦	
Наталья Василькова.— Александр Липков. Все краски экрана. ♦	
Владимир Яковлев.— Фундаментальная структура материи.	264

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272
-----------------	-----

---

---

## *Трикалье — продолжение встреч*

Е. Н. БАТЕНЧУК,  
начальник производственного объединения Камгэсэнергострой,  
Герой Социалистического Труда



### НОВОСТРОЙКА У ЕЛАБУГИ

**К**ажется, недавно это было: первый ковш грунта, поднятый в степи под Набережными Челнами; первая свая, забитая под фундамент первого камазовского завода; первый жилой дом, построенный в Новом городе — там, где, кроме этого дома, пока еще ничего нет... Быстро летит время! Уже сооружен и работает КамАЗ, во много раз вырос, благоустроился город, и хотя объединение продолжает возводить в Брежневе и промышленные объекты и жилье, многое на стройке, которой было отдано пятнадцать лет, уже уходит в прошлое.

Теперь мы все чаще смотрим на противоположный берег Камы — туда, где за сосновым бором в двадцати километрах от Брежнева стоит древний город Елабуга. Здесь по решению партии и правительства будет воздвигнут еще один промышленный гигант страны — Камский комплекс заводов по производству универсально-пропашных тракторов «КамТЗ», и сооружение этого комплекса поручено коллективу Камгэсэнергостроя.

Решению вопроса, где строить новый тракторный завод, предшествовала большая работа планирующих органов. Рассматривались различные варианты. По одному из них Камгэсэнергострой должен был сооружать комплекс в Нефтекамске. Однако более тщательные расчеты показали, что гораздо выгоднее строить КамТЗ не в двухстах сорока, а в двадцати километрах от Брежнева. Создание стройбазы и базы стройиндустрии в Нефтекамске по сравнению с елабужским вариантом обошлось бы на сто миллионов рублей дороже, потребовался бы и вдвое больший срок. Немало времени ушло бы и на организацию стройки — подбор кадров, создание управлений и т. д., — что тоже значительно оттянуло бы начало строительства основных сооружений тракторного завода.

Почему елабужский вариант оказался во всех отношениях выгоднее? Во-первых, потому, что он позволит генеральному подрядчику в начале новой стройки использовать то, что у нас на сегодняшний день уже есть в Брежневе, — и строительную базу, и базы стройиндустрии, и кадры, собранные в специализированные подразделения, те самые кадры, которые за последние годы обогатились замечательным опытом строительства КамАЗа. Во-вторых, строительство в Елабуге позволит легче обеспечить жильем тех, кто придет сооружать тракторный завод: на первых порах — до постройки новых микрорайонов в Елабуге — мы сможем селить строителей в общежитиях и в специально построенных дополнительно домах в Брежневе. Наконец, в пользу елабужского варианта был и еще один немаловажный аргумент. Для строительства КамАЗа в Брежневе в свое время



была создана база специализированных организаций Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР. Мощности этих организаций позволяют выполнять работу в объеме 124 миллионов рублей в год, но сейчас в связи с завершением строительства второй очереди КамАЗа эти объемы сократились до 24 миллионов рублей. Освободившиеся мощности позволят Минмонтажспецстрою СССР приступить к работе по сооружению тракторного завода сразу же, без дополнительных затрат на усиление базы.

Что же это за новостройка — КамТЗ? Что она, будучи завершенной, даст стране?

Площадка комплекса запроектирована в нескольких километрах севернее города. Тот, кто бывал в этих местах, знает, что окрестности Елабуги очень живописны, здесь растут великолепные леса, в одном из сосновых боров у Камы писал этюды к своей «Корабельной роще» Иван Иванович Шишкин (первоначально картина его так и называлась — «Афонасовская корабельная роща близ Елабуги»). Конечно, естествен вопрос: а не нарушит ли эту живописность гигантское строительство? Не собираемся ли мы потеснить заводскими сооружениями знаменитые корабельные рощи? Нет, лес останется нетронутым. Новостройка развернется там, где сейчас степь.

Через год-два это место трудно будет узнать. На 60 гектарах начнется сооружение ТЭЦ. 95 гектаров займет производственная база строительства. Об этих «неглавных» объектах я не случайно расска- зываю в первую очередь. Сооружение любого крупного комплекса нельзя начинать, предварительно не построив соответствующие мощности стройиндустрии и источник тепла. С чего начинался КамАЗ? Не с автосборочного и даже не с ремонтно-инструментального заво- дов, а с ТЭЦ и заводов, которые давали нам бетон, сваи, панели. Елабужскую новостройку, как я уже отметил выше, станет снабжать всем необходимым база стройиндустрии, созданная во время строи- тельства КамАЗа в Брежневе, но мощность ее за счет реконструкции работающих предприятий значительно увеличится. А кроме этого будут построены и новые заводы по производству строительных ма- териалов — уже непосредственно в промзоне Елабуги.

Чтобы лучше представить себе, что нам предстоит сделать толь- ко на объектах стройиндустрии, приведу несколько конкретных при- меров. Будут значительно расширены заводы металлоконструкций, керамзитового гравия, ячеистых бетонов, крупнопанельного домо- строения, увеличатся мощности заводов силикатного и керамического кирпича, реконструируются домостроительные предприятия, появятся новые заводы — растворобетонный, асфальтобетонный, новое авто- транспортное предприятие... В связи со строительством тракторного завода на Камском ДОКе объем переработки леса увеличится на 50— 60 тысяч кубометров, для этого необходимо будет построить на Каме лесобиржу с бассейном и расширить мощности комбината по лесопи- лению. Наконец скажу еще об одном: чтобы теснее связать базу стройиндустрии в Брежневе с елабужской промзоной, понадобится или строительство второй полосы автомагистрали, или между обоими городами надо прокладывать троллейбусную линию. Одним словом, нам предстоит большая работа по расширению производственной ба- зы строительства.

Но главными объектами промзоны будут, конечно, сооружаемые здесь заводы — тракторный, дизельных двигателей, топливной аппа- ратуры, ремонтно-инструментальный. Будет построен также блок за- готовительных цехов. Все промышленные объекты расположатся ря- дом и займут 258 гектаров. Елабуга, построив комплекс и запустив его на полную мощность, станет ежегодно отправлять на поля стра- ны 30 тысяч новых универсально-пропашных тракторов.

В нашем сельском хозяйстве наиболее трудоемким видом работ сейчас является выращивание пропашных культур. Дело это требует

огромных затрат ручного труда прежде всего потому, что для его эффективной, полной механизации в стране нет пока трактора соответствующей мощности. Надо создать такой трактор и на его базе полностью механизировать возделывание пропашных. Так сформулирована задача в Продовольственной программе. О строительстве комплекса заводов по производству нового трактора в сентябре прошлого года было принято специальное решение Политбюро ЦК КПСС.

Трактор «КамТЗ», который станет выпускать Елабуга, будет универсальным, пропашным, на пневматическом ходу, мощность его 150 лошадиных сил. Он сможет нести любое сельскохозяйственное орудие, предназначенное для обработки пропашных культур. Машины на 30 процентов сократят число работающих в сельскохозяйственном производстве, облегчат тяжелый труд многих людей, подымут урожайность на полях, будут способствовать развитию животноводства. Продукция нового комплекса заводов, на строительство которого государство отпускает около трех миллиардов рублей, явится огромным вкладом Прикамья в выполнение Продовольственной программы.

Но в Елабуге будет построен не только комплекс заводов. Из названной мною суммы, выделенной на новостройку, около миллиарда рублей пойдет на развитие города.

К живущим в Елабуге горожанам уже добавились первые отряды наших строителей. Конечно, это лишь начало предстоящего огромного роста населения города. Число тех, кто придет сооружать КамТЗ, в ближайшие годы все время будет увеличиваться, только по комсомольским путевкам в нынешнем году к нам придут свыше 4 тысяч молодых энтузиастов. Все время будет расти и количество заводских рабочих и инженеров, а когда КамТЗ заработает на полную мощность, их станет 36 тысяч.

Естественно, планируя на Каме строительство еще одного промышленного гиганта, уже сейчас надо думать и о будущем Елабуги, в первую очередь о том, как здесь в новых условиях решать социальные проблемы.

Из этих проблем всегда самая острая — проблема жилья. И на строительстве КамАЗа мы, к сожалению, не избежали ее — жили у нас первые строители и на частных квартирах и в вагончиках. Правда, все это продолжалось недолго, мы быстрыми темпами строили Новый город. Где будут жить те, что приедут в Елабугу строить КамТЗ? Как будут обеспечены жильем заводчане?

Мы не хотим создавать в Елабуге временные поселки, не хотим разделять строительство комплекса заводов и города. Скажу больше: фундамент первого жилого дома, запроектированного в связи со строительством КамТЗ, нами уже заложен — заложен раньше, чем был вынут первый ковш грунта на площадке промышленного строительства.

Елабугу ожидает крупное обновление. Город вырастет в несколько раз. Благоустроенные многоэтажные районы появятся и вблизи промышленной зоны, и на нынешних городских окраинах. Вместе с жильем Елабуга получит новые школы, детские учреждения, поликлиники, спортивные сооружения, клубы, кинотеатры, дворцы культуры, магазины — все то, без чего уже немислима жизнь в современном городе.

Ну а что будет со старыми городскими кварталами? Елабуга — город древний, во многом необычный, облик его складывался под влиянием значительных исторических событий, он хранит память о великих предках. Здесь по пути в Сибирь проходил с дружиной Ермак; Елабуга видела Степана Разина, дважды встречала Емельяна Пугачева, проводившего свои крестьянские полки; в городе, возвращаясь из сибирской ссылки, побывал А. Н. Радищев. Здесь много лет прожила, занимаясь литературным трудом, кавалерист-девица,

ординарец фельдмаршала Кутузова Надежда Дурова. В Елабуге родился, вырос, часто приезжал сюда работать художник И. И. Шишкин. Здесь провела последние дни своей сложной и противоречивой жизни поэт Марина Цветаева... Неповторимы кварталы старинного города, уникальны памятники старины, расположенные на его территории. Например, здесь еще в прошлом веке по инициативе И. В. Шишкина — отца знаменитого художника — был построен водопровод из деревянных труб, сооружение это горожане свято хранят и по сей день. Как все это уживется с новыми микрорайонами, что уже вычерчиваются на планах архитекторов?

Старый город решено оставить неприкосновенным. Новые кварталы вырастут на нынешних пустырях, они не уничтожат прежний облик города, лишь добавят к нему черты современной эпохи. Но добавят основательно. На 396 гектаров планируется расширить Елабугу. Ныне небольшой районный центр, она через десять — двенадцать лет увеличит свое население на 200—250 тысяч жителей и станет крупным промышленным городом Прикамья.

Всякий раз, начиная новую большую стройку, испытываешь торжественное, приподнятое состояние духа. Откуда это? Иногда мы шутим: строителю нужна грязь по колено, тогда он в своей стихии. А в начале любого строительства там, где закладываются фундаменты, грязи, как известно, бывает немало. Но это шутка, а дело, видимо, заключается в специфике нашей профессии. Крупное строительство длится, как правило, много лет, оно забирает заметную часть жизни, оно всегда этап в биографии каждого из нас. Ну а можно ли не волноваться, не ощущать торжественности момента, когда начинается очередной этап?..

На другой день после того как телевидение, радио и газеты сообщили решение Политбюро ЦК КПСС о строительстве нового тракторного завода, к нам стали приходить заявления с просьбой о приеме на работу. Писали их и молодые люди, только вступающие в трудовую жизнь, и зрелые, опытные строители. Из заявлений бывалых людей меня особенно взволновало одно, оно было прислано человеком, которого я знаю уже четверть века, — Павлом Черномазом. Павел — бульдозерист, познакомились мы с ним на строительстве Вилюйской ГЭС. За работу по сооружению этой уникальной электростанции — она построена на вечной мерзлоте — Черномаз получил орден Ленина. Потом мы с ним приехали в Брежнев, за КамАЗ Павел был награжден вторым орденом Ленина. Уехал на новостройку в Нерюнгри. И вот наши пути с ним снова сходятся — знатный строитель, узнав о больших делах, которые предстоят Камгэсэнергострою, решил вернуться на Каму...

К концу прошлого года в объединение уже были зачислены две тысячи новичков, в течение этого года примем еще 12 тысяч. В первую очередь пополняем свой коллектив электросварщиками, газоэлектросварщиками, монтажниками стальных и железобетонных конструкций, каменщиками, электриками. Рабочих, не имеющих строительных специальностей, принимаем плотниками-бетонщиками, в дальнейшем им будет предоставлена возможность учиться. Все принятые на работу обеспечены общежитием в Брежневе.

На строительных площадках в Елабуге в нынешнем году нам, Камдорстрою и газонефтепроводчикам предстоит произвести работ на 35 миллионов рублей. Сдадим в эксплуатацию 35 тысяч квадратных метров жилья, начнем сооружать первенец комплекса КамТЗ — ремонтно-инструментальный завод.

Новая стройка потребует организации в объединении новых строительных подразделений, прежде всего двух управлений строительства (в некоторых министерствах такие подразделения называ-

ют трестами). Одно из них будет возводить в городе промышленные объекты, другое — жилье и здания соцкультбыта. Организация таких управлений — дело непростое, решение об их создании принимается в центральных органах, и, конечно, это требует времени. Но мы не хотим терять ни одного дня.

Держу в руках документ — приказ по производственному объединению Камгэсэнергострой от 24 октября 1984 года. Его номер 656, но, по существу, это первый приказ, касающийся работ на строительстве Камского тракторного завода. С чего мы начинали в Елабуге? В приказе говорилось: «Начальнику управления строительства Автозаводстрой В. Н. Ельцову в октябре произвести передислокацию СМУ-2 в Елабугу и развернуть работы по генподряду по следующим объектам: котельная, очистные сооружения, производственная база города, дорога от автомагистрали Казань — Брежнев до площадки тракторного завода. Начальнику УСГ Ю. П. Шаруеву перебазировать специальный участок из Брежнева в Елабугу и приступить к производству строительно-монтажных работ по следующим объектам: жилой дом на 90 квартир, жилой дом для малосемейных на 90 квартир, жилой дом на 30 квартир, гостиница, ПТУ, пятиэтажный кирпичный дом для малосемейных...» В Елабуге пока нет своих управлений строительством, вопрос об их создании еще обсуждается в Москве, а мы уже начинаем стройку. Мы делаем то, что в наших силах, на что сами имеем право: поручаем Автозаводстрою — управлению, которое уже воздвигло две очереди КамАЗа и сооружает для него новые производства, — отдать одно СМУ на правый берег Камы; управлению, продолжающему расширять и благоустраивать Брежнев, добавляем в план строительство жилых домов в Елабуге. Тем же приказом новая работа, связанная с началом строительства КамТЗ, поручалась плановикам, снабженцам, энергетикам и другим специалистам объединения.

...Совершим, читатель, мысленно небольшое путешествие на автомашине из Брежнева в Елабугу, посмотрим, что делается там только на одной строительной площадке. Первые четыре километра проедем по плотине Нижнекамской ГЭС. Эта плотина стоила нам немалых усилий — Кама в нижнем течении многоводна и своенравна. Рабочие Камгэсэнергостроя покорили ее — проезжая этот отрезок пути, справа мы увидим огромное рукотворное море, которому предстоит подняться еще на шесть метров. В нынешнем году, выполняя указания XXVI съезда партии, объединение сдаст в эксплуатацию последний, шестнадцатый гидроагрегат, в следующем году завершим полную отделку машинного зала станции. Могучая и красивая ГЭС стоит на Нижней Каме... Минуем сосновый бор на правом берегу реки и через несколько минут увидим восточную окраину Елабуги. Не доезжая до нее, свернем с автомагистрали вправо. Еще недавно свернуть можно было только в кювет, а сейчас перед нами будет новая бетонка. Ровной лентой она протянулась на несколько километров в северном направлении и соединила автомагистраль с промзоной КамТЗ.

С каким добрым настроением начинались тут работы! Так, на строительной площадке КамАЗа с первых дней строительства стояла ажурная арка с надписью: «Здесь будет автомобильный гигант». Рабочие, приехавшие трудиться в Елабугу, демонтировали арку и собрали ее заново у начала дороги в новую промзону. Только надпись теперь тут другая: «Здесь будет тракторный гигант». На радиаторах двух автогрейдеров, строящих дорогу в елабужскую промзону, были укреплены красиво написанные лозунги: «КамАЗ есть, даешь КамТЗ!» Рабочим дорого все, что пятнадцать лет связывало их с камским автомобильным гигантом, лучшие традиции, накопленные на КамАЗе, они бережно хранят и готовятся продолжить на новой строительной площадке.



Поедем по новой дороге. Справа и слева — заснеженное поле, но вдоль бетонки уже стоит линия электропередачи, она подключена к недавно построенной подстанции. В конце дороги увидим указатель — стрелку, повернутую вправо, на стрелке надпись: «Строительство тракторного завода». За указателем — промзона, там урчат моторы работающей техники. Первые шаги новостройки... Может быть, движение на ней пока не так уж и заметно (то ли здесь будет через год-два), но уже сделаны шаги, и каждый следующий шаг теперь будет приближать нас к конечному результату.

Открывается новая страница в биографии Камгэсэнергостроя. Мы уверены, что и второй гигант на Каме и новая Елабуга будут построены добротнo и в срок. Уверены в этом прежде всего потому, что коллектив нашего объединения уже прошел пятнадцатилетнюю школу строительства КамАЗа, на этой великой стройке обогатился большим, во многом уникальным опытом.

Возводить автогигант на Каме приехали тысячи людей. Нужно было проделать огромную воспитательную работу среди них, чтобы сформировался коллектив, сознательно идущий к поставленной перед ним цели. Коллектив Камгэсэнергостроя создавался усилиями в первую очередь партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, которые за годы строительства КамАЗа научились самому трудному делу — работе с людьми. Формировать коллектив нам постоянно помогали Татарский обком КПСС и Брежневский горком партии. Хочу особо подчеркнуть огромную помощь во всех делах на стройке, которую нам систематически оказывал Центральный Комитет КПСС, его отдел машиностроения. Опыт работы по воспитанию людей, накопленный в Брежневе, конечно же, нами широко используется и на новой строительной площадке.

Уместно рассказать тут об одной традиции, сложившейся в годы строительства в Брежневе. В работе по формированию коллектива, в воспитании людей нам помогала и тесная плодотворная дружба с журналом «Новый мир». Писатели часто приезжали на КамАЗ, систематически печатали в журнале очерки — создавали летопись великой стройки. Теперь между нами заключен новый договор о шефских связях, и мы надеемся, что на страницах «Нового мира» в ближайшие годы не один раз прочитаем о делах на елабужской новостройке.

Сооружая автозавод в Брежневе, мы внимательно следили за всем новым, что появлялось в практике строительства. В объединении большой интерес вызвал, например, бригадный подряд. Сейчас у нас полторы тысячи рабочих бригад. 350 из них — менее четвертой части — трудятся на подряде. Но они выполняют около половины всех строительного-монтажных работ, и это лучшее доказательство преимуществ такой формы организации труда. К сожалению, из-за несбалансированности материальных ресурсов с объемами работ мы пока не можем все бригады сделать подрядными, но постоянно стремимся к этому, используя малейшие благоприятные условия.

Еще одна сторона опыта Камгэсэнергостроя. КамАЗ строился по отдельным сметам и чертежам на отдельные объекты — то есть работы по сооружению завода начались, когда у нас целиком составленной технической документации еще не было, а проектировщики продолжали работать. Что это давало стройке? Во-первых, экономилось время — мы работали параллельно с проектировщиками, пользовались той частью документации, что была уже готова, не ожидая, когда чертежи будут готовы целиком. Во-вторых, при этом была уверенность, что проект, пока длится стройка, не устареет, он учтет самые последние технологические новинки, которые так часто появляются в наш динамичный век. В Елабуге нам разрешено использовать этот опыт, и мы повторим его.

Строя КамАЗ, объединение в пригородной зоне сооружало и сельскохозяйственные объекты. В результате неподалеку от Брежнева появились крупные животноводческие и овощеводческие предприятия, снабжающие четырехсоттридцатитысячное население города продуктами. И этот опыт мы используем на правом берегу Камы — в Камгэсэнергострое уже организуются три специальных ПМК, которые будут возводить животноводческие помещения, парники, теплицы в Елабужском и соседних с ним районах.

На строительстве КамАЗа и города Брежнева в нашем коллективе родилось много своих организационных и технологических новшеств. Они позволили сократить сроки строительства, удешевить его, в то же время улучшить качество сооружений. Назову некоторые из них. Широко использовался, например, крупноблочный монтаж кровельных металлоконструкций, который производился конвейерным способом; при строительстве фундаментов применялись буробетонные сваи — это на два года сократило сроки пуска завода в эксплуатацию; так называемая профильная выемка земли — тоже при сооружении фундаментов — позволила уменьшить объем земляных работ на 15 миллионов кубометров; многие тысячи тонн арматурного металла мы сэкономили на строительстве жилья, когда стали использоваться вытрамбованные сваи. Внутри производственных корпусов работы велись поточным методом, выполнялись они механизированными комплексами, состоявшими из специальных бригад... О том, как использовалось все это на строительстве КамАЗа и города Брежнева, можно было бы написать целую книгу для специалистов, но сейчас я не хочу утомлять читателей журнала технологическими подробностями. Думаю, мне поверят на слово: опыт, родившийся за последние пятнадцать лет в нашем объединении, огромен, сейчас он тщательно изучается и широко войдет в практику индустриального строительства. В первую очередь мы применим его на новостройке в Елабуге.

Сооружать второй гигант на Каме в Елабугу пришел крепко спаянный, сильный коллектив. В объединении много замечательных рабочих. Например, бригадир скреперистов Умат Наурбиев. И летом и зимой с одинаковым успехом трудится возглавляемый им коллектив механизаторов — и производительность труда у них высокая, и качество работы всегда отличное. Бригады В. Г. Семикашева, К. М. Альчикова, А. В. Зотова, Г. О. Геворгяна, Н. А. Соловьева, Н. А. Осипова... Я назвал только малую часть тех, кем мы по праву гордимся. Многие наши товарищи за хорошую работу на КамАЗе получили награды родины, на знамени объединения за строительство в Брежневе появился орден Ленина. Пусть знает об этом тот, кто сейчас собирается приехать на Каму, чтобы работать вместе с нами. Он приедет не на пустое место, а в коллектив, у которого огромная и славная биография!

Трудолюбивыми руками наших рабочих воздвигнут гигант отечественного автомобилестроения КамАЗ. Эти же руки поднимут и корпуса еще одного гиганта на Каме — Камского тракторного завода.



---

---

ТАТЬЯНА КУЗОВЛЕВА



НОВЫЕ СТИХИ

Ветераны Отечественной

Тот путь пролег, которым вы  
Прошли, меж снега и глину,  
От Бреста до лесов Москвы,  
От Подмоскovie до Берлина.

На том на праведном пути  
До цели доходил не каждый.  
А вы, кому домой прийти  
Все ж довелось с той сечи страшной,

А вы с собою принесли  
Ранений больше, чем медалей,  
А вы, смывая кровь с земли,  
Страну и семьи созидали.

И через сорок с лишним лет,  
Свою не позабыв дорогу,  
Война идет за вами вслед,  
А вас осталось так немного —

Вас, кто пока еще живой,  
Кто шумных не любил приветствий,  
Вас, бывших на передовой,  
Участников активных действий.

На вас оставила война  
Свои рубцы, ожоги, шрамы.  
Вы в нынешние времена  
Особой памятью упрямы.

Упрямы памятью войны,  
Где ваша юность задержалась.  
Упрямы памятью страны,  
С которой столько отстрадалось.

И потому в пылу бесед,  
Лишь заподозрив лжи приметы,  
Так четко вы на «да» и «нет»  
Умеете делить ответы.

...Я мысленно иду, где вы  
Прошли, меж снега и глину:  
От Бреста до лесов Москвы,  
От Подмоскovie до Берлина.

Нет у того пути длины.  
Его нельзя постичь по книгам.  
Но мы пройти его должны  
За годом год и миг за мигом.

Пройти — понять:  
От слез и бед  
Тогда убережем планету,  
Когда мы все  
На «да» и «нет»  
Научимся делить ответы.

\*.\*

Моим окном стал сад осенний  
С его трепещущей листвой,  
С поспешной сменой настроений,  
С пристрастьем к нити золотой.

В моем окне — то тишь да нега,  
То гнев, то робость, то испуг,  
Все чаще — предвкушенье снега,  
Хоть снег сойдет еще не вдруг.

Еще и зори не морозны  
И не видать дымов витых,  
Но светят будущие весны  
В прожилках листьев золотых.

И у старух в глазах слезливых,  
Как за белесою канвой,  
Глаза их правнуков смешливых  
Отсвечивают синевою.

### Вечерняя электричка

Усвоив точность, как привычку,  
Разрезав воздух нотой хлесткою,  
Затормозила электричка,  
Прижав к платформе тело жесткое.

Вагонные распались двери,  
Расшатанные вечной тряской,  
И, пасти наскоро ощеря,  
Сомкнулись снова, звучно лязгая.

Заторопился по платформе  
Вечерний люд,  
Люд озабоченный —  
Из тех, кто чертит, строит, кормит  
Страну большую и рабочую.

По обе стороны от линии  
Двумя большими вереницами —  
С глазами черными и синими,  
С несхожими такими лицами,

С несхожими такими судьбами,  
С такими непростыми нравами...  
На память знали этот путь они  
И шли, шурша родными травами.



Шли Подмосковьем вечерующим  
 С его тропинками росистыми  
 К своим заботам нестареющим,  
 К мерцающим домашним пристаням.

И надо всей землей обширною,  
 Над каждой крышею покатою  
 Дышали тишиною мирною  
 Тревожные восьмидесятые.

### Дрожащая звезда

Из тех высот, где холода  
 И мрак сошлись с гудящей бездной,  
 Твой свет пульсирует безвестный,  
 В ночи дрожащая звезда.  
 Кого зовешь, кричишь кому,  
 К какому подошла пределу?  
 Откуда сквозь ночную тьму  
 Принять ты отклик захотела?

Стою меж яблонь я в саду  
 И — житель маленькой планеты —  
 Тебя, дрожащую звезду,  
 Хочу спасти, да силы нету  
 Взлететь, беду твою понять,  
 Все горе развести руками,  
 Унять твой страх, чтобы опять  
 Твой свет струился над веками.

— Гори! — шепчу тебе. — Живи!  
 Я здесь.  
 Я рядом.  
 Я с тобою.  
 Сквозь годы световой любви  
 Слежу я за твоей судьбою.

Ведь если след твоих лучей  
 В небытие безвестно канет,  
 То над планетою моей  
 В ночи темнее небо станет,  
 Бледней под утро россыпь рос,  
 Видней незащищенность луга,  
 Бедней любовь,  
 Праздней вопрос:  
 «Кем мы приходимся друг другу?..»



---

---

МАРГАРИТА АЛИГЕР



## СОЛОВЬИНАЯ ПЕСНЯ

Рассказ

1

За Каширой пошел дождь и сразу стемнело. А поезд был недалек и нескорый, и свет в вагоне почему-то все не зажигали. В сумерках пассажиры торопливо попили чаю и улеглись спать. Заснули все быстро и дружно — задышали, засвистели, засопели, — и в неосвещенном вагоне стало удивительно уютно. И дождь за окном шумел уютно — громкий, теплый, майский. Впрочем, скоро его не стало слышно — плеск воды слился с шумом колес. А когда поезд замедлил ход, а там и совсем умолк, остановившись на темном, глухом разъезде, дождя уже не было, и в наступившей тишине прорвалось, выросло, заполонило всю ее новое неожиданное звучание: где-то совсем рядом в сыроватом сумраке майской ночи пел соловей.

— Соловушка играет, — сказал проводник, проходя по темному коридору вагона с фонарем в руке. — Соловушка играет, — повторил он, спрыгивая с подножки на мокрый после дождя песок платформы.

А соловей гремел, и песня его во тьме ночи была так сильна, что, казалось, не только звучала, но и горела, и светила, и грела. И когда поезд тронулся и снова застучали колеса, стало жаль уезжать от нее.

Светлана лежала на нижней полке, свернувшись клубочком, закутавшись в пуховый платок. Этот платок был единственной теплой вещью, захваченной ею из дому. Летнего пальто у нее не было, в старом драповом ехать не хотелось — тяжело с ним, лето ведь все-таки, май, — вот она и поехала в одном легоньком костюме. И, пожалуй, только затем, чтоб отстала мать, утомительно напоминавшая о том, что у мая месяца характер ненадежный и сколько угодно поводов для того, чтобы вдруг захолодало, — то черемуха цветет, то дуб листву разворачивает — Светлана в последнюю минуту бросила в полупустой чемодан этот большой серый платок. Как он сразу же пришелся кстати! Постель, предложенную проводником, она не взяла, решила, что ни к чему — ведь она приедет на место в пять часов утра, еще и проспится, чего доброго! — и десятка в кармане останется, тоже не лишняя.

Она лежала на нижней полке, закутавшись в теплый платок, и на душе у нее было хорошо и ясно. Она не задумывалась о том, почему это так, она вообще ни о чем не думала и скоро забылась тем сладким сном, которым спится в поезде. И, как всегда в дороге, она часто просыпалась и сразу же, едва проснувшись, натыкалась на это чудесное ощущение и вспоминала, куда она едет, и чувствовала, что впереди ее ждет что-то удивительное, что-то такое, чего уже давно не было в ее жизни. И она тут же легко и незаметно засыпала снова.

Под утро она, разумеется, заснула особенно крепко, и когда проводник несколько раз ворчливо сказал над ее ухом: «Подъезжаем, гражданочка!» — она вскочила, ничего не понимая, и несколько секунд сидела, протирая глаза, пока наконец не вспомнила все. За окном уже проплывали какие-то строения, умывальник был заперт, и Светлана, досадуя на себя, едва успела захихнуть в чемодан платок и полотенце с мыльницей.

Площадка вагона была загромождена узлами и чемоданами: шумно сгружалась большая семья — с бабушкой, с детьми разных возрастов. Эту семью встречала родня, все они долго целовались, шумели, возились и никак не освобождали путь к выходу. А когда Светлана наконец соскочила на платформу, готовая в ту же минуту бежать дальше, выяснилось, что город по правую сторону от поезда, и теперь уже надо подождать, пока поезд уйдет. А поезд солидно и спокойно отстоял свой срок, эти бесконечные десять минут, и только тогда свистнул, дрогнул и не спеша пошел своей дорогой дальше, в Елец.

Светлана следом за другими приезжими перебежала по шпалам и, нырнув под шлагбаум переезда, зашагала по широкой булыжной дороге в город.

## 2

Она решила не спрашивать дорогу, была уверена, что не собьется — так часто продельвала ее мысленно, так часто думала о ней. Да пока в этом и не было нужды.

Было очень свежо, почти холодно, но раннее утро было ясным и безветренным и чувствовалось: день будет теплый, а то и жаркий. Светлана подумала о том, что она, пожалуй, с войны — вот уже пять лет — не видала такого раннего и ясного утра. Чудесней утра нельзя было придумать — оно было именно таким, о каком могла она мечтать, когда представляла себе свой приезд в этот город.

Этот город! Если бы у Светланы спросили, когда ей впервые приелось услышать о нем, она бы, наверное, припомнить этого уже не могла. Теперь ей уже казалось, что она знала о нем всегда, любила его всегда, так же как и всегда, всю свою жизнь, любила военврача 2-го ранга Сергея Петровича Платонова. Когда она пыталась припомнить все подряд: как они встретились и как началась их любовь, — она просто начинала по порядку воссоздавать в памяти всю картину своей жизни на войне, эта жизнь теперь уже с самого своего начала была неотделима в ее сознании от ее любви. Да и жизнь-то ее — своя собственная, самостоятельная сознательная жизнь — началась, в сущности, с войны. До войны было только детство на Рогожской заставе, десятилетка, старый деревянный флигель, где жили еще бабушка с бабушкой, клуб завода «Серп и молот», где она участвовала в самодеятельности, да летние поездки к тетке в Царицыно — вот, пожалуй, и все.

Жизнь началась с войны, с курсов медсестер, с отъезда на Северо-Западный фронт, где она сразу и встретила Сергея Петровича. Стало быть, жизнь началась с ее любви к нему, с любви его к ней, с их любви.

Она вспоминала отъезд из Москвы, затемненный перрон Октябрьского вокзала, растерянных и жалких мать с отцом, которые все повторяли бессмысленные слова о том, что можно бы, наверно, в Москве остаться, и в Москве медсестры нужны. Она вспоминала, как весело было в неосвещенном, жарко натопленном вагоне, какими милыми и добрыми казались ей и ее подружкам молодые лейтенанты из соседнего купе, от души угощавшие «сестричек» кипяточком и концентратом какао — удивительно вкусными шоколадными кубиками. Всю дорогу рассказывали о бомбежках и ждали бомбежек, но ничего этого не случилось, и они с девушками благополучно

добрались до Валдая, где находился штаб фронта. А потом был очень яркий, солнечный, морозный день и накатанная снежная дорога с регулировщицами в тулупчиках, по которой она целый день на путных машинах добиралась туда, к месту назначения, в свою дивизию. Целый день, потому что дивизия стояла в трех деревнях и все ей по-разному объясняли, в которой из них расположен медсанбат. Неужели в этот звонкий день февраля 1942 года она еще не знала Сергея Петровича, еще не любила его? Не может этого быть! Она просто не знала его имени и облика, но уже любила его. И вот именно поэтому ей было легко и радостно жить на свете, не утомляли поиски медсанбата и не брал мороз. И когда она впервые явилась к нему и он, поглядев ее бумаги, ласково сказал своим глубоким звучным голосом: «Ну что ж, добро пожаловать, Светлана Андреевна Зайцева!» — она, еще сама не понимая этого, уже любила его, конечно любила!

Дивизия стояла на отдыхе, и все это было совсем не похоже на войну, как ее себе представляла Светлана. Жили в теплых, чистых домах с фикусами и геранями, было много свободного времени и порой даже скучно от безделья. Да и на своем участке фронта положение казалось таким устойчивым, что артиллеристы, в полк к которым, стоявший в поле, Платонов однажды послал Светлану, построили себе отличные блиндажи и землянки, и весь их городок выглядел таким надежным и обжитым, что невозможно было и представить себе, что это все сможет уничтожить одна бомбежка.

А потом начались жестокие бои в районе деревни Сухая Нива, бои, в которых на каждом шагу ощущалась нехватка боеприпасов, нехватка авиации и танков, бои, в которых дивизия потеряла почти половину личного состава и ни на шаг не смогла потеснить противника.

Дивизия вышла из боев израненная, измотанная, намерзшаяся, изголодавшаяся. Стояли в глухой лесной деревне Градобить, в стороне от дорог, начиналась весенняя распутица, и долго не было подвоза продуктов. Люди ходили опаленные, почерневшие, подавленные, чувствовали себя виноватыми и брошенными. Было сыро, промозгло, холодно и беспросветно в природе и на душе. Разве смогла бы Светлана пережить все это, подбодряя и поддерживая окружающих товарищей своих и раненых, если бы не было в ту пору в душе ее чудесной горячей силы — любви к Сергею Петровичу.

Она всегда любила его, всегда, с самого начала; она не помнила уже себя без любви к нему; она только ждала, когда он наконец заметит и поймет это, ждала спокойно и терпеливо, совершенно уверенная в том, что это непременно случится и что это будет означать одно только счастье. Ей было двадцать лет, она была веселая и хорошенькая, она никогда до той поры не любила — и могла ли она думать, что в жизни бывает и по-другому? И когда это наконец случилось — он заметил, понял, принял ее любовь и, разумеется, так же горячо полюбил ее, — это оказалось действительно счастьем, которое они не могли, не умели, не хотели скрывать. Они полюбили друг друга и стали жить вместе, и это никого вокруг не удивляло, хотя военврачу Платонову было уже почти сорок лет и где-то в тылу у него была семья.

Светлана знала про эту семью больше и подробнее, чем все остальные, — он рассказывал ей все: о жене, об их жизни, о сынишке, о том, какой он был толстый и забавный до трех лет, а потом заболел скарлатиной и сразу возмужал и вытянулся. Он показывал ей их фотографии, читал их письма и делал это так просто и естественно, что Светлана, которой все его поступки казались единственно правильными — он ведь был много старше и куда умнее, — привыкла к этому и считала, что ничего тут сложного и странного нет и все очень просто и естественно: раньше, в той, прежней своей жизни, он любил жену Веру, а потом вот встретил ее, Светлану, и теперь, разу-



меется, любит ее. И так же естественно было то, что он думает о семье, тревожится и заботится о ней — а как же иначе? ведь он же честный, хороший человек, — что и она невольно приняла на себя часть этих забот: помогала ему собирать посылки, следила за тем, чтобы он по дурной своей привычке не таскал в кармане шинели запечатанные письма, а сразу же сдавал почтальону. Это была его жизнь, и она любила эту жизнь и всей своей любовью участвовала в ней. Они никогда ни о чем не договаривались на будущее, но как и вначале Светлана не сомневалась в том, что Сергей Петрович ответит на ее любовь, так и потом она неизменно была уверена в том, что они всегда будут вместе, всегда будут так же счастливы, как сейчас, что он всегда будет любить ее, как она любит его, и никогда уже не сможет жить без нее, как она уже не представляла себе своей жизни на свете без него, без его любви. В ее любви не было никаких тревог и опасений. Она никогда и не помышляла о том, что он может ее обидеть или обмануть — ей и в голову не приходило ничего подобного! — и поэтому эта любовь была цельной, здоровой, не знающей надрыва. У нее была только одна непрестанная тревога, одна неослабевающая угроза — война. Только бы война их не тронула своими пулями, минами, бомбами, только бы он был жив, а будет жив — значит, будет счастлива и бесконечна их любовь.

И поскольку он всегда говорил о том, что после войны вернется в свой родной город, то и она свое будущее связывала только с этим городом, и ей интересно было как можно больше о нем узнать, как можно лучше его себе представить. И он охотно рассказывал ей, москвичке, все свои двадцать лет прожившей на старой улице шумной фабричной окраины столицы, о маленьком районном городке, почти слившемся с окружающими его колхозами. Он рассказывал ей о позабытом прошлом своего города, о богатых купцах — его бывших хозяевах, о всех городских знаменитостях и чудаках, о воскресных рынках со слепцами и цыганами, о разбойнике Тяпке, некогда жившем в Тяпкиной горе, о двух огромных плодово-ягодных совхозах, расположенных за городом, где произрастает сорок разных сортов яблок, о том, что война сорвала строительство Дома культуры и новой больницы. Она знала о том, что в этом городе бывал Тургенев и даже рассказ написал о его знаменитых конских ярмарках, что в этом городе родился и вырос пианист Игумнов, что бывший помещик, самый крупный землевладелец в округе, теперь работает в финотделе райисполкома и еще многое-многое другое. Он рассказывал ей о том, что река у них теперь обмелела, а вот в пору его детства была очень глубокой и опасной, вспоминал о ночных рыбалках, о богатой осенней охоте и мечтал о том, как после войны будет снова рыбачить и охотиться. «Лучшего отдыха нет для меня на свете, — признавался он, — и мне много лет куда не хотелось уезжать в отпуск. Впрочем, это, пожалуй, неправильно. Надо будет поездить, поглядеть страну. Непременно надо будет...»

И он начинал вспоминать о том, как много путешествовал в студенческие годы, как целое лето жил на Памире, как облазил Сванетию и Кавказ, бродил по Тянь-Шаню и только вот на Алтай не выбрался. «Надо будет на Алтай двинуть, — решал он. — На Алтай и в Карпаты. Непременно!»

Он делился с ней своими планами, своими думами о медицине, о хирургии, о том, какие операции он сможет осуществлять теперь, когда, возмужавший, обогащенный страшным и бесценным опытом войны, вернется к нормальной, спокойной клинической работе, на свое место, в свою больницу, в свой город.

И вот она идет по этому городу одна, без него. Он уже никогда не придет сюда — война все-таки не пощадила его, он умер, не приходя в сознание, от осколочного ранения в голову в грозном бою за Кенигсберг 6 апреля 1945 года. Он скончался у нее на руках, и она

похоронила его, но все равно не поняла до конца того, что случилось, не поверила до конца в то, что он безвозвратно ушел от нее. Это казалось ей невозможным — ведь свою любовь она не схоронила в тот страшный день в весенней земле Восточной Пруссии...

Несмотря на ранний час, было очень оживленно. Пешеходов все время обгоняли грузовики и телеги, наполненные людьми, главным образом женщинами. Иные из них пели песни, иные просто галдели, как утренние птицы.

— На базар поехали. Куманьские, добринские... — сказал кто-то в толпе.

«Ну разумеется! Ведь нынче воскресенье», — вспомнила Светлана. Значит, она сразу увидит этот знаменитый базар, о котором столько наслышана. Ей здорово повезло.

Дорога шла мимо приземистых невысоких домов, каменных и деревянных, мимо окошек, заполненных буйно цветущей геранью, мимо глухих заборов с лавочками. Кое-где между домами розовели облака цветущих яблонь и вишен, но — Светлана понимала — это была еще не садовая часть города, знаменитого некогда своими яблочками. Тут, видимо, жили железнодорожники, рабочие мельницы. Пахло речной свежестью, дорога пошла по плотине, и Светлана в своей жакетке невольно поежилась, глядя на отчаянных рыбаков, стоящих босиком в утренней студенной воде.

За плотиной дорога разделилась на два рукава. Один пошел прямо, в гору, другой свернул налево, по берегу реки, к домам, тонущим в цветущих садах. Оттуда тоже тянулись возы и автомашины на большую дорогу, идущую в гору, в город, на воскресный базар. Светлана пошла туда же. Шла она не торопясь, приглядываясь, время от времени останавливаясь и перехватывая другой рукой свой нетяжелый чемодан. «Ах да! — вдруг вспомнила она. — Это ведь и есть Тяпкина гора!»

Она обрадованно засмеялась про себя тому, что не забыла эту глупую историю про разбойника Тяпку, который жил в этой горе, в пещере, и грабил проезжих, и однажды убил ни за что хорошего человека, и тот стал являться к нему по ночам и замучил его до того, что разбойник Тяпка бросил грабить и стал отшельником Тяпкой, отмаливающим свои грехи все в той же пещере. Она ничего не забыла.

Дорога поднялась на гору и вышла на площадь, к церкви, окруженной старыми торговыми рядами, лавками, лабазами. Тут останавливались машины, возы и телеги, выключались моторы, распрягались кони, и народ, прибывший на базар, шумно валил под навесы, к дощатым столам и прилавкам.

## 3

Базар разворачивался все шире и закипал все пуще.

Светлана переходила из ряда в ряд, ее окликали, зазывали, угощали, а она смущенно отходила в сторону, не зная, что и зачем могла бы купить. и недоумевая, куда девается в этом маленьком городе такое обилие снеди.

Солнце между тем начинало припекать, и Светлана наконец почувствовала, что устала, что недоспала, не умывалась, ничего не пила, не ела и что чемодан, какой он там ни легкий, здорово оттянул ей руку. «Может быть, сразу туда и пойти? Воскресенье, все дома...» — подумала Светлана, но тотчас же отказалась от этой мысли. Нет, нет, сначала надо где-нибудь устроиться, умыться, переодеться...

— Скажите, пожалуйста, есть ли тут в городе какая-нибудь гостиница? — спросила она у молодой женщины, торгующей сметану у круглолицей приветливой колхозницы.

Женщина удивленно взглянула на нее, а колхозница сразу же охотно отозвалась:

— А как же! Дом колхозника. Выйдите на площадь и направо. В аккурат рядом с чайной. На слет, наверно, к нам приехали?— в свою очередь поинтересовалась она.

— Нет, я так... — неопределенно ответила Светлана.

— Отдохнуть к нам приехали? В отпуск? — ласково спросила другая покупательница, пожилая высокая женщина в черном пальто старинного покроя и в белом шелковом платочке с бахромой.

— Ага! — торопливо согласилась Светлана. В общем, эта версия была действительно более всего похожа на правду.

— На квартиру надо встать, — сразу решила колхозница. — Какие еще гостиницы, зачем это? Пусти ее к себе, тетя Федора, — неожиданно обратилась она к пожилой покупательнице.

Та, поджав губы, уже совсем по-другому, испытующе оглядела Светлану и ответила не сразу, раздумчиво и нерешительно:

— Так ведь ко мне дачники скоро приедут... Прошлогодние... Если только к кому из соседей свести...

— Вот и сведи, и сведи, — затараторила колхозница, — видишь ведь — человек с дороги, с чемоданом по базару мыкается. Вы идите с ней, гражданочка, вы не сомневайтесь. У них в слободе люди хорошие, а уж дома лучше не найти: и сады, и речка рядом...

— Так ведь я что, я бы рада, — удалось наконец вставить Светлане.

Тетя Федора снова испытующе поглядела на нее и милостиво предложила Светлане либо подождать ее, пока она походит по базару, либо походить с ней. Светлана пошла с ней, испугавшись, что потеряет эту надежду обрести хоть какое-то пристанище.

Этот проход по рынку был целым священнодействием. Тетя Федора, которую другие знакомые продавцы — а знакома она была, очевидно, со всеми — называли еще более уважительно, Федорой Павловной, два раза прошла взад и вперед все молочные ряды. У каждого продавца она приценивалась и что-нибудь пробовала. Скоро она, по расчетам Светланы, съела не менее двухсот граммов творога и не менее стакана сметаны. Покупать она ничего не покупала, но в конце концов посоветовала Светлане купить маслица, и та охотно согласилась, надеясь, что это ускорит обход рынка. Затем они долго бродили вдоль мясного ряда, где Федора Павловна выбрала кусок мяса на щи и предложила Светлане купить его. Светлана немедленно купила. В зеленом ряду дело было проще: купили два пучка зеленого лука. Потом заходили в хлебную лавку, купили тяжелую, сыроватую буханку черного хлеба. Потом Федора Павловна все-таки оставила Светлану в углу рынка и отправилась разыскивать какую-то знакомую, и когда Светлана уже твердо поняла, что она вероломно брошена и что деваться ей решительно некуда, Федора Павловна как ни в чем не бывало явилась, и они наконец пошли.

Они пошли назад знакомым уже Светлане путем, по той самой дороге, которой Светлана проходила с утра. Потом спустились переулочком и пошли берегом реки. Потом снова поднялись на бугорок и очутились на тихой, непроезжей улочке, такой зеленой и яркой в свете весеннего солнца, что Светлана снова почувствовала себя счастливой.

Она не решалась спрашивать, скоро ли дойдут, ей нестерпимо хотелось спать, и она с трудом понимала, что говорит Федора Павловна. А Федора Павловна говорила без умолку, и притом очень важные вещи. Она очень подробно рассказывала о дачниках, которых ждала, объяснила Светлане, что приедут они не раньше как в середине июня, потому что у Сереженьки экзамены, и заключила все это очень серьезным решением: пока суд да дело, Светлана, разумеется, может поселиться у нее, у Федоры Павловны. Чего там еще искать — от добра добра не ищут. Светлана будет покупать продукты, Федора

будет готовить, у соседки будут брать молоко — чего там, в самом деле! — заживут припеваючи.

— Да, да, — тупо соглашалась Светлана, — хорошо, спасибо, конечно...

Они подошли к какому-то странному строению. Это был не дом, а только часть дома, кусок дома с дверью, на которой висел большой замок. Светлана хотела было удивиться и попробовать понять, в чем дело, но спрашивать и разбираться не было решительно никаких сил.

Федора Павловна достала большой ключ, отперла замок, и они вошли в чистую, светлую кухню, довольно, впрочем, пустоватую, из которой вела дверь в комнату. Там стояли фикус и комод, покрытый вязаной салфеткой, над комодом висело зеркало, но больше всего места занимала огромная кровать с грудой белоснежных подушек. Только увидев ее, Светлана поняла, как она хочет спать. Она выпила холодной водички из жбана, сполоснула руки и лицо и, ничего не помня, повалилась в разобранную Федорой постель.

## 4

Когда она проснулась, день был в самом разгаре. Он врвался в приоткрытое окно, слегка заслоненное ставней, ослепительный и оглушительный, полный звуков летней деревенской улицы: мычання коров, гоготанья гусей, пенья птиц, голосов детей и женщин. За дверью тихо хлопотала Федора, слышалось чирканье спичек, плеск воды, какое-то кипение и скворчание. И опять Светлана ощутила тихую и теплую радость на сердце.

Она вскочила с постели, распахнула окно, жмурясь от солнца, поглядела в зеркало, достала из чемодана ситцевый халатик и тапочки и с полотенцем через плечо вышла в кухню.

— Проснулись? Как? Хорошо? — приветствовала ее Федора.

— Хорошо, Федора Павловна! — согласилась Светлана. — Я теперь помыться пойду. На речку, а? — неуверенно закончила она. Ей казалось, что Федора непременно начнет ее отговаривать, скажет, что вода еще холодная, что можно простудиться. Но ничего этого не случилось.

— Ну-к что ж, — сказала Федора, — хорошо!

И это окончательно поддержало внезапное решение Светланы.

— Так вот огородом и ступайте. Прямо на речку и выйдете, — напутствовала ее Федора.

Выйдя из дому, Светлана сразу же вспомнила, каким странным он показался ей утром, и задержалась у порога, оглядываясь. Первое впечатление не обмануло ее, перед ней действительно был кусок дома, примерно треть его. Остального не существовало, от него остался только фундамент, уже заросший лопухами, крапивой и чистотелом. Огород, спускающийся к реке, тоже выглядел странно. Очевидно, здесь когда-то был сад, но сейчас взрослых деревьев вовсе не было, и только несколько молодых яблонек одиноко росло среди пней и кустов одичавшей малины. На двух кривых грядках росли лук и морковь, а чуть подалее кусок земли был кое-как вскопан, очевидно, под картошку, которую так и не посадили. Все это, вместе взятое, производило впечатление запустения. Никакой изгороди, определяющей границы Федориных владений, Светлана не обнаружила, и тропинка действительно привела ее на берег реки. Тут была привязана белая коза, которая очень заинтересованно обернулась в сторону вновь пришедшей. Светлана подмигнула козе и пошла по берегу, выбирая местечко поудобнее.

Ей понравилась тропинка, идущая над водой, — идя по ней, она словно бы шла куда-то вместе с рекой, с ее мерцанием и плеском, и очень захотелось так идти долго-долго и далеко-далеко. Но солнце

уже перевалило через зенит и клонилось к закату, напоминая о том, что и этому бесконечному дню все-таки наступит конец и что ей, Светлане, надо еще многое успеть.

Она скоро нашла маленькую песчаную косу, закрытую от дороги кустами лозняка и березы, и опустилась на песок с чувством человека, достигшего наконец своей цели. «Ну вот,— думала она,— вот и все. Твой город, твоя река — ты так любил ее. Вот я и приехала, я тут, я все это вижу. А скоро я увижу и твоих... Все как ты хотел, как ты просил, Сергей Петрович...»

Он никогда не просил ее об этом. Он вообще ни о чем не успел ее попросить. Когда она прибежала, он был уже без сознания и так и умер. Но почему-то ей упорно казалось, что, если бы он мог, он попросил бы ее именно об этом: приехать в его родной город, где он вырос, куда вернулся после института уже врачом, повидать его любимые места, его реку, его семью... Зачем? Что сделать? Что сказать? Этих вопросов она никогда себе не задавала, во всех своих раздумьях останавливаясь обычно именно в ту минуту, когда следовало бы спросить себя об этом. Она охотнее возвращалась назад, снова и снова припоминая и обдумывая всякие мелочи и подробности этой предстоящей поездки и словно инстинктивно не разрешая себе задуматься о главном: зачем она туда поедет. Он просил ее об этом, убеждала она себя, она обещала ему выполнить эту просьбу и вот выполнила. Скорей! Что она сидит, медлит? Надо скорее помыться хорошенько, переодеться и пойти в город, к ним. Октябрьская улица, шестнадцать...

Светлана разделась и вошла в воду. Поначалу вода показалась ей очень холодной, но она все-таки вошла поглубже и намылила руки, грудь и плечи. А когда стала смывать мыло, щедро плеща на себя пригоршнями воду, сразу стало теплее, и она, наконец отважившись, несколько раз окунулась и выбежала на берег розовой и освеженной. Когда она шла к дому, тело, докрасна растертое жестким полотенцем, чудесно горело и пощипывало, на сердце было легко, в голове — ясность и свежесть и здорово хотелось есть.

А на кухне у Федоры Павловны был уже накрыт стол, пахло аппетитно, и все показалось Светлане замечательно вкусным: и густые щи, и тушеная картошка с мясом, и холодное молоко. За обедом Светлана рассказывала Федоре Павловне, что ей нужно в город повидать одних знакомых, вернее сказать, родню одного знакомого. Может быть, Федора Павловна знает докторшу Платонову, Веру Федоровну? Разумеется, Федора знала докторшу — как же не знать? — она вообще всех в городе знала. Тогда, может быть, она знала и мужа докторши, Сергея Петровича Платонова? Он ведь до войны несколько лет проработал тут в больнице. Конечно, Федора знала и его, а как же! Вот и Светлана его знала, вместе воевали, под его началом была. Замечательный врач был! Как приятно, что Федора Павловна его помнит. Ну, Федора-то помнит еще и отца его, старого доктора Петра Петровича. Он лечил ее покойного мужа, вот уж действительно замечательный доктор был, на всю округу славился. Федора отлично помнит его, да и кто ж его не помнит? Это сын уже после смерти отца в главные врачи вышел. Тоже ничего, хороший мужчина был, но уж против отца не тянул, нет, какой разговор!

Светлана начала было ее расспрашивать, но Федора, видимо, ничего конкретного о Платоновых не знала и только с энтузиазмом повторяла примерно одни и те же восклицания, и Светлана закончила расспрос — надо было собираться в город.

Она почистила костюм и туфли, надела чистую голубую блузку, которая ничуть не измялась в чемодане, и, выяснив у Федоры, как пройти на Октябрьскую, отправилась в путь. Федора вышла проводить и долго стояла посреди улицы, сложив руки на груди и глядя вслед удаляющейся девушке.

Когда Светлана скрылась за поворотом улицы, Федора Павловна не спеша пошла в дом и набросила крючок на дверь. В кухне на столе горкой стояла грязная посуда, и Федора налила в шайку горячей воды. К мытью посуды она, однако, не приступила, а прошла из кухни в комнату, где только что собиралась в город Светлана. Следы ее сборов были весьма заметны: на стуле висел брошенный халатик, посреди комнаты валялись тапочки и криво стоял чемодан. Кровать тоже была примята. Федора Павловна оправила кровать, повесила халат на гвоздик и задвинула тапки под кровать. Чемодан она было хотела спрятать туда же, но потом передумала и подняла его на табурет. Чемодан был с двумя металлическими замками, один из них был открыт. Федора Павловна оттянула колечко другого — и замок с треском расстегнулся. Федора Павловна приоткрыла чемодан. Поверх вещей лежали два пакета, один большой, другой поменьше. Заглянув в пакеты, Федора обнаружила в большом сушки и пряники, а в том, что поменьше, леденцы и пиленый сахар. Под пакетами лежали два пестрых платья, смена трикотажного белья, чулки и носочки, скатанные шариком, несколько носовых платков и духи в нарядной коробке. И уже на самом дне — книга и какие-то связанные вместе бумаги, письма, фотографии, записные книжки в кожаных переплетах. Федора Павловна не стала этого развязывать, но деньги, лежащие в книге, аккуратно пересчитала. Денег было пятьсот рублей: три сотенных бумажки и восемь двадцатипятирублевков. Аккуратно сложив все это в первоначальном порядке, Федора Павловна удовлетворенно закрыла чемодан на один замок и отправилась мыть посуду.

Федора Павловна Тузова была загадочная натура. Загадочным в ней было прежде всего то, зачем она живет на свете, чего ждет от жизни и что хочет свершить в ней. Понять это было решительно невозможно.

Не было, разумеется, ничего предосудительного в том, что она, деревенская полуграмотная женщина, родившаяся еще в девятнадцатом веке, не знает никаких дальних стремлений, не думает ни о каких больших деяниях — таких людей на свете немало, хотя и у них, однако, есть свои цели и упования. Одни живут для своей семьи, растят и воспитывают детей, мечтают об их будущем, отдавая все силы тому, чтобы эти мечты сбылись, и чаще всего сами не понимая того, сколь тесно слиты их малые житейские устремления с общегосударственными интересами и замыслами. Этих людей подчас считают ограниченными, замкнувшимися в узком кругу личных семейных интересов, но это, пожалуй, несправедливое и тоже по-своему ограниченное суждение, ибо таких людей большинство и именно они, эти бессознательные патриоты, вершат государственную жизнь. Есть другие характеры, которые по причине отсутствия близких и дорогих людей или же по причине отсутствия таких гражданских черт характера, как забота о других людях, как самоотверженное желание сделать их жизнь лучше собственной, действительно ограничены узким кругом интересов собственного благополучия и благоустройства. Федора Павловна не принадлежала ни к той, ни к другой категории.

Она выросла в обеспеченной крестьянской семье. У нее было несколько старших братьев, которые женились и приводили в дом молодых жен, дармовых работниц и батрачек, и поэтому у хозяйской дочке и по дому-то обременительных обязанностей не было. Была она дородная и гладкая, и мать, копя дочке приданое, в глубине души мечтала о том, чтобы выдать ее замуж за городского, за купца какого-нибудь. Родное село Федоры находилось всего в десяти верстах от маленького богатого купеческого городка, и сытая, жирная

жизнь его, лишенная, как казалось со стороны, повседневных забот о хлебе насущном в самом прямом смысле этого слова, невольно манила и привлекала. Из села много народу ежегодно уходило в город: в работники да в приказчики к купцам, на мельницу и на железную дорогу. Жила замужем за железнодорожным кондуктором и Федорина тетка, сестра матери, жила и не тужила. У кондуктора был в слободе свой дом с садом, две коровы, овцы и козы, свинья с поросятами. Тетка приторговывала на рынке, часто возила свои продукты — масло, творог со сметаной, свининку, а осенью яблоки — на рынок в Москву. Дом у тетки в представлении Федоры был полная чаша.

Однажды на святки Федорины родители поехали в гости к сестре и взяли с собой дочку — уж ей было лет девятнадцать. У кондуктора гуляли несколько дней, много было вина и всяческой снеди, много было званных гостей. Был среди гостей солидный человек — почтовый чиновник, близкий сосед, — дом его, отменный оштукатуренный сруб под железной крышей, с большим садом, спускающимся к реке, стоял через дорогу. Чиновник вдовел уже несколько лет. Жена померла, оставив ему четверых детей, хозяйство вела чужая женщина, работница, и чиновник очень сетовал на свою горькую долю. По пьяной лавочке Федорин отец сдружился с ним, ушел к чиновнику в дом допивать и опохмеляться, и там они о многом сокровенном друг с другом, видимо, поговорили.

Когда праздники кончились и гости вернулись домой, Павел Фомич долго не мог позабыть своего нового приятеля, восхищался его умом и образованностью, хвалил его хозяйство, его богатый городской дом и неизменно сокрушался о том, что такой достойный человек вдовееет. Федора слушала отцовы разглагольствования совершенно безучастно, они ее не интересовали и не имели к ней ни малейшего отношения. На веселых праздниках у городской родни она вовсе и не заметила вдового чиновника, пожилого и собою невидного, — там было много молодежи, и до отцова ли собутыльника было ей? Может, так бы оно все и миновалось, если б не возникли новые обстоятельства.

Видимо, пришла Федорина девичья пора. Обычно вялая и безучастная, она стала вдруг оживленнее — жарче запыхали щеки, ярче заблестели глаза, заиграла молодая кровь, словно бы требуя от всех вокруг: смотрите, какая я выросла, как заневестилась! И стали на Федору заглядываться парни, и пуще других — первый парень на деревне, белозубый кудряш, гармонист и плясун Кирюшка Петунин. Всем был хорош Кирюшка, и многие девки по нему сохли, но даже виду не подавали, боялись: Кирюшка был озорник и насмешник, с ним было рискованно связываться. И еще была одна беда: Кирюшкина бедность. У матери его, вдовы, даже коровы не было, а ртов, кроме Кирилла, еще пятеро.

Чем привлекла огневого, статного парня стеленная, медлительная Федора, трудно сказать, но Кирюшка был не из робких и не дал вялой девке даже опомниться — закружил ей голову, заговорил зубы. Где-то на масленицу ушла Федора на вечерку и долго не возвращалась. Одна из невесток вышла зачем-то из избы, да сразу вернулась и тихо поманила свекровь. Вышли на крыльцо и увидели: бесстыдник Кирюшка привалил Федору к березке и целует в засос, а девка только очумело постанывает. Мать молча отбила дочку, молча плюнула в глаза парню, молча влепила девке несколько оплеух и увела ее в дом. На заре Павел Фомич запряг лошадь и уехал в город, на базар для виду чего-то повез. Вернулся он дня через два выпивший и довольный, а еще через два дня в дом приехали сваты из города, от вдового почтового чиновника Ильи Кузьмича Тузова. Видимо, здорово испугались Федорины старики и огнеглазого Кирюшки, и разыгравшейся девичьей крови. Впрочем, насчет крови они, пожа-

луй, преувеличили и ошиблись. Федора была совершенно спокойна, и нельзя было понять, тужит ли она о поцелуях под березкой, рада ли тому, что выходит замуж в город, в дом под железной крышей, или охотнее пошла бы в старую, кривую избу вдовы Петуниной. Может быть, она и сама этого не знала. Она была ровна и спокойна. Ей было все равно.

Илья Кузьмичу Тузову было сильно за сорок, он был пониже Федоры, плешив и невзрачен, но молодую жену полюбил страстно и горячо, заласкал, зацеловал, занежил на мягких перинах. Она была спокойна. Ей было все равно. Она равнодушно посапывала в мужниных объятьях и спокойно засыпала, предоставляя ему возиться с ее молодым, сильным, крепко сбитым телом. С детьми его она была ровна и покойна, дом вела чисто, соблюдая во всем порядок, как была приучена у отца с матерью, но ничем себя не утруждала и не беспокоила, никогда не выбивалась из сил, ни во что не вкладывала душу. Когда заболела младшая девочка, Федора делала все, что велел доктор, и когда это все-таки не помогло и девочка умерла, ей не в чем было винить себя и нечего было особенно огорчаться.

Ни война, ни революция не произвели никаких изменений в жизни Федоры, и поэтому она толком и не поняла, что, собственно, случилось и что так возмущает и волнует отца с мужем. Она была спокойна. Ей было все равно. Детей ей бог не дал, мужние незаметно повыврастали и ушли из дому, и забот стало еще меньше. Но тут, вскорости после того как Тузовы справили десятилетие счастливой семейной жизни, Илья Кузьмич стал хворать. Сперва перемогался — полежит с недельку и пойдет на службу, — но скоро слег по-настоящему. Приходил из города самый главный доктор Платонов Петр Петрович, — он давно знал Илью Кузьмича, еще жену его, покойницу, лечил, — назначил лечение, диету, называл Федору голубушкой, учил ее, как за мужем ухаживать. И Федора ухаживала, и это было нелегко и Федоре надоедало, и когда она увидела, что толку все равно мало и мужу все равно не становится лучше, она ухаживать бросила. Вернее сказать, не то чтобы бросила, но стала ухаживать с прохладцей, сегодня что-нибудь одно сделает, завтра другое, а не то чтобы все сразу — это ей было утомительно.

В двадцать седьмом году, на пятнадцатом году жизни с Федорой, Илья Кузьмич скончался. Федора поплакала в меру, схоронила мужа честь по чести, справила поминки и осталась одна в большом доме под железной крышей. Так бы она, наверно, и жила весь свой век, если б вдруг не выяснилось, что жить без Ильи Кузьмича довольно сложно и неудобно. Во-первых, не стало денег — пенсия была крохотная, а других источников не было. Во-вторых, появилось много забот, которых она не знала за мужем, к примеру нужно было заготовить топливо на зиму, а это оказалось очень трудно, и дорого, и хлопотно. Пришлось отпустить работницу и самой ходить за коровой. Это Федоре уже решительно не понравилось, и она продала корову — вот, кстати, и денежки появились. Так, перебиваясь, прожила Федора первую зиму после смерти мужа, летом сдала весь дом дачникам из Москвы, а осенью, сняв яблоки, заперла дом на замок, уехала в Москву продавать яблоки, да там и осталась.

В Москве началась вторая Федорина жизнь. Летние дачники помогли Федоре устроиться в домашние работницы, и так она прожила зиму, а весной, взяв расчет, уехала к себе сдавать дом и дожидаться урожая яблок. Уезжая из Москвы, она нашла себе на осень новое место, в маленькой семье без детей, — у первых хозяев семья была большая и работы слишком много для Федоры. Так и пошла с той поры ее жизнь: каждую осень она уезжала в Москву и поступала на место, всякий раз к новым людям, которые не знали, что она весной непременно уедет. Хозяевам она обычно очень нравилась: домовитая, чистая, честная, в годах, но и не старая, — и почти все они



к ней привязывались и думали, что вот нашли наконец хорошего человека на всю жизнь. Федора слушала их кротко и безучастно, ни на что не возражая, а весной ни с того ни с сего требовала расчет и, бросив изумленных хозяев, уезжала к себе. Постепенно у нее выработались свои привычки и требования — она старалась поступить не в отдельную квартиру — это ей было обременительно и скучно, — а в большую, населенную и перенаселенную московскую квартиру, где было много хозяев и еще несколько домработниц. Только домработницы должны были быть молодые — старых Федора терпеть не могла. Она очень быстро забирала над ними власть, подчиняла их себе безраздельно, и они выполняли за Федору большую часть ее обязанностей, слушались ее во всем, подчиняясь ее воле. Она ловко умела создать видимость того, что они без нее пропадут, исподволь ссорила всех между собой, потом сама же и мирила, являя собой образец благочестия и миролюбия. В квартире создавалась крайне тяжелая обстановка, и только одна Федора, казалось, могла все уладить и всех примирить. Такая жизнь оказалась ее стихией, ее увлекала эта тонкая игра, стройная по своей композиции, но неизменная по развязке: Федора брала расчет и уезжала к себе. Так прожила Федора больше десяти лет, больше десяти трудных созидательных лет, коллективизацию и индустриализацию, три пятилетки, вплоть до начала войны с фашизмом.

В сорок первом году Федора сплеховала. Зимой, нарушив свое обыкновение, заявила хозяйке, что в мае все равно уйдет от нее, а хозяйка, которая как раз собиралась на курорт, быстро смекнула что к чему и, решив, что нет смысла оставлять Федору на время своего отсутствия, сразу же и рассчитала и выписала ее. Оскорбленная Федора долго еще жила в кухне на сундуке, обедая молодых домработниц и понося неблагородную хозяйку, кое-как дотянула до середины апреля и уехала к себе в слободу. Там и застала ее война.

И началась для Федоры трудная жизнь. Дачников в то лето не было, деньги таяли, и новых не предвиделось, уехать осенью в Москву оказалось невозможно, у нее ведь не было московской прописки.

Началась первая военная зима, суровая и снежная, и Федоре пришлось нелегко. Дров не было, и, чтобы не замерзнуть, она начала рубить сад. Она делала это без сожаления, не испытывая никаких угрызений совести. Ей было все равно, только было бы тепло в кухне, где она обосновалась. А когда сожгла сад, принялась за дом: сбила штукатурку и начала разбирать стены старого крепкого сруба. Часть бревен она сожгла сама, часть обменяла на муку да на картошку, тем и продержалась. Ей не было жаль дома, ей надо было только одно: если холодно — согреться, если голодно — поесть, а о будущем она думать не умела.

Война подошла близко — в сорока верстах, в Ельце, шли жестокие бои. Потом война отошла, и в середине третьей военной зимы, когда от дома Тузовых осталась уже примерно треть — одна комната с кухней, — Федора заперла дом на большой замок и без всякого пропуса, с помощью родственника-проводника уехала в Москву. Цель была достигнута, Федора дожила, дотянула, пусть даже ценой сада и дома, и жизнь снова вошла в обычную колею.

В день победы Федора попросила расчет и снова вернулась домой. Своих яблок у нее уже не было, но она все равно по инерции жила до осени, а когда соседи попросили ее захватить в Москву яблок на продажу, она наотрез отказалась. Ей это было без надобности и обременительно. Люди взывали к ее рассудку — на продаже яблок можно было нажиться, — но Федору это не волновало. «Авось и так сыта буду», — отвечала она. У нее не было решительно никаких, в том числе и стяжательских, наклонностей. Она делала ровно столько, сколько нужно было для того, чтобы быть сытой. И ничего больше.

Делать что-либо сверх этого ей казалось бессмысленным и было лень. Лень, очевидно, была основой существования этой загадочной природы, живущей на свете только для того, чтобы жить, и даже не подозревающей о том, что жить можно еще и во имя чего-то значительного. Лень и, пожалуй, еще любопытство, совершенно праздное и потому тоже бессмысленное. Как то, которое заставило ее открыть чужой чемодан и без каких-либо дурных намерений и задних мыслей ознакомиться с его содержимым.

...Удовлетворив свое любопытство, Федора Павловна закрыла чемодан и ушла в кухню мыть посуду, оставшуюся от обеда.

## 6

А Светлана шла по городу, где она собиралась быть всегда счастливой, шла в незнакомый дом, к незнакомым людям со странным чувством ожидания чего-то очень хорошего. Какие они, как они живут, его жена и сын, Вера и Сережа? Она так привыкла с ним вместе беспокоиться о них, что долго потом думала, тревожилась и никак не находила способа узнать о них, помочь им. Не деньгами, разумеется,— их у нее не было, она работала медсестрой в поликлинике, и зарплата ее была так невелика, что во многом приходилось себе отказывать,— но словом поддержки и участия, которое так нужно бывает людям. Впрочем, знала ли она это слово?

После гибели Сергея Петровича она жила первое время совершенно механически, как заведенная выполняя все, что с нее спрашивали. Когда ее демобилизовали, она вернулась в праздничную, победившую Москву, на родную Заставу Ильича, к отцу с матерью и рухнула, лишенная необходимости держаться на ногах. Родные знали о Сергее Петровиче — Светлана писала им,— знали и о его гибели. Они очень жалели дочку, как могли утешали, и мать однажды, когда они были вдвоем и Светлана ей снова принялась что-то о нем рассказывать, неожиданно сказала: «Ничего, доченька, не горюй, ты молодая, красивая, ты свое счастье найдешь. Слава богу, что без ребенка осталась. Вот тогда плохо бы было».

Светлане показалось, что ее со страшной силой толкнули, и от этого толчка все у нее внутри перевернулось, и с этой минуты она непрестанно думала о том, почему не осталось у нее ребенка от Сергея Петровича. Ведь тогда, казалось ей, все было бы легче и правильнее, и она подолгу думала о том, каким мог быть этот ребенок, и эти размышления занимали в ее жизни почти такое же место, как дума о том, как бы все было, если б Сергея Петровича не убили. Пусть бы ранили, пусть бы тяжело, но только чтоб не насмерть. Она бы вышла его, и потом они поехали бы сюда, в его город, и пришли бы к нему домой.

А сейчас она шла туда одна. Ей не удалось спасти его, и им не за что будет ее благодарить. Так зачем же она идет к ним? Но этого вопроса она никогда себе не задавала. Она и не думала об этом. Она думала о том, что постарается как можно лучше и подробнее рассказать им о нем, о том, как жил он все эти годы, чтобы они будто сами увидели его.

Еще она привезла с собой его документы, бумаги, записные книжки. Она отдаст им все это, пусть берегут, им это будет приятно. А у нее достаточно и своих с ним фотографий и других памяток. Конечно, ей дороги и эти бумаги, но она не будет жадничать, она поделится с ними. Но сегодня она ничего не захватила с собой. Это все она принесет в следующую встречу.

Она поднялась в город, прошла мимо рынка и вышла на центральную площадь, ту самую, где рядом с чайной помещался и Дом колхозника. На противоположном углу находился большой дом с колоннами — райисполком, — и от него начиналась главная улица. У

райисполкома высился щит, на котором значились все колхозы района, а против каждого в соответствующих графах и клетках проставлены были мелом трудовые показатели. Успехи в большинстве хозяйств были неважные.

Широкая главная улица была обсажена двумя рядами старых кудрявых лип. Светлана пошла по улице мимо райкома партии, мимо конторы «Заготзерно» и, когда увидела на углу кинотеатр, свернула с главной улицы налево, как учила Федора. В кинотеатре шла заграничная картина «Собор Парижской богоматери».

Улочка, на которую она свернула, была совсем тихая и безлюдная. В конце квартала строился новый дом, и чудесно пахло свежим деревом. Дом был уже совсем построен и сейчас, очевидно, отделялся. С улицы у окна стояли двое: пожилой плотник в фартуке, с карандашом за ухом и женщина в синем платье в горошек. У нее было гладкое, свежее, румяное лицо и пушистые темные волосы, стянутые узлом. В волосах было несколько седеющих прядей, резко спорящих с молодым еще лицом. Она что-то озабоченно и настоятельно втолковывала плотнику, но Светлана расслышала одно только слово «наличники». А плотник отвечал коротко и бесстрастно:

— Так ведь так на так, хозяйюшка...

— Гриша! — взволнованно крикнула женщина куда-то в глубину окна, когда Светлана проходила мимо.

По тротуару прогуливалась пожилая женщина с маленькой девочкой на руках. Девочке было, видимо, года полтора, она была темноволосая, крепенькая, с толстыми ножками в пестрых башмачках домашней вязки. Нянька или бабушка то ли пела, то ли бормотала что-то бессмысленное, а девочка с любопытством поглядела на идущую мимо Светлану круглыми блестящими глазками.

Пройдя еще два квартала, Светлана прочитала на дощечке перпендикулярной улицы желанное название «Октябрьская» и, перейдя через дорогу, уперлась в дом номер шестнадцать. В приоткрытую калитку заглянула во двор. Он был широкий, поросший низкой травкой, и в глубине двора пожилая женщина снимала с веревки белье.

— Платонова здесь живет? Вера Федоровна? — крикнула Светлана.

— Здесь, — охотно отозвалась женщина и обернулась к Светлане, выжидательно остановившейся в калитке. — Здесь, здесь, заходите. Шарик, демон ты эдакий, гром тебя разрази! — прикрикнула она на бурую дворняжку, с лаем кинувшуюся к Светлане. — Заходите, он не тронет. Так, пустобрех.

Светлана вошла в зеленый двор. Женщина шла к ней навстречу, прижимая к груди охапку чистого белья.

— Вы посидите, — кивнула она на лавочку у крыльца. — Я сейчас. — И скрылась в доме.

Она вернулась очень скоро и приветливо объяснила Светлане, что никого нет, что все ушли, но, надо думать, вот-вот вернуться, так что пусть Светлана посидит, подождет.

— Теперь уже скоро чай пить придут, — словоохотливо объяснила она. — Они теперь завсегда, как с работы придут, на стройку ходят, интересуются. А уж в воскресенье и вовсе-то. Понятное дело — свое, — продолжала она.

А Светлана при слове «стройка» вспомнила новый дом, и запах дерева, и румяную женщину, тревожащуюся о каких-то наличниках.

А женщина с ней рядом уже осведомлялась, издали ли она, и, услышав, что из слободы, с сомнением покачала головой:

— Не знаю, пойдут ли. Скорее на утро отложат. Если, конечно, ничего опасного. Кто болен-то?

— Да нет, я не от больного. Мне так, Веру Федоровну повидавать... — поняв, в чем дело, пояснила Светлана и вдруг поймала себя на том, что еще никому не сказала правды: кто она, откуда и зачем.

И, наверное, не так-то легко будет сказать это, когда наконец понадобится.

— А вот и Сережа! — воскликнула между тем ее собеседница, и Светлана, вздрогнув, обернулась.

В калитку входил мальчик, сосредоточенный и степенный, в белой рубашке с красным галстуком, с густой челкой светлых, выгоревших на солнце волос, косо падающей на лоб. Под мышкой у него было несколько толстых книжек. У Светланы перехватило горло.

— К вам гости, Сереженька, к маме, — радостно объяснила женщина.

Мальчик растерянно остановился.

— Мама скоро придет... — неуверенно сказал он и, подумав, добавил: — Может быть, вы пройдете в комнату?

— Нет, нет, — забеспокоилась Светлана, — я тут... Я так, по делу... Ненадолго...

Мальчик помялся и ушел в дом.

«Вот тут бы с ним и познакомиться, и поговорить, и все ему рассказать... — внезапно спохватилась Светлана. — А, собственно, что рассказать?» — неожиданно оборвала она себя. Что она скажет мальчику, и как скажет, и зачем? Зачем она вообще-то приехала? Как она объяснит все этим людям? Все вопросы, от которых она столько лет отстранялась, вдруг встали перед ней во всей своей прямоте и необходимости, встали внезапной преградой, о которой она позабыла, но которая тем не менее существовала. Ее вдруг охватило страшное беспокойство, смятение, с которым невозможно было совладать. Она резко поднялась, торопливо сказала: «Я, пожалуй, ждать не стану, я лучше позже зайду» — и быстрым шагом пошла к калитке.

В ту же минуту она услышала оживленные голоса, калитка навстречу ей скрипнула и распахнулась. Во двор вошла та самая румяная женщина в синем платье в горошек и следом за ней коренастый мужчина средних лет, одного с ней роста, в вышитой косоворотке. Они о чем-то оживленно говорили, и застывшая на месте Светлана опять услышала слово «наличники». А в калитке тем временем показалась нянька с девочкой, которая так же умненько и заинтересованно глядела на Светлану.

— Вот и дождались! Вот и наши пришли! — запела женщина на лавочке. — Вас дождутся! Вот, Вера Федоровна, — пояснила она насто-роженно остановившейся женщине.

— Здравствуйте, — совсем другим тоном, негромко и суховато, сказала женщина и мягко бросила через плечо остановившемуся было рядом с ней мужчине: — Ты ступай, Гришенька, поставь чайник, я сейчас...

— Не задерживайся, Веруша, — уходя в дом, коротко сказал он, неодобрительно взглянув на совсем растерявшуюся Светлану.

— Да, я вас слушаю, — деловито сказала женщина, как только они остались одни, выжидательно глядя на Светлану внимательными светлыми глазами. Нет, у нее не только несколько прядей седых, у нее вообще много седых волос, а лицо действительно молодое и свежее, но сейчас уже не такое взволнованно-оживленное, как там, у дома... Но женщина ждала. Надо было что-то говорить.

— Вы Вера Федоровна Платонова? — залепетала Светлана.

— Да, я, — еще более отчужденно сказала женщина. — А вы, протите, кто будете?

— Я... — Светлана беспомощно улыбнулась. — Вы меня, наверно, не знаете... То есть нет, наверно, не помните... Хотя, может быть...

— Ваша как фамилия? — резко спросила женщина, видимо начинающая терпеть.

— Так ведь я... Вам, наверно, писали... Я Светлана Зайцева, — наконец решилась Светлана и перевела дыхание.

Женщина смотрела так же недобумевающе. Ей ничего не сказало с таким усилием произнесенное имя.

— Мне никто ничего не писал,— уверенно сказала она.— Кто мне должен был писать о вас? В какой связи?

— Да нет, я только думала, может быть, писал...— У Светланы сперло дыхание.— Сергей Петрович...

— Сергей Петрович? — так же резко переспросила женщина, но тут же что-то дрогнуло в ее голосе и в лице и словно тень промелькнула в светлых глазах. И, словно подбодренная этим едва заметным замешательством такой деловой и уверенной в себе женщины, Светлана, глотнув воздуха, торопливо и решительно заговорила:

— Сергей Петрович Платонов, военврач второго ранга. Я медсестра Светлана Зайцева, всю войну служила под его началом, в его медсанбате.— Она видела, что женщина бледнеет, что у нее вздрагивают губы, что в глазах у нее появилось выражение испуга, и это почему-то придало ей решимости.— Я всю войну была вместе с Сергеем Петровичем. Его только ранило без меня, я в это время раненых перевязывала. Но я сразу же прибежала. Он был еще жив, но без сознания. И умер у меня... у меня...— Она приподняла и чуть протянула вперед руки.— И вот приехала, пришла... Думала, вам будет интересно... Я ведь всю войну...

— Да, да, конечно, конечно! — захлебнулась от волнения женщина.— Я не поняла сразу, простите. Пойдемте в дом. Пойдемте, пойдемте,— овладев собой, решительно сказала она и потащила Светлану на крыльцо.

Она ввела ее в комнату, темноватую от обоев и тяжелых портьер на окнах, обставленную старинной мебелью, усадила, чрезмерно суетясь, и, попросив прощения, убежала куда-то. Ее не было минуты две, но если она за это малое время сумела собраться и справиться со своим волнением, то Светлана, наоборот, снова растерялась. Ее смутила эта обстановка, видимо сохранившаяся еще со времен его детства, множество портретов и фотографий на стенах... Где-то тут, среди девочек в больших соломенных шляпах и мальчиков в матросках, был и маленький Сергей Петрович, и Вера Федоровна, конечно, знала, где он, а вот она, Светлана, не знала, и это смущало и волновало ее.

А Вера Федоровна уже совсем спокойно расспрашивала ее о том, где же именно и когда она встретилась с ее мужем, и спокойно кивала, слушая ее короткие ответы: «На Валдае... В начале сорок второго...» Было ясно: она никогда ничего не знала о Светлане и даже сейчас ни на минуту не представляла и не думала о том, что ее отношения с Платоновым могли быть чем-то иным, кроме трехлетней службы в одной части, в одном подразделении.

— Какими же судьбами попали вы в наш город? — спросила наконец Вера Федоровна, узнав, что Светлана москвичка.

Светлана сказала что-то вроде того, что говорила попутчикам, колхознице на рынке, Федоре. Что-то туманное о знакомых и об отпуске. Вот уж не думала она, что эти же неточные слова будет говорить той женщине, ради встречи с которой пять лет собиралась сюда, копила деньги, готовилась и вот наконец приехала. И уже после этого вопроса и этого ответа стало ясно, что говорить больше не о чем. Обе помолчали.

— Это очень мило с вашей стороны, что вы зашли к нам,— сказала Вера Федоровна.— Сейчас будем чай пить.

— Нет, спасибо, зачем же... — залепетала было Светлана, но в эту минуту в комнату вошел Сережа.

— Познакомься, Сережа,— ласково сказала мать.— Вот Светлана Андреевна, она была на фронте вместе с нашим отцом.

Сережа подал руку лодочкой, глянул как-то искоса и залился смуглым жарким румянцем. И тут Светлана увидела, как он похож на отца.

— Похож ведь, верно? — словно повторила ее мысли Вера Федоровна. — И характером похож очень. Только отец веселее был. Как он там, на фронте, не скучал, поди, и другим скучать не давал?

Она говорила легким, ни к чему не обязывающим бодрым голосом, за которым легко скрыть любые чувства, а Светлана с тревогой следила за мальчиком. Ей вдруг стало казаться, что вот его-то ей и надо, что вот ему-то она могла бы без конца рассказывать об отце и о войне, а он бы жадно слушал и без конца задавал вопросы. Она очень забеспокоилась о том, что Сережа вдруг уйдет, и словно бы затем, чтобы во что бы то ни стало предотвратить это, торопливо заговорила:

— У меня там с собой кое-что есть... Фотографии разные военные... Бумаги еще Сергея Петровича... Я могу это все принести тебе, Сережа. Показать или вовсе отдать, если хочешь.

Мальчик опять вспыхнул и, глядя в сторону, пробормотал что-то невнятное.

— Ну что же ты, мальчик? Ответь толком, — подбодрила его мать. — Ну, разумеется, ему это будет очень интересно, да и мне тоже... — Но она недоговорила, ее внимание было отвлечено детским лепетом за дверью, и тотчас же в комнату вошел тот, коренастый, в расшитой косоворотке, с девочкой на руках. Светлана в тревоге совсем позабыла о них.

— Знакомьтесь, Светлана Андреевна, — говорила между тем Вера Федоровна, вставая и беря на руки девочку. — Это мой муж, Григорий Иванович, а это Наденька, наша дочка. Наденька, наша дочка! — повторила она нараспев, подбрасывая девочку. — Ну как там ваш чайник? Страсть как чаю хочется! Давайте скорей чай пить! Няня, соберите на стол!

Она была подчеркнуто оживлена — может быть, скрывая за этим свое смятение, может быть, для того, чтобы отвлечь сына. А может быть, впрочем, она всегда была такой.

А Сережа, воспользовавшись шумом и возней, незаметно вышел из комнаты, и Светлане сразу стало ужасно как неуютно и неприятно, и весь ее приход и все, что она говорила, показалось внезапно донельзя фальшивым и никому не нужным. И вместе с тем ей было почему-то мучительно трудно встать, оторваться от всего этого, и она почти с усилием поднялась со стула.

— Что вы? Куда вы? — забеспокоилась хозяйка.

Но Светлана была решительна.

— Мне нельзя оставаться, Вера Федоровна, — твердо сказала она, — меня будут ждать, я не предупредила. Мне ведь еще идти далеко.

— Очень жаль, право, — сказала та так просто и душевно, что Светлана вдруг поверила в ее полную искренность и словно в благодарность за это сказала не задумываясь, так же непосредственно и просто:

— Я к вам лучше завтра приду, если хотите.

— Ну разумеется, хотим! — словно за всю свою семью ответила Вера Федоровна. — Приходите непременно. Я к четырем возвращаюсь из больницы, и мы обедаем с детьми. Он-то в будние дни поздно приезжает, — кивнула она в сторону мужа. — Приходите обедать с нами. А потом пойдем гулять. Я покажу вам наш город, то, чего вам никто уже не покажет. То, что мы тут любили с Сережей.

Это она про него, про ее, Светланиного Сережу, поняла Светлана. Та тоже звала его Сережей и до сих пор зовет его так. А вот ей, Светлане, нельзя, она должна всегда говорить Сергей Петрович.

— Спасибо, приду. Постараюсь, — ответила она.

Вера Федоровна вышла ее проводить. На улице уже исподволь вечерело — было еще совершенно светло, только поубавилось блеска и все померкло, приглушилось.

— Это хорошо, что вы пришли. Это очень хорошо,— говорила Вера Федоровна, словно извиняя и оправдывая Светлану, и она почувствовала острую потребность самой как-нибудь тверже оправдать, объяснить свой приход.

— Я ведь почему пришла,— сказала она нарочито небрежно.— У меня вот остались бумаги эти... Письма, фотографии разные... Я думала, вам будет приятно...

— Ну разумеется,— согласилась Вера Федоровна.

— Я почему сегодня не принесла,— продолжала Светлана.— Не знала, найду ли, застану ли. Так, на авось пошла, вот и не захватила.

— Ну понятно,— кивнула Вера Федоровна.

— Я вам завтра все это непременно принесу.

— Спасибо,— согласилась Вера Федоровна.

— Я не простила с Сережей,— вдруг вспомнила Светлана.

— Ничего! — успокоила ее Вера Федоровна.— Вы знаете, у него такой возраст трудный. Он стал всех дичиться, и я стараюсь не фиксировать на этом внимание и не одергивать его. Так быстрее пройдет. И то же самое в отношении отца. Его отца, Сергея Петровича,— пояснила она, поняв вопросительный взгляд Светланы.— Он совершенно не принимает разговора о нем. Видимо, это такая отроческая ранимость. И я щажу его, не настаиваю. Вырастет, справится со всем этим, сам заговорит. Правда ведь?

Светлане показалось, что мать и ее просит вести себя с мальчиком так же, и, не находя в себе сил для ответа, только молча пожала ее руку и толкнула калитку.

— Приходите же завтра! Мы будем ждать вас! — дружелюбно крикнула ей вслед Вера Федоровна.

## 7

Разные люди переживают жизненные потрясения по-разному, и не что иное, как врожденное чувство самозащиты подсказывает каждому человеку, как ему следует вести себя в беде. Светлане было ясно только одно: не надо думать о том, что случилось. Надо как можно скорей идти знакомой уже дорогой в слободу, к Федоре Павловне.

Когда она подходила к дому, уже смеркалось. Дверь в кухню была растворена, на пороге, сложя руки, сидела Федора, а перед ней на молодой травке кипел старый, весь во вмятинах, медный самовар. Он очень помог Светлане — она сразу начала радоваться тому, что они будут пить чай из самовара, и шумно рассказывать о том, как всю дорогу ей ужасно хотелось чаю, хвалить и благодарить Федору Павловну и только мимоходом, небрежно и без подробностей, как о чем-то очень неинтересном, ответила на вопросы Федоры о том, нашла ли кого искала, застала ли, все ли выполнила.

За чаем с московскими пряниками и сушками просидели долго, до полночи, и болтали без умолку. Светлана расспрашивала, а Федора очень охотно отвечала. Она рассказала гостье всю свою жизнь: как хорошо жилось в семье отца, какой у них был сытый, хозяйственный дом; о том, как ее выдали замуж и какой у нее был хороший и солидный муж — почтовый чиновник; о том, где она жила в Москве. Посокрушалась о том, как несправедливо поступили с ее отцом и братьями, ни за что ни про что, с ее точки зрения, раскулачив их. Наладил все это — Федора уж знала! — один бессовестный человек, самая что ни есть голытьба, Кирюшка Петунин. Оказалось, что она вовсе не так уж одинока, что у нее в окрестных селах много близкой родни, но она с ней особой дружбы не водит, потому что народ деревенский известно какой: все больше норовит на шею сесть да чужим попользоваться.

На расспросы о колхозной жизни она отвечала пренебрежительно: никакого порядка, никакого достатка, курам на смех хозяйство,

взять, к примеру, хоть здешний колхоз. Слобода находилась уже за чертой города, в сельской местности, и часть ее населения работала в небольшом колхозе, в котором, с точки зрения Федоры, много лет, включая военные годы, все шло из рук вон плохо.

— Как война кончилась, пятый председатель меняется, чего ж с них взять-то? — с какой-то злорадной безнадежностью заключила Федора.

— Но ведь не всюду так? — допытывалась Светлана. — Есть ведь и хорошие колхозы, верно ведь?

— А как же! — кивала Федора. Взять хоть ее родное село — ничего не скажешь, хороший колхоз, люди не обижаются. А почему? А потому что председатель толковый. Вот уже сколько лет, с самого, можно сказать, основания работает. Петунин Кирилл Васильевич. Хозяйственный мужчина, самостоятельный. Как он на войну ушел, все под уклон пошло, а как с войны пришел, хоть и без ноги, опять дело повел, люди зажили...

Это, видимо, был тот самый, что раскулачивал Федорина отца, сообразила Светлана. Федора явно относилась к этому человеку очень противоречиво.

Светлана позволяла хозяйке дома болтать, пока не почувствовала, что смертельно хочет спать и уснет сразу, ни о чем не думая. Обычно она любила перед сном полежать в постели, повспоминать, подумать обо всем, что накопилось в душе за день, но сегодня ей надо было уйти от этого обыкновения, избежать его — этого требовало чувство самозащиты.

## 8

Утром Светлана ушла на реку и пошла той тропинкой, которая так манила ее накануне. Она пошла направо, вниз по течению реки, словно бы в ногу с рекой, и когда в иных местах река почему-то убыстряла течение, Светлана тоже невольно прибавляла шаг.

Слобода скоро кончилась, а тропинка все бежала вперед, но теперь справа от нее вместо домов и садов простиралось бесконечное, ничем не прерываемое до самого горизонта поле: уже густая озимь, яркая прозелень молодых всходов, лоснящиеся и жадно дышавшие, еще не затянувшиеся корочкой и не поросшие сорняками, недавно поднятые пары. Непрестанное движение реки, умиротворяющий шепоток воды, всепроникающее пение и щебет майских птиц, живое гудение, жужжание, стрекотание несчетных невидимых насекомых — все это сливалось воедино, образуя то полное неумолчных звучаний состояние природы, которое почему-то называется тишиной. Тишина долго словно бы баюкала Светлану, отвлекая ее от всяких дум, и она охотно отдавалась ей, подчиняясь ее могучей власти, пока не начала ощущать, что смятение, в котором она пребывала со вчерашнего вечера, стало утихать. Она не сразу поверила в это, отрывистыми касаниями исподволь проверяя себя, как проверяют языком долго болевший и наконец успокоившийся зуб, а когда твердо поверила, решительным рывком освободилась от власти убаюкивающей мысли тишины и без оглядки шагнула в самое себя, в мир своих раздумий, своих решений.

Она была молодым здоровым человеком с устойчивой, ясной психикой и твердо чувствовала одно: для того чтобы пережить то, что произошло, ей надо прежде всего отчетливо уяснить себе, что же именно произошло, что же именно так потрясло ее. Когда же ей это станет ясно, она сможет заглянуть вперед и увидеть, какие последствия проистекают из всего случившегося и какое значение будут они иметь для ее дальнейшей жизни, и уже в зависимости от этого она примет решение, необходимое для того, чтобы жить дальше.

Итак, что же, собственно, произошло? Она приехала в город Сергея Петровича и пришла к нему в дом, к его семье, и там ее никто не ждал, никто не знало ее существования... Ну что ж, что не ждали, это



понятно, а вот что не знали о ее существовании... Это было, пожалуй, горько и больно своей неожиданностью. Она никогда не спрашивала Сергея Петровича о том, написал ли он жене о ней, Светлане, об их любви. Зачем ей было спрашивать, он был много старше и умнее и сам знал, как следует поступать, — она во всем беззаветно верила ему. Она не спрашивала, но в глубине души была уверена, что он все написал, все, всю правду, что он не станет, не сможет, вообще не умеет обманывать. Она ошибалась, он, оказывается, умел обманывать. Он, оказывается, обманывал жену. На миг Светлане стало трудно дышать, и это заставило ее остановиться и оборвало ход ее мысли. Но переведа дыхание и глубоко вдохнув теплый и душистый полевой воздух, она словно бы и в мыслях своих пошла дальше.

Почему же он, такой прямой, такой честный со всеми и всегда, вот именно в этом, самом глубоко и сокровенном, требующем самой большой чистоты и правды, отступился и сумел солгать, сумел долго, несколько лет, три года, лгать? Может быть, потому, что для него это не было таким уж большим и значительным? Может быть, для него это не было тем, чем для нее? Может быть, для него это не было вовсе большой любовью, а было всего лишь несерьезным, неглубоким фронтовым увлечением, интрижкой, ерундой? Неправда! Светлана гневно оборвала саму себя. Как она могла хоть на минуту так подумать?! Как она смела?! Как ей не стыдно?!

Обычное фронтовое увлечение... Обычные фронтовые отношения... Как часто слышала она, вернувшись с войны, эти слова. Их легко употребляли в разговоре ее товарищи по работе в поликлинике, медицинские сестры, которые в большинстве своем были и сами всю войну на фронте. Их употребляли в среде ее знакомых, родных и соседей, обсуждая измены военных лет, которые вовсе не всегда кончались уходом из семьи к новой любви. Светлана слушала эти, в сущности, обидные слова, но они почему-то никогда не обижали и даже не задевали ее. Они просто ее не касались, просто не имели никакого отношения к ним с Сергеем Петровичем. Они не вызывали в ней возмущения, эти примелькавшиеся словосочетания, и она не произносила гневных обличений, отрицающих самую возможность существования подобных отношений... Разве же их не было? Конечно были! Но то, что было у них, то, что стало сутью всей ее жизни, было так далеко и высоко от этого, что ее и обидеть не могли небрежные упоминания об этих чьих-то неинтересных и несущественных судьбах. Так как же посмела она сама вдруг подвергнуть сомнению свою собственную судьбу, свою любовь, его любовь, давшую ей столько счастья и силы?!

Неправда, он любил ее честно и горячо, всей своей сильной и благородной душой, а если не знает об этой любви жена его, то почему это надо называть ложью? Разве он лгал? Ничего подобного! Он никогда никому не лгал, он просто не говорил, вернее, не писал об этом жене. Почему? Не мог, не хотел, не считал нужным. Он был на войне, его каждый день могли убить, и жена жила в постоянной тревоге за него, за его жизнь. Он подумал и не нашел возможным взваливать на нее еще и это известие — о его новой любви, о его измене. Да, да, да, это было изменой, то, что стало жизнью Светланы, счастьем Светланы, это было его изменой чему-то и кому-то, какой-то большой части его жизни. Это было чьим-то страшным горем, чьей-то мукой. Господи, как это ужасно! Это только она, юная дуреха, ослепленная счастьем, так нежданно и щедро нахлынувшим на нее, могла думать, что все это очень просто и естественно: любил жену, а теперь вот любит ее, и что же тут такого? Она и не мучилась-то ничем, она и не задумывалась о том, что это ее великое счастье — великое горе для кого-то другого, для другого человека, для другой жизни. Слепая, тупая, ограниченная, она и не задумывалась об этом никогда. А он думал, помнил, беспокоился, мучился даже, наверное... Он мучился, а

она и не подозревала. О господи! Ей опять не хватило дыхания... И вот он решил, пока возможно, до поры до времени не допускать того, чтобы их любовь, их счастье стали чьим-то горем и мукой. Он так решил и не допустил этого. У него хватило на это большого честного сердца, душевной силы, благородства и ума, хотя это и было ему очень трудно. Вот он какой был человек!..

Ей захотелось зарыдать, освободить себя от комка, застрявшего в горле, но это не получилось. У нее вырвался только короткий, сухой, сразу же оборвавшийся стон. Она проглотила слюну, и комок, пожалуй, все-таки стал поменьше.

Стало быть, то обстоятельство, что жена Сергея Петровича ничего не знала о Светлане, не должно мучить и обижать ее. Он так решил и он поступил правильно, благородно и человечно. Он и тут оказался неизмеримо больше, умнее, сильнее, выше ее. За это можно только еще сильнее полюбить его, если это вообще возможно, а страдать от этого нечего, мучиться этим нечего. Все. Ясно! Теперь дальше.

Если совершенно естественно, что ее не ждали и что о ней не знали, то что же удивительного в том, что ее приняли сперва несколько недоуменно, что растерялись перед ней, не совсем понимая, зачем она пришла, и не сумели скрыть это? Ничего в этом нет удивительного, ничего нет обидного и дурного, и это тоже не должно несколько ее огорчать. Она бы и сама, наверное, на месте Веры Федоровны вела себя так же. При всех обстоятельствах. А ведь она еще не все их припомнила. Есть еще тот человек в вышитой косоворотке и та девчоночка. Григорий Иванович и Надя. Новая семья, новая жизнь... Об этом она еще не подумала. Это, оказывается, возможно: потеряв любимого человека, потеряв свое счастье, полюбить другого и жить дальше с другим. И быть счастливой... Неужели это возможно? Вот у этой женщины, которая лет на пятнадцать старше ее, Светланы, это получилось и, надо думать, она счастлива. Какой у нее был оживленно-взволнованный вид там, у нового дома, у окна, когда она беспокоилась о каких-то наличниках. Как же следует относиться к этому обстоятельству? Оно-то какое имеет значение? Следует ли осуждать за это женщину? За что? За то, что, потеряв мужа, она не умерла от горя и не отказалась от другой жизни, от другой любви? Но ведь Сергей-то Петрович полюбил Светлану и оставил бы эту женщину, если б остался жив. Правда, она-то этого не знает, но Светлана знает, значит, уж никак не смеет ее осуждать. И Сергей Петрович, наверное, был бы рад за жену, рад тому, что она, как говорится, устроила свою жизнь, тому, что у сына его, у Сережи, есть отец... Сережа!.. О нем она еще не думала. О нем она потом подумает. Теперь дальше.

Стало быть, и новые обстоятельства жизни Веры Федоровны ничем не должны огорчать или обижать ее, Светлану. А вот Веру Федоровну, очевидно, смущало вчера то, что ей пришлось познакомиться Светлану с новым мужем. Наверно, ей было это неловко, и вот еще одно объяснение тому, что она не сразу стала естественна и радушна. А уж ей-то, Светлане, совершенно не следует огорчаться и переживать. Совершенно не из-за чего. Так отчего же она все-таки так терзается? Отчего же все-таки все случившееся было так трудно, так мучительно для нее?

Очевидно, только оттого, что все получилось совсем не так, как она себе это представляла, совсем не так, как она это себе в течение нескольких лет придумывала. Потому что придумывала она все это исходя из неверных предпосылок, из неверных представлений, неверных и нежизненных. Потому что в жизни ничего не надо придумывать, да и нельзя ничего придумать — слишком много всего надо охватить, учесть, понять, а этого-то она и не сумела. Она думала только о себе, помнила только себя, совсем забыв о жизни, судьбе, обстоятельствах жизни других людей, об их характерах, устремлениях. И никто, кроме

нее, ни в чем не виноват. Все очень просто: она совершила ошибку, неверно все представив и рассчитав, и кто же виноват в том, что она на этих неверных расчетах слишком многое построила?

Так на что же она, собственно, рассчитывала, чего ждала? И вдруг Светлане показалось, что она попросту надеялась, что здесь, в городе Сергея Петровича, в доме его, она снова найдет его самого. Эта догадка внезапно, как искра, вспыхнула в ее мыслях и, как искра, исчезла, погасла, и Светлана сделала вид, будто не заметила ее. Нет, нет, она просто думала, что придет к людям, которые так же, как она, живы памятью о нем и любовью к нему, и что они соединят воедино эту память и любовь и от этого всем им станет легче. Так она думала? Вероятно, так. И она поймала себя на том, что уже не может до конца восстановить картину, которую представляла себе, уже не может до конца отдать себе отчет в том, чего она ждала от приезда сюда, что делало для нее этот приезд таким заманчивым и желанным. Во всяком случае, ничего из того, чего она ждала, не случилось. Так что же все-таки случилось?

А случилось то, что в жизни все оказалось проще, человечнее и обыкновеннее, чем в ее представлениях. Жизнь этих людей, которые, конечно же, и любят и помнят Сергея Петровича, ушла уже далеко вперед, у них уже есть много нового, что надо беречь и любить, и только вот у нее этого нового нет. Но ведь ей и не хочется и не нужно ничего нового — она, наверное, и не смогла бы впустить в свою душу, в свою жизнь еще какую-то новую любовь, нового человека. Ее душа так заполнена, что в ней и места, пожалуй, не нашлось бы и сил бы на это у нее уже не хватило. Вот у нее и нет в жизни ничего другого, так отчего же ей мучиться и страдать? Или именно от этого — оттого, что ее-то хватило только на одну любовь к одному человеку и она оказалась слабее этой женщины, его жены, у которой хватило же сил на новую жизнь, на новую любовь? Не потому ли она оказалась сильнее Светланы, что была его женой долго, много лет, всю жизнь, и сумела большему у него научиться, больше у него взять, чем она, Светлана, за эти три года, пока они были вместе? Были вместе! Вот ведь и сама она употребляет это странное выражение, не смея даже в мыслях своих назвать себя его женой. И уж он-то, Сергей Петрович, наверняка сказал бы, увидав, как она живет без него: «Что ж ты, брат? Неладно как-то все у тебя получается. Небогато получается, скучно. Любовь у человека не кончается, не останавливается, не умирает. Она всегда живет в нем, всегда движется с ним и движет им всегда, пока он живет с людьми, потому что любовь — это жизнь». Что бы она ему ответила, если бы он сказал так? Она бы ответила, что и у нее ничего не умерло и не кончилось — ведь она же любит, любит его. Он не может, не должен, не смеет ее упрекать, ее не за что упрекать, она ничего дурного не сделала и ни в чем не виновата. Она допустила ошибку, представив себе, будто эта поездка принесет ей какую-то радость, но ее любовь ничем не поколеблена, наоборот, она станет сильнее от того, что узнала она о своем любимом, о его заботе как бы не принести лишнего страдания своей жене, этой хорошей, сильной, обаятельной женщине. И все осталось так, как он хотел, как он счел нужным. Его жена ничего не узнала и не поняла. Ну приехала в город однополчанка доктора Платонова, ну зашла к его семье, так что же здесь такого? Ничего особенного! Ну она удивилась и смутилась, жена, и, конечно же, разволновалась, но и в этом нет ничего особенного. Стало быть, мучиться опять же нечего, ошибка не страшная, не роковая. Вот только ходить туда больше нечего, это ясно. И от этой внезапно обретенной ясности Светлане вдруг стало очень легко и спокойно. Она глубоко вздохнула, не ощутив в горле комка, и, на секунду зажмурившись, широко открыла глаза и огляделась.

Она, очевидно, ушла уже очень далеко от слободы. Все вокруг было золотое, зеленое и синее. Река ласково мерцала и шелестела.

Светлана подошла к самой воде и села на теплый чистый песок, пальцами поглаживая чуть заметную речную волну.

Она совершила ошибку, и спасибо на том, что ошибка эта быстро обнаружилась. Она больше не повторит ее, она больше не пойдет туда, это ни к чему, это неизбежно получится фальшиво и натянуто. Потому что ведь не станет же она рассказывать Вере Федоровне всю правду, а без правды какой разговор! Вот она больше и не пойдет туда. Но что же тогда она будет делать в этом городе? Она повидала его, а теперь ей, пожалуй, действительно нечего больше тут делать и она просто-напросто уедет отсюда. Вот и все. Нет, кажется, еще не все, кажется, еще что-то было, еще о чем-то она не подумала. Ах да, Сережа!

А что Сережа? У него хорошая мать, семья, пионерский галстук и толстые книжки. Он, наверное, часто думает о погибшем отце, и думы его, может быть, даже больше и лучше, чем то, что она могла бы ему рассказать. Она не пойдет туда больше никогда. Она уедет из этого города. Уедет сегодня же. Поезд проходит вечером, она вполне успеет, ей можно даже еще и не спешить. Какой удивительный майский день! Какая, в самом деле, чудесная река!

## 9

Она не дала себе труда придумать для Федоры хоть сколько-нибудь правдоподобное объяснение столь внезапного отъезда. Она просто провела весь день на реке и когда вернулась, то времени уже оставалось в обрез, и она подняла страшную суматоху, во время которой было уже не до объяснений. Однако Федора не растерялась и даже не особенно удивилась — она не любила тратить себя на подобные чувства. Она все же успела накормить Светлану обедом и наотрез отказалась от каких бы то ни было денежных расчетов — два дня прожила, какие могут быть деньги! Но она не возразила против того, чтобы Светлана оставила ей свои припасы: пряники с сушками и сахар с леденцами, — записала Светланин московский адрес и пообещала осенью навестить ее и привезти яблок. В последнюю минуту она неожиданно надела свое старомодное пальто на лиловой подкладке и заявила, что идет провожать. Мало ли что, вдруг билет не продадут, а у нее, у Федоры, как-никак есть на станции знакомые, вот и сгодится. Сейчас, правда, не должно быть трудностей с билетами, не сезон еще, а вот осенью, как поедут студенты да дачники из Ельца, из Задонска, из Рождества, — так прямо страсть что на вокзале делается.

Светлана почти не слушала ее болтовню, она прощалась с городом, прощалась с рекой, все так же мирно бегущей и лепечущей на бегу, прощалась со спокойным теплым полевым воздухом этого города, и ей казалось, что прожила она тут очень долго, целую жизнь, или уж во всяком случае несколько очень значительных лет, в течение которых она стала много старше душой.

Федора оказалась права, на станции все было спокойно, народу у кассы немного, и дежурный по вокзалу сказал, что беспокоиться нечего, уедет. Вот разве что плацкарты может не быть, ну да на что она на одну ночь-то.

Оставив Федору с чемоданом в очереди у кассы, Светлана подошла к окошку почтового отделения и, купив открытку, присела к дощатому, потемневшему от времени столу в чернильных кляксах и мазках клея. Поглядывая то на перо, то на жестянку с клеем, то на деревянную пресс-папье без промокашки, Светлана раздумывала о том, как ей обратиться к Вере Федоровне: «дорогая», «уважаемая» или «милая»? Она несколько раз окунала перо в густые чернила, пока наконец вывела на открытке своим округлым разборчивым почерком: «Дорогая Вера Федоровна!» Пусть будет поласковее, решила Светла-

на, чтобы та не подумала, будто она обиделась, и вообще чтоб ничего не подумала.

«Дорогая Вера Федоровна! — писала она. — У меня неожиданно все изменилось, и я должна сегодня вернуться домой, в Москву. Очень жаль, что не удалось еще раз у Вас побывать и побродить с Вами по Вашему милому городу. Я рада была познакомиться с Вами, я о Вас так много слышала от Сергея Петровича, а мы все его очень любили и уважали. Передайте от меня привет Сереже, Наде и Григорию Ивановичу. Всего Вам доброго. Светлана Зайцева».

Она помахала открыткой в воздухе, чтобы скорее просохли чернила, потом надела знакомый адрес: «Октябрьская улица, 16», а под чертой в графе «Адрес отправителя» очень подробно и разборчиво вывела свой московский адрес. Теперь, если захотят, найдут.

О бумагах Сергея Петровича она ничего не написала — им они, пожалуй, ни к чему, а ей с ними расставаться жаль. Это все теперь только ее достояние. Она бросила открытку в почтовый ящик и вернулась к Федоре в самый раз: кассу уже открывали.

## 10

Вера Федоровна Платонова плохо спала прошлую ночь. Ее тревожила нежданная гостья, неизвестная фронтная девушка. Было что-то неясное и недоговоренное в ее внезапном посещении. И еще Веру Федоровну беспокоило то, что она не сразу овладела собой, не сумела скрыть своего недоумения и — человек предельной откровенности, не умеющий фальшивить и притворяться, — почувствовала себя крайне напряженно и затрудненно, что помешало ей принять девушку радушно, приветить и приласкать ее. А ведь ее, эту девушку, привело сюда только одно очень естественное и очень доброе чувство, понимала Вера Федоровна, снова и снова перебирая в памяти всю их встречу.

Она долго лежала без сна и, как водится в таких случаях, многое вспомнила и передумала, всякий раз опять возвращаясь к сегодняшней гостье. Кто она, эта девушка, и что связывает ее с покойным мужем, Сергеем? Медсестра, всю войну прослужившая под его началом, — Вера Федоровна любила верить людям, и почему, собственно, в словах девушки следовало сомневаться? Это было так естественно, что, попав в этот город, о котором Сергей — ну еще бы! — такой патриот! — разумеется, часто вспоминал и рассказывал, девушка решила навестить семью своего погибшего начальника. И это трогательно, и ничего нет удивительного в том, что такое юное существо не задумалось над тем, стоит ли это делать, не побоялась встревожить, взволновать людей. Откуда ей было знать, этой девочке, какую бурю подымало в душе жены всякое напоминание о прошлом, как много пришлось ей преодолеть и перебороть для того, чтобы справиться со своим горем и приноровиться к жизни без мужа. Без такого мужа!

Как странно, что на этот раз ей напоминает о нем эта маленькая светловолосая сестренка. Наверное, там, на войне, она была в восторге от Сергея, как, впрочем, все и всюду, может быть, даже была чуточку влюблена в него, как многие медсестры, работающие рядом с ним, но что с того? Почему ей подозревать что-нибудь большее? Обыкновенная миленькая девушка, а тогда, пять лет назад, она была совсем девочкой, одной из многих ей подобных. Нет, такая не могла понравиться Сергею с его умом, блеском, внешностью, с его, наконец, духовными запросами.

Она гнала ревнивые мысли, досадуя на себя за то, что они все-таки присутствовали в ее размышлениях, невольно примешиваясь к почти физическому ощущению боли, которое всегда с новой остротой вспыхивало в ней всякий раз, когда что-либо возвращало ее к ее пережитому горю. Ей казалось недостойным и стыдным то, что к этой

вечной ее боли, к этому великому ее горю бесцеремонно присосеживается что-то мелкое и стыдное, ревность, да к тому же ни на чем не основанная, кроме обычной бабьей подозрительности. Как она может опуститься до этого, да и какое право имеет она на эту запоздалую, задним числом ревность, она, жена Григория Ивановича, спокойно спящего сейчас в этой же комнате?

Григорий Иванович попал к ней в госпиталь — в годы войны их больница была госпиталем — летом сорок четвертого года. У него была тяжелая рана, неопасная, но долго не заживавшая, требовавшая длительного лечения и ухода, и он прожил в госпитале полгода. Они очень подружились за это время, он бывал у нее дома, возился с Сережей, был в курсе ее постоянных тревог о муже, и она привыкла к его сочувственному вниманию и естественному стремлению помочь ей, облегчить ей нелегкую жизнь много работающей женщины. Он был одинок — жена ушла от него перед самой войной, забрав двухлетнюю дочку, оставив его в таком состоянии чувств, в такой растерянности, что, как он сам с горькой улыбкой признавался, война для него пришла как нельзя более кстати. И все-таки он думал о своей семье и, видимо, надеялся на то, что жизнь их еще не совсем развела, что они еще могут найти друг друга и все наладить. Получив после лечения короткий отпуск, он съездил в родные места, на Северный Кавказ, где до войны работал агрономом в совхозе, и в скором времени прислал Вере Федоровне горькое письмо о том, что своих нашел в полном порядке, но его дочь зовет отцом другого человека, так что ему в родных местах делать, видимо, нечего. Войну он довоевал в тылах армии, на штабной работе. Они изредка переписывались, и ему Вера Федоровна написала о своем горе, которое вплотную совпало с победой, навсегда затмив для нее солнце тех незабываемых дней. Он почему-то долго не отвечал на письмо, а осенью вдруг приехал в город и поступил на работу в совхоз. Однако от служебной комнаты он отказался и жил в городе, неподалеку от нее, каждый вечер и каждое воскресенье проводя у Веры Федоровны. Он так уверенно, так спокойно и разумно приучал ее к себе, к своей близости, нежности, вниманию, что она скоро подчинилась этому и почувствовала себя рядом с ним моложе, слабее и беспомощнее, а его — надежной опорой и заступой в жизни. А это лучшая основа для отношений между мужчиной и женщиной.

Она никогда не сравнивала его с погибшим мужем; тот был один такой на свете, и никто не мог бы сравниться с ним, но ведь его больше на земле не было нигде и ни для кого. А Григорий Иванович хороший человек, знающий агроном, достаточно интеллигентен... Жизнь ее текла ровно и благополучно, в ней не было пустот и одиночества, была любимая работа, семья. Зачем же понадобилось этой чужой девушке вторгаться в ее жизнь и будить то, что самой жизни удалось усыпить и приглушить? Как жестоки порой чужие и равнодушные люди со своими внешними проявлениями внимания. И еще Сережа — у него сейчас такой трудный период роста, он стал угрюм и раздражителен, и даже Григория Ивановича, который прекрасно с ним справляется, порой озадачивает. А у этой девушки еще какие-то письма и фото... Его может все это взволновать и потрясти. К чему это все, право?

И все-таки она ужасно неуклюжий человек, неповоротливый, неловкий. Почему она не смогла сразу справиться с собой и принять эту девушку проще и ласковее? К концу у нее это начало получаться, но девушка вдруг заторопилась, и она не сумела ее удержать. Да, по правде говоря, она рада была ее уходу, ей надо было привести в порядок свои растрепанные мысли и чувства. Зато сегодня она будет в форме и выправит положение. Только не надо допускать до рассказов и воспоминаний, это может опять вывести ее из равновесия. Надо повести ее гулять, надо взять с собой детей, чтобы они отвлекали, **надо побольше болтать о пустяках.** Может быть, даже стоит пойти

с ней в кино. Жалко, Гриши не будет, у него сегодня после работы производственное совещание. Впрочем, пожалуй, это лучше — он в этой ситуации все-таки стеснял бы ее.

Ночь она провела плохо, почти не спала, но работа собрала ее и успокоила. День был нетрудный, без операций, и она вернулась домой готовая к встрече.

Они с детьми долго ждали Светлану с обедом, но она все не шла, и Вера Федоровна даже забеспокоилась. А в шесть часов неожиданно приехал Григорий Иванович — директора вызвали в область, и производственное совещание отменили — и предложил использовать вечер: сходить в кино. Он очень ревностно относился к своим свободным вечерам, они у него выпадали нечасто. Вера Федоровна согласилась, но на поздний сеанс, а то эта девушка вчерашняя обещала зайти. Григорий Иванович попил чаю и на часок ушел на стройку, а она, не находя себе места, не будучи в силах чем-либо заняться, слонялась по дому, глядела в окно, даже выходила на улицу. Тревога ее все возрастала, и она уже ждала прихода Светланы как облегчения. На минуту у нее даже мелькнула мысль: не пойти ли в слободу, не поискать ли там Светлану? Это было нетрудно — у Веры Федоровны там было много знакомых, а приезжую девушку все уже небось приметили, — но что-то удержало ее от этого.

Григорий Иванович скоро вернулся, сказал, что на стройке все в порядке, и, почувствовав ее беспокойство, пожал плечами: ей, Вере Федоровне, лишь бы поволноваться! Подумаешь, не пришла! Задержало что-нибудь более веселое. Не пришла сегодня, придет завтра. Как ее хоть зовут-то?

— Светлана Зайцева, — ответила Вера Федоровна, как всегда невольно успокоенная его уверенным и твердым словом.

— Типичная фронтовая сестричка! — улыбнулся Григорий Иванович. — Сразу медсанбатом пахло. И наверняка была влюблена в военврача.

— Все возможно, — нарочито небрежно отозвалась Вера Федоровна, — все возможно. Может, даже и он обратил внимание. Обыкновенная фронтовая история... — Ей показалось, что голос ее звучит ужасно фальшиво. Господи, зачем она болтает все это?! Как глупо!

— Ну что ты! Тогда она нипочем не пришла бы к тебе, — уверенно возразил Григорий Иванович.

Вере Федоровне очень захотелось, как всегда, без колебаний поверить ему и освободиться от гнетущей тяжести и тревоги, но это у нее почему-то не получилось. Она чувствовала себя разбитой и почти больной, ее тянуло в постель, уткнуться в подушки, лежать, ничего не видя и не слыша, ни на что не откликаясь, ни о чем не думая, кроме своей боли, как лежала она тогда, в первое время, когда пришло то грозное известие, но она не разрешила себе поддаться этому желанию. Надо было жить и не выбиваться из колеи, с таким трудом обретенной.

В девять часов они ушли в кино.

...А Светлана сидела в вагоне у окна, на боковом месте, вглядывалась в вечеряющий пейзаж и, чтобы не возвращаться ко вчерашнему, ловила обрывки чужих разговоров, думала о том о сем. Завтра же она съездит к тетке в Царицыно и узнает, нельзя ли ей там провести отпуск. Тетка, разумеется, обрадуется — ей скучно жить одной, — и Светлана славно отдохнет, будет каждый день ходить на пруды, хорошенько осмотрит Кусковский музей, в котором не была с детства. Кроме того, у тетки отличная швейная машина, и она может спать себе что-нибудь. Кстати, надо будет подумать о новой шубе, старая уж очень поизносилась. Пожалуй, она все-таки забежит завтра к себе в

поликлинику и, если в этом есть надобность, дня через два выйдет на работу, а деньги за отпуск отложит на шубу.

— Нет, ты не скажи,— доносился до нее из соседнего купе нетопливый глуховатый голос,— ты не скажи, я тебе говорю. Почему так: земля одинаковая, условия равные, а урожай разный? Одни живут как люди, до трех килограмм на трудодень получают, а другие — рядом, на той же земле, под тем же небом — с хлеба на квас перебиваются? Тут, брат, изнутри причины искать надо, а снаружи оно одно и то же видать. Снаружи для всех условия равные...

«В самом деле, почему это так?» — подумала Светлана.

— Мать говорит: «Бери телку, хороша телка, да и отдам задешево». А я говорю: «Мне и за так не надо». Забот с ней не оберешься, с телкой с этой... Ведь в городе-то! Сходила в магазин, взяла два литра молочка — и всего делов! А мать говорит... — звенел с другой стороны молодой женский голос.

Темнело медленно и неохотно, и так же медленно и неохотно смолкали и засыпали люди. Скоро, однако, все умолкло, а Светлана все так же полубодрствовала-полудремала, прислонившись к оконной раме. И снова на сердце у нее было покойно и ясно, и снова она ощущала себя словно бы растворенной в сильном и теплом потоке, которому можно было не задумываясь довериться и знать, что он донесет, вынесет в нужном направлении. Мысли ее были лишены определенности и четкости, в то же время они ни на минуту не теряли связи с реальностью, с действительностью, с тем, чем она жила наяву.

«Нет, нет,— думала она,— ничего не случилось дурного и ничего не кончилось с этой нелепой поездкой. Ничего не случилось такого, отчего мне стало бы легче жить на свете, но любовь моя не дрогнула, не кончилась, не стала меньше или хуже — она живет, она со мной и во мне и я в ней навсегда... Навсегда... Не бойся, слышишь, не бойся, я не оставлю и не разлюблю тебя, пока я жива, потому что жизнь моя и любовь моя — это неразделимо, это одно и то же, и одно без другого не стоит ничего, понимаешь? А раз это так, то не может же быть такой несправедливости, чтобы не было тебя нигде на свете. Тебя, которого я люблю. Это невозможно, я не верю в это, я знаю: ты где-нибудь есть! Я думала, что знаю, где ты — я так бережно помнила твой адрес! — но тут тебя уже нет, а другого адреса я еще не знаю. Это будет труднее — искать тебя без адреса, но я не отступлюсь и не растеряюсь, у меня хватит сил и хватит любви... Но, может быть, тебя и зовут теперь иначе и я еще не знаю как, но я догадаюсь, как только встречу тебя, догадаюсь, что это ты и что я все еще по-прежнему люблю тебя. А другой любви уже не будет, она одна, вот такая, вот эта... Одна... Навсегда...»

И она засыпала, и ей снилось что-то хорошее и яркое, долгожданное и наконец-то свершившееся, и что-то светло томило сердце и согревало ресницы.

Она проснулась от неожиданного толчка. В вагоне было совсем темно и на улице тоже, но, понимая это, она все же сощурилась словно от яркого света. Поезд стоял на тихом, глухом разъезде, и где-то совсем рядом в сыроватом сумраке майской ночи пел соловей, и песня его была так сильна, что, казалось, не только звучала, но и пылала. Он не щадил себя, не берег, не жалел, он всего себя отдавал своей песне. Это была песня его любви, самое лучшее, что было в его недолгой и небогатой птичьей жизни, и всем вокруг становилось от нее светлее и радостнее.



---

---

КИРИЛЛ СТОЛЯРОВ

★

## ФЕДОР ТЕРЕНТЬЕВИЧ

Рассказ

**И**здавна повелось, что в громадном большинстве случаев служебную характеристику пишет не непосредственный начальник того или иного сотрудника, а сам характеризуемый. Не знаю, как в сельской местности, а в городах происходит именно так. Почему? Вероятнее всего, по многим причинам. Один начальник перегружен, и ему постоянно некогда, второй располагает временем, но попросту ленится, третий не желает проявить должную принципиальность и тем самым впоследствии вызвать огонь на себя, четвертый давным-давно считает всевозможные характеристики никому, в сущности, не нужной формалистикой и таким образом выражает свой пассивный протест, пятый твердо убежден в том, что это святая обязанность кадровиков, а он за них палец о палец не ударит, не на того, дескать, напали, и так далее. При этом некоторые полагают, что поскольку характеристика нужна тебе, а не мне, то ты сам и постарайся. Естественно, что данная мысль обычно вслух не высказывается, а только подразумевается. Зачем дразнить гусей? Народ попадаетея не сплошь сознательный, может кое-что неправильно истолковать...

Когда Федору Терентьевичу в кои веки раз для чего-то понадобилась характеристика, он явился к своему шефу — заместителю директора по общим вопросам. В огромном научно-исследовательском институте у директора было семь заместителей, и в кулуарах шефа Федора Терентьевича для краткости просто именовали Пятым. В приемной Федор Терентьевич снял фуражку, пригладил седеющий ежик необычайно густых волос и крепко пожал руку секретарше Наде, которая едва не закричала от боли и до конца дня так и не смогла сесть за машинку.

— Здравия желаю! — привычно приветствовал Федор Терентьевич, входя в кабинет Пятого.

— Когда-нибудь я из-за тебя зайкой стану! — Пятым на секунду поднял глаза от раскрытой папки и продолжал листать бумаги. — Ты чего пришел, Федор Терентьевич?

— Да вот характеристика мне нужна, елки-моталки, — смущенно проговорил Федор Терентьевич, понимая, что явился к начальству не ко времени.

— Какая характеристика? — машинально поинтересовался Пятым, по-прежнему занимаясь своим делом и не глядя на посетителя.

— Обыкновенная, за подписью треугольника, — пояснил Федор Терентьевич, стоя в положении вольно.

— Послушай, Федор Терентьевич, ты ведь неглупый мужик и сам не первый год руководитель, а лезешь ко мне со всякой ерундой. — Пятым с досадой почесал лысую макушку, а потом неожидан-

но улыбнулся.— Сочини что считаешь нужным, а завтра раненько утром занеси, и я подпишу за директора. А теперь иди и не морочь мне голову. Понял?

— Никак нет!

— Чего тебе непонятно? — удивленно спросил Пятый.

— Не положено самому на себя писать, елки-моталки! — твердо ответил Федор Терентьевич и покраснел от обиды.— Никак такое не положено!

— Ну смотри, дело хозяйское,— пожал плечами Пятый, хорошо знавший характер Федора Терентьевича.— Я тебя не заставляю. Только ты учти, что у меня, как всегда, жуткий цейтнот. Сейчас я закругляюсь и на всех парах мчусь на опытный завод, а оттуда двигаю в райсовет на заседание комиссии по благоустройству и озеленению. Завтра с утра еду в подшефный колхоз, а в пятницу, не заезжая домой,— в наш пионерский лагерь. Стало быть, исчезаю до конца недели. Потерпишь до понедельника?

— Так точно!

— Тогда договорились. В понедельник ближе к обеду заглянешь в приемную к Наде и возьмешь характеристику...

Пятый был хозяином своего слова и, чтобы не забыть, сразу же дал команду кадровикам утром в понедельник принести ему личное дело Федора Терентьевича.

Пятый не имел обыкновения писать бумаги, а предпочитал диктовать. Поэтому в понедельник он вызвал из приемной Надю с блокнотом, усадил ее за приставной столик, а сам принялся расхаживать по кабинету с личным делом в руках и на ходу сочинять характеристику.

— Итак, приступим,— сказал он, обращаясь к Наде.— Пиши: «Характеристика тов. Чистосердова Ф. Т.». С новой строки: «Тов. Чистосердов Федор Терентьевич, 1911 года рождения, уроженец города Великие Луки Псковской области, русский, член КПСС с июля 1942 года, образование — семь классов...» Назовем лучше — неполное среднее. «...с 1926 года по 1931 год работал учеником слесаря и слесарем на Великолукском мелькомбинате, с 1931 года по... по...», ага, «по 1945 год служил в Советской Армии, с октября 1945 года по настоящее время работает начальником административно-хозяйственного отдела орденов Ленина и Трудового Красного Знамени организации такой-то...» Это, будем считать, общая часть. А теперь перейдем к начинке...

«Что же, собственно, можно написать о Федоре Терентьевиче?» — подумал Пятый. Более двадцати лет протрубил в коллективе, а что сделал? Командует уборщицами, прачечной и старушкой Мартой Карловной, занятой обеспечением командированных сотрудников института железнодорожными и авиабилетами. И все? Ну и еще организует похороны. Гм, вот это дело! На первый взгляд пустяк, а на практике — клубок трудноразрешимых проблем. В институте и на опытном заводе одиннадцать с половиной тысяч душ, а с пенсионерами и членами семей сотрудников — целая армия, укомплектованная по штатам военного времени. Стоит ли удивляться, что еженедельно у главной проходной одно-два, а то и три извещения в траурной рамке с отретушированной фотографией покойного. В году, как известно, пятьдесят две недели, стало быть, минимум восемьдесят — девяносто панихид и похорон. Это вам не шуточки, а тяжкий труд, который тянет Федор Терентьевич на своих плечах в одиночку, без посторонней помощи. Весь кладбищенский люд знает наперечет, в газетине «Похоронное обслуживание» на Большой Московской он свой человек, но главное, пожалуй, не в этом. Пятый на все сто процентов убежден, что у Федора Терентьевича есть некий дар или особый, что

ли, талант утешать родственников умершего. Хоть он простой и, что греха таить, не слишком грамотный мужик, а находит-таки верное слово для успокоения души любого человека в диапазоне от прачки до профессора. И при этом феноменально честен: все, что остается от подотчетных сумм, выдаваемых родными и близкими усопших, он аккуратнейшим образом возвращает по принадлежности, причем с аптекарской точностью. Другое дело поминки. Там он почетный участник застолья, ест и пьет минимум за десятерых. Кстати говоря, не только поминки, но и всякие девятые, сороковые и прочие поминальные дни до года включительно. Пусть народ теперь не верит ни в бога, ни в черта, а традиции все-таки соблюдает, и Федор Терентьевич, прямо скажем, по этой части большой мастак. Но для характеристики это, увы, не материал...

Его поразительная честность послужила причиной того доверия, которое много лет оказывает Федору Терентьевичу администрация института, имея в виду деликатную часть организации приема высоких гостей. «Черт побери, не институт, а своего рода проходной двор». Пятый болезненно поморщился. То свой министр приезжает, то изредка еще кто повыше, то из Академии наук начальство разное, то чужие министры, а всякие замминистры — те прямо косяком прут, и каждого надо принять с уважением и угостить по законам традиционного русского гостеприимства согласно неписаной табели о рангах. Кому подать кофе с коньяком, боржом и сигареты с апельсинами, а кому и полный обед со всеми причиндалами. Иначе нельзя, потому что начальство большей частью гордое и обидчивое. А в институтской смете на представительство — фи́га с маслом! Как тут быть? В сущности, все сводится к простой дилемме: на свои деньги поить и кормить тех путников и пилигримов или на казенные? На свои накладно и, откровенно говоря, жалко, потому что у каждого они считанные, а на казенные страшновато, можно нарваться и запросто сгореть чуть ли не дотла. Посадить, правда, не посадят, а с работы как пить дать попрут поганой метлой и еще запишут на память абзац-другой в твою учетную карточку. И ни один из тех, кто отведал хлеб-соль, даже словечка в твою защиту не скажет! А для чего все это Пятому, когда у него трое детей школьного возраста?

Словом, судили и рядили они с директором и другими заместителями и в конце концов пришли к такому решению: каждый месяц сдавать Пятому по двадцать пять рублей с носа для создания представительского фонда. С восьми человек по двадцать пять — двести в месяц выходит, а в год и того внушительнее — две тысячи четыреста рубликов. Вроде бы неплохо? Черта с два! Гостей — целая орда, а вместо резервного фонда — дыра, которую Пятый закрыл собственной грудью, распотрошив свою тощую сберегательную книжку.

Общеизвестно, что безвыходных положений не бывает. И в данной конкретной ситуации выход, разумеется, нашелся. «Ты подыщи верного человека, — сказал директор Пятому, — а я ему буду подкидывать премии и материальную помощь». Легко сказать: найди верного человека! А где его взять? Сегодня человек тише воды, ниже травы, а попробуй дать ему один палец, так он живо басом заговорит! Думал он долго и остановил свой выбор на Федоре Терентьевиче. И, надо прямо сказать, не промахнулся. Дадут ему, допустим, сто рублей, и на другой день приносит Федор Терентьевич в директорскую столовую энное количество бутылок коньяка и сдачу. А потом сдаст порожнюю посуду и вырученные деньги в сервант положит на среднюю полочку в пустую банку из-под индийского растворимого кофе, где Пятый хранит остатки фонда (когда есть что хранить). И никому ни слова. Но об этом в характеристиках тоже писать не принято...

— А дальше-то что? — нетерпеливо спросила Надя, прервав ход мыслей Пятого.

— А дальше напишем так: «За время работы в организации тов. Чистосердов Ф. Т. проявил себя положительно, как трудолюбивый, инициативный и добросовестный сотрудник. С порученным ему участком работы справляется успешно, за что неоднократно отмечался почетными грамотами, благодарностями и денежными премиями». Так вроде неплохо получается. А что еще?

— Что-нибудь об участии в общественной жизни,— подсказала Надя.

— Молодец, Надя! Мысль правильная,— согласился Пятый.— Ты, случайно, не знаешь, занимается ли он какой-либо общественной работой?

— Кто его знает,— покачала головой секретарша.

— Неужели ничего не делает? — усомнился Пятый.

— Нет, делает! Я сейчас вспомнила,— обрадовалась Надя.— Он ежедневно смотрит по телевизору программу «Время», а по утрам собирает уборщиц и пересказывает ее содержание.

— Замечательно! Пиши с новой строки: «Тов. Чистосердов Ф. Т. систематически углубленно работает над повышением своего идейно-политического уровня и в течение ряда лет проводит занятия в кружке текущей политики». Ну а дальше все проще пареной репы. Тоже с новой строки: «Тов. Чистосердов Ф. Т. выдержан, в быту скромен и морально устойчив». — Тут Пятый не удержался и хмыкнул. Начет быта все, как говорится, один к одному, комар носа не подточит! — Опять с новой строки: «Настоящая характеристика выдана для представления по мере надобности». Вот, пожалуй, и все. Заделаешь мою подпись, а ниже подписи Григорьева и Савчука. Быстренько отпечатай и занеси подписать.

Когда секретарша вышла из кабинета и закрыла за собой дверь, Пятый неожиданно для себя надолго задумался.

Отличный мужик Федор Терентьевич, но, мягко выражаясь, не без странностей. Живет старым холостяком, круглый год ходит в гимнастерке с потертым офицерским ремнем на здоровенном пузе и в шевиотовых брюках навывпуск, а всю свою зарплату тратит исключительно на питание. Пятый отлично понимал, что при таком зверском аппетите начальник АХО давным-давно напоролся бы на финансово-экономические рифы, но Федор Терентьевич регулярно ускользал от банкротства с помощью одиноких институтских женщин среднего поколения, наперебой приглашавших его провести вечер в уютной домашней обстановке. Каждая из них тщательно готовилась к приему Федора Терентьевича, делала маникюр и перманент, покупала водку, закуску, пекла пироги и варила гуляш в самой большой кастрюле. Сам Федор Терентьевич перед таким визитом шел в баню, а в гостях садился за стол, уничтожал все подчистую, хлебной корочкой подбирал остатки соуса, выпивал пять стаканов крепкого сладкого чая и по окончании программы «Время» начисто терял всякий практический интерес к гостеприимной хозяйке. Он вставал из-за стола, тщательно оправлял гимнастерку, крепко жал руку взволнованной женщине и уходил восвояси. Многие бурно переживали такой незапрограммированный финал, принимали валерианку и порой даже вызывали на дом неотложку, но факт оставался фактом: Федор Терентьевич ни для одной не делал исключения и повсюду вел себя абсолютно одинаково.

Женщины по своей натуре различны: одна стерпит и смолчит, другая тайком поделится с подругой новой жгучей раной, а третья вообще ни из чего личного не делает секретов. Короче, некоторая оригинальность Федора Терентьевича, проявлявшаяся в отню-

шении к прекрасному полу, вскоре стала, как говорят, достоянием гласности, но эффект данной информации получился совершенно неожиданным. Пятому казалось, что женщины должны были бы игнорировать Федора Терентьевича, а получилось все шиворот-навыворот. Его популярность среди вдов и разведенных неизмеримо возросла, и приглашения на ужин сыпались одно за другим словно из рога изобилия. Пятый и раньше далеко не всегда понимал причинность многих женских поступков, а тут попросту развел руками. Загадочные существа, кто их, чертовок, поймет. Неужели их одиночество может скраситься одним визуальным наблюдением за пьющим и жующим мужиком, от которого пахнет табаком и березовым веником? Или они, вполне возможно, как-то по-своему, чисто по-бабьи жалеют его?

Между прочим, Пятый никогда не смеялся над странностями начальника АХО. Хозяин — барин, и личная жизнь каждого касается только его самого. Хочет человек — сходится с женщинами, женится или просто проводит время, не хочет — съедает с детства любимый гуляш и топаёт домой. Каждому свое.

Кем, интересно, он был в армии? Пятый вновь раскрыл папку с личным делом Чистосердова и нашел соответствующие данные. Ага, гвардии младший лейтенант! Все ясно! Наверняка служил где-нибудь в хоззаводе, в зоне продовольственно-фуражного снабжения. Оттуда и стиль поведения. Пятый машинально полистал анкету и неожиданно остановился. Десять правительственных наград?! Ничего себе! Орденов колодок Федор Терентьевич никогда не носит и о своем военном прошлом словом не вспоминает... Ну и что из этого? Федор Терентьевич хороший мужик и выполняет то, что ему поручено. Причем делает свое дело лучше многих других, которые без нужды хорохорятся и обожают похваляться былыми заслугами.

Тут Пятого отвлек телефонный звонок из Москвы, он отложил личное дело Федора Терентьевича и надолго забыл о нем.

Прошел год, и научно-исследовательский институт переподчинили другому министерству. Вроде бы ничего для сотрудников не изменилось, работайте, как говорится, на здоровье и создавайте нужную стране новую технику, но вышло все по-иному. Кое-кто из числа недовольных, а такие, кстати, есть всегда и везде, решил, по-видимому, половить рыбку в мутной воде, и во все высокие адреса посыпались разнообразные жалобы. Пока институтское руководство не притерлось к новому московскому начальству, самое время подсыпать им песочку в бумажки! И зачастили в институт комиссии. Одна не успеет из проходной выйти, а следующая уже тут как тут. Институт лихорадило, но, как ни странно, он по-прежнему работал успешно.

Как-то ясным майским утром Федор Терентьевич степенно шел по территории института в электроцех, где договорился встретиться с замом главного энергетика, чтобы поторопить насчет замены изношенных электродвигателей в прачечной. Конец был не ближний, и он остановился покурить в скверике у административного корпуса. Федор Терентьевич достал пачку «Севера», старую, еще трофейную зажигалку и успел пару раз сладко затянуться, когда на втором этаже распахнулось окно и звонкий девичий голосок крикнул, что его срочно вызывает к себе Шестой.

Шестой ведал кадрами и режимом, а кроме того, замещал Пятого во время его командировок, отпусков или отсутствия по болезни. Как раз в это самое время Пятый лежал в больнице имени Свердлова с обострением язвы желудка, поэтому вызов начальника АХО к Шестому не являлся чем-то из ряда вон выходящим.

— Разрешите войти? — Федор Терентьевич знал, что Шестой был человеком военным, любившим порядок во всяком деле.

— Заходи, Федор Терентьевич, — пригласил его Шестой. — Прежде всего здравствуй.

— Здравия желаю!

— Садись, есть к тебе особый разговор.

Федор Терентьевич сел на стул и приготовился слушать.

— Тут, понимаешь, проверяет нас очередная комиссия, и я полагаю, что на днях они примутся за тебя. Их, видишь ли, интересует распределение премий и еще кое-что, связанное с этим. Ты меня понял?

Федор Терентьевич кивнул и грозно нахмурился.

— Так вот, ты все это поймей в виду и на досуге подумай, что будешь им говорить,— продолжал объяснять Шестой.— Они, как мне показалось, подбирают ключи под Бориса Сергеевича, а он тебе, кроме добра, ничего не делал. Поэтому я надеюсь...

— Да я... Да я их, елки-моталки...

— Ты, Федор Терентьевич, не горячись,— остановил его Шестой.— Ты, видно, не так меня понял. Я в тебе уверен и надеюсь на то, что ты сделаешь все по-умному. Комиссию надо брать не криком, а выдержкой и спокойствием. Что тебе там ни скажут, держи себя в руках и в бутылку не лезь. Помнишь, как бывало на фронте?

— Разве такое забудется,— вздохнул Федор Терентьевич.

— Теперь вижу, что ты понял.— Шестой встал из-за стола и пожал ему руку.

— Товарищ полковник, разрешите быть свободным?

— Ну и голосина у тебя,— с улыбкой сказал Шестой.— Из тебя, Федор Терентьевич, мировой дьякон бы вышел. Никто тебе в молодости об этом не говорил?

— Никак нет!

— Ладно, шут с ним. Иди, Федор Терентьевич.

«Ишь чего удумали, нечисти,— возмущался Федор Терентьевич, шагая в электроцех.— Пятого хотят скovyрнуть! Нет, дудки, мы этого ни в жизнь не допустим! И козыря в руки ихние ни за что не дадим, елки-моталки, они пришли и ушли, а нам жить и работать!»

К возне комиссии вокруг гостевых дел он отнесся крайне неодобрительно. Пускай он человек маленький, но свое мнение имеет, а понадобится — так где хочешь и кому хочешь его выскажет, глазом не моргнувши. Разве мыслимое это дело — не накормить и не напоить гостей?! Где это видано? В армии бы кто про такое услышал, так ни в жизнь не поверил бы Федору Терентьевичу! Бывало, на фронте в дивизию в ихнюю ежели кто из набольших приезжал, так и его и всех офицеров сопровождающих накормят и напоят как положено! И никто по кругу шапку не пускал, как здесь, на гражданке! Пятый как-то сказывал, что они в дирекции каждый месяц сбрасываются по четвертному на гостей принять, так он, Федор Терентьевич, спервоначала рот открыл от удивления, елки-моталки! Люди сами не бог весть сколько получают, а должны от семей от своих отрывать?! Вон в институте куда ни плюнь — профессор или там кандидат чего-то и денег гребут куда как поболе Третьего, Четвертого, Пятого или Шестого, а как звонок — они со двора разбегаются по домам без оглядки, елки-моталки! Замдиректора же сидят, считай, до ночи до темной, а приедет комиссия — так им кровь пустить хотят? Не должно быть такого!

Ясно, что не Федора Терентьевича ума дело, сколько кому денег платить, пол-Москвы, видать, над этим озабочено, но несправедливости никак допускать нельзя! Ежели в армии гостей принимать по закону положено, так почему же, спрашивается, на гражданке того нету?

Его вызвали на комиссию к вечеру следующего дня. В кабинете Седьмого, который отвечал за сдачу опытных образцов и сам целый год мотался по командировкам, сидели двое — один пожилой, седой и

из себя вальяжный, а другой помоложе, очкарик длинношей с маленькой лысой головой, на змею похожий.

— Ваша фамилия Чистосердов? — спросил вальяжный, сверившись с бумажкой.

— Так точно!

— Федор Терентьевич, если не ошибаюсь?

— Он самый.

— Вот и хорошо, — радушно сказал вальяжный. — Давайте познакомимся: меня зовут Павлом Ивановичем, а моего товарища Альбертом Евсеевичем. Мы комиссия, которой поручили проверить некоторые сигналы о злоупотреблениях вашей администрации. Разговор у нас будет как у коммунистов с коммунистом — дружеский и предельно доверительный. Как вы относитесь к моему предложению, Федор Терентьевич?

— Ясное дело как. Я согласный, Павел Иванович.

— Вот и отлично! — заулыбался вальяжный. — А теперь скажите нам, дорогой Федор Терентьевич, хорошо ли вы знаете заместителя директора института Ястребова Бориса Сергеевича?

— А как же, — удивился Федор Терентьевич. — Он надо мной начальником, тылом у нас командует.

— Это мы знаем, — согласился вальяжный. — Скажите, как Ястребов с вами разговаривает?

— Как положено, так и разговаривает, — не понял вопроса Федор Терентьевич.

— Имели ли место с его стороны факты грубого к вам обращения, барства или голого администрирования?

— Такого не замечалось, — твердо ответил Федор Терентьевич, начавший понимать, куда гнет вальяжный.

— А при вас он никого матом не посылал? — встрял в разговор очкастый, до того тихо скрипевший пером.

— И такого не замечалось!

— Скажите нам, Федор Терентьевич, а не случилось ли вам с утра видеть его, так сказать, под мухой или... э... с похмелья? — Тут вальяжный подмигнул и захватски щелкнул себя по горлу.

— Ни разу не видел.

— А после обеда?

— Не случилось и такого замечать, Павел Иванович.

— А вы вообще-то человек наблюдательный? — спросил очкастый.

— На глаза покамест не жалуюсь, — спокойно ответил Федор Терентьевич.

— Ну что же, оставим это, — предложил вальяжный, выразительно взглянув на очкарика. — Скажите нам, дорогой Федор Терентьевич, не припомните ли вы, сколько получили премий в текущем году?

— Это можно, — ответил Федор Терентьевич. — В январе, считай, шестьдесят пять рублей за четвертый квартал, в апреле восемьдесят за первый, в феврале сто за новую технику, а в марте еще сто пятьдесят за ту машину, что в летнем годе заказчику сдали. А днями материальную помощь выписали сто, ровно мой оклад.

— У вас, Федор Терентьевич, замечательная память, — заметил вальяжный, опять сверяясь с бумажкой. — От всей души вам завидую. Вот бы мне такую память!

— Спасибо на добром слове. На память покамест тоже не жалуюсь.

— По поводу квартальных премий у меня к вам вопросов не будет, — негромко сказал вальяжный. — А вот насчет специальных премий хотелось бы кое-что узнать. За что вы их получили, Федор Терентьевич?

— Надо думать, за работу за свою, Павел Иванович.

— За работу вы зарплату получаете,— строго заявил очкастый.

— Дело даже не в этом, Федор Терентьевич,— мягко уточнил вальяжный.— Эти премии, так сказать, особого свойства и предназначены для поощрения лиц, которые, подчеркиваю, особо отличились при создании... э... новой техники. Понимаете?

— Как не понять,— охотно откликнулся Федор Терентьевич.

— Вот и отлично,— расцвел вальяжный.— Беседовать с вами, прямо скажу, одно удовольствие. Вы человек понимающий и сознательный, а раз так, то ответьте нам по совести: правильно ли вам выписали премию?

— Вы про то директора нашего поспрошайте, Павел Иванович,— посоветовал Федор Терентьевич.— Он приказ подписал, ему, должно, виднее. Да еще у начальства у московского спросите, что порядки по премиям устанавливает.

— У москвичей что прикажете спрашивать? — опять вмешался очкастый.

— Они, вишь ты, главбуху премию прямо в Москве выписывают,— объяснил Федор Терентьевич.— А он, главбух-то, вроде меня: технику новую тож не сочиняет. Положено так сверху, чтобы десять процентов от премии тем людям давать, которые делу способны. Ежели у ученых комнаты не прибирать, так они новую технику ни в жизнь не выдумают. Вот потому каждая, считай, уборщица наша те премии получает. Какая десятку, а какая и тридцатку. А я им всем начальник!

— Логично рассуждаете, Федор Терентьевич, очень логично,— нервно сказал вальяжный.— А Ястребов у вас, извините, этих денег в долг не просил? А когда брал, то отдавал?

— Не брал, Павел Иванович, ни разу в долг не брал, елки-молталки!

— Вы, между прочим, не выражайтесь! — резко повысил голос очкастый.— Вы держитесь в рамках!

— В каких таких рамках? — громко спросил Федор Терентьевич.— Что-то не пойму, об что речь.

— Советую вам вести себя прилично и выбирать выражения,— отчеканил очкастый.

— А чего я такого сказал?

— Сами знаете, я ваших слов повторять не намерен,— ответил очкастый и сунул нос в свою писанину.

— Ну-ну, друзья, не будем отвлекаться,— миролюбиво сказал вальяжный.— Лучше расскажите нам, дорогой Федор Терентьевич, как и куда вы тратите ваши премии. Ведь с такой превосходной памятью для вас это, так сказать, пара пустяков?

— Про то, как я свои деньги трачу, я отчет дам только прокурору, Павел Иванович! — Глаза Федора Терентьевича против воли прищурились.— Я человек маленький, но в своем праве куда хочу их подевать, и делу конец, елки-молталки!

— Согласен с вами, Федор Терентьевич, согласен,— замахал руками вальяжный.— Я только так спросил вас, из чистого любопытства. Нам тут отдельные товарищи подсказали, что дирекция часто устраивает пьянки и закоперщиком у них выступает Ястребов. Что вам об этом известно?

«Ну и народ,— подумал Федор Терентьевич,— сами ни уха ни рыла не знают, а вопросы дурацкие задают! Да Пятый водки в рот не берет никак лет пять или шесть, с той поры как пытался лечить язву свою медом на спирту. Про это в институте, считай, каждая собака знает!»

— Про то не слышал, но думаю, что брехня.

— Тогда у меня последний вопрос: что за человек Семен Иванович Дятлов — водитель автомашины Ястребова? Можно ему доверять?

— Человек как человек,— пожал плечами Федор Терентьевич.— Бойкий больно, а так ничего парень. Технику знает, раньше работал на



дежурном автобусе, так тот автобус всегда был исправный и пол в нем чистый. А теперь сопляка Веньку посадили, так в автобусе том что твоя помойка!

— Что же, все ясно,— кивнул вальяжный.— Альберт Евсеевич, у вас будут вопросы к Федору Терентьевичу?

— Разумеется, Павел Иванович. Скажите, Чистосердов, ваш отдел помещается напротив институтского гаража?

— Так точно!

— У меня есть достоверные данные, что заместитель директора Корнилов регулярно заправляет свою личную автомашину марки «Волга» М-21, цвет бирюзовый, государственные номерные знаки ЛЕВ 11-00, в вашем институтском гараже. Что вам известно по данному вопросу и можете ли вы подтвердить это письменно?

...Корнилова в институте называли Четвертым, но в отличие от всех других заместителей директора, включая и собственного шефа, для Федора Терентьевича он был просто Никита Алексеевич. И даже не просто, а от всей души и от большого к нему уважения...

Никита Алексеевич поступил в институт недавно и по годам годился ему в сыновья, но, считай, с первых дней сложились у них какие-то свои отношения, крепнувшие день ото дня. Держался Никита Алексеевич строго и с достоинством, но были в нем ровная приветливость и еще что-то до поры до времени Федору Терентьевичу непонятное, но располагавшее его к новому замдиректора.

До прихода Никиты Алексеевича на этой должности сидел сонный старичок Викентий Владиславович, которого с незапамятных времен подмял и заставил плясать под свою дудочку хитрый и надменный начальник отдела капитального строительства Роман Иванович Колотыркин, сорокапятiletний румяный ухарь, строивший насмешки над самим Федором Терентьевичем. В роте у Федора Терентьевича, помнится, тоже был один такой, так пришлось с ним ох как помаяться, пока человеком сделали, елки-моталки.

Оба они трудились, должно быть, не слишком сноровисто, план несколько лет кряду не тянули, и, понятно, дело кончилось тем, что Викентия Владиславовича спровадили на пенсию, а на его место позвали молодого и бойкого Никиту Алексеевича.

Случайно получилось так, что столкнулись они недели через две после его прихода в институт, когда Маня Акифьева опять в слезах заявляла к Федору Терентьевичу и наотрез отказалась прибираться кабинет Колотыркина, который вконец замучил ее придирками и грубостями. И тогда не любивший жаловаться Федор Терентьевич решил поговорить насчет Колотыркина с Никитой Алексеевичем. Новичок молча выслушал его рассказ, уточнил, как было дело, приказал секретарше вызвать к нему Романа Ивановича и так его отчихвостили, что Федор Терентьевич раз навсегда зауважал Никиту Алексеевича. Он не кричал и даже ни разу не повысил голоса, а всего лишь высмеял Колотыркина, но сделал это хлестко и настолько едко, что спесивый Роман Иванович сначала побелел, потом побагровел, а минут эдак через пять задергался, как кукла на ниточках, которую, бывает, показывают в телевизоре. И с той поры стал шелковым, елки-моталки!

Никита Алексеевич поступил к ним в январе, а к концу лета того года институту вдруг понадобилось устроить новую лабораторию сверхточных измерений. Федор Терентьевич поставил себе за правило ни под каким видом не совать нос в чужую работу и, понятно, не знал, зачем все это надобно, но краем уха услышал, что задача, как говорят, умри, но сделай. Никита Алексеевич срочно привел каких-то парней с приборами, чтобы найти в институте такое место, где меньше всего тряски от трамваев и другого городского транспорта. Те парни неделю мерили тряску, а потом сказали, что самое тихое место аккурат где

кабинет и приемная Никиты Алексеевича, на первом этаже старого корпуса. Там сразу вскрыли полы и полным ходом принялись рыть землю, чтобы докопаться до материкового слоя и на нем ставить фундамент под хитрые машинки. Никита Алексеевич временно сел в свободный кабинет к Седьмому, а немного погодя убыл в отпуск. Пока Никиты Алексеевича не было, ему делали новый кабинет на втором этаже конструкторского корпуса. Федор Терентьевич к ремонтно-строительному цеху, ясное дело, не касался, и никто ему не поручал следить за ихними рабочими, однако он, на этот раз изменив своему правилу, ежедневно проверял не только ход работ, но и их качество, а к возвращению Никиты Алексеевича обставил его кабинет старинной мебелью с тонкой резьбой и множеством бронзовых нашлепок в виде голых баб и разных прочих ангелов, дудящих в трубы.

В день приезда Никиты Алексеевича он для приличия выждал до полудня, а потом явился в его приемную. Шустрая секретарша Машенька тут же доложила о нем Корнилову, и тот пригласил Федора Терентьевича к себе.

— Здравия желаю. Никита Алексеевич!— по-строевому приветствовал он замдиректора.— Как устроились на новом месте?

— Добрый день,— улыбнулся Корнилов.— Благодарю вас, устроился я неплохо. Скажите, Федор Терентьевич, где вы отыскиали такую мебель?

— Не нравится?— упавшим голосом спросил Федор Терентьевич.

— Что вы, это же подлинная павловская кабинетная мебель!— радостно заявил Корнилов.— По-настоящему ей место в музее, а не в моем кабинете!

— Про музей не скажу, не моего ума дело, а сломать и спалить ее я не дал.— Довольный Федор Терентьевич пригладил непокорные волосы и одернул гимнастерку.— Мебель-то давно списанная, так один наш законник из бухгалтерии, как инвентаризацию проводить, все жалобы на меня катает, что храню на складе на своем неучтенное имущество. Надо его, дескать, уничтожить, а бронзу снять и по акту сдать в утиль на переплавку.

— Это было бы прямым преступлением,— убежденно сказал Корнилов.— Вы, Федор Терентьевич, молодец, что сохранили эти уникамы.

— Вот и я думал, что мебель та людям еще послужит, елки-молталки. Ей ведь износу нету.

— Еще раз большущее вам спасибо, Федор Терентьевич,— поблагодарил его Корнилов и вернулся за стол, тонко дав понять, что он занят и что Федору Терентьевичу пора уходить.

Федор Терентьевич хотя и без образования, однако в армии многому поднаучился, котелок у него не хуже других варит. Раз человеку некогда, пора и честь знать. Замдиректора только-только из отпуска, делов у Никиты Алексеевича, должно, невпроворот скопилось, мешать ему не положено! А все ж он выбрал-таки минутку для Федора Терентьевича и нашел доброе словечко. Молодой, а все понимает... Нутром, считай, угадывает, что слово то доброе, вовремя да от души сказанное, бывает куда дороже премии или там грамоты какой...

И семья у него хорошая, всем бы людям такую. В первый же год весной Никита Алексеевич на полигоне гостиницу достраивал, так Пятый поручил Федору Терентьевичу помочь семье Корнилова переехать на дачу в Зеленогорск. Жену Никиты Алексеевича он так и не видал, а мамаша ихняя ему ох как понравилась. Душевная очень женщина, хлебосольная и приветливая. Сын, должно, в нее. Накормила Федора Терентьевича таким бараньим боком с кашей гречневой, что он чуть ложку не проглотил. Во как! А чай какой с брусничным вареньем да с булочками! Есть что вспомнить. А дочка его Танечка?

Не девочка, а сама ласка! Глазенки в папашу, а волосики беленькие, должно, материны. Как она заголосила, когда Федор Терентьевич обратно в город собрался, как цеплялась за него ручонками своими. Любит он детей, да своих бог не дал. Всю его жизнь, считай, война смяла...

А перед двадцатилетием Победы утром пришел к нему в отдел Никита Алексеевич, душевно поздравил с праздничком и поднес в нарядной коробке набор подарочный — две плоскеньких бутылочки старки и в придачу к ним стопочка. Все рабочие и служащие АХО это видали, и Федору Терентьевичу было-таки чем гордиться. Такой человек ему уважение оказал, и не по обязанности от коллектива, а от сердца от своего! Это, елки-моталки, понимать надо...

...— Что вы замолчали? — едко спросил очкастый. — Память вдруг отшибло?

— Нет, память у меня не отшибло, мил человек, — медленно произнес Федор Терентьевич и достал из нагрудного кармана гимнастерки мятую записную книжку. — Как будет ваша фамилия?

— Не забывайтесь, Чистосердов! — взвился очкастый. — Здесь мы задаем вопросы, а ваше дело — честно на них отвечать!

— Я обратно чего-то не понял? — обратился Федор Терентьевич к вальяжному. — Вы давеча сказали, Павел Иванович, что беседовать будем по-партийному и по-дружескому, а на деле выходит по-допросному?

— Нет-нет, вы все правильно поняли! — засуетился вальяжный. — Альберт Евсеевич, назовите товарищу вашу фамилию, ну что вам стоит!

— Турундаевский, — сквозь зубы проговорил очкастый.

— С какого года в партии? — осведомился Федор Терентьевич.

— С шестьдесят первого года!

— А лет сколько будет? — не унимался Федор Терентьевич.

— Я родился в тридцать третьем году. Больше ничего о себе сообщать не нужно? — съязвил очкастый.

— Хватит, — согласился Федор Терентьевич, записал все в книжку, встал и оправил гимнастерку. — В институте отродясь не было раздаточной колонки бензиновой, так что легковушку заправить можно, только сливая бензин с грузовиков. И за двадцать с гаком лет моей службы на территорию институтскую ни одна личная машина еще не съезжала. На то режим у нас имеется. Понял, мозгляк?

Очкастый съезжился и промолчал.

— Ты еще в лапту как следоват играть не умел, елки-моталки, когда я свой первый бой под Шяуляем принял! Прежде чем спрашивать, надо, бывает, мозгами пошевелить, ежели мозги те есть! И не мазать дерьмом таких людей, чьего ногтя ты сам не стоишь, елки-моталки! И еще запомни: ежели чего напрасно на наших людей напишешь в свою бумажку, я к самому Сергей Леонидовичу пойду, к командующему военным округом. Он в войну моей дивизией командовал и меня лично знает! Пойду и доложу ему все как было, пусть тебя на какую простую работу переведут, подальше от людей!

— Ну зачем же вы так, — вмешался вальяжный. — Нервы надо беречь, Федор Терентьевич!

— А я все сказал. Разрешите идти?

Комиссия, как водится, без толку взбудоражила людей и отбыла, а подготовленную ею справку оставили без последствий и подшили в дело. И с тех пор анонимщики как-то сразу сникли и приутихли.

Федор Терентьевич о своем «дружеском» разговоре, разумеется, никому не докладывал, но некоторое время ходил по институту с гордо

поднятой головой и чуточку медленнее обычного. Считал ли он, что в оздоровлении обстановки есть и его немалая заслуга, или просто радовался концу набивших оскомину проверок, так и осталось неизвестным. Факт тот, что все, как говорится, вернулось на круги своя. Пятый после успешной резекции желудка выписался из больницы и приступил к работе, институт сдал важнейший заказ, удостоенный Государственной премии, многие получили правительственные награды, Валя Кондратьева из двадцать девятого отдела под Новый год родила тройню — двух мальчиков и девочку, — а к февралю множество людей переругалось друг с другом из-за распределения жилой площади. Наш Федор Терентьевич работал так же, как в предыдущие годы: следил за чистотой служебных помещений, обеспечивал стирку спецодежды и исправно хоронил умерших сотрудников, организуя им достойные походы туда, откуда еще никто не возвращался. День на день не приходился, поэтому он порой радовался, а кое-когда и огорчался. Как известно, без этого жизни не бывает.

Так прошел еще год, а в июне ему вдруг стало плохо. Пять дней подряд его буквально выворачивало наизнанку от одного вида пищи, а потом Федору Терентьевичу полегчало, и он снова вышел на работу. Глаза у него немного запали, мясистые щеки заметно сохлились и пожелтели, но он бодрился и успел с прежним блеском похоронить еще четверых — трех пенсионеров и семидесятидвухлетнего профессора, месяц назад женившегося на подруге своей внучки от первого брака. Правда, зоркая институтская публика сразу отметила, что на поминках Федор Терентьевич проявлял неправдоподобную воздержанность в еде и почти не пил, но значения этим деталям придавать не стали. Мало ли что, и на старуху бывает проруха.

Через месяц загадочный приступ повторился в более резкой форме, и Федора Терентьевича срочно поместили в больницу. Его исследовали и двадцать дней спустя выписали домой, сообщив в институт о том, что часы Чистосердова сочтены. Болезнь слишком поздно дала о себе знать, и оперативное вмешательство на данной ее стадии лишено смысла.

— Жаль мне нашего Федора Терентьевича, — сказал Пятый Четвертому, когда они ехали в машине с опытного завода и свернули на Суворовский проспект. — От всей души жаль. Хотя в чем-то он сущий динозавр, но я с ним по-своему сроднился...

— А что со стариком? — спросил Четвертый, только вчера вернувшийся с полигона и бывший не в курсе дела.

— Ракевич, — поморщился Пятый. — И такой, что ему уже не выкарабкаться!

— Чертовски обидно! Он удивительно славный дядька и всегда был ко мне архидружелюбно настроен. Даже сам не знаю почему. Жаль старика.

— Что ты заладил: старик, старик! — недовольно проворчал Пятый. — Ему и пятидесяти семи нет. Он, если хочешь знать, всего на пять лет старше меня!

— Не придирайся к словам, — спокойно ответил Четвертый. — Где он сейчас?

— Дома. Дней десять как выписали из больницы, наша дежурка его перевозила.

— Послушай, Борис, у меня есть предложение. — Четвертый посмотрел на часы. — Давай проведем Федора Терентьевича?

— А что, мысль правильная, — согласился Пятый и повернулся к водителю: — Сема, ты знаешь, где квартира Чистосердова?

— Ага, — кивнул водитель. — Тут близко, на Пятой Советской, сразу за углом.

— Свози-ка нас туда.

— Обожди, Борис,— остановил его Четвертый.— Сема, давай к моему дому.

— Зачем? — удивился Пятый.

— Не пойдем же мы к нему с пустыми руками. Я заскочу домой и кое-что возьму, а ты зайди в булочную напротив и купи несколько свежих калориек по десять копеек штука. Мать мне рассказывала, что он их просто обожает.

— Договорились.

— Вы к кому, граждане?— тоненьким голоском спросила миниатюрная старушка с иконописным лицом.

— К Федору Терентьевичу Чистосердову,— сказал Пятый.

— Милости просим,— робко улыбнулась старушка и провела их по длинному темному коридору.— Вот его комната.

— Можно? — постучал в дверь Пятый.

— Войдите.

Комната была маленькая и не очень светлая, как почти все комнаты в старых петербургских домах, окна которых выходят во двор. На узкой металлической койке у стены лицом к свету лежал Федор Терентьевич, не похожий на самого себя. Его щеки и подбородок опали, волосы поредели и сплошь стали седыми, а белки глаз — лимонными, как при болезни Боткина. Когда они вошли в комнату, Федор Терентьевич обернулся, и удивление на его лице сразу же уступило место радости.

— Привет тебе, Федор Терентьевич! — бодро сказал Пятый.— Не помешали?

— Никак нет! — по-прежнему гаркнул он и тут же сморщился от боли.— Такие гости — что праздник.

— Федор Терентьевич, вы, пожалуйста, не беспокойтесь и не вставайте.— поспешно сказал Четвертый.

— Как можно! Раз такие гости дорогие пришли, так хозяин их должен принять как следует быть, елки-моталки! — Федор Терентьевич с видимым усилием сел на кровати и спустил ноги на пол.— Вы присядьте, а я мигом.

Кроме кровати, в комнате стоял двухдверный ленмбельпромовский шкаф, такой же стол, покрытый белой клеенкой, и три стула из тех, что называются венскими. Над кроватью висел пушистый ковер, а над ковром — портрет Сталина в простой деревянной рамке. Других предметов в комнате не было.

Когда Федор Терентьевич надел брюки и присел к столу, они увидели, что против прежнего от него осталась едва ли половина. Только живот был таким же огромным, но почему-то заметно сместился книзу.

— Ну, Федор Терентьевич, докладывай, как дела! — шутливо приказал Пятый.— Как у тебя со здоровьем?

— Дела как сажа бела,— покачал головой Федор Терентьевич.— Пожил на белом свете и будя!

— Сильно болит? — участливо спросил Пятый.

— Терпимо. Мутит меня, елки-моталки, цельными сутками, а рвать нечем, потому как не ем, бывает, с неделю, а то и боле.

— Аппетита совсем нет?

— Как когда. То от одного запаху мутит, то захочется чего соленького да кисленького. Вчерась вроде отпустило малость, так соседка, спасибо ей, рыбки дала да кашку сварганила.

— Насчет кисленького мы позаботились, Федор Терентьевич,— сказал Четвертый, доставая из портфеля две литровые банки, закрытые полиэтиленовыми крышками.— Моя мать просила передать вам вареной брусники с антоновкой.

— Вот спасибо мамаше вашей за гостинец,— обрадованно ответил Федор Терентьевич.— Низкий ей поклон передайте.

— И еще кое-что есть для тебя, старый вояка.— Пятый достал из сумки десяток свежих булочек.— Не уйду, пока все не съешь. Вон у тебя пузо какое, туда самосвал войдет.

— Никак нет!— возразил Федор Терентьевич.— Раньше, должно, влез бы, а теперь куда! Вода там копится, оттого и живот большой.

— Ты вот что, Федор Терентьевич, нос свой раньше времени не вешай,— заявил Пятый.— Я помнишь как доходил в прошлом году? Думал, что ты по старой дружбе меня в могилу уложишь. А сейчас сижу и с тобой вот разговариваю. И ты, брат, еще попрыгаешь!

— Нет уж, я, видать, свое отпрыгал.

— Знаешь, Федор Терентьевич, так у нас дело не пойдет!— категорически запротестовал Пятый.— Или ты не рад, что мы пришли?

— Рад-то рад, да совестно мне, что гостей дорогих угостить нечем.

— Мы и об этом позаботились,— сказал Четвертый и выставил на стол бутылку коньяка и пару лимонов.

— Спасибо вам, Никита Алексеевич, от сердца моего спасибо.— Федор Терентьевич встал, и глаза его подозрительно заблестели.— Уж и не знаю, какие слова-то подобрать...

— Не надо подбирать, Федор Терентьевич,— сказал Четвертый.— Рюмки у вас есть?

— Ясное дело, есть,— ответил Федор Терентьевич и подошел к шкафу.— У меня шпроты имеются, Никита Алексеевич. Не откроете их? Рука у меня что-то нетвердая.

Пока Четвертый открывал шпроты, Пятый посмотрел по сторонам и подмигнул хозяину:

— Вождя хранишь?

— Не вождя, а Верховного Главнокомандующего!

— Вот ковер у тебя знатный.

— Немецкий ковер. В Германии дружок на прощанье подарил.— Федор Терентьевич поставил на стол три граненых стакана и открыл бутылку.

— Чур, без меня,— заявил Пятый, прикрывая стакан ладонью.— Мне нельзя. Вы, братцы, пейте, а со мной отложим до другого раза.

— Другого раза не будет,— строго сказал Федор Терентьевич.

— Ну бог с тобой. Семь бед — один ответ. И отвечать, между прочим, будешь ты, Федор Терентьевич.

— Я согласный.— Он наклонил голову и аккуратно поровну наполнил стаканы.

— Ну, братцы, будем здоровы! — воскликнул Пятый.— В особенности ты, Федор Терентьевич!

— За мое за здоровье срок вышел пить, елки-моталки,— тихо сказал Федор Терентьевич.— А вот вам обоим желаю доброго здоровья. И еще спасибо вам, ребята. Не за то, что проститься пришли, а за то, что люди вы стоящие... Работал я с вами нелегко, но зато спокойно. Дело вы от каждого всерьез требуете, но даром человека не обидите. А нашему брату в охотку служится, когда к командиру к своему уважение имеешь...

Федор Терентьевич умер в первых числах января, и хоронили его в солнечный морозный день. Гроб с телом был выставлен в фойе клуба, приглушенно звучали траурные мелодии, вдоль стен стояло несколько десятков похожих друг на друга венков из бумажных цветов и проволоки, а раз в пять минут производилась смена почетного караула.

Пятый пришел в клуб за час до выноса. Он не очень-то полагался на недавно принятого исполняющим обязанности начальника АХО отставного капитана второго ранга и решил проверить все лично. В этот день ему предстояло много хлопот и много неожиданностей.

Началось с того, что Пятый, как баран на новые ворота, уставился на столик, стоявший у гроба, где на алых бархатных подушечках лежали два ордена Боевого Красного Знамени, ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орден Красной Звезды и медали с сильно потрепанными ленточками. «Мать честная,— подумал Пятый,— вот тебе и хоззвод! Возомнили мы о себе бог знает что, а на поверку ведь ни черта о людях не знаем!»

Минут через сорок пришел директор института, постоял в почетном карауле, внимательно посмотрел на подушечки с наградами Федора Терентьевича и неожиданно остался на похороны. Подобного факта Пятый припомнить не смог. В их институте испокон веков действовал четкий порядок, согласно которому на похоронах администрацию представлял тот заместитель директора, в чьей зоне влияния ранее работал умерший. Напрямую директору подчинялись только плановики и бухгалтерия, но когда там изредка хоронили сотрудника, то вместо директора обычно выступал Шестой. Иногда директор приходил постоять в почетном карауле, да и то лишь при прощании с наиболее близкими ему специалистами, а на похороны не ездил никогда.

— Кто там сидит у гроба? — спросил директор у Пятого. — Родственники Чистосердова?

На двух стульях у изголовья гроба спиной к ним сидела странная пара: простоволосая пожилая женщина с распухшим от слез лицом и щербатый старичок с полуседым мальчишеским чубчиком. Оба были в валенках с высокими самодельными галошами, изготовленными из автомобильных камер. Выглядели они четко по-деревенски, что, впрочем, теперь ничего не значило. Раньше жили, допустим, на Ржевке или в Бернгардовке, но город вырос и проглотил эти поселки целиком и полностью, сделав их жителей полноправными ленинградцами.

— Понятия не имею, — пожал плечами Пятый.

— Узнай и к вечеру сообщи мне, — распорядился директор. — А я подумаю, как бы им что-нибудь подкинуть.

Ровно в тринадцать часов все зашевелилось, на улице грянула духовая музыка, девочки из конструкторского бюро вынесли подушечки с орденами и медалями, за ними на руках поплыл гроб, и весь народ направился к выходу. «Вот ведь черт упрямый, — подумал Пятый, глядя с крыльца на музыкантов, — перемудрил-таки меня Федор Терентьевич!»

Их было шестеро, и все они были сильно искалечены. Играли они из рук вон плохо, знали от силы три-четыре траурных мелодии и выезжали в основном за счет громкости.

«Ты вот что, Федор Терентьевич, этих убогих больше не зови, — как-то года четыре назад заявил Пятый после очередных похорон. — Играть они, скажем прямо, совсем не умеют, а поглядишь на них, так неделю сна не будет». «Инвалиды они военные, — возразил ему Федор Терентьевич. — Их понять надо». «Я не хуже тебя все понимаю! — повысил голос Пятый. — Но звать их больше не зови! Они получают пенсию по инвалидности — и бог с ними!» «Пенсия пенсией, а каждый человек должен быть при деле, — не соглашался Федор Терентьевич. — Интерес чтоб к жизни-то имелся, елки-моталки!»

«Стало быть, Федор Терентьевич меня перехитрил, — констатировал Пятый, — а точнее, решил вопрос по-своему. А что, он ведь, пожалуй, был прав. Похороны не филармония, и мастерство вместе с манерой исполнения здесь не главное...» Пятый поежился, надел на свою лысую голову ондатровую шапку и еще раз взглянул на музыкантов.

Они важно надували щеки и играли громче обычного, а по лицу одного, слепого, катились слезы. Нелегкая, однако, у них доля, решил Пятый. Попробуйте-ка поиграть с полчаса на двадцатиградусном морозе с хорошим ветерком. Инструменты-то металлические, губы в кровь обдерешь!

Когда-то, лет десять назад, Федор Терентьевич по собственной инициативе выработал ритуал, по которому открытый гроб на руках несли до главной проходной, где покойник якобы прощался с институтом. Так же сделали и сегодня, и когда процессия медленно двинулась вдоль сквера, Пятый с удивлением зафиксировал еще одно необычное обстоятельство. Сразу за гробом шли старик со старухой (те самые — в валенках с галошами), а за ними перед громадной толпой сотрудников — директор и пять его заместителей. Не было только Первого и Четвертого, но их и быть не могло. Первый читал лекции в Политехническом институте и считал это святым делом, а Четвертого в октябре повысили в должности и забрали в Москву. «Ну и ну, — подумал Пятый, оглядываясь по сторонам, — ай да Федор Терентьевич! Никогда бы не подумал, что народ так к нему относится. Прямо-таки загадка, над которой на досуге стоит поломать голову...»

На кладбище капитан второго ранга вполголоса доложил Пятому, что могильщики отказались брать деньги.

— Может, ты мало дал? — подозрительно спросил Пятый.

— Как в прошлый раз, Борис Сергеевич, по десятке на брата.

— Странно... И что они тебе сказали?

— Спасибо, говорят, сегодня не требуется. Один, правда, протянул было руку, но бригадир так на него цыкнул, что тот с ходу ступенек.

— Видно, они знали Федора Терентьевича, — вслух подумал Пятый и пожевал губами.

— Знали, знали, — подтвердил новичок. — Хорошего человека хороните, сказали, пусть земля ему будет пухом.

Тогда вроде картина проясняется, решил Пятый, а то сплошь загадки. Можно понять, почему ребята из мехцеха вчера просто так, без отгулов согласились после смены сварить ограду и колонку из нержавеющей стали, но чтобы могильщики работали даром, такого он ни разу в жизни не слышал! Даром — это, пожалуй, сильно сказано, потому что наряд им так и так закроят, но чтобы не взять деньги!

После похорон в столовой, расположенной вне территории института, состоялись поминки по Федору Терентьевичу Чистосердову. По тому же ритуалу они производились по подписке, из расчета по семь рублей с каждого желающего принять участие.

— Сколько народу сядет за стол? — спросил Пятый у завпроизводством.

— Вместе с нашими столовскими ровно двести шестьдесят человек! — с гордостью ответил тот.

Обычно все садились за столы рядом со знакомыми, но Пятый, выполняя задание директора, подсел к старичку с чубчиком, устроившемуся рядышком с уплатившими свою долю увечными музыкантами. Дирижировал поминками предместкома Савчук. Пятый произнес первый поминальный тост и разговорился со старичком, оказавшимся колхозником, живущим в Псковской области, недалеко от города Изборска.

— Вы родня Федору Терентьевичу? — прямо спросил Пятый.

— Родни у товарища гвардии младшего лейтенанта не осталось, — ответил ему собеседник. — Выбило всю евоную родню.

— Кем же вы ему приходитесь? — уточнил Пятый.

— Земляки мы и воевали в одной части, — просто ответил тот. — Командиром он был мне.



Слово за слово Пятый выяснил, что Федор Терентьевич и его, Пятого, сосед по столу почти всю войну прослужили в дивизионной разведке, где Чистосердов командовал взводом до осени 1944 года, когда его тяжело ранили в Польше. Его группа ночью напоролась на минное поле, потеряла троих и двое суток выбиралась к своим, вынося на руках Федора Терентьевича. По словам старика, пах и бедра Федора Терентьевича были сплошь посечены осколками так, что буквально живого места не оставалось. Но он все-таки выжил, вернулся в часть и прослужил до победы, хотя в разведку, как прежде, уже ходить не мог. А после войны вернулся в свои родные Великие Луки и нашел там одни головешки. К нему в деревню под Изборск Федор Терентьевич, будучи городским жителем, ехать не захотел и подался в Ленинград, но каждое лето гостил у них, ловил раков и любил собирать грибы, которыми богаты тамошние леса. И в первые послевоенные голодные годы, от себя отрывая, посылки слал продуктовые и из одежды кое-что подбрасывал.

— Золотой был Федор Терентьевич, настоящий русский человек.

Старичок закончил рассказ, и они еще разок помянули покойника.



---

---

МИХАИЛ БАСМАНОВ



ИЗ КИТАЙСКОЙ ТЕТРАДИ

Поднимаюсь на горную вершину

В несколько тысяч ступеней крутая  
Лестница. К цели я ближе, все ближе:  
Жажду взглянуть на просторы Китая —  
Что там с заоблачной выси увижу?

Вот и вершина в зеленом уборе,  
И на востоке раскинулось море.

С волнами борется лодка рыбацья,  
К берегу долго причалить не может.  
Чей-то корабль в отдаленье маячит —  
В гости пожаловал кто-то, похоже.

Флаг различить я пытаюсь напрасно...  
Нет, он не красный.  
Нет, он не красный.

Размышляю после возвращения  
с прогулки в столичном парке

Конечно, шутят, будто в Поднебесной  
Нет места ни для чувств, ни для мечты,  
Без страсти женщины, а соловьи без песен,  
Без запаха и травы и цветы!

В обратном убедился я воочью:  
Я слышал пенье птиц среди деревьев,  
Когда по парку шел вчерашней ночью,  
От запаха магнолий захмелев.

Я видел паренька с девчонкой рядом —  
Цитатника в руках он не держал,  
Она его одаривала взглядом  
Таким, что и любого бросит в жар.

Подумалось: канонам не подвластен,  
Им вопреки подлунный мир живет.  
С природой вседержавною в согласье  
Вершится все как должно,  
В свой черед.

### В Шанхае

Я слушать заверения устал,  
 Что Пушкин и у них поэт любимый,  
 Что злобный вихрь давно промчался мимо...  
 Но где же бюст? Пустует пьедестал!

Визитов никому я не нанес,  
 Родной страны не передал привета.  
 Вдруг за столом окажется и этот,  
 Кто дал команду: «Принесите трос!»

### На озере Сиху

Передо мною дамба Су Дунпо <sup>1</sup>  
 С ее шестью горбатыми мостами.  
 Тысячелетье минуло с тех пор,  
 Как хаживал он этими местами.

В междоусобной изнурясь борьбе,  
 В чиновничьей карьере изуверясь,  
 В стихах утеху находил себе,  
 Отринув прочее как суету и ересь.

В веках минувших видя идеал,  
 Клеймил он современников пороки,  
 По дому и друзьям здесь тосковал,  
 В печаль и гнев окрашивая строки.

Луной на воду брошена слюда,  
 На берегу игра теней и света.  
 И мышь летучая снует туда-сюда,  
 Как беспокойная душа поэта.

Апрель, 1983.

---

<sup>1</sup> Дунпо Су (1037—1101)— выдающийся поэт и политический деятель, подвергавшийся гонениям со стороны правящей верхушки сунского двора.

---

---

МАРИНА НЕКРАСОВА



\* \* \*

Я никогда тебя не разлюблю,  
К границе льнущий маленький поселок,  
С Небесных гор сорвавшийся осколок,  
Упавший в душу детскую мою.  
Как ощущение утра и росы,  
Бесстрашно ощущение полета  
С ладони теплой — взлетной полосы,  
Берущей прямо с неба самолеты.  
Не удивляйтесь, горы,— это я.  
Все помню: ваши пропасти, и травы,  
И воды ежевичного ручья,  
Бегущего на Н-скую заставу...

\* \* \*

Сколько раз повторяется это:  
Облака, деревья, ковыли.  
И шагают художник с поэтом  
По обочине русской земли.  
Непогоды надвинутся грозно —  
Да они не от русской тоски.  
Но не дай тебе — вместо березок  
Чтобы здесь вырастали кресты!  
Но в любые года грозовые  
Чтобы только была и жила!  
Чтоб стояли цветы полевые  
В чистой склянке простого стекла.

Душанбе.

---

---

---

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА



## МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ

Рассказ

**Н**аташа сидела в аэропорту, ждала сообщения о своем рейсе. Рейс все время откладывали: сначала на три часа, потом на четыре. Этим же самолетом улетал в Баку на гастроли болгарский цирк. Циркачи расположились вольно, как цыгане,— на полу, в креслах. Вокруг них бегали промытые, расчесанные болонки одного возраста и роста. Наверное, у них в программе был свой собачий мюзик-холл.

Мимо Наташи прошел высокий мужчина, чем-то отдаленно походивший на ее первого мужа. Времени было много, голова пустая, и от нечего делать Наташа вспомнила свое первое замужество. В другом случае она бы про него не вспомнила.

Они поженились, когда ей было восемнадцать, а ему двадцать два. И тут же разошлись. Ну не совсем тут же. Месяцев восемь они все же прожили. Брак оказался нестойким. Как только схлынула страсть, обмелела их река, обнажилось дно, а на дне всякие банки-склянки, мура собачья. Они стали ругаться, ругались постоянно и из-за ничего. Это болела их любовь, откашливаясь несоответствиями, и наконец умерла. Но, разойдясь, еще долгое время продолжали встречаться и продолжали ругаться. Они не могли быть вместе и не умели быть врозь. Тема их ссор была примерно такова: Наташа считала мужа дураком, не способным соответствовать ее красоте. Ей казалось, что фактор красоты должен давать в жизни дополнительные преимущества, как, скажем, билет на елку. А муж говорил, что красота — явление временное и преходящее. Она обязательно уйдет лет через двадцать и помашет ручкой. А его способность к устойчивому чувству, именуемая «верность», — навсегда. Это не девальвируется временем. Так что он — муж навыrost. Сейчас немножко не годится, зато потом в самый раз. Но в восемнадцать лет невозможно думать о потом. Жизнь представляется непомерно долгой, кажется, что всего еще будет навалом и все впереди...

Они разошлись и встретились через двадцать лет. Он был женат во второй раз, имел дочь, которую назвал ее именем. Жил в другом городе. Наташа попала в этот город по делам службы. Она знала, что экс-муж живет где-то здесь. Позвонила 09, назвала его фамилию, ей дали телефон. Наташа набрала номер и услышала своего первого мужа через двадцать лет. Голос не изменился. Голос — инструмент души, а душа не стареет. Они разговаривали друг с другом прежними молодыми голосами.

— Здравствуй,— сказала Наташа.— Только не удивляйся.

— А кто это? — насторожился он.

— Это твоя жена за номером один.

Настала пауза такая длинная, что Наташа подумала: телефон разъединился.

— Алло! — позвала она.

— Я сейчас приду, — сказал экс-муж. — Куда?

Она назвала гостиницу и номер.

Положив трубку, занервничала. Было непонятно: зачем позвонила? зачем позвала?

Надела белую французскую кофточку. Потом передумала и поменяла на черную — к фигуре лучше, зато хуже к лицу. Надо было выбирать между лицом и фигурой.

В дверь постучали скорее, чем она предполагала. Она открыла и увидела его. За эти двадцать лет он слегка расширился, но выражение лица и вся его сущность остались прежними, и эта сущность откровенно выглядывала из окошек больших зеленовато-бежевых глаз.

— Какая ты стала... — проговорил он и покивал, как бы подтверждая свою правоту: красота миновала, как станция, и именно через те самые двадцать лет, о которых он честно предупреждал.

— А ты все тот же, — ответила Наташа, намекая прозрачно, что он каким дураком был, таким и остался.

Наташа действительно изменилась за двадцать лет. Если сравнить Наташину красоту с природной, то раньше она была луговая, а стала полевая. Но кто знает, что лучше: луг или поле.

Удивительно было другое: они начали ссориться с той самой фразы, на которой прервались двадцать лет назад. Как будто не было этих двадцати лет и они расстались только вчера с этими же претензиями.

Потом спустились в ресторан поужинать. Выпили вина. Он стал рассказывать, как долго и мучительно переживал свой разрыв с ней. Женился потому, что боялся спать.

— Но ведь пережил, — успокоила Наташа, уходя от неприятной темы и давая понять, что все плохое уже позади. В прошлом.

— Но ведь я переживал... — Он подчеркнул слово «переживал», настаивая на длинном куске жизни, отданном страданию.

— Страдать полезно, — как бы оправдалась Наташа. — Страдания формируют душу.

— Ерунда, — не согласился он. — Не помню, кто-то сказал: «Счастье — вот университет». Страдания иссушают душу. А из засухи ничего путного не вырастает. Всякие сорняки вроде злости.

Он действительно оказался способен к устойчивому чувству. Сначала он ее любил. Потом ненавидел. Теперь не простил. Значит, она была с ним всегда.

Выпили еще. Наташа рассказала о своей диссертации. Она изучала наследственный код маленьких мушек дрозофил. Дрозофилы — это те, которые любят фрукты. И мушки дрозофилы, летающие над фруктами, больше похожи на пыль, чем на живые организмы. А она их скрещивала, изучала и делала через них серьезные выводы, касающиеся всего человечества.

Он рассказал, что после своего медицинского стал специализироваться на зубном протезировании. У него прекрасные заграничные фарфоровые материалы, и спрос на него превышает его физические возможности. Подо всем этим подразумевалось, что денег — куры не клюют и Наташа поторопилась тогда, двадцать лет назад. Сейчас он был бы ей как раз в пору.

— Ты замужем?

— Да, — соврала Наташа. Она была замужем, но не до конца.

— А ты изменяешь своему мужу?

Это был основной вопрос. Верность — вот его главное требование к женщине, и если Наташа отвечала этому требованию, значит, его утрата была невозможна.

— Как тебе не стыдно! — удивилась Наташа.

— Так да или нет?

— Никогда!

Он расстроился и поник. То, что в нем осело и успокоилось за прошедшую жизнь, вновь всплыло со дна души, как бывает, если в пруду поворошить палкой — и поднимается тина и грязь.

Потом они расстались. И это еще на двадцать лет. Город, в котором он жил и работал, был маленьким, командировки туда были случайностью, да и не в этом дело. Дело было во взаимной бесполезности.

Наташе казалось, что, разойдясь с мужем, она выйдет замуж очень скоро. Стоит ей выйти на улицу и крикнуть: «Хочу замуж!» — как тут же сбегутся толпы и выстроятся в длинную очередь. Но она была наивна в своей самоуверенности. Поиском счастья заняты все, а находят его единицы. Ну десятки... Ну даже сотни. Но что такое одна сотня на все человечество... Однако Наташе удалось со временем попасть в сотню и даже в десятку, когда она полюбила Китаева, профессора биохимии, автора четырнадцати блестящих открытий и гипотезы о возрасте Земли. Казалось, что у него в голове не мозги, а какая-то сверхмощная электростанция, которая генерирует идеи, заряжая ими окружающих. Он раздаривал свои идеи направо и налево, был щедр, как всякий талант, как курочка-ряба, которая несет золотые яйца и не дрожит над каждым — знает, что следующее тоже будет золотым.

Внешне Китаев был лысоват, желтоват, сух, походил на старуху. Наташа не замечала этого. Красавец у нее уже был. Она видела Китаева своим собственным зрением, и все остальные мужчины рядом с ним казались бледными и невразумительными, как десятый оттиск через копирку.

Китаев долгое время не мог поверить в Наташину любовь, потом все же поверил, а за долгие годы и по привычке, как к жене, хотя Наташа не была его женой. Женой считалась другая. Но эта другая ничему не мешала, а Наташа ничего не требовала, и создалась возможность ничего не менять. Постоянные перемены клубились в золотых мозгах Китаева, а к внешним переменам он был холоден.

Иногда Наташе казалось, что завтра, именно завтра, а не послезавтра он сделает ей предложение — так глубоко было их прорастание друг в друга. А иногда ей казалось, что этого не случится никогда. Можно было бы не гадать, а прямо спросить, но в вопросах и вообще в словах есть конкретность. А любовь, как музыка, должна быть вне слов. Во всяком случае, вне вопросов.

И сегодня утром, когда Китаев позвонил ей из Баку, где пребывал на симпозиуме стран Азии и Африки, и позвал Наташу приехать на пару дней, она не стала спрашивать: зачем? И так ясно. Соскучился. Не может дожить без нее оставшиеся дни. Но из этих двух дней девять часов уже украдено. Она сидит в московском аэропорту, а он в бакинском — выкинут в бездействие и ожидание и наверняка жалеет, что затеял этот марш-бросок.

Медный голос над залом объявил посадку. Циркачи задвигались, собаки дружно залаяли, как будто поняли и обрадовались.

Наташа пристегнула ремни. Ее тошнило от страха и подъема.

Самолет шел толчками, а потом куда-то оседал вниз, и всякий раз, когда он оседал, сердце катило к горлу в предчувствии конца. Она не столько боялась самого конца, сколько дороги к нему. А дорога предстояла длинная, секунд в тридцать, и, что самое неприятное, осмысленная. У Наташи был дальний родственник Валик, которого завалило в шахте. На него упало сорок тонн породы, и понадобилось много вагонеток, чтобы его откопать. Откопали его с седыми бровями, хотя это был молодой человек. Значит, какое-то время, может быть секунд тридцать, а то и шестьдесят, он жил, полностью понимая, что с ним случилось. Его жена Надька падала на гроб с неподдельным

безумством отчаянья, как великая итальянская актриса Анна Маньяни. В тех южных районах похороны — своего рода спектакль, катарсис, очищение, когда выдыхаешь в крике все отчаянье, несогласие с судьбой. А люди вокруг, заразившись чужим несогласием, тоже плачут и выдыхают свое собственное, чтобы облегчить душу и жить дальше. Надька падала на гроб, ее оттаскивали. Фотограф запечатлевал эти мгновения. Однако через неделю у Надьки уже ночевал некий Петько. Оказывается, он имел место еще при жизни мужа, и они еле-еле переждали эту неделю. Соседи были недовольны, и в обиходе гуляла фраза «Еще пятки не успели остыть», подразумеваемая пятки Валика. Но больше всех убивалась Надькиной изменой ее мать, теща Валика. Она приходила к ним в дом и допрашивала Надькину дочку-подростка: «Вин ночевал?» «Ночевал», — хмуро отвечала девочка. «На кровати?» — пугалась Надькина мать. «А дэ ж? — удивлялась девочка. — Пид кровати, чи шо?» Надькина мать начинала плакать, ломая руки: «Но ведь вин же був... був... А вона як його николи не було...» Надька вела себя так, как будто Валика никогда не было. А ведь он был... был... И вот это мимолетное забвение пугало Надькину мать больше всего. Как будто Валика завалило породой два раза. Один раз живого, а другой раз мертвого...

Наташа боялась этого же самого. Она знала, что живой думает о живом. И если она сейчас разобьется на самолете вместе с самолетом, то Китаев, не забыв ее, но задвинув в дальний ящик памяти, будет смотреть в другие глаза. Забвение — это еще одна, дополнительная смерть.

Самолет набрал высоту. Наташа откинула спинку кресла, закрыла глаза. Самолет больше не взмывал. Сердце не подкачивало. Она решила посмотреть, что делается внизу и вокруг.

Вокруг все спали, и большое количество спящих мужчин напоминало картину «Поле после битвы».

Возле нее сидел молодой человек, по виду баскетболист, на полторы головы выше довольно высокой Наташи. Она выглянула в иллюминатор, увидела космическую черноту и огонь, который выбивался из-под крыла самолета.

В мозгу произошло полное оцепенение, и в этом оцепенении прозвучало одно только слово — «неприятно», будто его записали на магнитофонную пленку и пустили в пустой голове. Как будто кто-то посторонний в ней бесстрастно произнес: «Неприятно». О Китаеве в мозгу не было сказано ни слова. Но тело среагировало по своим собственным законам, независимым от головы. Она схватила за руку сидящего рядом баскетболиста так, что ее пальцы сошлись на его руке.

— Ой! — сказал Баскетболист. Для него были неожиданны и боль и факт прикосновения.

— Мы горим, — сказала Наташа относительно спокойно для такого сообщения.

Баскетболист перегнулся к иллюминатору и внимательно посмотрел за окно.

— Это сигнализация, — сказал он. — Опознавательные знаки.

— А зачем они нужны? — не поверила Наташа.

— Чтобы на нас не наскочил другой самолет.

Наташа снова припала к иллюминатору. Огни действительно вспыхивали с одинаковыми промежутками, будто пульсировали. А пожар имеет более стихийный вид и характер.

По салону прошла стюардесса — деловито и бесстрастно. Так не ведут себя при катастрофе.

В самолете погас свет. Видимо, пассажирам предлагалось поспать. Наташа закрыла глаза. Баскетболист тоже откинул кресло, и их головы оказались рядом. И было такое впечатление, будто они лежат в одной кровати. От него исходило тепло, тянуло, как от печки. Хоте-



лось не отодвинуться, а приблизиться, чтобы не было так одиноко и страшно между небом и землей. Он подвинул к ней локоть — чуть-чуть, на полсантиметра. Но она услышала эти полсантиметра. И не отодвинула руку. Из его локтя текла энергия молодого биополя. Эта энергия обволокла Наташу, и они полетели вместе в одном облаке. Было темно, тихо, но она слышала, как в тишине, будто молот, стучало его сердце в грудную клетку. Наташа независимо от себя самой положила голову на его плечо. Он опустил лицо в ее волосы. Теперь их сердца стучали вместе, и было совершенно не страшно падать. Только бы вместе.

— Ты из Баку? — спросила Наташа.

Надо же было как-то общаться. Неудобно было в этой ситуации оставаться незнакомыми.

— Из Баку. Да.

— Но ведь ты русский...

— Там и русские тоже живут.

— А чего они там забыли?

— Хороший город...

— А что ты делал в Москве?

— На сборах был.

— Ты спортсмен?

— Спортсмен. Да...

Они разговаривали шепотом, потому что страсть забила горло. И разговаривали только для того, чтобы как-то отвлечься и оттащить себя от неодолимой тяги. Именно неодолимой, ее невозможно было одолеть.

Баскетболист наклонился и поцеловал Наташу. Губы у него были осторожные, мягкие, как у лошади.

Сердце подошло к горлу — так, будто самолет упал в воздушную яму.

Наташа ни разу в своей жизни не испытывала ничего похожего. Другие серьезные свершения, которые во взрослом языке именуются любовью, не имели к этому состоянию никакого отношения. Как слова к классической музыке. Как текст ко второму концерту Рахманинова.

— У тебя есть кто-нибудь? — спросил он.

— Жених. Я к нему лечу.

— Да... Ты еще молодая...

Он не разобрал в потемках, сколько ей лет.

— А у тебя есть девушка?

— Невеста. Снежана. Я к ней божественно отношусь.

— Она болгарка? — догадалась Наташа.

— Болгарка. Да. Я к ней божественно отношусь. Но то, что я чувствую к тебе, я не чувствовал ни к кому и никогда и даже не знал, что так бывает.

— А что ты чувствуешь?

— Не знаю. Это как солнечный удар.

Наташа отстранилась и посмотрела на него. Она ведь его еще и не видела. Молодое лицо, туго обтянутое кожей, тревожные глаза. Ей показалось недостаточным видеть его, она протянула руку к его лицу и обежала пальцами, как слепая, пытаясь запомнить черты в ощущениях. Он не удивился. Все, что происходило между ними, казалось естественным и, более того, единственно возможным. Как будто это не самолет в ночи мерцал огнями, а их души подавали друг другу опознавательные знаки.

— Как ты живешь? — спросила Наташа.

— Мучительно. Я мучаюсь.

— Чем ты мучаешься?

— Я хочу воскресить свою маму. Можно воскресить человека из мертвых?

— Нет. Нельзя.

— А откуда вы знаете?

— Я биолог. Я знаю это наверняка. Это единственное, чего нельзя добиться. Всего остального можно.

— Но ведь восстановили же древних лошадей. Тарпанов. Скрещивали, подбирали — и восстановили. И сейчас в Аскания-Нова ходит целое стадо тарпанов.

— Восстановили биологический вид. А индивидуальность восстановить невозможно. Личность неповторима.

— Но ведь некоторые считают, что через потомков можно будет воскресить предков. Восстановить личность.

— Природа заинтересована в смене поколений. Люди рождаются, стареют и умирают, чтобы дать место молодым. Колесо жизни нельзя крутить в обратном направлении.

— Но мама не постарела. Она умерла молодой. Она не дожила.

— Надо смириться.

— Я не могу смириться. Я не могу без нее жить. Я даже хотел уйти за ней следом... Вы думаете, я сумасшедший?

— Нет. Я так не думаю.

Наташу действительно не удивило его желание: воскресить. Вернее, удивило, но она понимала, что им движет. Его двигательную пружину. Надька рассталась со своим мужем Валиком еще до того, как он погиб, и факт гибели ничего не изменил. А Баскетболист не расстался со своей мамой и после смерти, наоборот, он слился с ней в одно, и вынужденная разлука воспринималась им как противоестественная. Вернее, не воспринималась вообще. Он искал выход: либо уйти к маме, либо вернуть ее к себе. Он остановился на последнем.

— У нас никого больше не было на свете: только она у меня, а я у нее. Нас отец бросил, когда мне был месяц, а ей девятнадцать лет. Я даже не знаю, был ли он вообще. Я никогда его не видел. Мы жили не то что бедно — в нищете. У нас иногда в день была одна тарелка пустого супа. А однажды я всю зиму просидел дома, у меня не было теплых ботинок...

Наташа легла на свое откинутое кресло лицом к нему, вдыхая голос и слова.

Он рассказал о том, что мать окончила театральное училище, но ни один театр ею не заинтересовался. Должно быть, она была очень слабая актриса. Деньги она зарабатывала, иллюстрируя лекции от общества «Знание». Лектор читал, скажем, о творчестве Максима Горького, а она выходила в платье до полу, с длинным газовым шарфом и декламировала «Буревестник», изображая шарфом то бурю, то море. Наверное, мама могла бы выйти и в нормальном костюме — юбке и кофточке. Но она была актриса в принципе своем. В ней жила потребность лицедейства и самовыражения. Но потребность не совпадала с реальностью. Талант ее был маленького росточка, она не хотела этому верить. Редко кто из людей, зараженных микробом творчества, может сказать себе: я бездарен. Для этого нужен особый ум и особое мужество. А потом она заболела и умерла. В больнице. Это случилось год назад. Он, ее сын, находился при ней неотлучно и днем и вечером. Его карманы были набиты мятыми рублевками нянечкам совать, но он все делал сам. Однажды лечащий врач сказал: «Потерпи, уже недолго осталось, дня два-три...» А Баскетболист смотрел и не понимал: о чем он... Он готов был жить так всю оставшуюся жизнь: не есть, не спать, не присесть даже, только бы мама дышала и моргала. А в один из дней утром он вышел на лестницу покурить, и когда вернулся, то в первое мгновение ничего не понял. Мама была, но ее больше не бы-

ло. Она куда-то ушла, оставив свое тело, как бросают дома в деревнях.

В палате находилась еще одна женщина, мамина соседка. Она указала дрожащим пальцем и проговорила шепотом: «Она умерла...» «Да...» — так же шепотом отозвался он. «Скажите, чтобы ее убрали». — «Это нельзя. Ее нельзя трогать». — «Почему?» — «Порядок такой». Он надеялся, что ее еще можно вернуть, отозвать оттуда, куда она только что ушла. «Но я же не выдержу. Я с ума сойду». — «Я ничем не могу вам помочь». — «Но позовите кого-нибудь». — «Я позову. Но это ничего не даст». Женщина говорила шепотом и спокойно, и он тоже отвечал ей шепотом и пытался, как ему казалось, растолковать. Но это был разговор двух обезумевших от потрясения людей: шепотом и очень логично.

А потом он ходил к врачу, сначала лечащему, потом заведующему отделением, и умолял, чтобы маму воскресили, и все время извинялся за беспокойство. Ему сделали укол и отправили домой. Дома он вскрыл вены.

— А Снежана? — спросила Наташа.

— Она не имела значения. Я ее не учитывал.

Замолчали.

— Вы думаете, я ненормальный? — снова спросил Баскетболист.

— Нет. Я так не думаю. Просто ты молодой и не умеешь терпеть горя. Ты еще не научился терпеть.

— Может быть, и так. Но мама не должна была умереть. Это нечестно. Она жила мало и плохо. Она знала одни унижения и как актриса и как женщина. А где компенсация? Смерть?

— Каждый человек жнет то, что сеет. Это жестоко, но это так.

— Она сеяла нежность и наивность...

— Значит, она сеяла не на той ниве.

— Как? — не понял Баскетболист и придвинул ближе напряженное непониманием лицо.

— Не ту профессию выбрала. Не тому мужчине родила.

— Она родила не тому. Но того! Я любил и люблю ее больше всех людей.

— Судьба...

— Нет! — шепотом вскричал он. — Это нечестно!

Он сжал кулак, сунул его в зубы и затрясся в плаче.

Наташа никогда не видела плачущих мужчин. Правда, ее первый муж несколько раз принимался плакать в пьяном виде, но там были другие слезы.

Наташа отняла его кулак от зубов, разомкнула пальцы и опустила свое лицо в его руку. Она хотела, чтобы он ощущал ее рядом с собой. Чтобы они держались друг за друга между небом и землей.

— Женись на Снежане, — сказала Наташа. — Роди дочку. Назови ее именем своей мамы. Как ее звали?

— Александра.

— Вот. Назови Александра. Это замечательное имя. Его можно как угодно сокращать: Аля, Сандра, Шура, Саша... Она будет похожа на тебя, потому что девочки похожи на отцов. А мальчики на мать. Сандра через тебя будет походить на твою маму, и ты ее воскресишь...

— А вас как зовут?

— Наташа.

— Самолет пошел на снижение, — казенно-женственно объявила стюардесса. — Приведите кресла в исходное положение, пристегните ремни.

Зажегся свет. Пассажиры задвигались, пристегивая ремни. Наташа посмотрела на Баскетболиста, давая тем самым возможность рассмотреть себя при ярком свете. Но он не видел возрастной разницы

между ними. Похоже, солнечный удар произвел в его мозгу стойкие изменения.

— Мы увидимся? — спросил он.

— Нет,— сказала Наташа.— Это невозможно. Я не одна.

— Ну и что? Может, вы найдете время?

— Может, и найду. Но зачем?

Он не ответил. Что на это можно сказать?

Самолет пошел вниз, утробно воя. Садился толчками, как и взлетал. Под крылом колыхалась тошнотная неустойчивость. Видимо, командир корабля не был прирожденным летчиком. Просто научили.

Аэродром отделялся от города железной решеткой.

Китаев стоял по другую сторону решетки, напряженно, не отрываясь смотрел на дверь, откуда Наташа должна была появиться, и в этот момент походил на благородного хищника.

Наташа пошла не в дверь, а остановилась возле железных прутьев, глядя на Китаева со стороны на прямом и переносном смысле этого слова. Потом тихо окликнула:

— Китаев...

Он быстро повернулся, подошел к решетке и, продев руки сквозь прутья, обнял ее, поцеловал крепко и взволнованно. Губы у него были узкие, жесткие. Поцелуй не дошел до сердца. Так и остался на губах.

Пока дожидались багажа, Китаев жаловался на задержку рейса. Потеряна ночь, которая потянула за собой неполноценный день. Можно было бы сказать: «А я при чем? Не надо было звать». Но Наташа помалкивала с виноватым видом. Китаев не знал ее вины. А она знала: она не вспоминала о нем в минуту смертельной опасности и провела ночь с другим. Двойное предательство.

Пришел багаж. По кругу медленно закрутилась широкая лента. На нее из темноты, как из космоса, выпадали чемоданы, баулы, сумки. Недавние пассажиры, а сейчас просто невыспавшиеся люди стояли вокруг и замороженно следили за лентой, как смотрят в руки дед-мороза, хотя ничего, кроме собственного чемодана, они получить не могли.

И тут Наташа увидела Баскетболиста. На земле он выглядел очень убедительно: прямой, высокий, с прекрасной головой на сильной шее. Такие шеи мультипликаторы рисуют Иванам-царевичам и Иванам-дуракам. Он с открытым недоумением смотрел на Китаева и не мог взять в толк: почему Наташа уходит от него к этому усрохшему пристарку? Почему нельзя достать живую воду, чтобы воскреснуть из мертвых? Почему нельзя отбить у кощей свою царевну-лягушку?.. Его синяя, спортивная, даже на вид тяжелая сумка несколько раз проплывала мимо него, наталкиваясь и громоздясь на соседние чемоданы. И так же наталкивались и громоздились в нем вопросы, и от этого его глаза становились больше и темнее.

Китаев взял с ленты знакомый рыжий Наташин чемодан, и они пошли из багажного отделения. Предъявили контролеру бирку.

Перед тем как выйти наружу, Наташа обернулась. Баскетболист вывернул голову, как птица. У него были глаза, как у цыганенка.

Был в ее жизни такой случай. Как-то летом они с матерью жили на даче, и к ним во двор вошла цыганка. На ее руках сидел невиданной красоты замызганный цыганенок и держал перед собой чумазую раскрытую ладошку. Цыганка потребовала еды, одежды и денег. Она требовала по максимуму, потому что знала: чтобы получить рубль, надо просить десять. Мать пошла в дом и вынесла то, что было не жалко или не очень жалко: пирог с мясом, деньги и старый халат. А в руку цыганенка положила недавно сваренную в мундире картофелину. Потом испугалась, что картофелина недостаточно остыла, и гру-

бо сорвала ее с маленькой ручки. Глаза цыганенка мгновенно выросли от обиды и слез, и он заплакал — тихо и горько, как оскорбленный человек. Он не понимал, что картофелину отобрали для его же блага. И Баскетболист тоже не понимал, что Наташа уходит для его блага. У него были те же кричащие глаза.

Люди и обязательства соотносятся друг с другом, как земля и деревья. Корни деревьев, как гигантские руки, уходят глубоко в землю, держат ее и держатся сами. Земле нужны деревья, и деревьям нужна земля. Обязательства существуют не только между живыми и мертвыми, но между живыми и живыми. Надо быть хорошо уверенным, что, вырвав одно дерево, ты посадишь на его место новое и оно приживется и вырастет. А то ведь одно вырвешь, другое не посадишь и будешь стоять над развороченной воронкой и смотреть на дело рук своих.

Наташа уходила за Китаевым, а в ее затылок, как затвердевший луч, упирался взгляд Баскетболиста. И долго потом, в течение почти недели, она чувствовала его взгляд болевой точкой на затылке.

Да... А при чем тут первый муж? Совершенно ни при чем. Просто тогда, в начале жизни, ничего не стоило порвать неокрепшие корни, выкрутить и выкинуть. Казалось, что все еще будет и все впереди.



---

---

## ЛЮБОВЬ НИКОНОВА



\* \* \*

Последних птиц пунктир последний...  
Мы заклинали, глядя ввысь:  
цепочка птиц во мгле осенней,  
не оборвись, не оборвись!

А там, быть может, добрый гений  
твердил, прощально глядя вниз:  
цепочка изб во мгле осенней,  
не разомкнись, не разомкнись...

### Ночная река

Пройдет меж отраженных звезд  
то вырезной плавник, то хвост.  
И возникают стаей бледной  
язи из глубины вселенной.  
И как светящиеся сгустки  
по кругу движутся моллюски.  
И щука, щурясь на блесну,  
свечою встав,  
пускаясь вскачь,  
играя, держит на носу  
луну, похожую на мяч.  
И от истока до развилки,  
по всей поверхности реки,  
бесчисленные, как опилки,  
среди звезд рассыпаны маальки.

Ах, эта ночь с луною рыжей!  
С веками сплетены века.  
Забито небо всякой рыбой.  
Забита звездами река.

Новокузнецк.

---

---

---

БОРИС ХАРЧУК

★

## СОЛОМОНИЯ

Повесть

I

**Н**ад всей долиной между селом и лесом стоял туман — густой, набрякший. Темной стеной поднимался он над излучкой Ирпеня, а по краям оседал, цепляясь за кусты дымчатой рванью. Все выше и выше становилось небо, угасал месяц и разгоралась вишнево-светлая заря. Первыми проснулись птицы. Затем ожила дорога.

Соломония, или Христофориха, как звали ее односельчане, потянула на себя тяжелый скрип дверей и остановилась, отворив белый день.

— Пусть звенят, — усмехнулась она, стоя на пороге этого нового дня. За ее спиной еще шевелился полумрак, но лицо уже оплеснуло прозрачной свежестью. — Хорошо-то как... — снова прошептала она высохшими губами. Стояла и долго-долго глядела на лес, на высокое небо, на деревья, на спорыш-траву за порогом: весь мир был умыт росами. И Соломония подумала: «Он-то и без людей будет жить, а вот человеку без этой красоты никак невозможно».

Тут резко, даже на лету не прекращая ссориться, выпорхнули два воробья. Шмыгнув под стреху, они и там не угомонились, возмущенно шевеля хвостиками. И Соломония усмехнулась, совсем не по-старушечьи, а молодо и зябко повела плечами, сказав себе, что хватит молиться, подхватила ведро с водой и подойник.

Все еще было в дреме — стежка, тополек возле хаты, старый пенек под ним, хлевушок. Соломония шла и будила стежку. У хлевушка она опустила ведро с теплой водой на землю, и корова, услышав ее шаги, медленно поднялась на ноги.

— Что, соскучилась? — обратилась к ней Христофориха и успокоила: — Погоди, я сейчас еще принесу...

Подобрав на ходу запаску повыше, она отправилась на огород. Открыла калитку (ее пришлось поставить, чтобы куры не повадились) и, ступая меж грядок, принялась двумя руками одновременно рвать сорняки, ломать свекловину. Она не глазами смотрела — ее зрячие пальцы сами видели, какой листок привял, и работали споро, без ошибок. Неся ношу, заросилась по пояс. Да и рукава намокли. Лицо ее разрумянилось, посвежело, глаза голубые, промытые, и вся она словно выплыла из росы.

Шла с огорода в том же теплом сером платке, в овчинной безрукавке, в мягких матерчатых валенцах и похожа была на свою старую хату, окна которой отливали синеватым блеском. Корова уже чесалась рогами о дверной косяк. Но Соломония не торопилась. Прикрыв за собой калитку, остановилась перед хлевушком и выпустила на волю кур. Те, кудахтая, выпрыгивали из курятника, садились ей

на плечи, разлетались по двору. Соломония стала их поддразнивать: «Ишь раскудахтались, сороки!» И петуху от нее тоже досталось. «Гляди, инспектор,— приказала она ему,— не води их на огород».

Только после этого, придерживая полную запаску, она вытащила из гнезда колышек, висевший на шнурке, распахнула двери, и ее обдало теплым коровьим духом, запахом перегоревшей пашки, знакомым с детства. Был он мил и сладок ее сердцу.

Корова подняла голову.

С минуту они дружелюбно глядели друг на друга, каждая видела себя в глазах другой.

Корова покачала рогами и потянулась к запаске.

— Здравствуй, Соломония,— сказала Христофориха, входя в хлевушок.— Я — Соломония и ты тоже Соломония. Так окрестил тебя наш Христофор. Ты была тогда еще теленочком и не помнишь этого, мне тебя на ферме дали, премировали. И была ты славная, послушная. И не надо было вести тебя на веревке — сама за мною пошла. Иду себе, обняв тебя за шею, входим на подворье, а Христофор стоит на крыльце, опираясь на костыли, и усмехается: «Соломония Соломоненя ведет...»

Корова с шумом ухватила из запаски зеленый пук и принялась жевать. Потом она подошла к яслям, возле которых возилась хозяйка, и наклонила голову, чтобы Христофориха почесала ей между рогами.

— Но ты недолго была Соломоненем — коровье детство короткое,— продолжала между тем Христофориха.— Еще и телочкой не стала, а уже звали тебя Соломониею. Славно наш Христофор тебя окрестил. Ты хоть помнишь еще? Скажи, помнишь?..

Корова продолжала уминать ботву.

— Помнишь,— улыбнулась Христофориха, шлепнув ее легонько по шее и как бы оттолкнув от себя. Пора было и за дело браться — принести воды, обмыть корове вымя и подоить ее.

Потом, усевшись на стульчик в засохших кизяках, Христофориха поставила между ног подойник.

— Мы с тобою похожи,— продолжала она.— Обе рябые и обе Соломонии. А теперь я тебя подою. Но ты не упрямься, у меня руки болят.

Корова спокойно доела пашу, подняла голову, и молоко цвиркнуло из ее длинных сосков, взбивая в подойнике белую пену.

— Вот и хорошо. Ты меня кормишь, ты меня еще держишь на этом свете.— В хлевушке запахло молоком и парным утром.— И я хожу за тобой, как мамка. Разве я не пестую тебя, как свою дочку? Разве не лелею, как свою невесточку?..

Доев все до последней травинки, корова стояла как вкопанная. Слушала то ли как звенит молоко, то ли старухину исповедь.

— Грешили мы с тобой не раз...— начала было Христофориха, да прикусила язык, будто испугавшись, что кто-то третий может услышать и осудить ее.— Да я тех грехов не боюсь. Уже искупила их. Неужто же нет бога на свете?..

Ее движения становились все более вялыми. Пальцы не хотели сжиматься, их сводило.

— Совсем из силенок выбилась, совсем сомлела. А твое вымя еще полно молока.

Корова пригнулась, почти прилегла, чтобы отдать молоко.

— Все требуют молочка. Вот я от первого удоя и не оставляю себе ни капельки. Процежу — и в бидон. Выношу, ставлю возле ворот, сдаю. За пук соломы, а то и горстку муки или риса бабе на приварок...

Серый платок, развязавшись, съехал с головы на шею. Христофориха разогнулась, стянула платок, бросила за порог.

— Совсем я упарилась! — Христофориха подула на пальцы, по-



шевелила ими, пальцы плохо шевелились, торчали, как зубья граблей.— Соломония ты моя, Соломония, ох и мучаю я тебя,— сказала она, снова протягивая руки к вымени.— Потерпи, краса моя..

Молоко снова зацвиркало.

— Недолго нам уже жить вместе, ох, недолго... Перезимуем ли? И пойдешь ты, моя Соломонийечка, туда, откуда пришла.

Не сходя с места, корова еще ниже пригнулась, отдаваясь рукам хозяйки. Повернув голову, она смотрела на Христофориху.

— Да не гляди ты на меня страшно так! — испуганно крикнула та.— Вижу, что тебе нехорошо,— с губ течет. А мне, думаешь, хорошо? Каждую ночь молюсь перед сном, чтоб господь послал мне легкую смерть.

Корова отвернулась.

— Вот и все...— вздохнула Христофориха. Но не поднялась, а осталась сидеть на стульчике. Силы покинули ее, и, только отдохнув с полчаса, она, простоволосая, седая, вышла из хлева, подобрала брошенный платок и прислонилась к дверному косяку, закрыв глаза: в них было темно. Тогда она медленно раскрыла их, как бы боясь, что больше не увидит света.

Она еще не раскрыла их как следует, не разлепила до конца, как увидела знакомого мужика, который покуривал на ее пеньке под тополом.

— Чего расселся на моем дворе, да еще коптишь здесь! — напустилась она на него.

— А я, Соломонийечка, пришел по твою Соломонию. Нынче пятый день — моя очередь пастуховать,— ответил он, ничуть не осердясь, словно его приласкали. Сигарета прилипла к его нижней губе, и каждое слово, которое он произносил, было, казалось, пропитано табачным дымом. Не торопясь, он поднялся. В прорезиненном плаще с прорезями для рук он был похож на ящерицу. Казалось, это сама уверенность поднялась на ноги.

Крякнув, он выплюнул окурок и затоптал его.

— Соломонийечка, будь добра, дай мне путало,— словно получая удовольствие от своих слов, сказал он миролюбиво,— на тебя похожа твоя любимица, на других не похожа — ей бы командовать всем стадом.

Христофориха замахнулась на него платком.

— Ишь чего захотел! Путало! У жены выпроси и себя спутай!

Продолжая ворчать, она выпроводила его и корову со двора. Мужик ступал, шаркая сапогами, его широкополый плащ чиркал по росистому спорышу.

— А путало, между прочим, в наше время надежная, необходимая вещь,— сказал он на прощанье с усмешкой.— И не только для скотины.

— Только попробуй ее связать,— ответила Христофориха.— Руки у тебя отсохнут.

## II

Под железнодорожным мостом лежал еще туман. Из него медленно выступала Соломония красной масти — степная украинская порода. Она шла впереди стада, неся свои рога, как два полумесяца. За нею шагали черно-рябая, бело-рыжая, пегая и совсем черная коровы. Шествие замыкал пастух в выдавшей виды офицерской плащ-накидке.

Соломония свернула на узкие пешеходные мостки, стянутые для прочности железными скобами. За ней подались гуськом и другие. Коровы с трудом выбрались на крутой лесистый берег Ирпеня, поросший сочной травой, и разбрелись кто куда. А Соломония задрала морду над туманом, и ее протяжное трубное мычанье покатило в

долину коровьим «по-че-му-у-у?». И тотчас лес отозвался безрадостным «по-то-му-у!». Эхо скатилось в реку.

— Вот и паси ее без путала, удержи! — сказал себе мужик, переходя через мостик. — Да ее на привязи держать надо! — И замахнулся своей палкой с мягким наконечником. Но голос его, свист палки и резиновый скрип плаща заглушил шум дальнего поезда, прогремевшего за его спиной по железнодорожному мосту.

Оглушенный этим шумом, мужик на минуту забыл про коров; выпустив из рук палку, он взглянул на светящийся циферблат часов, прищурился левый глаз, прикинул что-то в уме. Только когда поезд промчался, он опустил руку и нагнулся за палкой.

Пасти скотину для него значило сидеть возле мостков — от леса берег был отделен рвами, оставшимися с тех времен, когда здесь пытались создать какие-то грандиозные ирригационные сооружения, и мужик глядел на луг, опираясь на поручень, как полководец. Был он худ и черняв, лицо длинное, морщинистое, из-под картуза глядели маленькие, темные, глубоко сидящие глаза — не человек, а засушенный стручок, который забыли вылущить. У него были имя и фамилия, но с того времени, как он вышел на пенсию и каждую весну приезжал к сестре провести лето на чистом воздухе, никто его по имени не называл. Люди говорили: «А, это тот, в накидке, который уже отпастуховал и опять в город подался». Работенка у него была не пыльная. Все местное стадо состояло из пяти коров, их раньше пасли по очереди, в том числе и Черную, принадлежавшую его сестре, но с появлением этого «полководца» бабы охотно доверили ему командовать всем коровьим войском.

А туман между тем уже рассеялся. Соломония нагнула голову, слизывая с травы росу.

— Давно бы так, — буркнул «полководец».

Глядя на Соломонию, он видел Христофорику: каждая домашняя тварь ходит на своего хозяина. Он был уверен в этом. Не только разумные существа — коровы, собаки, коты, а тем более лошади, но даже безмозглые птицы — куры, гуси, индюки и утки — все перенимают норы своего хозяина, приспосабливаясь к его трудолюбию или лени, усваивая его привычки. Он знал, что Черная ходит на его безмужнюю сестру, а может, и на него самого: это такая коровка, что и на дороге будет пастишь, только ее пусти. Ни одной травинки, ни одного корешка не пропустит.

Но ему была безразлична Черная. А еще безразличнее Рябая и Пегая. Глядел он за Соломонией.

— Холеная... — буркнул он. — Старая, а хороша... — И непонятно было, о какой Соломонии он думает. Уж не из-за нее ли он каждое лето пасет местных коров?

Пробормотав последние слова, он покосился через плечо — нет, его никто не услышал, только журчала речка.

Из-за леса донесся крик электрички. «Полководец» достал из кармана блокнот с шариковой авторучкой. Пока электричка проходила, он успел посмотреть на часы и, хитро усмехаясь, что-то записал в блокнот. Усмешечка сползла с тонких синеватых губ, когда он с удовольствием прошептал:

— Опять опоздала...

Спрятав блокнот, он закутался в свой плащ. Глядел на носки хромовых сапог, которые заросились и теперь просыхали. Ни коровы, ни близкий лес, в котором стучал дятел, ни долина, над которой сияло это утро, не занимали его. «Опять упрекнула меня: расселся, дескать. А разве я виноват? Время было такое. Кому-то ведь надо было служить финагентом, не мне, так другому». Мысль его перескочила через несколько лет, остановилась.

Был месяц май. Он вернулся с войны целехонек. Опять повезло, значит. Габардиновый китель, габардиновые галифе, на плечах по-

левые погоны, через плечо португея. А главное — ни разу не зацепило, не царапнуло. А почему? На то человеку и даны глаза, чтобы есть ими начальство. И тогда «ты» уже не «ты», а «мы» — вместе с начальством. Кому окоп, а кому землянка в три наката. Разве не так?

Ему приятно было в том далеком прошлом. Молодых девиц — хоть отбавляй. И каждая хочет тебе подшить батистовый подворотничок... Но он был себе на уме: «Чарочку хмельную полнее наливай!» Победитель! Трехрядку растягивал от тына до тына. Раздайся, улица! Пыль стояла столбом. А вокруг столько девчат — глаза разбегаются. Тут он и увидел ее, стояла в толпе, в самой гуще. Была в белой козынке. Черные косы, голубые глаза. Скромная. Смущенная. До войны была девчонкой, а теперь выросла, налилась соком. Он тряхнул чубом и пошел напрямик. Ноги пружинили. А ну отойдите, девчонки-девочки! И девичье море раздалось. Она хотела раствориться в нем, да не успела. Он подскочил, пристукнул каблуками и поклонился. С форсом. Подал руку и повел ее, и закружила их метель-метелица! Гнуло до земли, вверх подкидывало. Вприсядку, вприсядку, чуб свой стелил ей под ноги, а она плыла, легкая, светлая... Он шепнул: «Повелел мне батько жениться. Пойдешь за меня?» И услышал смиренное, стыдливое: «Не знаю...» И только тогда спохватился: «Как же зовут тебя, дивчина?» Ответила: «Я — Соломония...» «Эх, на гулянках гуляй, да не волочись! Соломония, Со-ло-мо-ния!..»

Засылав торопливый стук, он снова взялся за блокнот. Было чистое утро. Паслись коровы, пронесились на восток и на запад быстрые и медленные (товарные, стало быть) поезда, а он курил и вспоминал: «Жениться!..» Он встал на учет, а ему в районе предложили должность финагента. Не работу, а должность, понимать надо. Это опять португея и хромовые сапожки. В руке квитанции на мясо-молоко, на дары садов, как теперь говорят, и на шерсть-перо, одним словом, на все движимое и недвижимое. Перед ним — все села района. Он приезжает домой. Усталый как черт, стягивает сапоги, и радуйся — новость. Соломония вышла за инвалида Христофора. Пошла на троих детей. Он подстерег ее утром, когда несла воду, загородил дорогу. «Как же так, — сказал, — я ведь тебя выбрал». А она: «Я не из тех, кого выбирают, я сама выбираю». И шагнула вперед с полными ведрами. Так эти ведра до сих пор и качаются перед его глазами.

Поднялось солнце, и ему пришлось скинуть плащ. Он сложил его и, усевшись, с наслаждением вытянул ноги.

Ему было плевать на скотину, которая бродила по лугу. Над ним порхали мотыльки, а за рвом в блеклом ячмене стрекотали кузнечики. И пусть. У него свои заботы.

Круглый картуз затенял его лицо. И сам он, во френче и в галифе, тоже был живой тенью.

Тогда он обегал все село, как голодный волк. Невест хватало, не жаловался. Но Соломония... От веселой яблоньки остался один пень, на котором он нынче сидел. Что ж, лес рубят — щепки летят. Был финагентом (на селе говорили финагеном, смешно вспомнить), стал инспектором собеса. Распустило-развезло, ни проехать ни пройти. Вызывал Христофора на переосвидетельствование. Соломония принесла его. Посадила себе на плечи, обхватила обрубки-культи. А сама забрызгана, лица на ней нет. Так и вошла в комнату, в которой заседала медкомиссия. Вот он и встретил ее смехом. Но потом помог опустить Христофора на землю. Такие пироги. Смех смехом, а ему бы такую жинку! Она, конечно, мучилась. А разве он не мучился? «Так тебе и надо», — думал он. Нет, не злорадствовал. Но и жалости в его душе не было. Инспектор! Он всегда поклонялся закону, и не надо было ему выпрашивать должностей, они его ждали. Его приглашали, ему предлагали — то курсы переподготовки, то другие теплые места. Так что ему до всего было дело. Все честь по чести.

Кому многое дано... А не дано тебе богом и начальством — пеняй на себя...

За спиной нес свои воды Ирпень. И так же, как эта спрямленная людьми речка, не знающая ни колен, ни стремнин, ни перекаатов, прямо и спокойно, будто взятые в бетон, текли его мысли о живых и мертвых. А за спиной, чередуясь, грохотали электрички и товарняки, стонал железнодорожный мост. Поезда... Он ни одного не пропустит, будьте спокойны. В его блокноте каждому найдется место. Да только... Другие мысли не давали ему покоя. Теперь, на старости лет, он был свободен. И Соломония была свободна. Так почему бы им не сойтись? У него приличная пенсия. Жили бы в свое удовольствие. А она... Разве к такой подступишься? Вот он и ходит вокруг, вензеля выписывает. Только время тратит...

Резкий, властный голос оборвал его мысль на полуслове:

— Эй, пастух, смотреть надо! Коровы уже в ячмень забрались!

Он вскочил на ноги. Увидел председателя местного колхоза, которого давно знал и недолюбливал. Тот хворостиной стегал корову. Конечно же, Соломонию. Другая не забралась бы в ячмень.

— Я говорил... На эту строптивую путы нужны.

— А вы меньше разговаривайте. Делом надо заниматься, делом, а не мемуары сочинять.

— Что вы, товарищ председатель. Я слежу за движением поездов, — ответил он серьезно и, потрясая блокнотом, сказал: — У меня тут все записано. И когда они к мосту подходят, и когда тормозят перед станцией. Сознательный гражданин должен следить за графиком. За нашими машинистами нужен глаз да глаз. Если дать людям волю... Порядок нужен.

— Порядок? Вот и заплатите штраф для порядка.

Однако он не смутился.

— Ну, заплатит хозяйка. Корова-то не моя. А хозяйка ее у вас заслуженная, орденом награждена была. Я ее предупреждал. Знал, что добром дело не кончится. Так что напрасно вы меня собираетесь оштрафовать. Тем более что и вы не без греха. Почему у вас ячмень так редко посеян? Вот кончу с поездами и возьмусь за ваш ячмень. Ирригация, такие деньги затратили, а ячмень... Видите, я говорю вам это прямо в глаза. Я такой, везде режу правду-матку....

Ему пришлось замолчать. Соломония с самым невинным видом подошла к нему и отряхнулась, забрызгав его с головы до пят. Проклятая скотина! Он схватил палку и принялся хлестать корову.

— Ладно, кончайте с поездами и беритесь за ячмень. Но про штраф не забудьте, — рассмеялся председатель и пошел прочь.

А он прошипел ему вдогонку:

— Ничего, ты меня еще не знаешь, но ты меня узнаешь, товарищ председатель.

Соломония медленно крутнула рогатой головой, работая челюстями. У, стерва!.. Размахнувшись, он ударил ее по морде. Но и ему тоже досталось — корова смазала его по лицу мокрым хвостом и взбрыкнула, засыпав глаза песком.

Это было уже слишком. Казалось, корова над ним смеется. И он, выходя из себя, прошипел:

— А с тобой я расправлюсь, ты у меня еще не так попляшешь!..

Ему удалось загнать ее в болото. Соломония оступилась и напоролась на колючую проволоку. Он увидел, что она пропорола сосок, но это его даже обрадовало: «И пусть!» Он спустился к реке и умылся.

На Соломонию он больше не глядел. В конце дня он погнал коров в село. Коровы шли, утопая в теплой пыли. Остановивались возле разных ворот. Одна, другая, третья... А Соломонию встретила Христофориха. Чуяла, видно, ее душа... Корова брела понуро, была

залеплена грязью. И тут, увидев распоротый сосок, Христофориха расплакалась.

Тогда он постарался ее утешить.

— Ну что ты,— произнес он.— Она в ячмень забрела, а потом в канаву угодила. Сама виновата. А ваш председатель — штраф. За ячмень. Но ты не думай, что я... вот тебе деньги.. Твоя корова нашкодила, но я заплачу, тут четвертак, отнеси его в контору. А то мне не с руки. Говорил я тебе про пугало.

Христофориха скомкала деньги и швырнула их ему в лицо, заплакав, повисла у Соломонии на шее.

— Ну-ну...— сказал он с усмешкой.— Деньги-то государственные. Их правительство выпустило. Для народа. А ты их изничтожаешь. За это знаешь что может быть?— И подняв скомканную купюру, разгладил ее и положил в бумажник.

### III

Железнодорожное полотно шло высокой насыпью, густо поросшей травой. По-летнему чисто звенели рельсы. Христофориха провела корову между огородами, которые держали железнодорожники, и отпустила ее на волю. Но корова не двигалась с места и, задрав голову, прислушивалась к звону металла и гулу телеграфных проводов. Потом ее заставил взметнуть голову звериный рев самолета. За лесом совсем близко находился аэродром, с которого то и дело взлетали небольшие транспортные машины и вертолеты. К их реву мало-помалу привыкли не только люди, но и скотина. Все живое приспособлялось к этому шумному веку и его резким металлическим звукам, к черным заводским дымам и едким химикатам, стремящимся убить все живое. Раньше жизнь гроыхала колесами телег, а теперь мчалась на ракетах...

— Я спустила тебя с веревки, иди, Соломония,— сказала Христофориха, поглаживая коровью шею.— Но в чужие огороды не заглядывай, хорошо?

Корова нагнула голову.

— Ну вот, ты у меня умница,— сказала Христофориха, расстелив на пригорке рядно, подобрала под себя ноги.— Утомилась я,— проговорила она, тяжело вздохнув, сидела, прислушиваясь к тому, как корова мягко захватывает траву.

Травой клонились к ее ногам прожитые годы. И думала она о том, что, как ей ни тяжело, тому ироду «полководцу» она свою корову не доверит. Совсем у людей совести нет... Ну что ж, сама будет гонять свою Соломонию да и других прихватит. Вот пусть только вымя заживет — она покосилась на больной сосок, который оттопырился и распух. И от жалости у нее заныло сердце. Хорошо еще, что Христофор не видит...

Который день она была сама не своя. Присматривала за покаленной Соломонией и слова не могла вымолвить: губы свело, язык задеревенел. Помыв корову, укрыла ее рядом и позвала ветеринара. Тот промыл сосок, смазал йодом, стал уверять, что ничего страшного нет, ранка скоро заживет, а ей не верилось, перед глазами стоял мужик с сиреновой купюрой.

Ветеринару пришлось поставить бутылку, и тот выпил ее один. Сидел за столом долго, ждал, должно быть, что она раскошелится на вторую бутылку. Но продаг уже закрылся, а у соседей водки не было. Хотела отблагодарить его сметаной, творогом, кислячком, но он лишь криво усмехнулся, сказав, что ему на молоко и смотреть тошно, душу от него воротит. Лучше бы хоть наперсточек раздобыла. Пришлось ей выставить вишневку, которую берегла для смертного часа, чтобы было добрым людям чем помянуть ее. Так он и эту бутылку высосал, одни сухие вишенки остались. Имел, видно, бычье здоровье. Ушел, даже не пошатываясь. А вот сумку с инструментами

и лекарствами оставил. И ни копейки не взял. Вам, говорит, еще штраф платить, а мне деньги ни к чему, мне бы только наперсточек. Славный ветеринар, душевный. Ушел, шаркая ногами. Тихая песня взяла его под руку и повела. А она, Христофориха, тем временем за фонарик и к корове. Всю ночь там и провела.

Ветеринар правду сказал. Обошлось, зажило. Она с тех пор свою Соломонию никому не доверяет. А про того горе-«полководца» и слышать не хочет. Где ему коров пасти! Корова — животное святое. Пусть со свиньями возится. Так она и сказала при соседях.

Доиться Соломония не перестала. Но Христофориха боялась дотронуться до ее вымени. Дождалась ветеринара. Тот подошел, потянул за посиневший сосок, и брызнула кровь с молоком. Соломония дернулась, в животе у нее что-то заурчало. А Христофориха отодвинула ветеринара плечом. Нешто можно тянуть за сосок, как за хвост? Раздаивала потихоньку, помаленьку, а все равно кровь с молоком течет.

Она глядела на траву, которая росла на песке пучками, и думала о себе и своей Соломонии. В ее мыслях прошлое соседствовало с настоящим. Соломония, Христофор. Тот показал бы горе-«полководцу», где раки зимуют. Ее Христофор четыре года прошел в кирзачах. До того дня, когда... Но об этом и думать было страшно. А тот, другой, просто сорняк. И до войны был сорняком, и после, хоть и в габардине. Она еще девчонкой была, а поняла, что это за птах. Подкатился, ручку предложил: пожалте на вальсок... И сразу, не дожидаясь ее согласия, рванул к себе ее руки. И она поняла: этот будет рвать всю жизнь.

А с Христофором было по-другому. Она пришла к нему, чтобы он прибил палку к сапке. Христофор сидел на пеньке. В хате смолисто пахло свежим деревом. В углу опилки, на столе фуганки до рубанки. А детки по хате бегают. Неумытые, замурзанные, голзадые. Покамест Христофор возился с этой сапкой, она умыла девчат, расчесала им волосы. Потом поглядела на Христофора. Не пахарь, не косарь, не жнец, а ловок, сноровист, и с языка сорвалось: «Может, вам что сварить?» Она сама не знает, как это сказала. Словно кто-то за нее произнес эти слова. И ей стало стыдно. Еще подумает, что она набивается. А он в ответ: «Отчего ж, свари. Мы давно горячего не ели — некому пойти по воду, дети ее глечиками носят...» Она принесла воды, растопила печь. В хате густо запахло борщом. Забыла и про сапку, и про свое звено — про все на свете. Сели к столу. Заработали деревянными ложками. «И ты с нами садись, дивчина», — сказал ей Христофор. И она подчинилась его голосу.

Так она выбрала себе мужа. Жена Христофора померла после того, как он вернулся с войны. Христофориха с нею в одном звене на коровах пахала, а боронить запрягались сами. И ей захотелось заменить солдату не только жену, захотелось стать любимой, чтобы он шептал в темноте: «Ты лучше ее. Ты моя единственная...» Так же стыдно желать, верно?

И тут она сказала себе: «И чего это я расселась? Сижу, как в театре. Корова сама пасется, а я.. Негоже дармоедничать, господь не прощает лени».

Она поднялась, вытряхнула мешок и принялась рвать траву, хватывала ее всей горстью, запихивала в мешок и волокла за собой. Шла колкими стежками.

А трава была крепка, как проволока. Стоит железной щеткой. Когда она зеленая да молодая, то ничего, а как перестойт, перезреет, то просто горе — врзается в руку. Только корове эта трава по вкусу, и надо ее запасти.

Христофориха брела по насыпи, как по своей жизни. Потом разогнула спину, присела отдохнуть и опять отлетела душой в прошлое.

Дети... Поначалу они все были для нее на одно лицо: Ася, Поля, Якубец... Как этот молочай. Тут она невольно глянула на молочай, который уже отцвел, покачивая своими нежными, пушистыми головками. А вот свадьбы у нее не было. И музыки не было, и горилки не было. Были у нее подружки, как не быть, но они не пели и не плакали, расплетая косу, и «бояре» не держали венец над ее головошкой.

Она вошла в дом Христофора с сапкой — работница. И он ни разу не назвал ее любимой или милой. Говорил: «Соломония...» Самое ласковое слово, которое она слышала от него, было «дивчина». Оттого и дети не звали ее матерью (это теперь они пишут ей «мама»). Но в доме было светло, радостно. Мир всегда царил в семье. Была ли она счастлива? Дети ее любили. Они признали ее. Ася ходила во второй класс, а Поля в первый. И Якубец собирался. А она работала в огородном звене: на капусте, на моркве, на буряках. Так и жизнь прошла. Она и теперь еще помогала выхаживать буряки — ведь больше некому. И осенью на уборке придется поработать. Председатель в ножки поклонится. Теперь она с поля возвращается медленно, опустошенная и обессиленная, а в молодые годы бежала так, что ветер косынку срывал. А детишки уже ждали у ворот. И Христофор стоял на костылях рядом. Обкорнала его война. Доктора отхватили левую ногу до колена, а другую еще выше. Так Христофор на ту, которую оттяпали ниже колена, надевал протез — все лучше.

Поначалу ее страшило его безножье. Сердце сжималось от боли, от жалости. Христофор часто падал. Оступится, скрежещет зубами. Она, бывало, бежит к нему, дети плачут, а он, корчась, отгоняет их, как кур, костылем размахивает: «Не подходите, я сам, у меня руки сильные!» Не только сильные, но и золотые, могла бы она добавить, — считай, окна и двери всего села прошли через них.

Христофориха поднялась, перекинула мешок на другую сторону, чтобы сподручнее было управляться левой рукой. Она остановилась, только заслышав крик электрички. Вот и ее детей умчали такие поезда. Выросли дети и разлетелись. Прошло то время, когда, встречая ее у ворот, они хватали ее за руки. Только у нее было всего две руки, и кому-то доставался подол платья. Вот они и ссорились, а она их успокаивала: «Тот, кто держится за подол, не будет сегодня спать в валике...» А Христофор молчал, и она боялась заглянуть ему в глаза. Чем он жил тогда? Работой, одной работой. А у нее была еще корова. И готовить на всю ораву тоже надо было.

После ужина, когда темнело, ложились спать. Одна головка у левого плеча, другая у правого, а третья в ногах — в валике... Она спала с детьми и была счастлива. Когда ее кто-нибудь, смущаясь, спрашивал, как ей живется с Христофором, она вспоминала, как они спят, как дети дерутся за место возле нее, и только счастливо улыбалась...

Корова размахивала хвостом, отгоняя слепней.

Христофориха перестала рвать траву, выдернула куст молочайки, выдавила из его стебля белое молочко и смазала пораненное вымя. Знала: мухи горького не едят. Прodelала она это осторожно, дотрагиваясь до соска, как до своего оголенного сердца.

И откуда этот габардиновый аника-воин взялся на ее голову? Подумала: «Неотступно пасет меня всю жизнь. Христофор не допустил бы этого, сумел бы защитить».

Она согнулась под Соломонией и рассказывала ей:

— Знаешь, мама, когда тебя еще не было на свете, этот черт финагенничал и принес как-то квитанцию. Помнил, черт проклятый, что у нас под окном растет яблонька, и обложил ее налогом: плати! Такой, говорит, порядок. А тогда нежно цвели яблони. Такой цвет — молоком бежит!.. Стемнело. Домой бегу не чуя ног, но никто меня в воротах не ждет. Нажала на клямку калитки и ахнула: Христо-

фор своими руками пилит красавицу яблоньку!.. Почернел весь от горя. Яблонька затрещала, а потом как рухнет. Дети, известное дело, врассыпную. А Христофор окаменел. Стоит, опираясь на костыль, весь осыпанный яблоневым цветом. «Ты что это?» — спрашиваю. А Христофор говорит: «Пусть этот пенек теперь ему родит».

Эта яблонька до сих пор стонет и клонится перед ее глазами, плача бело-розовыми слезами.

Корова молча выслушала рассказ Христофорихи, и та вновь потянула за собой мешок. Ползала на коленях по мелкому гравию и песку, не чувствуя боли. Сердцем была в прошлом, а руками рвала настоящее.

Набив мешок травой, она увязала его и присела, как на подушку. Она свое дело сделала. А Соломония еще погуляет, полакомится свежей травкой. Благо та не колхозная, а вроде бы железнодорожная и пропадает зазря.

Когда снова, прогремыхав по железнодорожному мосту, показала электричка, обе Соломонии проводили ее добрым взглядом.

#### IV

Опухший сосок кровоточил. Он был похож на толстую разваренную сосиску. Такие изредка привозили из города Якубец, Поля или Ася, когда приезжали в гости. Пошла третья неделя, а он все кровоточил. Ветеринар орудовал шприцем, смазывал ранку биомициновой мазью. Христофориха старалась ему угодить — всякий раз ставила «белоголовую», а он бормотал: «С меня и «чернил» довольно — дешево и сердито. А вы тратитесь. Мне, бабуся, ей-богу, совестно...» Она отвечала: «Пей себе на здоровье, не обопьешь. Только вылечи ее...»

Ирод в плащ-накидке, чувствуя свою вину, тоже принес какую-то мазь, но Христофориха не взяла ее из его поганных рук, хоть он и объяснил, как ею пользоваться, оставил инструкцию. Поставив баночку на пенек, он сказал: «От этого лекарства, знаешь, даже отрубленные пальцы прирастают. Маде ин за граница. Так что рекомендую...» Схватив баночку, Христофориха швырнула ему под ноги. И что же думаете? Нагнулся, подобрал — не пропадать же добру, за которое деньги уплачены. И за инструкцией, которую подхватило ветром, побежал.

Христофориха не отходила от больной коровы, совсем забросила свой огород, где все шло в рост. В такие дни зевать не полагалось: картошку окучивай, за буряками присмотри, лук и чеснок прополи. И клевер скосить тоже надо. Но руки не доходили до этой привычной работы — думала только о своей Соломонии.

Ласково выжимая молоко из коровьих сосков, Христофориха приговаривала:

— Знаю, знаю, что тоскуешь, что на выпас тебя тянет, хоть там той травы кот заплакал, зато в поле ветер да и в стаде веселее. Но что поделаешь? У меня и так голова идет кругом, слезы глаза застилают. Не могу смотреть на твои муки. Но доить тебя надо, иначе молоко перегорит. Так что терпи, я тебя выхожу.

Она дотрагивалась до больного соска только кончиками пальцев, но корова вздрагивала.

— Болит, болит... — чуть не плача, причитала Христофориха.

Руки опускались. Что делать? И корова, повернув голову, смотрела на нее своими налитыми краснотой глазами, больными и печальными, так жалобно, что останавливалось сердце.

— Да отвернись ты, ради Христа. Не могу видеть твои глаза! — горько сказала Христофориха, и Соломония неохотно отвернулась.

Хлев наполнялся теплыми сумерками. И Христофориха решилась. Нагнувшись, припала губами к ране. Корова не шевельнулась.



жевала, прикрыв глаза. И тогда, выплевывая горькую слюзу, Христофориха принялась зализывать рану. Как это она не догадалась раньше? Забыла, как бабы скотину лечили, когда вашего биомicina и в помине еще не было? Ну теперь Соломония поправится.

Когда она поднялась, чтобы выйти из хлева, корова увязалась за ней. Так что пришлось Христофорихе на нее прикрикнуть. Да так громко, что разогнала всех кур, бросившихся врассыпную.

Работы по дому было еще много. Она разогрела на плитке вечернее молоко, а утреннее налила в трехлитровую банку и выставила за ворота, теща себя надеждой, что, может, это самое молоко где-то в городе достанется ее внукам. Тем временем вечернее молоко закипело. Христофориха решила послушать новости, но из черного репродуктора неслась какая-то тарабарщина.

Солнце спокойно садилось. Каждое утро оно появлялось над тополем, и по его листве проходил золотой трепет. А вечером, когда солнце садилось, тополиная листва темнела от досады: деревья тоже тоскуют по солнцу. Они как люди. Никак невозможно деревьям без его лучей.

Отставив пустую кружку, Христофориха вышла из хаты, выглянула за ворота и опечалилась. Молоко стояло на месте. Работнички! Пока приедут, оно совсем скиснет. Оглянулась: Соломония... корова опять увязалась за ней. Скучно скотине в хлеву, стало быть, ее тяготит одиночество.

Но было еще светло, и Христофориха, подхватив сапку, подалась на огород. Там подходила ранняя картошка, зеленели морковь, капуста, буряки, петрушка, чеснок и лук, а в самом конце огорода наливались желтизной подсолнухи. Все как у людей. Без этого нынче никак нельзя, даже если одна живешь на свете. А она не одна. Есть у нее и дети, и внуки — всем подсобить надо. В этих городах разве жизнь? Там не достать такого огурчика. Для себя она, может, и не стала бы гнуть спину от зари до зари, а для детей надо. Одному — мешочек картошки, другому — кошелку луку. Пусть берут сколько кому надо. Когда была помоложе, сама им развозила.

Вырвав пук бурьяна, Христофориха кинула его и всполошилась — не заметила, как промочила мягкие валенки, которые подарила ей Полина. Пришлось разуться. Пусть высохнут, а она и босиком походит. А станет холодно — подумает о своих детях и согреется. Дети у нее от одного корня — Христофорович и Христофоровны.

Но она тоже Христофориха. Только доля у них разная. Она их вывела в люди и выпустила из родного гнезда — летите. У нее трудодень был уже порожним, а у Христофора пенсия — только одни слова. Вот и разлетелись зарабатывать свою славу, и ее это радовало, сердцем она была с ними. И будет до самой смерти, хотя не хочется опечаливать их своей смертью.

Молодой лук трубил в зеленые трубы. Остро пахло укропом. Уже пузатились, наливались спелостью тыквы.

Христофориха подумала о своей Полине. Да и как не думать, не тревожиться? Попался ей муж-пьяница. Развелись. Ну и ладно, хоть крику да драк нету. Но у Полины сынок растет без отца. А сама Полина в яслях возле чужих детей ходит. Это она, Христофориха, пошла когда-то на троих, а у Полины детишек — собьешься со счету. Когда Христофориха выбралась в город прошлым летом, Полина повела ее на свою работу. А там и реву и смеху — не поймешь, чего больше. Одно дите мокрое, другое поцарапалось, а третье само не знает, чего хочет. Так что в том деткомбинате не соскучишься. А под вечер мамыши причитают: «Полина, где моя? Она ведь лучше всех, правда?» И Полина улыбается. Страдалица, а счастливая. Кабы могла, и душу им отдала бы.

В хлеву, призывая хозяйку, заревела Соломония, и Христофориха поспешила к ней. Вывела на подворье и привязала к тыну, накрыв рядом от назойливых мух.

— Ты, милая, уж постой,— сказала она корове.— У меня еще вон сколько работы.

Орудя сапкой, она принялась думать о второй дочери Христофора. Ася была вся в отца, работающая. Крановщица. И муж у нее крановщиком работал. Строители нынче в почете и зарабатывают — дай бог каждому. Жить бы да жить в тех городских хоромах, детей растить. А детей-то у них нету. Говорят: «Мы еще молодые, нам пожить охота». А без детей какая жизнь? Вот она и говорит Асе: «А может, ты баба порожняя?» Та смеется, ей хоть бы что.

Зелень обступала Христофориху со всех сторон. Подумала: «Якубец редисочку любит». Он у нее молодец. Демобилизовался и дня с нею не провел в праздности. «Работа,— говорит,— меня ждет». И не стал тратить время попусту. Тоже весь в отца. Тот, бывало, усмехался: «Дескать, работа не волк, в лес не убежит, а человек должен стараться, если не хочет быть волком...» Теперь Якубец сварщик. Приехал в отпуск — ворота приварил. С цветами да выкрутасами. Работал в железной маске. И не подходи — ослепнешь, она не поверила. Вот и стонала ночью от рези в глазах. А он: «Я ведь вам говорил, мама. Где у вас сыворотка?» Промыл ей глаза сывороткой, просидел возле нее до утра. Вылитый отец — спокойный, внимательный. И непьющий — только иногда пригубит за компанию. И детей у них двое — мальчик и девочка. Молодец.

Успокаивая себя этими мыслями, Христофориха мечтала о том, чтобы поскорее приехали дети и привезли ей внуков. В погребе у нее уже стояла бочка моченых яблок для дорогих гостей. Только бы дождаться их! Только бы дождаться!

## V

Она не могла пасти коров на том пятачке у железнодорожного моста. Совесть бы замучила: там и горькая польнь не растет. Скотина шла бережком, а она сбоку, поближе к зарослям кукурузы. Не то что палицы, даже хворостины не было: с голыми руками управляла она стадом. За кем глядеть-то? При ней ни одна корова все равно не отважится нашкодить. На селе шептались, будто она, Христофориха, поит их каким-то приворотным зельем. Выдумают тоже.

Христофориха двигалась не спеша, радовалась, что у Соломонии заживает рана.

Долина простиралась до самого леса. Там лежала деревня, синев шифером и холодно взлескивая цинком. Там же был и шлюз. И в том месте долина как будто суживалась, лес темнел, за ним открывались высокие постройки Атомграда, которые врубались в небо. Но в той стороне Христофориха никогда не была. Оттуда во все концы шагали мачты высоковольтных передач с обвисшими проводами.

Как ни спрямляли люди Ирпень, но совсем одолеть его не смогли. Он все еще кружил и петлял, радуя глаз живым серебром. Она помнила, как тут шла работа, и тяжело было ей вспоминать те годы. Христофориха шла вдоль дороги. За кукурузой ее совсем не было видно.

Кукуруза подступала почти к воде. Надо было перегонять скотину на луг. Коровы, мотая головами, шли по стежке, их ноги увязали в песке. Христофориха смотрела на обрушенные, подмытые берега, которые цеплялись за корни деревьев, за кустарники: под черным торфом виднелись глина и песок, лежавшие слоями друг на друге. И ни камышинки, ни вербицы, ни ольшины — все вымыло.

На берегу старицы, увидев траву, коровы опустили головы — теперь их не оторвешь от нее, и Христофориха, разувшись, ступила

в чистую, незамутненную воду. На другом берегу старицы росла осока, покачивал султанами камыш. Над ними свисала дуллистая верба.

Подстелив фуфайку, Христофориха уселась поудобнее. В осоке что-то плеснуло — рыба или жаба, — все одно красота! Припекало. Неужели к дождю? Посмотрела на небо — ни облачка. Не похоже. Пожалела, что не взяла иголки и нитки, — зачем терять время? Впрочем, и латать-то ей было нечего. Хоть бы сносить ей те юбки и кофточки, которые дети подарили. На что ей столько? Стены у нее в рушниках, подушки горой до потолка лежат, а кому на них спать? Дочки и зятья еще тешатся, а внукам они уже не нужны. Просила: «Заберите себе хоть рушники и подушки». Не хотят, для городских квартир не подходят. Глупые. Опомнятся, когда ее уже не будет... А Христофор любил льяную чистоту. Он всю свою пенсию отдавал ей до последней копеечки. Полотно для этих рушников еще его жинка ткала. Она, Христофориха, льна уже не сеяла и полотно не белила. И она слышала в себе голос Христофора: «Тебе, дивчина, морока, а мне зато мило...» Если б знал он, как «мило» ей без него: живет в постоянной тоске. Впрочем, что-то она сегодня разболталась. Мысли — как нитка: одну снуешь, другую вытягиваешь. «Будто рушник вышиваю...» А хорошо бы рушниками украсить всю землю, только где людям время взять для той красоты? Им сеять, косить и пахать надо, чтобы прокормиться. Много людей на свете. И не все еще наедаются досыта. Вот и она... У нее было звено, дети, был муженек, превративший хату в мастерскую. В светлице до сих пор верстак стоит, пахнет стружкой. И зимой и летом, бывало, то с пилой, то с рубанком. А доски ему подай, поставь, разложи — он ведь ходить не может.

Однажды он попросил: «Выведи меня, дивчина, на речку, я наловлю тебе рыбы». Тогда как раз воскресенье было. Только что ей воскресенье, какой там выходной, когда огурцы поспели. Спину не разогнуть. И все же усадила его в коляску и отвезла к вербам, что на берегу стоят. К ним дорога была, по ней сено возили. Оставила его там с сыночком — ловите на здоровье, а сама на огород.

Прошел час, а может, и два — она не заметила. И вдруг девчата как закричат: «Якубец!» Глянула, а он — как черт из болота — бежал по грязи и трясины. Что там с отцом? Не поскользнулся ли, не упал, не утонул ли в речке? Огурцы посыпались из подола, подхватила Якубца, а он ревет: «С нашим батей беда!..» Кинулась, мчусь со всех ног. Маханула в чем была в речку, выплыла возле вербы. Гляжу, мой Христофор качается между веток. Припадок или еще что?..

В тот день душа у него обратилась ко злу, позеленел весь. И на нее накинулся с бранью: «Откуда ты взялась на мою голову?! Родная жена не пожелала со мной жить, легла в землю, а ты... Лучше бы мне провалиться в омут, чем тебя видеть. Уходи, убирайся прочь! Найди себе другого мужа, с ногами, с руками. Зачем тебе обрубок?!» — «Христофор!» — крикнула. Замер. Чуб растрепался, глаза белые, страшные. Да что же это с людьми делается? Припала, обняла. Он и затих в ее руках. А потом как заплачет. «Сам не знаю, что со мной творится, — говорит. — Это все речка. Я глядел на нее, на поплавок, и у меня помутилось в голове. Показалось даже, будто я тебя поймал на крючок, испоганил тебе, дивчина, жизнь. Не имел я на это права...»

Вот что он ей сказал тогда. И стал в ту минуту так люб, что и словами не выразить. Как она его целовала! Стояла перед ним на коленях. А он твердил: «Не надо... Не надо, дивчина». Рядом лежала торба с рыбой. Он вынимал из нее рыбку за рыбиной и — в реку. Выпустил на волю всех, до последнего карасика. Потом сидели и держали друг друга за руки. И сказал тогда ей: «Я не погублю тебя, дивчина, ты — святая, святая! Я никогда до тебя не дотронусь и

пальцем, не смею — грех перед тобой и срам перед людьми». И поняла она все — свое счастье и свое горе. А над ними стояли дети. И поняла она, что это — ее дети, других у нее не будет...

С того дня Христофора словно подменили — притих. Лишнего слова не скажет, часами сидит в задумчивости. Уж не эта ли речка-реченька погубила его?

Коровы стояли. Она только теперь заметила, что те не пасутся, глядят на нее. Должно быть, она вздремнула. Но вот Черная замотала головой и, повернувшись к Христофорихе задом, начала лениво пощипывать траву.

— И тебе не стыдно, — спросила ее Христофориха, — не стыдно показывать мне хвост? И пасешься как все, а сухоребрая и задрипанная — ни живота, ни вымени. Какая-то нечисть сидит у тебя внутри...

Другие коровы, кроме Соломонии, тоже спустились вниз с пригорка.

— А ты чего? — спросила у нее Христофориха. — Сто раз я тебе рассказывала мою жизнь. Разве не видишь, как я маюсь без Христофора?

А он... Он еще раз назвал ее святой. В те дни она работала и возле комбайна, и возле паровика. Зерно ссыпали в мешки и везли на станцию — помнили первую заповедь. Она черпала зерно такой лопатой, как ковш экскаватора. Она таскала мешки, горы мешков. А потом бежала домой — из огня да в полымя. Случалось, что и горсть жита прихватит. Иногда несет его в карманах, а иногда насыпает за холявы сапог. Трудодней у нее было — целая книга, но когда еще выдадут по этим трудодням благословенные граммы! Дети хнычут, голодные куры кудахчут. Не было сил смотреть на них.

И вот однажды ее остановили: вытряхивай! Потом посадили в машину. Аника-воин был при этом — а то как же, уполномоченный! — уселся рядом с шофером. Сначала она его не заметила. Он уже не финагентом был — бери выше. «Ну, здравствуй, — говорит. — Значит, охочая до народного добра?!» А она молчит как немая. Ну, повезли ее, опозорили на все село. Припаяли принудилочку: муж инвалид, дети... Тогда Христофор зарычал: «Что делаете, люди? Это Соломония-то злодейка, а?! Она же святая!» Во второй раз он ее так назвал. Она и зарыдала...

Вздвигнув, она подняла глаза и прикрикнула на корову:

— А ты чего слушаешь? Пасись!

Понуро наклонив голову, корова подошла и стала перед ней. И Христофориха почесала ее между рогами, радуясь тому, что корова отзывается на ласку и наклоняет голову еще ниже, еще преданнее. «Только ты меня понимаешь, — подумала Христофориха. — Оно и понятно: тебя мне дали в награду, когда ты еще вот таким теленочком была. Выходит, заслужила. А за что? Смешно сказать — за чеснок. Другие звенья выращивали капусту, огурцы, морковь. А мы чеснок. Так уж у нас ведется: никто не знает, кому и где какой овощ по вкусу придется...»

А в тот год чеснок стал королем. За него — почет и награды. Собрались в клубе, девчат вызывали к красному столу. Одной часы, другой отрез, третьей деньги. А ей, Христофорихе, самый большой почет оказали — вручили орден. Ну, она раскраснелась, разругаясь и брякнула: «Этот орден все звено заслужило, и пусть девчата, если хотят, носят его по очереди». В президиуме переглянулись, заулыбались. Потом пошептались, и председатель объявил: «Мы тебе, Соломония, еще телочку выделяем». И аника-воин там был, сидел за красным столом, только с краю, и хлопал в ладоши.

Корова глянула ей в лицо и вернулась в стадо. Поняла, должно быть, что на новую ласку Христофорихи рассчитывать нечего.

Христофориха вздохнула: сколько воды утекло с тех пор, вон даже Ирпень уже другой, и Соломония уже давно не теленок — со-

старилась. А жизнь... Другой она стала. В каждой хате достаток. У иных и машины завелись. Много стало разных машин, шумнее стало, все небо в проводах. Только не всем прибавилось счастья.

Солнце еще стояло над долиной, но со стороны леса стремительно надвигалась тяжелая черная туча. Христофориха увидела это, когда ей на лицо упало несколько капель. Она едва успела надеть фуфайку, как все пришло в беспокойство. Вокруг потемнело, запахло влагой, и на землю, топоча, обрушился ливень.

Пришлось Христофорихе согнать скотину вместе. Коровы, сгрудившись, заревели. Стало тяжело идти — земля размякла, и Христофориха ухватилась за хвост своей верной Соломонии.

## VI

На верхней ступеньке стояла открытая крынка с молоком, возле которой сидел кот с зелеными глазами. Христофориха смотрела на него беспомощно — лежала на полу. Лежала тихо, почти не шевелясь, покорная судьбе. И это удивляло кота. Он облизнулся, огоньки в его глазах разгорелись, вспыхнули от нетерпения. Поднявшись на мягкие лапы, он приготовился к прыжку. Но услышал дыхание, которое со свистом и хрипом вырывалось из ее груди, и отпрянул.

Христофорихе казалось, что ее тело одеревенело. Но дышалось ей легко, свободно — не хотелось даже шевелиться. Подумала: «Вот так и умирают. Разве она не просила у судьбы легкой смерти? Разве она не заслужила ее?» Эти мысли принесли ей успокоение, и она ненадолго забылась.

Пришла в себя от ощущения, что кто-то возле нее побывал, что кто-то недавно стоял над ней. «А может, то была смерть? Но тогда почему эта старая карга опять спряталась?» Мысль о том, что это был кот, даже не пришла ей в голову. Она дышала часто, отрывисто. Потом заставила себя поднять голову, повернуться и сесть, прислонившись к стене.

Нет, это была еще не смерть. Просто ей стало плохо, и она потеряла сознание. Вот ступенька. А вот открытая верхняя дверь. Сейчас светло, на дворе ясный день. Что же случилось? Подоив Соломонию, она решила одну крынку снести в погреб и не донесла ее. Поставила на ступеньку и грохнулась. А крынка цела. И голова на месте. Да и руки-ноги целы. Только жмет что-то в груди...

Сознание, что и на этот раз смерть ее обошла, заставило Христофориху подняться на ноги. Не до мыслей о смерти, когда есть работа! Не может она оставить детей на зиму без картошки, без лука... А что будет с Соломонией? Держась за стенку, она медленно поднялась по лестнице. Потом чихнула и закашлялась. Сколько раз она давала себе слово беречься от простуды. И вот... Но эту мысль вытеснила другая: выгнать корову, перекидать клевер и переворосить сено.

Она накрыла деревянным кружком крынку, выбралась из прохлады погреба под летнее солнышко и зажмурилась. Чисто синело небо, шумели тополя возле хаты. Как не порадоваться такому счастью, такой красоте?

Заглянула в хлев — нет Соломонии. Выходит, она так долго пролежала в погребе, что соседи забрали корову. Вспомнила: нынче пасти Пыреям, их черед. Не понять только, кто погнал скот — Пырейха-старая или Пырейха-молодая. Видать, не докликались они ее. Но они добрые, эти Пырейхи, и старая, и молодая. И хорошо, что они не видели, как она лежит в погребе. Кому приятно смотреть на чужую хворь?

Она искала вилы, чтобы пойти на клевер, и думала о том, что даже самых хороших соседей называют пренебрежительно, по-улич-

ному. Так уж повелось. Когда еще был жив Христофор, их тоже называли Колеями — из-за его колясочки. И перестали называть только после того, как Христофора не стало.

Вилы наконец нашлись. И она сказала себе: «Голодной куме все хлеб на уме, а я про что думаю?»

Дойдя до огорода, она остановилась, ее душил кашель. И решила впервые в жизни: ну и бог с ним, с этим клевером, — не нужен он ни мне, ни моей корове. Все равно отведу ее на колхозную ферму, мы с Соломонией уже договорились. Там ей лучше будет. Нет моих силенок за ней ходить.

Долго стояла, опираясь на вилы. Видать, захворала — еще в тот день, когда пасла коров и промокла до нитки. Тогда была гроза, ветер валил деревья и телеграфные столбы. Всемирный потоп да и только. Лило как из ведра целую ночь. И только к утру развиднелось — мир обновился. А вот в ней поселилась хвороба, как червяк в яблоке.

И все-таки ей было жаль нескошенного клевера — сгниет. А он нужен и людям и скотине — лекарство. Мысленно она обращалась к этому клеверу: «Я тебя уберу, только попозже, когда раздышусь». Потом обратилась к бурьякам: «Я вас прополю». Так поочередно говорила она и картофелю, и огурцам, и луку, оглядывая их больными, слезящимися глазами. «Погоди, — сказала она огороду, — не наседай на меня. Я не дам тебе погибнуть. Пересилю свою слабость и вернусь к тебе».

Еле-еле добралась она до порога своей хаты и опустилась в изнеможении на лавочку. Ее трясло. Тогда, с трудом сдернув с вешалки старый кожух, она доплелась до постели и свалилась, закрыв глаза.

Гулкий голос заставил ее размежить веки. Кто-то звал ее по имени:

— Бабушка Христофориха! Бабуля!

— Здесь я, — ответила она через силу.

В хату ввалился ветеринар, опухший, заросший многодневной щетиной.

— Бабуля, я часом не у вас оставил свой шприц с иглками? — спросил он, наполняя хату своим хриплым басом.

— Вспомнила баба, как была девкой. Ты их, сынок, должно быть, забыл, оставил там же, где вчера оставил свою голову.

— Точно, вчера я здорово врезал, — признался ветеринар. Он сорвал с головы кепку, и густой чуб упал ему на глаза.

— Так бы и сказал, что охота похмелиться. Горит?

— Ох и горит, бабуся, места себе не нахожу! Пожалей меня, грешного...

— Рубля хватит?

Ветеринар усмехнулся. Весь он был проспиртован, и в его глазах появились синеватые огоньки.

— Нет, задарма я гроши не беру, — замотал он головой. — Еще совесть не пропил. Разве что в долг дадите. Я отработаю, когда ваша корова опять захворает.

— Типун тебе на язык! — Христофориха села. — Уж лучше мне свалиться, чем ей.

— Так вы нездоровы?

— Залил зенки и никак не придешь в себя. Тебе что, повывазило?

Он смутился.

— Да вы лежите. Простыли, наверное. А я хоть сейчас... Хотите, я пень подрублю, зачем ему торчать возле хаты? А вы мне то, что обещали, а?

— Теперь, сынок, не год, а целый век обещанного ждут. Ты мне лучше хлеба принеси из магазина. Не дойти мне.

Она дала ему трешницу, достав ее из тряпицы, и он мигом сматся в магазин. Принес три буханки хлеба, положил их на стол, а рядом — бумажный рубль и медяки. Сказал:

— Это сдача. Точно, как в аптеке, — и достал из кармана бутылку. — Мне бы чистый стаканчик, бабуся, не такой я пьяница, чтоб из горла пить. Все-таки я интеллигент, сельский, а интеллигент.

— Может, тебе и закусточку на тарелочке поднести? — поддразнивала его Христофориха.

— Не требуется, — ответил ветеринар и зубами сорвал с бутылки нашлепку-бескозырку. Он знал, что Христофориха давно не стояла возле печи и потому в доме ничего нет. А потом неожиданно спросил, есть ли у нее уксус.

— Ты и уксус потребляешь?

Он презрительно усмехнулся. Уксус он развел водой в жестяной миске и намочил полотенце. Сказал:

— А теперь, бабусенька, мы обмотаем твою головоньку.

Только после этого ветеринар приложился к бутылке. Первый стакан он выпил залпом, и его выпученные глаза приняли нормальное человеческое выражение.

— Вот так... — Он провел по губам ладонью.

Компресс, положенный ветеринаром, сделал свое дело. Христофорихе полегчало. Она спросила:

— И за что ты эту отраву любишь?

— Это не я ее, а она меня, подлая, любит, — хмыкнул ветеринар. Второй стакан он выпил почти с отвращением. Поблагодарил за то, что Христофориха вошла в его положение. Сказал, что никогда не забудет ее доброты... — Вам полегчало и мне хорошо стало, — сказал он, отставив недопитую бутылку. — Знаете что? Вечером я к вам наведаюсь. И корову подою, и натру вам спину нашатырным спиртом. Всю хворь как рукой снимет. А пока прощевайте. — И забухал сапогами к двери.

А она не знала, что про него думать. Пьющий, а хороший, славный человек. Другие вот и в рот не берут спиртного, но лучше бы глаза на них не глядели.

К вечеру Соломонию с пастбища пригнала Пыреиха-старая. Вошла в хату и всплеснула руками.

— Господи, да на тебе лица нет! Ты лежи, лежи. Я все наше звено подниму на ноги. Не беспокойся. Мы всю твою работу переделаем.

Пыреиха убежала. Христофориха, пересилив себя, спустила ноги с лежанки. Соломонию она сама подоит. Потом вскипятит молоко, выпьет его, и ей сразу полегчает. Она вылечила Соломонию, а теперь та ее вылечит.

Еле волоча тяжелые ноги, подняла подойник. Потом опустилась на корточки, начала доить. Поставив кастрюлю с молоком на плиту, склонилась над ней, жадно дыша паром. После этого почувствовала голод и отломала краюху хлеба.

Стоявшая на столе бутылка напомнила ей о ветеринаре. Надо было убрать ее, но ей помешали. Кто-то постучал в окно, а потом отворил двери. «Кого это черт несет?» — подумала она. Пыреиха еще не могла обернуться.

На этот раз черт принес анику-воина. «Что ему надо?»

— Мы всегда сначала стучим, а уж потом входим, — сказал он по-свойски. — Добрый вечер.

— Стучать-то стучишь, а можно ли войти, не спрашиваешь, — ~~сказала~~ она и отвернулась.

Однако гость ничуть не смутился и придвинул табурет.

— Вот решил зайти навестить.— Он старательно откусывал эти слова вставными челюстями.— Пусть в твоей хате всегда будет мир и добро, а у тебя здоровычко.

Этот наглец сначала опустился на табурет, а потом уже попросил разрешения присесть. И она сказала:

— Ты всегда так. Садись на шею без нашего согласия, а потом говоришь добрые слова и уверен, что люди рады.

Он втянул голову в плечи, но притворился, будто речь не о нем. И завел ту же песню:

— Только люди узнали, что ты захворала, и переполошились. Мы решили, что сами будем пасти твою корову. Пока не поправишься. А как же иначе? Здоровье — наше главное богатство. В общем, я пришел сказать, чтобы ты не волновалась.

Она молчала. Ее корбило то, что он говорил о себе «мы», пряча в нем свое «я». Христофориха смотрела на хлеб, лежавший на столе, и думала: «Куда же девалась Пырейха? Хоть бы пришла скорее. Или еще кто другой. Тогда этот непрошенный гость уберется». А тот продолжал:

— Мы уже немолоды. Но нам еще жить и жить. Зря мы не сошлись в молодости....

Она и на это не ответила.

— В твоей хате моя душа отдыхает, как в раю. Молодость возвращается. Вспоминаю музыку, танцы... И все плохое забываю. Не будем помнить зла. Вот тебе мое слово: давай жить вместе. Сойдемся. Можно и в загс сходить, а можно без него. Хочешь, в район поедем, там у меня квартира. Было бы только твое согласие. А я... Ты помнишь ту ночь, нашу ночь?

Христофориха жвала зубы. «Люди! Почему вы не приходите? Где вы?»

— У нас медок...— Он вытащил из нижнего кармана френча стограммовую баночку меда, а из бокового достал таблетки.— ...есть и таблеточки. Все для тебя...

В хате потемнело. Он нашарил выключатель. Чувствовал себя уже хозяином.

— Черный... Черный ты человек...— проговорила Христофориха.— Думаешь, при свете ты будешь чище? Нет.. Погаси свет.

Он подчинился, опустился на табурет. Что еще сказать? Слов у него не было.

Христофориху выручил ветеринар. Вошел, щелкнул выключателем.

— О, бабуля, так вот почему вы без света сидите! С ухажером, значит... А во дворе все звено собралось, все дела переделали: с коровой управились, кур загнали. Меня не пускают — не одна, мол. А я вот тут спирт принес нашатырный...

— Сыночек, миленький,— взмолилась Христофориха,— выгони его, ради всего святого.

— Его? — спросил ветеринар.— Это можно.

— А мы с медом...— пятась к двери, пробормотал гость.

— Лучше я отраву выпью,— сказала Христофориха.— Заступись за меня, милый...

— А ну выматывайся.— Ветеринар шагнул вперед.

— Легче на поворотах.— Гость попятился к двери.— Думаешь, до тебя не доберусь? Ты тут пьянствуешь, вон и вещественное доказательство на столе.— Он показал на бутылку.— Так и запишем. А она... только притворяется больной. Я ее хорошо знаю.

— Выматывайся, негодяй.— В голосе ветеринара появилась нешуточная угроза.



## VII

«Ты помнишь ту ночь?..»

Эти слова не шли у нее из головы. Дни были как серые кони. Но стоило ей подумать об этой с ухмылкой оброненной фразе, как кони эти превращались в вороных и несли Христофорику в темную ночь, в забытую уже окаянную ночь. Зачем он напомнил о ней Христофорихе? Нарочно, с умыслом. Не забывай, женщина, свой позор.

А было так. Тогда развозили ветеранам уголь по хатам. Уж как она его ждала! Шофер самосвала был, как водится, пьян вдребезги — о чем с таким толковать? — и свалил уголь перед хлевом. Делай что хочешь, это не его забота. Был бы хоть Якубец, он бы тот уголь враз перекидал. Но в то лето она, на свою беду, была одна. Вот и пришлось чугуном пересыпать весь уголь в застенок. Чугуном! Ни тачки, ни лопаты у нее не было. Столярный инструмент Христофора, который она берегла, для этого не годился. Не клещами же, в самом деле, таскать уголь.

Уголь был серый, мелкий, пыль, а не уголь, но и куски антрацита попадались,— никогда тебе, баба, не переносить его. Разогнешь спину, отдышишься и опять за работу. А деревянный пегух, которого Христофор когда-то смастерил и приладил к коньку крыши, над тобою насмеяется, кукарекает. Нет на него, деревянного, управы.

Почернела она от угольной пыли, да некогда было ей умыться. Только вытерла руки об запаску и сразу за ложку. Пообедала стоя. В тот раз крупеник разварился, загустел, но она и этому была рада. Отобедав, развела остатки холодной водой и отнесла кастрюлю курам, пусть полакомятся, а сама побежала к сараю.

Но все равно от нее разило углем, и Соломонию волновал этот запах, вела она себя тревожно, переступая ногами, с удивлением взи- рала на нее.

— Что фукаешь? Не узнаешь? Да, хороша я... Стой, не шевелись, вот перенесу уголь, скину с себя одежду, вытряхну, и тогда хоть целуйся...

Управившись с углем, она подмела и принялась за сухое пахучее сено. Работы хватало. Она и позабыла, что собиралась вытряхнуть пропыленную одежду. Ей стало жарко, но не скинула с себя фуфайку. Набрал полное рядно клевера, взвалила его себе на плечи. Сбросила на землю только возле хлевца, не раструсив. Клевер был мед! Потом по лестнице полезла на чердак и, неловко повернувшись, застряла на полпути. Тогда вцепилась в узел зубами, чтоб не развязался, ухватила рукой за косяк и так потихоньку взбиралась, не выпуская узел из зубов.

До вечера не стихали на подворье ее шаги. Повечеряла она куском хлеба, луком и старым салом, таким старым, что шкурка отмякла. Передние зубы у нее еще были, только коренных не было, и хлеб ей пришлось отламывать, а сало нарезать ножом.

Поев, она решила: «Теперь попью молока и буду сыта».

Свет нарочно не зажигала, в сумерках глазам спокойнее. Думала о предстоящей зиме — когда в печке гудит весело, когда отблески огня падают на лицо, на руки. Была спокойна: угля на всю зиму хватит. Но до зимы было еще далеко, и в хате тревожно и сладко пахло клевером. Вот она и задумалась: как быть с коровой?

Пыреиха и другие бабы настойчиво уговаривали ее расстаться со скотиной. «Соломы в этом году не жди,— говорили они,— так что корову не прокормишь. Она и сейчас у тебя хуже некуда. Сходила бы за клевером». В тот раз подбила ее Пыреиха сходить на колхозное поле. Дождались черной ночи и пошли. Набрали его самую малость. «Вот видишь, все обошлось»,— сказала ей на прощанье Пыреиха. Откуда было ей знать, что Христофорику уже поджидал аника-воин?

— Здравствуйте вам...— произнес сладко, **выступая из темноты.** Она узнала его сразу, его голос ударил ее.

— Ну вот ты и попалась,— сказал он уже без сладости.— Придется тебе сложить свои крылышки.

Христофориха опустила рядом на землю, клевер из него вывалился, и она неожиданно для себя стала оправдываться: уголь, клевер, день был не из легких...

Тогда он еще не добился своего. Это потом он уже загнал ее в угол. И вот теперь все время спрашивает: «Помнишь ту ночь?» А эта ночь висит у нее, как хомут на шее.

«Помнишь ту ночь?»

Как ей забыть свой стыд, свое горе? По ночам смотрит на звезды и думает, что это живые души и среди них душа ее Христофора. Напрасно люди думали, будто между нею и Христофором стояло его увечье. Это он, Христофор, вбивал ей в голову: «Я калека, вдовец, мне за сорок, а ты, дивчина, молодая...» Она мучилась, мечтала, чтобы он ее хоть разок как женщину, как жену приласкал. А он только руки ей целовал. И если были в них сила и нежность, то это от его поцелуев.

Недолго прожила она с Христофором. Можно на пальцах посчитать, сколько месяцев. Впрочем, пальцев не хватит. Как давно все было!

Людей в долине видимо-невидимо. Порубанные вербы, посеченный ивняк. Берега Ирпеня оголились. Писали, произносили победные речи: осушили, мол, вековые болота, вывели гнус, и теперь жареная картошка растет на отвоеванных у природы землях. Она со своим звеном тоже сажала ту картошку. Их даже снимали для кино. Что и говорить, урожай был знатный. Да только клубни были как пузыри, внутри порожние и черные. Ученые принялись решать, куда девался весь крахмал, а Христофор пускал матюги — хозяева, допреобразовались! А куда, спрашивается, сено подевалось? Чем теперь скот кормить? Да и рыба раньше была, и птица не переводилась. А теперь берега стоят голые, в речке колен не замочишь — утекла краса...

Повздорил Христофор с уполномоченным, с давним врагом своим, костыль на него поднял. А тот при мундире — власть. И началось... Пришлось ему отправиться искать управу на недруга. Да, побегала она тогда, поклонялась в ноги...

И этому анике-воину, стыдно сказать, тоже кланялась: «Забери жалобу!» Как бы не так! Одернет гимнастерку, поправит широкий ремень и ответит: «Еще неизвестно, какой он фронтвик, твой Христофор». Она зажала кулаками рот, чтобы не раскричаться. Потом ответила, что Христофор никогда не кичился своими подвигами и нечего на него наговаривать. Поднялась, чтобы уйти и хлопнуть дверью. А этот ирод перешел на шепот, другом прикинулся. «Ладно,— говорит,— приходи вечером на квартиру, обмозгуем это дело». А сам складки на животе разглаживает. И стелет еще мягче: «Мы с тобой односельчане, нам надо держаться друг за дружку».

Поверила. Весь день слонялась по селу, дожидаясь вечера. Подумала: «Не съест же он меня». Она готова была отдать все свое добро, только бы Христофор вернулся. Постучалась, вошла. На голой лампочке, свисавшей с потолка, вместо абажура висела жухлая газета. И стол был застелен старыми газетами. Бобыль! Он вскочил, смахнул со стула полотенцем пыль, достал бутылку как радушный хозяин. Потом стал жаловаться: какая это жизнь, все один да один, с женою давно развелся... А ей зачем знать это?

Он наливал ей горилку, и она пила ее как свои слезы. А когда он посулил ей забрать назад свою жалобу, у нее уже **не было** сил сопротивляться.

С тех пор она казнила себя...

Грешна она перед богом, грешна перед Христофором. И перед людьми, наверно, тоже виновата. Так что нельзя ей просить у бога легкой смерти, не услышит он ее.

### VIII

На этот раз сидя возле коровы, Христофориха угрюмо молчала. И Соломония, хотя перед ней лежал молочай, до которого она была охоча, не ела. Ей, видно, передалось настороженное молчание хозяйки, по всему телу коровы пробежала дрожь.

— Давай собираться,— произнесла Христофориха, и эти два хмурых печальных слова повисли над ними обеими, над Соломониями. Потом Христофориха молча вынесла за ворота банку молока. На этот раз банка не была налита до краев. Осенью коровы дают меньше молока, но Христофориха не долила в нее воды. Она никогда не разбавляла свое молоко. Ее знобило. С чего бы это? Пришлось вернуться в хату за вещами.

Она начала собираться еще с вечера — на спинках стульев ее ждала одежда. Надела темно-синее платье, которое подарила ей Полина, натянула черные чулки, надела черные на низком каблуке туфли — подарок Аси и ее мужа. Потом взяла в руки темно-синее в клеточку пальто из синтетики — его привезли Якубец с женой — и задумалась. Подошла к сундуку, достала из него завязанный узелок, держав его в руках, поцеловала, как ладанку, и сунула за пазуху, приколов булавкой к рубашке. После этого уже надела пальто, положив в карман лежавшую в вазочке какую-то казенную бумагу. Затем прихватила горбушку хлеба. Платок она завязала уже на ходу, на пороге остановилась и вздохнула.

Вывела из хлева Соломонию, не сказала ей, как обычно, «возвращайся». Подвела к ведру с водой, не сказав «пей». Вода была чистая, как слеза, но корова ее и не понюхала.

Над селом вставало голубое утро. Дышалось легко и просторно. Где-то далеко сдавленно кричала электричка. Мягко, неслышно звенела покрывшаяся позолотой осени тополиная листва.

Христофорихе хотелось сказать людям, что все, что на ней, во что она убрана, одета, обута, если не Христофорово, то его детей. Сама она ничего не нажила за долгие годы жизни. Зачем? В могилу свое добро не унесешь.

Она замешкалась, и корова подошла к ней, потерялась о рукав, как бы напоминая о том, что надо идти.

Вместе вышли они за ворота. Перед рассветом мелкий дождик прибил пыль на дороге, и ногам было мягко ступать. На шее Соломонии болталась веревка. Первый человек, которого она увидела, была Пырейха. Та стояла на крыльце, держа руки под передником. Крикнула:

— Сестричка, сердце мое, а может, не надо ее вести? Хочешь, я тебе немного сенца дам? Я дочку попрошу, чтобы выписала на свое имя.

— Нет, я решила,— ответила Христофориха, держа корову за повод.

— Ну как знаешь,— вздохнула соседка.

Христофориха подстегнула Соломонию. Перед ними ехал на велосипеде мальчишка, развозивший по селу новость: «Соломония Соломонию ведет!» И люди, выходя на порог, желали Христофорихе добра, а она им кивала в ответ, продолжая свой скорбный путь. То Соломония опережала ее, а то она сама шла впереди, и было непонятно, кто кого ведет.

В конце сельской улицы свернули направо к речной долине, при-

близилась к железнодорожному мосту. Впереди стеной стоял синий лес.

Христофориха остановилась, вбирая в себя эту красоту. Ей хотелось и Соломонии сказать: «Наглядись вволю!» Стояла с сознанием исполненного долга: картошку выкопала, насыпала в мешки, лук заплела в венки. Приедут дети, пусть забирают. Она и хату подмела, чтобы та встретила их чистотой.

«Запоминай,— мысленно говорила она Соломонии,— каждую кочку, каждую корягу. Они ведь нам как родные: эта земля кормила нас много лет. Когда ты была молода и когда я была молода, мы всегда вдвоем сена нанесем на зиму. Не жито, не пшеницу, не яровые — это же хлеб, ими люди кормятся,— а люцерну и клевер. Случалось, и грешили. Что было, то было. Ведь пока выпросишь того сена да пока его привезут... Вот и брала на душу — не отрекаюсь».

Было бабье лето, паутина летела, в природе спокойствие, сознание исполненного долга — земля уже отплатила людям высоким урожаем за заботу и теперь отдыхала под тихим солнцем.

— А теперь пошли,— сказала Христофориха, и корова поплелась за ней, дивясь тому, что они уходят с луга.

А Христофориха думала о том, что скоро конец всему. Сколько же Соломония радовала ей сердце! «Зачем вам телевизор,— шутил Якубец.— Вы по целым дням смотрите на свою корову, наглядеться не можете». И Полина шутила: «От вас, мама, пахнет самыми дорогими духами». И то верно. Не надо ей ни телевизора, ни церкви, ни духов...

Поравнялись с магазином. Мужики, стоявшие возле него, поснимали шапки. Там же, прислонив свою машину к стене, стоял хлопчик-велосипедист. Христофориха не остановилась, свернула к колхозной ферме. В ее глаза вошли черные, распаханное поля и раскиданные тут и там скруды.

А вот и ферма... Заведующий и ветеринар были на месте.

Первым делом они поставили корову на весы. А Христофориха стояла, опустив руки,— какое ей дело, о чем они толкуют? Никогда уже ей не притронуться рукою к Соломонии, не погладить ее. И чего это мужики еще спорят?

— Вот возьми,— ветеринар протянул ей накладную.— Председатель подпишет, и можешь получать деньги. Я у этого черта,— он кивнул на заведующего фермой,— выторговал пару рубликов. Тебе они пригодятся.

Христофориха не ответила, отвернулась и, едва отрывая ноги от земли, поплелась в контору. Боялась оглянуться: заведующий фермой уводил ее Соломонию.

Председатель важно сидел за столом. По углам кабинета стояли снопы кукурузы и пшеницы, а возле окна на этажерке и в застекленном шкафчике лежали буряки, морковь, огурцы и яблоки, чтобы каждый видел, чем богат и славен его колхоз. Он был молод, но уже облысел, к лацкану его пиджака был прикреплен «поплавок». Дескать, и мы с образованием.

С почетом усадив Христофориху, председатель обошел вокруг стола, уселся напротив нее и, не глядя на накладную, спросил, не поторопилась ли она с Соломонией. Да, такая доля наша — все решать на скорую руку, с бухты-баракты. Но есть еще время перерешить. Накладная — это только бумажка, ее и разорвать можно. А солому и жом он ей подкинет. Как же, она у них ветеран, орденоседец. Таким людям колхоз обязан помогать.

Христофориха чуть слышно ответила:

— Нет, мы уже договорились.— И улыбнулась горько.

Он не понял:

— С кем?

— Да с ней же, с Соломонией.

Председатель не понял, хлопал глазами. И Христофориха пояснила:

— Я Соломония и моя корова тоже Соломония. Вот мы и договорились с ней..

— Ну если так, пусть будет по-вашему! — сказал председатель и подписал накладную.— Деньги получите в кассе.

— Не надо мне этих денег,— ответила она и протянула ему сложенный вдвое листок из ученической тетради.— Тут адреса моих детей. Деньги вышлите им, всем поровну, чтобы никто из них не обиделся.

Председатель посмотрел на нее с удивлением, но промолчал и, вызвав своего главбуха, растолковал ему, как поступить с деньгами.

— Сделаем! — обещал бухгалтер.

Христофориха не шелохнулась.

— У вас есть ко мне еще вопросы? — спросил председатель.— Простите.— И снял трубку нетерпеливого телефона.

Она дождалась, пока он закончит разговор, и ответила:

— Я вас очень прошу, чтобы Соломонию не называли иначе, к другому имени она уже не привыкнет. Пусть так и напишут на табличке: Соломония.

— Это можно,— пообещал председатель и проводил ее до двери.

Из конторы она вышла тихая, просветленная. Перешла двор, прошла мимо длинных коровников и мастерских. Ее ноги свернули на стежку, по которой доярки ходили на работу. Стежка была протоптана по свежей пашне. За ее плечами лежало поле. Впереди стоял лес. Долина молчала. Мир был желтым, зеленым и синим.

*Авторизованный перевод с украинского Э. МОРОЗ.*



---

---

## ВАЛЕНТИН СОРОКИН



### СВЕТЛЫЙ МИГ

#### Крыло зодиака

Я прошел по долине,  
Перелеску и лугу.  
День, и жарок и длинен,  
Тек доверчиво к югу.

И закатные выси  
Рдели в солнечной звени.  
Словно красные рыси,  
В роще прыгали тени.

Вот и лето уплыло,  
Но скажу я, однако:  
Так ли худо нам было  
Под щитом зодиака?

Жив я, слава те, боже,  
Вдоволь хлеба и соли,  
Если чарка,  
ну что же —  
Для изгнания боли!..

Свет затеплю под крышей  
И услышу я снова:

Клен в ладонях колышет  
Чье-то имя и слово.

Кто забыл или бросил?  
В переливном тумане  
Умывается осень,  
Как заря в океане.

И тревожно немного.  
И, мерцая крылами,  
Пролетает дорога  
Меж родными холмами.

Все острее и круче  
Совесьть годы итожит.  
Лень мой,

завтрашний,

лучший,

Ныне, кажется, прожит.

И спокоен ты очень,  
Потому не угрюмей,  
Час твой движется к ночи  
И страстей и раздумий.

#### Светлый миг

Поднял месяц спокойно вдали  
Над землей золотые рога.  
Утомленные бегом, легли,  
Словно белые звери, снега.

Вон прижался к сугробу сугроб,  
А за ними — на тысячи лет  
Ни дорог,  
ни развилок,

ни троп,  
Вдруг покажется, вроде бы нет.

До чего ж хорошо на Руси!  
Но, случится, закружит беда —  
У себя самого и проси  
Честной помощи ты, как всегда.

Не морозный ли слышу я скрип,  
Не себе ль собираюсь помочь?  
Если в поле я днем не погиб,  
Буду жив и в предлинную ночь.

Будет месяц из ветреной тьмы  
Мне в окошко показывать рог,  
А наутро нагрянут холмы  
Вместе с зорями к нам на порог.

### **Здравствуй, солнце!**

Здравствуй, солнце, я с тобою  
Вновь увиделся под небом.  
Мгла ползла, как после боя,  
Мир тонул в дожде нелепом.

Всё туманы и туманы,  
Ветры, бури грозовые.  
И болят под сердцем раны,  
Думы ходят круговые.

От рассвета до заката  
Я кляню свою дорогу,  
Не пряма и не крылата —  
Славы нет, а горя много.

Нет беспечного покоя.  
И не вскинется игриво  
Под счастливою рукою  
Переливчатая грива.

Ускакал мой конь в просторы,  
Непокорный, невезучий.  
Кто-то мрак наслал на горы,  
Взбаламутил грубо тучи.

Здравствуй, солнце, мир планете,  
Сгинут беды и обманы.  
Убери-ка на рассвете  
Ты с души моей туманы.



---

---

БОРИС РУНИН

★

## ПИСАТЕЛЬСКАЯ РОТА

1

**Н**а опушке березовой рощи, где нас нельзя обнаружить с воздуха, раздается наконец долгожданная команда: «Привал!» Совершенно измочаленные многокилометровым переходом с полной выкладкой (только без шинелей, которые нам еще не выдали), мы успеваем лишь прислонить винтовки к деревьям и без сил валимся на землю. Некоторое время все лежит молча. Потом как-то вяло, словно нехотя затевается разговор о выносливости.

— Что ни говорите, а на марше старики утерли нос юнцам, — доносится до меня чья-то ехидная реплика. Кажется, это Николай Афрамеев, бывший секретарь Литфонда.

Мне двадцать восемь лет, и я здесь один из самых молодых. Моложе меня из литераторов, наверное, только Данин и Казакевич. Да и то ненамного. Мы невольно прислушиваемся. Идет ленивое, с большими паузами выяснение, кому сколько лет.

— Вы что! — говорит Михаил Лузгин Василию Дубровину, который только что стыдливо признался, что ему уже за сорок. — Вон во второй роте Ефим Зозуля шагает, ему пятидесятый идет. Или с ним рядом Бела Иллеш, тот всего года на четыре моложе. А вы еще вполне кавалер. Вот Фраерман, пожалуй, старше всех...

— Мы с Иллешем ровесники, — вставляет Иван Жига. — Оба девяносто пятого года.

— Я тоже девяносто пятого... — Это подает голос Марк Волосов.

Наша ополченческая рота необычна во многих отношениях. Достаточно сказать, что она укомплектована преимущественно профессиональными литераторами, членами Союза советских писателей — прозаиками, драматургами, поэтами, критиками. Но кроме того, она не соответствует обычным представлениям о воинском подразделении и по возрастному составу. Здесь представлены не просто разные годы рождения, но буквально разные поколения.

Разговор, начавшийся так лениво, постепенно привлекает все больше участников. Мы полулежим, опираясь на вещевые мешки, снять которые просто не в силах. Да и зачем, если с минуты на минуту прозвучит команда и мы двинемся дальше. Некоторые расстегнули ворот гимнастерки и домашним, совсем еще штатским жестом обмахивают лицо пилоткой. Некоторые, преодолев каменную усталость, неторопливо перематывают обмотки, по-нашему макароны. Ах эти чертовы обмотки! Сколько проклятий раздается в их адрес: не затянешь — обязательно на ходу разматаются, а затянешь потуже — затекут ноги.

Усталость такая, что даже закурить лень. А ведь нам еще идти и идти. Где же взять силы на новый переход? Словно прочитав мои мысли, Фурманский незаметно сует мне в руку кубик сахара. Мы



уже знаем — в подобных обстоятельствах ничто так не бодрит, как сахар. Но все четыре куска, выданные на рассвете, я уже давно высосал самым эгоистическим образом. А вот Фурманский оказался и предусмотрительнее и добрее.

Разговор о возрасте все не иссякает. Выясняется, что Мафусаил у нас не кто иной, как Бляхин. Да, тот самый Бляхин Павел Андреевич. Да, по его сценарию были поставлены знаменитые в дни моего детства «Красные дьяволята». Я смотрел их, еще живя в Харькове. Господи! Ведь это было давным-давно, так давно, что даже не верится, — в начале двадцатых годов. Мог ли я тогда предполагать, что окажусь в одном батальоне с автором этого фильма о гражданской войне и что мы оба — «тот самый Бляхин» и я — станем солдатами Великой Отечественной войны!

Впрочем, подобное удивление я уже испытал еще в самом начале. Когда мы только вышли из Москвы и остановились на два дня в Архангельском (да, в том самом, юсуповском), где нам выдали обмундирование и где мы построили для себя из нарубленных березок уютные шалаши (безжалостно уничтожив ради одной ночи целую рошу!), я невольно обратил внимание на невысокого сидящего человека в полувоенном костюме и мягких сапогах, которому старший лейтенант сказал: «А вы, Либединский, могли бы остаться в своей одежде».

Дело было не в том, что я позавидовал этому немолодому бойцу (хотя, конечно, сапоги куда удобнее ботинок на шнурках и обмоток, а обмундирование цвета хаки куда уместнее выданной нам серо-голубой формы, видимо предназначавшейся фезеушникам). Просто это был тот самый Юрий Либединский, чью «Неделю» я когда-то проходил в школе. А не сразу я его узнал, наверное, потому, что, уходя в ополчение, Либединский сбрил свою широко известную по портретам и многочисленным шаржам мушкетерскую бородку.

Да и глядя на Белу Иллеша, неразлучного даже в этих условиях со своим кофейником, я испытывал то же странное ощущение внезапной перетасованности всех человеческих сроков, всех призывов. Ведь роман участника венгерской революции 1919 года Белы Иллеша «Тиса горит» я тоже читал еще школьником.

Однако Бляхин оказался старше и Фраермана, и Зозули, и Белы Иллеша, не говоря уж о Либединском. Ничуть не кичась исключительностью своего возраста (да и своей биографии — член партии с 1903 года, участник революции 1905 года, прошедший через ссылку), скорее даже смущенный этим обстоятельством, Павел Андреевич очень просто, как-то по-домашнему говорит, что ему пятьдесят четыре года, но это ничего не значит...

Он и потом никогда не претендовал ни на какие льготы или привилегии, на которые вполне мог бы рассчитывать. И уж во всяком случае Павлу Андреевичу, человеку необычайно скромному, была чужда какая бы то ни было учительность или просто снисходительная назидательность в общении с окружающими. В его мягкой, ровной, я бы даже сказал — ласковой, манере разговаривать абсолютно отсутствовала столь естественная в его годы интонация превосходства — мол, поживите с мое. Нет, он был ровней со всеми, даже с самыми молодыми из нас. Мне потом довелось прожить с Бляхиным примерно с неделю в одной землянке, и он ни разу не дал мне почувствовать, что почти вдвое старше меня.

— Да, неплохо бы дотянуть до вашего возраста, особенно в наше безмятежное время, — мечтательно произносит, глядя на Бляхина, драматург Павел Яльцев, автор популярной в тридцатые годы пьесы «Ненависть».

По моим тогдашним представлениям он тоже немолод — во всяком случае, лет на десять старше меня, что, впрочем, не помешало нам уже в те дни стать истинными друзьями.

Но вот в разговор вступают поэты.

— А ты, Вадим, о какой контрольной цифре мечтаешь? — обращается к Стрельченко наш правофланговый. Это поэт Саша Миних, человек огромного роста и неисчерпаемого добродушия.

— Я бы хотел прожить столько, сколько будут писаться стихи, — с легким украинским акцентом отзывается тот. — Ты же знаешь, поэты, почти все без исключения, рано или поздно переходят на прозу...

Воспользовавшись спором, возникшим на эту тему, ко мне пододвигается лежащий рядом Роскин.

— Про себя могу сказать только одно, — тихо говорит он, так, чтобы не слышали другие. — В самом близком будущем меня не станет.

Я, внутренне содрогнувшись, оборачиваюсь к нему, но он совершенно спокоен.

— Не подумайте, что я малодушничая или рисуюсь, — продолжает он. — Просто я это слишком хорошо знаю...

Как реагировать на подобное признание? Роскин уже однажды говорил мне о своих мрачных предчувствиях, но не с такой прямоотой. Не скрою, моему самолюбию начинающего литератора льстит расположение этого очень уважаемого и очень авторитетного критика, который уже давно служит для меня примером профессиональной порядочности. Но ведь нельзя же оставить его реплику без ответа. Однако усталость словно лишила меня и всякой мыслительной активности. Притупленное сознание ничего, кроме пошлых возражений, мне не подсказывает, и я, к стыду своему, предпочитаю промолчать.

Между тем разговор об отпущенных нам судьбою сроках вопреки недавнему состоянию всеобщей протрации становится все оживленнее.

— Что касается меня, то я хотел бы дожить до нашей победы, а там посмотрим, — как всегда, чуть насмешливо заявляет Эммануил Казакевич и, поблескивая очками, весело оглядывает собеседников.

Мы уже привыкли к тому, что среди нас немало очкариков. Данин тоже был снят с учета по зрению. С очками не расстаются Лузгин, Гурштейн, Афрамеев, Замчалов, Винер, Бек. Последний также принимает участие в разговоре.

— А как вы думаете, сколько продлится война? — с простодушной выразительностью лица и затаенным в глазах лукавством обращается он ко всем вообще и ни к кому в частности.

Когда-то давно, будучи в командировке в Кузнецке, я с интересом прочел, так сказать, на месте действия очерки Александра Бека о русских металлургах. Вот уж не думал встретить в его лице человека, столь глубоко и надежно спрятанного за искусной маской чуть ли не детской наивности. И это при явном уме и доброжелательстве к окружающим. Что это — привычка к осторожности, предусмотрительная защита от возможных ударов судьбы?..

— Кто же это может знать! — попадаетеся на удочку торжествующего Бека Павел Фурманский, слывающий среди нас знатоком военной теории и истории. — Но давайте помнить о том, что империалистическая война длилась четыре года.

— На этот вопрос каждый должен для себя наложить запрет, — советует маленький, тщедушный, но необычайно выносливый Рувим Фраерман, мудрый автор «Дикой собаки Динго».

— Вы знаете, — напоминает о себе поэт Вячеслав Афанасьев, — у меня такое ощущение, будто война началась давным-давно. Будто мы вышли из Москвы еще в той жизни. Будто мы уже годы шагаем по жаре и этот марш никогда не кончится.

— И только пыль, пыль, пыль, пыль от шагающих сапог. И от-

пуска нет на войне! — дополняет мысль Славы Афанасьева стихотворной цитатой молодой критик поэзии Даниил Данин.

— Да, вся наша прежняя жизнь разом отодвинулась куда-то в далекое прошлое,— невесело замечает Роскин.— Теперь только понимаешь, насколько мы не ценили былые радости.

— Я... бывало...— подхватывает драматург Петр Жаткин, подражая качаловскому Барону,— проснусь утром и, лежа в постели, кофе пью — кофе! — со сливками... да!.. Кареты... кареты с гербами!..

— Друзья, вы даже не знаете, где мы находимся! — Из-за кустов появляется чрезвычайно возбужденный Натан Базилевский. Его географическая любознательность давно уже всеми замечена. Вот и сейчас, несмотря на сбитые ноги, он все-таки отправился на рекогносцировку — его чем-то заинтересовали здешние места.— Ведь это же наша родная Малеевка! Вон оттуда сквозь деревья виден дом творчества...

Сообщение Базилевского порождает взрыв энтузиазма. Особенно взволнован Афрамеев, один из инициаторов создания Малеевки. Но в этот момент ветер доносит до нашего слуха далекую команду: «Подъем!.. Стано-вись!..» Повторяясь на разные голоса, она неуловимо приближается к нам.

И вот мы опять шагаем на запад, к фронту, в сторону Смоленска. Куда-то в неизвестность.

## 2

Таким мне запомнился этот маленький и, казалось бы, ничем особенно не примечательный эпизод, относящийся примерно к середине июля 1941 года. Привал как привал, один из множества на нашем нелегком пути из Москвы к фронту.

Почему вообще таким памятным оказалось для меня это первое военное лето? Иной раз даже кажется, что я и сейчас, спустя сорок четыре года, так же отчетливо вижу и эти поля, и эти леса, и эти дороги, а главное — окружавших меня тогда людей. А ведь ополчение — это было только начало, только каких-нибудь девяносто дней. Война же потом, уже совсем другая, длилась еще долго-долго, пока не насчитала свои 1418 дней. А мне еще после победы довелось побывать на Дальнем Востоке, на войне с Японией. И конечно, были в моей, пусть даже самой скромной, военной биографии события и более яркие, и более значительные, и уж наверняка более драматичные, чем тот привал возле Малеевки. Но почему-то они не заслонили его. Почему-то прихоть памяти настойчиво возвращает меня именно к этому эпизоду куда чаще, чем к какому-либо другому. Да и вообще трехмесячное мое пребывание в так называемой писательской роте осталось для меня и поныне самой задушевной порой моей военной судьбы.

Разумеется, все это объясняется прежде всего тем, что первые впечатления всегда самые памятные. Однако новизна армейского существования и еще только формирующихся представлений о войне совпала для меня тогда и с необычностью, даже исключительностью среды, в которой я оказался. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что, попав в третью роту первого батальона 22-го стрелкового полка 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения Москвы, я оказался среди людей во многом замечательных, давших мне тогда очень многое на всю последующую жизнь. Не в плане профессиональном, а именно в плане общечеловеческом, ибо своим поведением они преподали мне немало ценных уроков для понимания сложностей жизни, ее противоречий, ее велений.

Да, моему тогдашнему сознанию начинающего литератора весьма импонировала сама возможность делить тяготы походной жизни с людьми, чьи имена были мне в большинстве своем заочно известны и ассоциировались для меня прежде всего с такими категориями,

как ум и талант. Среди них и впрямь было немало талантливых писателей, но еще более важно, наверное, подчеркнуть их этическую высоту.

Теперь, когда я вспоминаю те дни, мне кажется, что никогда ни до того, ни после не окружало меня такое количество сердечных, отзывчивых, доброжелательных людей, попросту говоря — настоящих товарищей. Наверно, на самом деле это заблуждение и процент хороших людей, представленных в нашей роте, был такой же, как и в любом другом подобном коллективе. Наверно, во второй роте, где писателей было поменьше (кроме уже упомянутых, помню Степана Злобина, Сергея Острового, Ивана Молчанова, Павла Железнова, Бориса Вакса, Самуила Росина, Андрея Жучкова, Владимира Тренина, Евгения Сикара), тоже сразу установился этот же дух товарищества и взаимовыручки.

Помню, как во время длительного ночного марша по темным лесным дорогам, когда все изнемогали от духоты, пыли, бессонницы, непосильной тяжести снаряжения и амуниции, да к тому же еще наш батальонный начальник штаба сбился с пути и привел нас в ту же деревню, из которой мы несколько часов назад вышли, только с другого конца, — помню, как я в тот раз стал засыпать на ходу. Я еще шел, но сознание уже не участвовало в этом процессе, и ноги продолжали шагать сами по себе, выписывая немислимые вензея. Вот тут-то и разбудил меня Фраерман, оказывается, давно наблюдавший за мной. Я немного знал его еще до войны — мы познакомились после того, как я напечатал в «Правде» восторженную рецензию на его «Дикую собаку Динго». Но сейчас дело было не в этом.

— Борис Михайлович, — обратился он ко мне тихо, так, чтобы не слышали другие, — давайте я понесу ваш сидор. Для меня это дело привычное...

Сидором, чего многие теперь, наверное, уже не знают, почему-то назывался тогда вещевой мешок.

Желая мне помочь, Фраерман не случайно завел речь именно о сидоре. Он-то понимал, что многие из нас по неопытности несут за спиной вещевые мешки непомерной, никак не уставной тяжести. Ведь каждый, словно мы сговорились, уходя на фронт, прихватил с собой по несколько книг. Вася Кудашев, близкий друг Шолохова, нес весь «Тихий Дон», надеясь заново перечитать его целиком вместе с заключительным, недавно вышедшим четвертым томом. Примерно так же Сергей Кирьянов (некоторое время он был политруком нашей роты) рассчитывал перечитать «Последнего из удэге» своего старшего товарища (еще по РАППу) Фадеева.

Помню, как мы обманывали сами себя, перекладывая любимые книги из сидора в сумку противогаза, как будто эта операция могла облегчить тяжесть ноши. Помню, как обливалось кровью мое сердце заядлого библиофила, когда на одном из привалов Данин нашел в себе решимость расстаться сразу с тремя книгами и сохранил только томик Хлебникова. Да и вообще в первые дни на местах наших привалов неизменно оставалось по несколько книг: вынужденные довести до минимума свой воинский груз, вопреки непреодолимому стремлению избавиться от лишней тяжести за спиной мы все-таки оставляли в мешке печатное слово, уже преимущественно стихи.

Никогда не унывающий и бесконечно участливый Фраерман, который в годы гражданской войны партизанил на Дальнем Востоке, поражал всех своей походной тренированностью. И хотя я скрепя сердце не воспользовался его предложением, он скоро уже шагал с двумя вещевыми мешками — кто-то не устоял перед соблазном переложить на него часть своего груза.

Дух солидарности и взаимопомощи как-то сразу воцарился в нашей роте, объединив литераторов и представителей других про-

фессий в одно целое. Тут следует заметить, что наша рота хотя и вошла в историю войны как писательская, но целиком таковой не была. Однако литераторы и люди иных интеллигентных профессий в ней действительно преобладали, что, кстати сказать, на первых порах не раз повергало нашего молодого ротного командира, только что выпущенного из училища лейтенанта, в состояние, близкое к отчаянию.

На одной из первых утренних проверок он прошелся вдоль строя, с надеждой вглядываясь в наши лица, и бодро скомандовал:

— Землекопы, три шага вперед!

Ни в первой, ни во второй шеренге никто не двинулся с места.

— Плотники, три шага вперед! — уже не так лихо скомандовал лейтенант.

Снова никакого эффекта.

— Повара, три шага вперед! — стараясь скрыть свое презрение к такого рода публике, попавшей под его начало, и уже не надеясь на успех, произнес обескураженный лейтенант.

Но и поваров среди нас не оказалось.

Как бы прося извинения за нашу профессиональную неполноценность, из второй шеренги донесся сожалеющий голос Бека:

— Тут больше имажинисты, товарищ лейтенант...

Рота грохнула от хохота. Не понявший причины смеха, лейтенант с досадой махнул рукой:

— Машинисты мне сейчас не нужны.

Смех опять прокатился вдоль строя.

Видимо, с той поры Александр Бек и взял на себя роль нашего ротного Швейка. Человек недюжинного ума и редкостной житейской проницательности, он, очевидно, давно уже привык разыгрывать из себя этакого чудаковатого простофилю. Его врожденная общительность сказывалась в том, что он мог с самым наивным видом подсесть к любому товарищу по роте и, настроив его своей намеренной детской непосредственностью на полную откровенность, завладеть всеми помыслами доверчивого собеседника.

Тут же замечу, что Бек никогда не употреблял эту свою способность во зло. Просто он испытывал душевную необходимость в подобных экспериментах. Видимо, таким способом он удовлетворял свою ненасытную потребность в человеческих контактах. Кроме того, для него как для писателя это был повседневный психологический тренинг. Думаю, что вопреки своему кажущемуся простоудию Бек уже тогда лучше, чем кто-либо из нас, ориентировался в специфических условиях ополченческого формирования да и в прифронтовой обстановке вообще. Словом, это был один из самых сложных и самых занятых характеров среди нас, притом что писательская рота отнюдь не испытывала недостатка в ярких индивидуальностях и необычных биографиях. Особенно это касалось наших «стариков». Среди них насчитывалось немало бывалых людей, таких, как наш ротный старшина прозаик Константин Клягин, прошедший через империалистическую войну и занимавший разные командные должности в Красной Армии в годы гражданской войны. Или — тоже участники империалистической войны и притом георгиевские кавалеры — поэты Арон Кушников и Александр Чачиков. Георгиевским кавалером, даже дважды, был и Марк Волосов, прозаик и переводчик с английского. В годы первой мировой войны он бежал из немецкого плена в Норвегию, оттуда в Америку, а потом несколько лет плывал по морям и океанам на разных кораблях и в разных должностях.

Или возьмите биографию драматурга Бориса Вакса, который в предреволюционные годы стал политическим эмигрантом, скитался по всему миру, учился в университетах Италии и Швейцарии, а после Октября работал в Наркоминделе и в составе советской делега-

ции присутствовал на Генуэзской конференции, после чего был принят Лениным.

А веселый, остроумный Виталий Квасницкий, прежде чем стать малоформистом, автором коротеньких юмористических рассказов, забавных скетчей, смешных реприз, успел повоевать на Дальнем Востоке в партизанском отряде и в частях Народно-революционной армии против Колчака и японских интервентов, поработать подпольно в тылу у белых, зарекомендовать себя опытным армейским политработником.

Итак, ополчение связало в один узел самые различные судьбы, самые несходные характеры, зачастую уже давно определившиеся, отмеченные в прошлом значительными делами, интересными сочинениями. Но даже на этом весьма выразительном фоне личность Александра Бека выделялась неоспоримой оригинальностью. Стремление к розыгрышу сочеталось в нем с несколько авантюрными наклонностями, а явная доброжелательность — с тщательно маскируемым лукавством. Не было для него большего удовольствия чем спровоцировать окружающих на спор, разговорить их или под видом невинного вопрошателя внушить собеседнику собственные идеи и намерения. В какой-то мере тут сказывались профессиональные навыки Бека. В свое время он активно сотрудничал в созданном по инициативе Горького при редакции «Истории фабрик и заводов» так называемом «Кабинете мемуаров», который был призван накапливать воспоминания деятелей отечественной промышленности. Вызывать их на разговор было для Бека привычным делом...

Пользуясь тем, что наша дивизия формировалась, что называется, на ходу и испытывала острую потребность в транспортных средствах, Бек стал методично внедрять в сознание ротного командира мысль о том, что без грузовой машины ему со всем его хозяйством не обойтись. Надо сказать, что после эпизода с имажинистами молоденький лейтенант уразумел, что если он не будет снисходителен к фокусам Бека, то лишь поставит себя в смешное положение. Впервые столкнувшись с человеком такого типа и такого непредсказуемого поведения, лейтенант, к его чести, негласно принял предложенные Бекон условия игры. Всегда спасительное чувство юмора в данном случае помогло лейтенанту. Дело в том, что Бек взял себе за правило после каждой вечерней поверки, когда лейтенант по традиции спрашивал у выстроенной роты, есть ли вопросы, в свою очередь простодушно осведомляться:

— Товарищ лейтенант! Когда же вы меня командуете в Москву за полуторкой?

Подобный спектакль разыгрывался перед всей ротой изо дня в день. В конце концов лейтенант, у которого молодая смешливость, видимо, взяла верх над уставной строгостью, решил обновить эту ставшую уже почти ритуальной игру. И однажды он в ответ на традиционный вопрос Бека с такой же лукавой серьезностью скомандовал:

— Боец Бек! Шагом марш в Москву за полуторкой!

— Есть в Москву за полуторкой! — отчеканил Бек.

Без тени улыбки он вышел из строя и на глазах у притихшей от такой дерзости роты энергично зашагал по прямой куда-то в лес. Через минуту его фигура исчезла в чаще как раз за спиной у лейтенанта, которому чувство собственного достоинства не позволяло обернуться вслед своевольному бойцу. Он лишь скомандовал положенное «разойдись!» и отправился по своим делам.

А Бек исчез. Исчез не на шутку. За это время мы еще продвинулись на запад, в сторону фронта, и после нескольких дней марша снова остановились для боевой учебы и строительства очередного рубежа обороны. На таких стоянках мы занимались строевой подготовкой, учились обращаться с оружием, ходили на стрельбище, зна-

комились с боевым уставом пехоты, но главное — рыли противотанковые рвы, пулеметные гнезда, стрелковые ячейки и ходы сообщения, а иногда строили блиндажи и землянки. После чего шли дальше.

Первая собственноручно вырытая мною ячейка полного профиля памятна мне до сих пор. Мне кажется, до меня и сейчас доносится этот неповторимый запах разрытой земли, в которую я с каждым взмахом лопаты постепенно погружаюсь, сначала по колено, потом по пояс и наконец по плечи. Усталый, вспотевший, голодный, я опускаю винтовку в окоп и осторожно, стараясь не засорить песком затвор, устраиваюсь на дне. Наконец-то можно передохнуть и закурить. Внезапно масштабы громадно несущейся жизни, масштабы идущей на земле великой войны сужаются для меня до размеров моего убежища, и его надежная укромность сразу становится до боли родной, невольной настраивающей на мысль о судьбе, о будущем, о доме...

Да это ли не мой дом? Ведь здесь, в окопе, я впервые после Москвы сам по себе. Круглые сутки на людях, а тут — один. Кажется, от всего мира для тебя остались лишь эти слои потревоженной, взрезанной глины да одинокая звезда, обозначающаяся над головой в вечернем небе. Так бы и не ушел теперь отсюда, обороняя до последней пули этот клочок смоленской земли, с которой столь неожиданно породила тебя простая лопата...

Но на рассвете мы уже опять шагали на запад...

На этот раз мы остановились где-то уже на приднепровском рубеже, оставив позади станцию Семлево, к тому времени буквально сметенную с лица земли немецкой авиацией. И опять потекли ополченческие будни — рытье окопов, строевые занятия, БУП, стрельбы.

Через несколько дней, когда мы уже освоились на новом месте и даже привыкли к гулу далекой канонады, доносящейся по ночам из-за Днепра, в расположение роты неожиданно въехал пикап с московским номером. В кабине рядом с водителем сидел не кто иной, как Бек. Он не торопясь отворил дверцу, ступил на землю и по всей уставной форме отрапортовал командиру:

— Товарищ лейтенант, ваше приказание выполнил. Машина с шофером прикомандирована к нашей части.

Во всей этой истории удивительным было даже не то, что Беку удалось раздобыть пикап с водителем — в конце концов, многие учреждения и предприятия эвакуировались тогда на восток и передавали остающиеся автомобили армии. Разумеется, на то требовались соответственные бумаги, но и их, наверное, можно было получить в штабе тыла нашей дивизии. Непонятно другое: каким образом Бек, являвший собой как боец уж очень непрезентабельное зрелище (огромные ботинки, обмотки, которые у него поминутно разматывались и волочились по земле, серого цвета обмундирование, а в довершение всего нелепо, капором, сидящая на голове пилотка, не говоря уж об очках), — как мог он в таком виде, без всяких документов добраться до Москвы, которая, по существу, уже была в ту пору прифронтовым городом?

Если учесть, что гитлеровцы на смоленском направлении то и дело выбрасывали воздушные десанты (мы сами дважды участвовали в прочесывании окрестных лесов в поисках вражеских лазутчиков), если учесть, что все дороги, ведущие к Москве, были надежно перекрыты системой контрольно-пропускных пунктов, а на улицах столицы свирепствовали многочисленные патрули, которые не рассуждая заметали любого мало-мальски подозрительного прохожего, и если учесть еще необычайно стойкие слухи, будто город кишит шпионами. — если учесть все это, то приходится признать: Бек сотворил чудо. Сам же он в ответ на расспросы товарищей лишь пожи-

мал плечами, и лицо его при этом приобретало какое-то не то отсутствующее, не то просто дурацкое выражение.

Конечно, затеяв такую эскападу, Бек подвергал себя огромному риску. Вся авантюра очень легко могла кончиться трибуналом. Думаю, что именно несбыточность самой задачи и спасла Бека от весьма серьезного наказания. Но так или иначе, его не подвергли никакому взысканию, и он как ни в чем не бывало продолжал свое причудливое швейковское существование в нашей роте, где-то на грани умышленной непосредственности и мнимой наивности. Казалось, он пытается таким способом перехитрить свою судьбу.

Однако молва о «бравом солдате Беке» распространилась по всей дивизии. Его популярность приобрела неслыханные размеры. На него приходили смотреть из других батальонов. На него показывали пальцем, говоря: «Это тот самый боец Бек...» Нет ничего удивительного, что он стал душой нашей роты.

## 3

Война шла уже недели две. «Рядовой, необученный, ограниченно годный в военное время» — так значилось в моем военном билете. Я два раза наведася в военкомат и оба раза услышал в ответ: «Ждите повестку». Между тем ходить ежедневно на службу, пусть даже в близкую моему сердцу редакцию «Нового мира», где я тогда ведал библиографией, становилось невозможным. Мне казалось просто кошмарным жить по-прежнему — заказывать и вычитывать рецензии, править гранки, словом, вести себя как и до войны.

Конечно, отбор книг для отзывов пришлось срочно пересмотреть, но ведь распорядок существования в основном оставался прежним, притом что в жизни страны, в жизни народа все трагически сместилось. Это несоответствие инерции мирного бытия и надвигающейся грозной судьбы угнетало мое сознание до того, что я готов был исполнять любые обязанности, только бы они были непосредственно связаны с войной. Поэтому, когда выяснилось, что в Союзе писателей идет запись добровольцев, решение пришло сразу.

Примерно те же чувства испытывал и мой друг Даниил Давид, в ту пору начинающий литератор, внештатный сотрудник «Знамени». Мы с ним созвонились и числа 8 или 9 июля с утра отправились на улицу Воровского, 52, в оборонную комиссию к автору известной тогда книги «Преступление Мартына» Владимиру Бахметьеву, который этой комиссией ведал. Но Бахметьев отправил нас к секретарю парткома Хвалебновой. Дело в том, что хотя мы и работали в редакциях и печатались в журналах, но в Союз нас еще не приглашали (тогда такая форма практиковалась), сами же мы подавать заявление о приеме пока не решались.

Однако Хвалебнова нас не знала и, воспользовавшись тем, что мы не члены ССП, именно на этом основании отказала нам. Совершенно обескураженные, мы стояли в вестибюле столь притягательного для нас «дома Ростовых», не зная, что теперь делать и как быть. Ведь мы уже оповестили родных и друзей о своем решении. Я даже успел зайти к себе в «Новый мир» и поставить в известность ответственного секретаря редакции Юрия Жукова (ныне председатель Советского комитета защиты мира и политический обозреватель «Правды») о том, что ухожу на войну. И вот такая незадача!

По счастью, в этот момент в вестибюль поднялся по лестнице заместитель Хвалебновой, мой однокашник по Литературному институту Михаил Эдель. Узнав, в чем дело, он не без иронии произнес:

— Хотите, ребята, по благу попасть на фронт? Ладно, устроим.

Не прошло и четверти часа, как все уладилось. Мы вышли из Союза писателей с предписанием явиться со всем необходимым в



общежитие студентов ГИТИСа в Собиновском переулке, где находился один из пунктов формирования Краснопресненской дивизии.

Отчетливо помню тот нескончаемо долгий знойный день в самом разгаре лета. Помню ни с чем не сравнимое чувство полуторжества-полутревоги, которое не мог не испытывать я, отдавая себе отчет в том, что вот сейчас сам, по своей воле решительно и бесповоротно меняю свою судьбу, вмешиваюсь в ее естественный ход. Помню даже строчку Пастернака, почему-то привязавшуюся в тот день ко мне, очевидно навеянную видом пышных деревьев Никитского (ныне Суворовского) бульвара:

...Разгневанно цветут каштаны.

Изнывая под тяжестью рюкзаков, мы с Даниным молча шагали к цели, отчетливо понимая, что для нас начался новый отсчет времени, как сказали бы теперь, что все, что было до сегодняшнего дня, вот-вот станет прежней жизнью. День клонился к закату, и город был как-то празднично пронизан косыми лучами солнца. Но в самом ритме уличной жизни улавливалось что-то новое, какая-то величавая, почти театральная замедленность, словно масштабы всемирно-исторической драмы, какой уже каждым осознавалась война, продиктовали жителям столицы суровую сдержанность во всем. И вот этот контраст между кричащей, избыточной роскошью ослепительного летнего дня и скромной, тихой, несуетной озабоченностью, так устойчиво запечатленной на лицах, откладывался на сердце неизъяснимой печалью.

Я шел и думал о том, о чем война настоятельно заставляла думать всех нас, и чем дальше, тем больше: как складываются человеческие судьбы в такие времена, как соотносятся между собой твои стремления и твоя воля, с одной стороны, и непредсказуемые экстрапты бытия — с другой? Превратности судьбы — ведь мы не случайно так говорим... Вот и сегодня, если бы нам не встретился в вестибюле ССП Миша Эдель, наша жизнь уже сейчас текла бы по-другому. Конечно, мы все равно попали бы в ополчение, не так уж, наверно, трудно стать добровольцем. Но мы бы оказались не в Краснопресненской дивизии, а в какой-нибудь другой. И неизвестно, какой вариант приобрело бы в этом случае наше дальнейшее существование. Разве кому-нибудь дано проникнуть в свое воображаемое будущее, если и без того любое жизненное обстоятельство способно в корне изменить всю последующую цепь причин и следствий?

В какой-то книге о первой мировой войне я читал об эмпирически сложившемся на фронте солдатском правиле: ни от чего не уваливать, но и ни на что не напрашиваться. Мол, это единственная мудрость, которая остается солдату перед лицом той безжалостной и неумолимой реальности, какой является война. Мол, на войне все дело слепого случая, а потому не вмешивайся, все равно не угадаешь, что из этого выйдет. Может быть, с этой точки зрения мы сегодня бросили вызов судьбе?

С этими мыслями я и вошел во двор общежития ГИТИСа. Первый, кого я увидел за воротами, был знакомый мне по Литературному институту преподаватель кафедры художественного перевода Николай Николаевич Вильям-Вильмонт. Очень похожий на мистера Пиквика, каким он описан у Диккенса, Вильмонт уже тогда был известен в литературных кругах не только как весьма авторитетный германист и эстетик, тонкий знаток творчества Шиллера и Гёте, но также и как давний, еще с гимназических времен, друг Пастернака.

Здороваясь с Вильмонтом, я, конечно, менее всего мог предполагать, что именно с ним у меня будет в ближайшее время ассоциироваться ощущение голода и сытости, впрочем, голода куда чаще,

ибо не кто иной, как Николай Николаевич уже очень скоро станет командиром нашего хозвзвода. Иначе говоря, в его ведении окажется наша батальонная кухня с ее бессовестными поварами, которые, пользуясь полной отрешенностью своего начальника от всего, что связано с грубой материей, целиком погруженного в проблемы пищи духовной, будут нещадно нас обворовывать.

Не позже чем через две недели после описываемого дня я попал в наряд на кухню вместе с другими бойцами, среди которых, помимо знакомого официанта из ресторана Дома журналиста (тогда Дома печати) Филатова (в мои студенческие годы он иногда кормил меня там в кредит), помню некоторых писателей: Григория Шторма, Осипа Черного, поэта Александра Чачикова и двух неразлучных драматургов Вячеслава Аверьянова и Андрея Наврозова. Мы сидели в лесочке на каких-то ящиках и усердно чистили картошку, а лейтенант Вильмонт, стоя над нами, увлеченно рассказывал о влиянии Достоевского на Томаса Манна. Мне уже тогда бросилось в глаза, что наши повара при этом недвусмысленно перемигивались у Вильмонта за спиной и всячески потешались над ним, явно считая своего начальника чокнутым. Вскоре двое из них, с опаской поглядывая на нас, незаметно завернули что-то в плащ-палатку и отправились с этим свертком в деревню.

Я и ныне бесконечно уважаю Николая Николаевича Вильмонта, который несколько лет назад отметил свое восьмидесятилетие, но должен признать, что в те дни во всей дивизии нельзя было найти человека, менее подходящего для командования хозвзводом. К счастью для Вильмонта, после вяземского окружения, откуда он в числе немногих благополучно выбрался, ему предложили службу, более соответствовавшую его знаниям и складу характера. Если не ошибаюсь, он окончил войну начальником седьмого отделения одной из южных армий. Думаю, что даже среди «седьмых людей», где тогда собрался весь цвет советской германистики, Вильмонт выделялся своей компетентностью, не говоря уж о человеческом обаянии. Во всяком случае, на поприще контрпропаганды он мог принести куда больше пользы армии, нежели на хозяйственном поприще.

Но это я забежал вперед. Помимо Николая Николаевича, тогда в общезнании ГИТИСа я встретил немало знакомых. На втором этаже в зале на полу у стеночки лежал на газетах и читал толстую книгу мой давний приятель драматург и сценарист Павел Фурманский, автор популярной до войны пьесы «Маньчжурия — Рига». Это был человек, буквально начиненный неожиданными сведениями, занимательными историями, увлекательными сюжетами и интересными замыслами. Он в изобилии выкладывал их любому подвернувшемуся слушателю, ошеломляя того неиссякаемостью своих запасов. Вот и сейчас он шумно обрадовался мне и без всякого перехода, как всегда почти до шепота понизив голос, будто доверительно, принялся излагать сюжет какой-то задуманной им пьесы о войне. Я даже не успел пристроить куда-нибудь в уголок свой рюкзак.

Меня выручил проходивший в это время через зал Александр Роскин, которому я всего недели три назад, еще до войны (ах, как давно это было!), заказывал рецензию для «Нового мира». Я был знаком с ним шапочно, но очень почитал его и как критика — автора лабодневных статей по вопросам искусства в «Известиях», и как литературоведа — вдумчивого исследователя творчества Чехова, и как человека, близкого к Художественному театру.

Роскин был в моих глазах образцом литературного вкуса и, хотя мне не раз приходилось слышать о его колючем характере, образцом литературной порядочности и принципиальности. Родившийся еще в прошлом веке, Роскин вызывал мое уважение и как представитель старшего поколения литераторов, а то, что он приветствовал меня здесь вполне по-дружески, еще больше меня к нему расположило.

Вместе с тем я уже в тот момент обратил внимание на затаенную в его взгляде невыразимую печаль, объяснение которой пришло ко мне позже, когда мы с ним сблизились настолько, что он стал делиться со мной своими мрачными предчувствиями.

Ныне я живу в одном доме с дочерью Роскина Натальей Александровной, тоже тонким знатоком Чехова, автором многих комментариев к его наиболее полному собранию сочинений. И каждый раз, по-соседски заходя к ней, я с грустью смотрю на портрет ее отца на стене: чуть вытянутое лицо, умный скепсис во взгляде, ежик седеющих волос. Но я запомнил его иным — загорелый интеллигентный человек в пилотке и романтично ниспадавшей с его плеч плащ-палатке, в общем-то искусственно на нем выглядевшей. Чувствовалась какая-то неорганичность его присутствия на войне. Какое-то странное сочетание внутреннего душевного достоинства и неумения вписаться в предлагаемый обстоятельствами антураж...

Впрочем, противоречивость его натуры была до наглядности очевидна и в мирное время. «Высокий, крупный, черноглазый седой человек, неуклюжий от застенчивости, но музыкальный в этой своей неуклюжести, легко краснеющий, легко все понимающий, легко уходящий в свою скорлупу,— этот трудный человек был мой отец», — вспоминает Наталья Александровна.

А вот что говорит о нем Паустовский: «Мне он помог тем, что, несмотря на нашу дружбу, предостерег меня от опасности впасть в книжную экзотику и нарядную «оперность» стиля». И еще: «Он был человеком сложным и выдающимся как по обширности своих познаний, так и по острому насмешливому уму... Всегда он был сдержан, немного замкнут, как большинство одиноких людей, был способен и к резкости, и к необыкновенной нежности».

Но тогда в общежитии ГИТИСа я встретил просто одинокого, очень одинокого человека, особенно на людях, который, записавшись в ополчение, понимал всю бескомпромиссность этого шага и потому, может быть впервые в жизни, жаждал большого, доверительного, открытого разговора, разговора напоследок, интимного подведения итогов. За те несколько дней, что Роскин провел здесь на казарменном положении, он, по-видимому, много размышлял о судьбах страны и о своей собственной судьбе, относительно которой не питал никаких иллюзий. Даже по тем нескольким репликам, которыми мы успели на ходу обменяться, я мог заключить, что он видит во мне того молодого собеседника, которому он с большей охотой, чем сверстнику, раскроет свою смятенную душу.

Тогда этот разговор у нас не получился, да и не мог получиться, потому что меня и Данина встретили тут именно так, как встречают в любом подобном коллективе новеньких, — нетерпеливыми расспросами. О чем? Главным образом о положении на фронтах, о достоверности различных слухов, недостатка в которых тогда не было. А слухи в те дни циркулировали по городу самые невероятные, вплоть до того, что наши войска якобы прорвались к Кенигсбергу, но что об этой операции почему-то до времени сообщать нельзя.

Ополченцы за эти дни уже обжились здесь и кое-как приспособились к условиям казарменного быта.

А солнце уже садилось, и надо было как-то устраиваться — представиться по начальству, определиться, стать на довольствие, позаботиться о ночлеге, то есть занять указанное на полу место. Однако не успели мы что-либо предпринять на этот счет, как со двора донеслась зычная команда:

— Выходи строиться!

Эти слова ни на кого особенного впечатления не произвели.

— Что-то сегодня рано поверка, — заметил всегда спокойный Фраерман.

Но тут со двора послышалась дополнительная команда, которая мигом всех взбудоражила:

— С вещами!

Через каких-нибудь полчаса наша пестрая, потому что еще штатская, но все-таки уже ополченческая колонна вытягивается из ворот Театрального института, неторопливо пересекает Арбатскую площадь и не слишком стройно двигается вверх по улице Воровского.

В перекрещенных бумажными лентами оконных стеклах бушует великолепный закат. Редкие прохожие на тротуарах останавливаются и провожают нас долгими взглядами. Некоторые машут нам и пытаются произнести какие-то напутственные слова. Но большинство сохраняет суровое молчание. Только сейчас я замечаю, что нашу колонну сопровождают жены. Видимо, они пришли к отбою в общежитие и теперь, идя по обе стороны колонны, переговариваются напоследок со смущенными мужьями.

Мысленно мы прощаемся с притихшей Москвой. Вот он, настал момент, когда для каждого из нас начинается неведомая военная судьба.

Мы топаем по мостовой, сгибаясь под тяжестью рюкзаков, стараюсь хоть как-то держать строй, косясь на иностранных дипломатов, стоящих у ворот посольств.

На город опускаются сумерки. Впереди заминка — кто-то говорит, что по Садовому кольцу идет кавалерия и мы должны ее пропустить. Оттуда действительно доносится цокот копыт.

Мы стоим, как будто это нарочно кем-то придумано, у самого входа в Клуб писателей, как тогда именовалось старое здание нынешнего ЦДЛ. И конечно, не обходится без шуток вроде того, что хорошо бы заглянуть сюда после войны. Никто еще не знает, что именно здесь, за этими вот дверьми, в вестибюле старого здания будет лет через шесть-семь установлена первая, еще неполная, мемориальная доска с фамилиями погибших московских писателей. В том числе и тех, кто стоит сейчас рядом со мной.

Уже в полной темноте, немало попетляв по неведомым мне улочкам Красной Пресни, где в отличие от чопорной улицы Воровского на тротуарах полно народу, особенно много женщин, предлагающих нам пироги, молоко, воду, мы входим во двор школы № 93. Короткая стоянка. Переключка. Мы вливаемся в общую колонну. Построение — и двигаемся дальше.

Теперь мы являем собой внушительное зрелище. Шутка сказать — стрелковый полк! Коломенский завод, фабрика имени Мантулина, другие предприятия Красной Пресни. Но никто нас уже не видит — комендантский час, затемнение, духота... По не застроенной еще улице 1905 года, мимо Ваганькова, по пустынной, словно затаившейся Беговой, растянувшись во всю ее длину, идет несчетное множество людей, одетых пока кто во что горазд, но уже готовых расстаться со своей штатской психологией, уже подчиняющихся тем отрывистым командам, которые перекрывают топот тысяч ног.

В ту незабываемую ночь мы ушли на войну.

Ушли в полном, а не в привычном переносном смысле этого слова. Ибо именно так, в пешем строю, шагали мы потом несколько недель хотя и с остановками, но все дальше и дальше на запад, в сторону Смоленска, за который уже тогда шли ожесточенные бои.

Но в ту ночь мы еще не знали, куда идем. С Беговой свернули на безлюдное, погруженное во мрак Ленинградское шоссе — и мимо стадиона «Динамо», мимо центрального аэродрома (где сейчас аэровокзал), мимо поселка Сокол. Позади осталась развилка дорог...

Рассвет пришел такой же душный, какой была ночь. Миновали канал Москва — Волга. А мы все шагаем и шагаем, изнемогая от уста-

лости и жажды. Рядом со мной идет немолодой человек в очках, лицо которого теперь, когда взошло солнце, кажется мне знакомым. Не зная этих мест, я обращаюсь к нему:

— Вы не скажете, где мы находимся?

— Это Волоколамское шоссе.

— Если не ошибаюсь, вы недавно приходили в «Новый мир»? — продолжаю я разговор.

— Да. Я Александр Бек. Может быть, слышали? — как всегда, не то шутя, не то серьезно осведомляется он.

Теперь, когда это название — Волоколамское шоссе — и это имя — Александр Бек — привычно сочетаются на обложке одной из самых популярных книг о войне, как-то не верится, что сам он тогда и не подозревал об этом. Между тем именно на Волоколамском шоссе Беку суждено было найти свою судьбу. Именно там поджидала его слава.

Как потом выяснилось, война сулила литературную славу в наших рядах не ему одному. Позади нас шагали два художавых молодых человека примерно одного роста, что и сделало их соседями в строю, хотя во всем остальном между ними было мало общего. Но когда раздалась команда: «Песню!» — они, недолго думая и не стовариваясь, очень ладно, с хорошим украинским выговором и незаурядной музыкальностью затянули: «Распрягайте, хлопцы, коней...» Одного из них я уже заочно знал и заочно ему симпатизировал, потому что читал его только что вышедшую и уже замеченную критикой книгу лирики «Моя фотография» — к сожалению, последнюю из вышедших при его жизни. Это был хороший поэт и славный человек Вадим Стрельченко. Его соседа, того, что в очках, как я потом уяснил себе, во всем, что он делал, парадоксальным образом отличала последовательная серьезность в сочетании с последовательной иронией. За стеклами его очков угадывался пронизательный и веселый взгляд на мир. Это был Эммануил Казакевич, мало кому тогда известный поэт. Во всяком случае, в ту пору мне его имя ничего не сказала. Его слава была впереди.

#### 4

Незадолго до октябрьских боев нашу роту всю перешерстили. Еще раньше многих литераторов, главным образом пожилых, стали отзывать по требованию ГлавПУРККА во фронттовую пёчатку. Помню короткие, но трогательные прощания. С Фраерманом, Черным и Лузгиным. С Бляхиным и Корабельниковым. С Зозулей, Жучковым и Островым. С Юрием Либединским и Белой Иллешем. Потом со Степаном Злобиным и Иваном Жигой. Наконец, с Сергеем Кирьяновым, который переходил в газету нашей же 32-й армии. Расставание с ним особенно опечалило меня.

Как известно, война самым причудливым образом сводила и разводила людей. Через три года судьба снова свела нас самым неожиданным образом, но уже далеко на Севере. Кирьянов — бравый майор политуправления Карельского фронта. Занесенный снегом Беломорск, заполярная Кандалакша, разбомбленный Мурманск...

А потом война закинула нас на Дальний Восток, когда нам довелось побывать и в Харбине, и в Порт-Артуре, и в Пхеньяне.

Наши послевоенные встречи носили характер не менее дружеский, но, кроме того, были связаны с литературной работой. Дело в том, что Кирьянов после войны на протяжении тридцати с лишним лет, почти до самой смерти, руководил редакцией литературы народов СССР издательства «Советский писатель».

Таковы уж, видно, причуды памяти — где бы ни приходилось мне потом видеть Сергея, я неизменно возвращался в мыслях к нашей первой встрече, к пятиминутному предрассветному привалу в реденьком

подмосковном перелеске. Вот и сейчас почему-то не могу отделаться от этого далекого воспоминания...

Однако самую тяжкую разлуку судьба уготовила мне еще раньше. Уходя на войну, мы с Даниным со всей штатской (а может быть, юношеской) наивностью полагали на фронте не расставаться. Теперь мне даже не верится, что мы были столь далеки от понимания истинного положения вещей. Изменчивость, непостоянство, неизбежность внезапных перемен — один из законов фронтового бытия. Уже в конце августа Данина от нас забрали. Данина и Казакевича как комсомольцев переводили в другую дивизию на укрепление.

Это расставание сыграло очень значительную роль в моей военной судьбе. И дело даже не в том, что я считал Данина самым близким своим другом. Конечно, он был для меня живым напоминанием о моем прежнем существовании, о доме, о семье, об общих знакомых, о литературных привязанностях, да мало ли о чем! С его уходом все это как бы разом отсекалось от меня. Но, как потом оказалось, существеннее было другое.

С Казакевичем мы просто обменялись теми адресами, по которым, как предполагалось, в любом случае можно будет друг друга разыскать после войны. Это была хотя и трогательная, но явная условность. Мы оба отлично понимали всю призрачность подобных надежд. В то время понятие «после войны» казалось совершенной фантастикой. И все же сам ритуал обмена адресами хоть как-то, и притом без сантиментов, выражал взаимную привязанность. Он заменял собой высокие слова.

Но Данин поступил иначе.

— Я хочу оставить тебе на память эту вещицу, — сказал он и, сняв с руки, протянул мне хотя и старинный, но прекрасный армейский компас.

И мы расстались. Надолго. До демобилизации в 1946 году.

Обе наши писательские роты после этих отозваний в значительной степени изменили свое лицо. Однако тот дух благородства и дружелюбия, который с легкой руки наших «стариков» утвердился в обеих ротах с самого начала, успел, оказывается, приобрести характер стойкой традиции. Ее действие ощущалось и потом, даже когда часть оставшихся писателей распределили по другим подразделениям.

Марк Тригер, по образованию врач, был назначен на какую-то командную должность в санчасть. Будучи драматургом, он постарался собрать там вокруг себя людей, так или иначе причастных к театру. Под его началом вскоре оказались драматурги Жаткин и Базилевский, критик Роскин. Туда же определили и Волосова. Помню, Волосов, как бывалый солдат-фронтовик, даже там раньше всех каким-то образом ухитрился обзавестись длинной шинелью и каской.

При новом распределении людей мою судьбу, сколь это ни покажется смешным, решило наличие у меня компаса. Когда-то, учась в техникуме, я изучал геодезию и теперь однажды показал товарищам по отделению, как ориентироваться на местности и ходить по азимуту. Только что назначенный командир роты ПВО, случившийся тут же, после этого эпизода затребовал меня с моим компасом к себе. Заодно в формируемую роту ПВО откомандировали и моих приятелей Павла Фурманского и Шалву Сослани.

О Шалве тут необходимо сказать хотя бы несколько слов. Он тоже был фигурой необычайно колоритной. Грузинский крестьянин по происхождению, с четырнадцати лет батрак, он впоследствии становится актером-студийцем, а затем переезжает в Москву, поступает на литфак и начинает писать русскую прозу. Когда в самом начале тридцатых годов в «Красной нови» появилась его повесть «Конь и Кэтевана», издававшаяся затем неоднократно (последнее издание относится к 1984 году), о Шалве Сослани говорили, что он с маху въехал в литературу на своем романтическом коне.

И впрямь на его появление на литературном небосклоне восторженно откликнулись писатели самых разных направлений. «Шалико! Мне чертовски понравилась твоя работа! О таком стиле, поистине живописном и романтическом — умном — ироническом стиле можно сказать, что ему... будет дана широкая дорога... Не прими это за дифирамб, но — не могу молчать!» Это из письма Фадеева Шалве. Правда, они были близкими друзьями. Но вот отзыв человека, не знавшего Сослани вовсе: «Помню, когда лет 35 назад прочел в первый раз еще гимназистом «Пана» Гамсуна, веяло на меня такой же свежестью... И не сердитесь за это сравнение с Гамсуном; оно в устах старого писателя молодому — большой комплимент. Вот уж кому хочется сказать: «Пишите, пишите», — так это Вам». Это из письма Андрея Белого Шалве Сослани.

Но тогда всего этого я не знал. То есть «Коня и Кэтевану», конечно, читал, еще лет десять назад читал, но как-то не принимал это в расчет. Дружбы в ополчении складывались менее всего на основе наших литературных репутаций. Я до сих пор мысленно горжусь тем, что, когда нам было предложено при рытье противотанковых рвов разбиться на пары, Шалва выбрал меня в напарники. Шалва с его могучими крестьянскими руками, с детства привыкший иметь дело с неподатливой грузинской землей (в отличие от большинства из нас, горожан), на строительстве оборонительных рубежей выполнял свой урок играючи. В тех условиях такого рода способности были куда актуальнее романтического стиля.

Как-то невзначай сблизился я и с Василием Бобрышевым, стараниями которого в значительной мере делался горьковский журнал «Наши достижения». Однажды, когда немцы выбросили неподалеку от нашего расположения воздушный десант, мне довелось провести с ним в дозоре ночь. Мы укрылись в стоге сена и, вглядываясь до боли в глазах в отведенный нам сектор наблюдения, шепотом беседовали обо всем на свете. Вся обстановка и то обстоятельство, что мы вынуждены были разговаривать шепотом, придали нашей беседе особую сердечность. Бобрышев был, как теперь принято говорить, человеком трудной судьбы. Но для меня он остался в памяти прежде всего человеком хорошей души. Помню, что утром я вылез из стога с чувством искреннего расположения к нему. Смее думать, что это чувство было взаимным.

Наша рота ПВО, точнее, именно наш взвод — и мы этим очень гордились — первым из всей дивизии открыл боевые действия против фашистов. За околицей большого селения (названия я, к сожалению, не помню), где расположился в сентябре 22-й полк, ставший к тому времени по общевоинской нумерации 1299-м, мы построили себе на высотке с широким обзором блиндаж, а возле него оборудовали гнездо для крупнокалиберного пулемета ДШК. Он был укреплен в центре на треноге, а над ним мы натянули маскировочную сетку. Когда над нами появлялся разведывательный «фокке-вульф», а это случалось часто, так как мы располагались неподалеку от железнодорожного моста через Днепр и мост этот очень привлекал гитлеровцев, мы определяли по моему компасу курс вражеского самолета, открывали по нему огонь и оповещали по полевому телефону другие посты воздушного наблюдения. И хотя ни одного самолета сбить нам так и не удалось, но мы все-таки заставили врага облетать нашу высотку стороной.

От нас эти действия требовали мгновенной реакции и были связаны с риском не только угодить под ответный огонь с воздуха, что бывало, но главное — сбить не вражеский, а свой самолет. Ибо для распознавания у нас был лишь один плохонький бинокль. Правда, наших самолетов в небе тогда почти не было.

Во взводе преобладали молодые и очень славные ребята с Коломенского завода. Все они действовали очень спокойно и слаженно, особенно Воронцов и Набатчиков. В качестве «научной силы» к нам

перевели из второй роты аспиранта-физика Джавада Сафразбеяна. И в самый последний день — из той же роты — писателя Константина Кунина.

О Косте Кунине я должен рассказать особо: этот человек очень дорог моему сердцу и его образ сопутствует мне в мыслях вот уже сорок с лишним лет. Говорю об этом без всяких преувеличений, хотя знакомство наше оказалось необычайно скоротечным. Впрочем, степень дружбы на фронте определялась — и я в этом потом не раз убеждался — не столько стажем, сколько неуловимой нравственной ситуацией: синхронным напряжением душевных сил, совместно пережитым потрясением. Как бы там ни было, от того момента, когда Костя Кунин появился у нас на высотке, до той минуты, когда он у меня на глазах упал в кузове полторки, скошенный трассирующей очередью, время измерялось даже не неделями, а днями и часами. Если не ошибаюсь, мы с ним дружили целых четверо суток, и эти четверо суток до сих пор остаются для меня одним из самых памятных военных воспоминаний. В значительной мере благодаря Косте.

Интенсивность и стремительность нашего духовного сближения объясняется, наверно, тем, что знакомство это пришлось на самые трагические дни в истории нашей дивизии. Как известно, 2 октября гитлеровцы на Западном фронте прорвали нашу оборону и глубоко запустили свои танковые клинья в направлении Москвы. Поздно вечером нас подняли по тревоге, и всю ночь и утро мы провели на марше. Наконец была объявлена дневка в густом лесу. Там нам выдали новые шинели, а также добавочный боекомплект.

Все это время мы с Куниным почти ни на минуту не разлучались. На душе было тревожно, обстановку на фронте никто из нас, простых бойцов, себе не представлял, но каждый понимал, что от встречи с противником нас отделяют считанные часы. Вот оно, наступило то, что рано или поздно должно было наступить. Наверно, этим затаенным волнением, неизбежным перед боем, и объяснялось наше безотчетное стремление поведать друг другу как можно больше личного, сокровенного, по-человечески важного.

Я, конечно, не в состоянии теперь воспроизвести даже приблизительно наш лихорадочный и предельно откровенный диалог. Мы говорили обо всем на свете, без всякой логики перескакивая с темы на тему, насколько не смущаясь импрессионистичностью и горячностью этой внезапной встречной исповеди. Мы в страшно темпе открывали друг друга, словно боясь не успеть это сделать. Да так оно, в сущности, и оказалось.

Из того рваного разговора у меня в памяти сохранились только клочки биографических сведений о Кунине. Да, это был типичный ленинградец, вежливый, корректный, деликатный в любых обстоятельствах, интеллигент в лучшем смысле этого слова. Вместе с тем это был физически очень крепкий и душевно очень здоровый человек. Широкоплечий, коренастый, улыбчивый, всегда приветливый и внимательный, он, казалось, всем своим видом излучал уверенность и силу. Будучи энциклопедистом, одним из последних могижан этого исчезающего племени разносторонне образованных людей, Кунин менее всего походил на книжного червя.

О себе и своих литературных успехах он говорил крайне скупое. Да, он близок к Шкловскому, и в недавней книге Виктора Борисовича о Марко Поло ему, Кунину, принадлежит пространнейший научный комментарий. Да, он женат. Рита в первые дни войны вынуждена была уехать и собиралась скоро вернуться, но вот он ушел в ополчение, так и не дождавшись ее...

Это уж потом, после войны, я узнал, что у Кунина было большое сердце, что он был полиглотом, что его отличала феноменальная память, что его считали крупным авторитетом в области истории и этномики народов Востока, что его перу принадлежит несколько *увлека-*



тельных книг о знаменитых путешественниках, что рекомендацию в Союз писателей ему в свое время дал, кроме Шкловского, один из лучших и безотказных бойцов нашей третьей роты известный детский писатель Михаил Гершензон.

Пока мы, очень довольные нашими новенькими теплыми шинелями, столь поспешно узнавали друг друга, произошло нечто такое, что приличествует лишь дурной беллетристике. На опушку, где мы с Куниным пристроились на пеньках, ожидая команды на построение, неожиданно выехал грузовик с московским номером. Когда он остановился, в кузове поднялся на ноги, а потом как-то смущенно и неуверенно слез через борт на землю высокий представительный человек в роскошной шубе с модным тогда длинным шалевым воротником из кенгуру. Где-то я его видел, но кричащая чужеродность светского облика этого человека на фоне войска на привале заслонила от меня эту мысль, и я только потом вспомнил, что это сотрудник аппарата Союза писателей, который, если не ошибаюсь, был одно время администратором писательского клуба. Тем временем из кабины грузовика еще более смущенно сошли на землю две женщины. Все трое приехавших, озираясь по сторонам, видимо, искали начальство, к которому следовало обратиться.

И вдруг мой невозмутимый, по-медвежьему слегка неповоротливый Кунин, издав какой-то неведомый мне клич, возможно это было просто «Рита!», бросился к одной из приехавших женщин и стал ее неистово обнимать и целовать.

Ну конечно, это была его жена. Грузовик доставил подарки писателям-ополченцам от Литфонда, и в качестве особой чести жене Кунина и жене поэта Росина, отвозившей свою девочку с эшелоном ССП в Чистополь, где был создан интернат для эвакуированных писательских детей, а потому тоже не попрощавшейся с мужем, разрешили эти подарки сопровождать.

Однако Костино свидание с женой оказалось непродолжительным.

— Нас перебрасывают под Ельню...

Слух немедленно охватывает все подразделения и вскоре подтверждается. Более того, наш взвод первым отправляется на новый рубеж.

И вот мы уже сидим в несколько рядов на досках, переброшенных поверх бортов какой-то мобилизованной полуторки. В передней части кузова на прибитой к полу треноге — наш ДШК. Даже зачехленный, он выглядит достаточно внушительно. В кабине рядом с водителем — только что назначенный в нашу роту политрук. У него желтое лицо, его треплет малярия. Я сижу у борта с правой стороны. Рядом со мной Кунин. Передо мной Фурманский. Он теперь наш отделенный командир. Висящий у него на шее бинокль — красноречивое свидетельство его особого положения среди нас. Перед Фурманским — Сафразбекян. С ним рядом Бек.

Вообще-то Бек не в нашем взводе. Больше того, он вообще отозван из дивизии в распоряжение журнала «Знамя». Но упробил командование и вот теперь едет с нами. Мы сидим, положив вещевые мешки у ног, поставив винтовки между коленями. Бек уже без винтовки. Впервые на моей памяти он молчалив и серьезен.

Пока командир роты уточняет с водителем маршрут, русоволосая жена Кунина ходит вдоль нашей машины и, то и дело улыбаясь Косте, наделяет каждого из сидящих в кузове бойцов большим бутербродом — кусок ослепительно белой булки с красной икрой. Подумать только — с икрой! Что касается подарков, то их, кроме папирос, раздать не успели.

Жена Росина стоит поодаль с мужем, специально вызванным из второй роты на это неожиданное и радостное свидание.

Через несколько минут мы отправляемся в путь. За нами еще две или три машины. Наш ротный в последней.

Забегая вперед скажу, что дальнейшая судьба обеих женщин, так же как и администратора клуба, не выяснена. При каких обстоятельствах они погибли, никто не знает. Я видел тогда Кунину и Росину первый и последний раз. Неизвестно, при каких обстоятельствах погиб и сам Росин.

Много-много лет спустя в коктейбельском доме творчества ко мне подошла молодая красивая женщина, приехавшая сюда, к теплому морю, с двумя своими девочками-подростками. Мне накануне сказали, что это жена писателя Иона Друцэ. Но я не знал, что это дочь Росиных. Она надеялась услышать от меня хоть что-нибудь о судьбе родителей. К сожалению, я мог рассказать ей лишь то, что уже поведал читателю.

## 5

Быстро вечереет. Мы едем какими-то глухими проселочными дорогами. Первое время еще слышатся разговоры, шутки, даже смех. Правда, в нем проскальзывают нотки нервозности и минутного возбуждения. Но вот мы проезжаем разбомбленный, сожженный Дорогобуж и все умолкает. Даже Бек не раскрывает рта. Только мы с Костей словно по инерции еще обмениваемся изредка случайными репликами.

С наступлением осенней темной ночи на горизонте возникает и постепенно ширится багровое зарево. Порой оттуда доносятся звуки далекой канонады. Потом и они смолкают. Мы едем с погашенными фарами, в полной тишине, и только на лесных участках от деревьев тревожно отдается гул мотора. Дорога то и дело петляет, но, судя по компасу, мы продвигаемся на юго-юго-запад. А зарево становится все обширнее и все ближе — видимо, оно-то и служит теперь водителю главным ориентиром.

В какой-то большой, но по-ночному совершенно безлюдной деревне, словно вымершей, мы останавливаемся и поджидаем идущие за нами машины. Однако тщетно. За нами никого нет. Неужто они заблудились и теперь плутают во мраке? А время идет, и водитель нервничает: ему приказано достигнуть пункта назначения еще затемно. Ко всему прочему у политрука, по-видимому, высокая температура — он почти безучастно сидит в кабине и тяжело дышит.

И мы едем дальше. Одни. Едем долго. Наконец останавливаемся в каком-то селении, проехав его из конца в конец: надо все-таки уточнить, где мы. Фурманский стучится в последнюю избу. Все правильно, наш водитель молодец! Следующая деревня — конечный пункт нашего маршрута. До нее рукой подать. Однако дорога туда плотно забита эвакуируемым на восток огромным стадом, как выясняется, заночевавшим тут с вечера. Из-за скопления коров не только проехать — пройти невозможно.

— Куда вы торопитесь? — ехидничает по нашему адресу какой-то дед из числа сопровождающих стадо погонщиков. — Там же небось еще с вчера немцы...

Этого еще не хватало! Ведь в ту деревню с минуты на минуту должны прибыть наши подразделения.

— Пошли, друзья, — говорит Фурманский. — Необходимо срочно разведать, что тут происходит. Иначе быть беде.

После недолгих переговоров с хозяевами крайней избы мы укладываем там на лавку нашего политрука. Кунин с остальными бойцами остается у пулемета. Фурманский, Сафразбеян и я устремляемся в сторону интересующей нас деревни. Надо торопиться — на востоке уже маячит светлая полоска.

Длинными перебежками вдоль темнеющего лесочка нам удастся быстро приблизиться к цели. Странно — на горке кое-где огоньки. Неужели в окнах? Осторожно, крадучись, иногда ползком пробираемся к городкам злополучного селения. Злополучным оно оказалось еще и потому, что с севера к нему, как теперь выясняется, можно проехать и

другой дорогой. Уже начинает светать, и это становится все очевиднее. Как же быть? Ведь наши могут воспользоваться именно ею. Впрочем, сначала надо выяснить, кто в деревне. Судя по силуэтам, там и в самом деле ночует неприятельская воинская часть: на фоне светлеющего неба угадываются очертания незнакомых больших грузовиков («бюссингов», которых я потом, в окружении, повидал немало). Но вот стали появляться человеческие фигуры. Похоже, что на взгорке у колодца умываются солдаты. До них метров полтора, но видимость еще слабая.

Мы лежим, затаившись в кустах. Фурманский с биноклем у глаз подозрительно молчит. Но вот он так же молча протягивает бинокль мне, а сам начинает отползать в сторону лесочка, кивком приказывая следовать за ним. Я быстро наставляю окуляры на резкость и впервые вижу немцев. Я вижу их совершенно явственно. Люди в чужой форме. Они ведут себя в деревне по-хозяйски уверенно, нисколько не таясь, даже не соблюдая элементарную осторожность, хотя, расхаживая по горке, представляют собой отличную мишень. И это особенно злит. Да, именно злость испытал я тогда в большей мере, чем какое-либо другое чувство.

Я отдаю бинокль Сафразбекяну и ползу за Фурманским. Вскоре по шороху сзади догадываюсь, что Джавад меня догоняет. В лесочке мы наскоро совещаемся.

Итак, наших войск впереди нет. Нет даже боевого охранения. Никого. В сущности, нет фронта. Вернее, он почему-то открыт. Но это, как говорится, не нашего ума дело. Мы же не знаем стратегических соображений командования. Мы знаем только, что необходимо как можно скорее перекрыть обнаруженную нами дорогу, иначе наши подразделения могут угодить прямо немцам в руки. Решено: Сафразбекян возвращаем к полуторке и докладывает обстановку ротному, если он уже нас догнал. Фурманский и я образуем заставу на обнаруженной дороге где успеем, но не ближе чем за тем поворотом — вне пределов видимости немецких часовых на горке.

Наша предусмотрительность оказалась не напрасной. Едва мы с Фурманским добрались до намеченной позиции, как обнаружили вдали движущуюся в нашу сторону колонну грузовых машин. Они быстро приближались.

Мы передвигаем винтовки за спину и решительно перегораживаем дорогу, скрестив над головой руки в знак запрета. Однако передняя машина, отчаянно сигналив и не сбавляя скорости, мчит прямо на нас. Но мы все-таки стоим, «стоим насмерть». В последний момент она тормозит и сворачивает на обочину. Из кабины выскакивает разъяренный старший лейтенант, если не ошибаюсь, командир нашего третьего батальона.

— Какого черта! — кричит он, угрожающе тыча в нас пистолетом.

Он явно раздосадован тем, что колонна и без того опаздывает, а тут еще какая-то непредвиденная задержка.

Мы пытаемся объяснить ему, в чем дело, но он до того горячится, что не придает нашим словам никакого значения. Он нас просто не слышит.

— Там, на горке, немцы, — втолковываем мы ему.

— Откуда, к черту, немцы! — кричит он на нас и явно собирается ехать дальше. — Там должны уже быть наши!

В это время из следующей машины выходит незнакомый капитан. Он жестом утихомиривает старшего лейтенанта, задает нам два-три вопроса по существу, внимательно выслушивает и под конец осведомляется, кто мы такие. Оказывается, мы в суматохе забыли доложить. Смущенный Фурманский исправляет ошибку.

— Разрешите идти? — спрашивает он в заключение теперь уже по всей форме.

— Спасибо за службу,— говорит капитан, тоже прикладывая руку к фуражке. Да, в отличие от наших командиров он, видимо офицер связи, был в фуражке, а не в пилотке.— Идите!

Мы направляемся к своей полуторке и, обернувшись, видим, как задержанная нами колонна медленно сворачивает с дороги и втягивается в ближайшую рожицу.

На востоке солнечный диск уже приподнялся над горизонтом. День обещает быть ясным. Очень хочется спать...

Впоследствии, уже в окружении, мы с Фурманским не раз вспоминали этот предрассветный час, когда впервые воочию увидели немцев и впервые принесли хоть сколько-нибудь реальную пользу своим.

Обидно только, что никто никогда не запишет это происшествие нам в актив. Даже поблагодаривший нас капитан, если он еще жив, и тот, конечно, уже позабыл об этом...

Но, оказываясь, нашли люди, которые не забыли и в самом деле записали. Оказывается, у добрых дел на фронте тоже была своя эстафета.

В январе 1942 года, примерно месяца через полтора после того как я, выбравшись вместе с Фурманским и Сафразбекяном из глубокого окружения и пройдя через ряд проверок, был временно направлен в редакцию иллюстрированных изданий ГлавПУРККА литературным секретарем, мне как-то позвонили из оборонной комиссии Союза.

— Мы пересылаем вам копию поступившего на вас отзыва.

— Какого отзыва, от кого он поступил? — удивился я.

— От полкового комиссара Катулина.

— И что, он благоприятный, этот отзыв? — поинтересовался я.

— Вполне.

Сообщение показалось мне более чем странным. Профессор Московского университета Н. З. Катулин был заместителем командира нашего 22-го полка по политчасти. Это мне было известно, я даже раз издали видел его — комиссар выступал у нас на полковом митинге в лесу. Но тогда я еще не знал, что за человек профессор Катулин, и потому недоумевал. В самом деле, чем я, простой боец, каких в полку было не менее тысячи, не совершивший никаких подвигов, да к тому же еще окруженец (что в те времена отнюдь не украшало мою военную биографию), — чем я мог привлечь внимание полкового комиссара? Ведь я его ни о каком отзыве не просил, а сам он вряд ли вообще подозревал о моем существовании.

При всех обстоятельствах одно было отрадно: значит, профессор Катулин остался жив, значит, еще одному человеку из нашей многостральной дивизии удалось перейти линию фронта.

Вскоре я получил по почте копию написанного им отзыва. Наряду с лестной оценкой меня как солдата он свидетельствовал о том, что я участвовал в боевых действиях в составе роты ПВО и ходил в разведку. Так как кроме случая, описанного выше, мне в разведке участвовать не приходилось, я мог заключить, что кто-то все-таки о нас полковому комиссару тогда доложил. Либо поблагодаривший нас капитан, либо с его слов наш непосредственный командир роты ПВО (если не ошибаюсь, лейтенант Морозов).

Как бы там ни было, выходит, полковой комиссар Катулин обо мне знал. И не только знал, но счел своим долгом лично прийти в Союз писателей и написать такой отзыв. И о Фурманском отдельно тоже. Сам с трудом выбравшийся из окружения и, как я потом выяснил, в связи с этим хлебнувший немало, он хорошо понимал, сколь полезны будут его оставшимся в живых подчиненным подобные отзывы при дальнейшем прохождении службы.

Люди, знаящие Катулина по университету, говорили мне потом, что рассказанная выше история вполне в его духе. Судя по их воспоминаниям, это был человек святой порядочности и обостренного чув-

ства нравственного долга. Да оно и видно. Во всяком случае, немногословным отзывом комиссара Катулина я дорожу до сих пор...

Не буду досконально рассказывать о первом бое, который принял наш полк в районе Ельни в тот же день, на поспешно занятом нами совсем новом рубеже. Не считаю себя вправе подробно говорить об этом, ибо мой взвод находился несколько в стороне от позиций наших стрелковых подразделений. Мы занялись опять своим прямым делом — вели огонь из ДШК по немецким самолетам. «Мессеры» изредка пикировали на нас, но, как ни странно, за весь день не причинили никакого ущерба.

Впечатления того дня как бы заслонены от меня событиями, разывравшимися уже вечером, когда совсем стемнело. Помню только, что, несмотря на шум близкого боя и реальную опасность (не говоря уж о «мессерах», мины ложились рядом), весь день хотелось спать — сказывались две бессонные ночи. Помню, что Бек попрощался с нами и ушел на позиции родного первого батальона. Почему-то помню неизвестно откуда взявшегося Кушнирова, который, сидя на земле, продолжал невозмутимо перематывать портянки, когда совсем близко разорвалась мина.

Возле нас в высоком кустарнике находился исходный рубеж какого-то танкового подразделения, как видно приданного нашим частям. Его помощь стрелкам выражалась в том, что время от времени несколько легких танков выдвигались вперед и отгоняли немецких автоматчиков, напиравших на наш передний край. Потом танки возвращались на исходные позиции. Но, судя по звукам, с обеих сторон преобладал пехотный огонь, и не такой уж ожесточенный. Видимо, главный удар противник наносил в стороне. Часам к четырем-пяти пополудни стрельба стала стихать, но по неуловимым признакам можно было заключить, что положение для нас складывается неблагоприятно. Вскоре это ощущение превратилось в уверенность.

— Ребята, вы что, остаетесь? — удивленно обратились к нам танкисты, с которыми мы за эти шесть-семь часов близкого соседства успели сдружиться.— А мы получили приказ срочно отойти.

Вскоре стрельба совсем стихла. Танки ушли. На землю опускались сумерки. Настроение катастрофически падало. Больше всего томилась полная неопределенность.

— Может быть, нас оставили здесь в качестве заслона? — рассуждали мы.— Но если так, нам бы приказали снять ДШК и зарыться в землю.

Мы строили самые различные предположения, пытаюсь хоть как-то понять, что происходит.

Уже совсем стемнело, когда ротный, в очередной раз вернувшийся с КП полка, бодро командовал:

— По машинам!

В какую-нибудь минуту мы заняли свои места и двинулись куда-то в ночь.

Теперь машина ротного идет впереди. А мы в своей уже ставшей родной полуторке едем за ним. Все по-прежнему: оклемавшийся за день политрук в кабине, мы на досках в кузове. Я у правого борта. Рядом Кунин. Передо мной Фурманский, перед ним Сафразбекян. Вещевые мешки у ног, винтовки держим вертикально.

Едем без фар и очень медленно в полной темноте. Тем не менее на открытом месте становится ясно, что передняя машина значительно оторвалась от нашей и расстояние это возрастает. Кругом царит удручающая зловещая тишина. Так мы едем минут двадцать. Куда? Судя по компасу, на восток...

Внезапно тишина взрывается длинной пулеметной очередью. Светящиеся трассы устремлены в сторону машины ротного. Мы не успеваем осознать происшедшее, как впереди с характерным хлопком взрывается в черное небо осветительная ракета. Мне это кажется, или

в самом деле откуда-то доносится хрипкое: «Хальт!». Теперь и нам навстречу мчатся светящиеся трассы — это словно наперебой строчат в нас автоматчики. Мне мерещится или нет какой-то тонкий, беспомощный звон разбитой фары. Ракета повисает над нами. В ее отвратительном мертвенном свете местность мгновенно приобретает фантастическое обличье. Наша машина застывает на месте. По мере снижения ракеты стремительно и жутко смещаются на земле тени, словно все кругом пришло в движение.

Я успеваю заметить впереди справа немецкий танк. Это оттуда бьет пулемет.

— Засада! — кричит нам, приоткрыв дверцу кабины, политрук. — Крайним залечь и открыть огонь!.. — Он кричит что-то еще, но уже невнятно.

Сафразбекян, Фурманский и я, сидящие в затылок друг другу, переманиваем через борт и стараемся отбежать от полуторки в сторону поросшего кустарником бугорка. Как ни странно, глаз успевают подметить множество деталей, но мозг не сразу их осмысливает. Немецкие автоматчики, видимо, переносят свой веерный огонь на нас троих. Пулемет тоже как будто разворачивается в нашу сторону.

— Джавад! Павел! — кричу я. — Сюда!

К счастью, ракета быстро догорает, и автоматчики, стреляющие «от пуза», бьют наобум. В нашу сторону рой за роем летят стремительные светляки. Отчаянно размахивая левой рукой, а в правой держа винтовку наперевес, я бегу к спасительному бугорку и, лишь плюхнувшись на землю, понимаю, что у меня под мышками только что пронеслись два таких светляка. «Это же немцы по мне... — пронесится у меня в сознании. — Это же пули!..» Но раздумывать над тем, как счастливо я с ними разминусь, сейчас некогда. Я, как меня учили, торопливо досылаю патрон в патронник и нажимаю на спусковой крючок, целясь туда, откуда вылетают на меня светляки. От волнения я плохо держу винтовку в руках, и она больно отдает прикладом мне в плечо. Слышу, что Сафразбекян и Фурманский рядом — тоже стреляют.

Теперь весь вражеский огонь сместился в нашу сторону. Над головой то и дело отвратительно посвистывает. Мы успеваем сделать по нескольку выстрелов, прежде чем в небо снова взвизгивает осветительная ракета. И в то же мгновение наша полуторка внезапно оживает. Взревев мотором, она вдруг делает крутой разворот и устремляется по дороге обратно, газуя вовсю...

Немцы спохватываются не сразу. Они какое-то время еще держат под обстрелом наш бугорок, но потом оставляют нас в покое и дружно палят машине вдогонку. Последнее, что я успеваю заметить в призрачном свете гаснущей ракеты, — Кунин... Как-то нелепо вскочив и зачем-то вскинув руку, он падает на дно кузова...

Но вот становится опять темно, и немецкие трассы уже без толку прошивают огненным пунктиром пустоту. Наша машина умчалась, и гул ее мотора бесследно растворился в ночном пространстве. Передней машины тоже не видно и не слышно.

Немецкий пулемет вскоре умолкает. Постепенно прекращают пальбу и автоматчики. Мы трое еще какое-то время лежим за своим бугорком, полностью пока не сознавая всего драматизма происшедшего с нами за последние десять минут. Потом, тихо перекликаясь, отползаем в заросли. И опять молча лежим на земле, стараясь прийти в себя.

Так в темноте и тишине проходит примерно четверть часа. Мы шепотом совещаемся — что делать? Возвращаться бессмысленно, тем более пешком: там наших частей уже нет, очевидно, надо обойти засаду стороной и двигаться в том направлении, куда мы ехали. А куда мы ехали? Видимо, на восток...

Однако поднявшаяся над дальним лесом луна очень скоро меняет наши представления о случившемся. Совершенно круглая луна в абсо-

лютно чистом холодном небе. В мире сразу становится до ужаса светло. Теперь малейшее наше движение вызывает автоматные очереди со всех сторон. «Наверно, десант...» — успокаиваем мы себя, медленно, но методично продвигаясь по компасу на восток.

Так, соблюдая осторожность, мы наконец выходим из зоны обстрела. Однако, если десант, почему так тихо кругом? Почему никаких признаков наших войск? Ведь где-то здесь должны быть наши части! Вон там, чуть южнее, темнеют силуэты каких-то машин... И как бы в насмешку над нашими надеждами ночная тишина тут же доносит оттуда обрывки немецкой речи. Неужели вражеские силы так глубоко проникли в наше расположение? Неужели фронт откатился так далеко, что его не слышно? Ведь еще днем он проходил где-то поблизости...

Беспокойная мысль, которую мы всячески отгоняли от себя на протяжении последних двух часов, не позволяя ей облечься в слова, требует, чтобы мы назвали вещи своими именами: мы в окружении... Сейчас бы закурить... Но присланные из Москвы папиросы в вещевых мешках, а мешки в машине...

О том, как мы скитались по немецким тылам, как догоняли фронт, как тщетно искали лазейку в неприятельских порядках и как в результате ровно через месяц все трое — Фурманский, Сафразбекян и я — все-таки пробилась к своим у Алексина под Тулой, я здесь рассказывать не буду. Окружение — это особая тема, а я пишу о людях нашей писательской роты. Поэтому еще немного о Кунине.

В ту ночь, когда он у меня на глазах упал в кузове полуторки, прошитый, как мне показалось, пулеметной очередью, судьба на самом деле смилостивилась над ним. Просто машина рванула с места, и Кунин, потеряв равновесие, упал, благодаря чему и остался невредим, именно таким случайным образом разминувшись со своей пулей. Рядом кто-то, но не он, был тяжело ранен.

Обо всем этом мы узнали много позже, когда Кунин, прослышав, что Фурманский после окружения объявился в Москве, написал ему на адрес Союза. Кунин тоже более двух недель выбирался из котла, только севернее, под Вязмой, а потом был назначен в какую-то часть переводчиком. Оказывается, среди языков, которыми он владел, был и немецкий.

Он писал нам с нового места службы, с передовой. Письмо было горькое и, по существу, прощальное. Кунин уже знал, что его жена бесследно исчезла. Он понимал, что она погибла, как и большинство наших штабных офицеров, принимавших делегацию Союза писателей. Из его письма явствовало, что после всего случившегося он не возлагает особых надежд на свое будущее. Оптимист и жизнелюб, он говорил об этом просто и серьезно, никак не жалуясь...

И еще он просил у меня прощения за то, что, выйдя из окружения, доложил по команде о моей гибели — он же сам, своими глазами видел, как я, соскочив с машины, упал, прошитый автоматной очередью.

Вот почему, пока я находился в окружении, на меня в Союз писателей пришла похоронка. От моей жены, эвакуированной Союзом в Казань, ее до времени скрыли. Однако не так это все просто — есть вещи, которые невозможно предусмотреть. Я рассказываю это к тому, что война предлагала людям совершенно необычные комбинации случайностей, очень далекие от привычной логики цепочки причин и следствий. Она протягивала среди нас свои, порой самые неожиданные связи. Я позволю себе здесь маленькое отступление на эту тему.

Моя жена близко дружила с Антокольским и его женой, ваханговской актрисой Зоей Константиновной Бажановой. В Казани эта дружба стала особенно тесной. Они там вместе голодали и холодали. Особенно мучила голодуха Антокольского. И вот однажды, весьма возбужденный открывающейся перед ним перспективой, Павел Гри-

горьевич приносит Зое Константиновне радостную новость: полушутя-полусерьезно он говорит ей, что мою жену внесли в список на копченую колбасу. Мол, она этого еще не знает, но он сейчас ей об этом сообщит и тогда, глядишь, ему за добрую весть тоже перепадет кусочек. Все это происходило на людях.

— Ты сошел с ума, Павлик! — закричала испуганная Зоя Константиновна. — Пока до нее не дошло, надо ее немедленно из этого списка вычеркнуть. Пора бы тебе, старому гурману, знать, что копченую колбасу решено давать только вдовам...

Этот диалог относится примерно к первым числам ноября. 13 ноября жена получила от меня телеграмму, что я жив и вырвался из окружения. А 21-го погиб Костя Кунин. Погиб, так и не узнав о навшемся через две недели нашем наступлении под Москвой.

## 6

А теперь еще об одном моем друге — о Павле Яльцеве. О его судьбе.

Я уже говорил, что мы в ополчении делили все трудности походной жизни истинно по-братски, даже не отдавая себе в этом отчета. Такова была нравственная атмосфера, естественно сложившаяся в роте с самого начала. С момента выхода из Москвы. И чем дальше мы от нее уходили, тем более насущными становились для каждого из нас эти навыки повседневной солидарности. В истории Павла Яльцева они проявились, пожалуй, с наибольшей наглядностью.

Павел с первых же дней похода страдал от зубной боли. Облегчить его мучения в полевых условиях не было возможности. Он долго терпел, но потом стал проситься хотя бы на два-три дня в Москву к стоматологу. В конце концов командование ему разрешило эту поездку. На целых пять дней. А произошло это в конце сентября. Иначе говоря, мы были уже далеко. И полевая почта работала из рук вон.

Естественно, Павлу надавали кучу писем, а еще больше поручений — шутка ли сказать, наши жены смогут повидаться с ним, а значит, все рассказать о себе и все узнать про нас, да еще с такой достоверностью. И действительно, Яльцев выполнил все наши просьбы самым добросовестным образом, не упустив ни одной мелочи. Лучшего посланца в тыл нельзя было и придумать. Он вернулся через положенные пять дней и рассказывал, как было дело.

Получилось так, что, когда Павел с трепетом душевным после двух месяцев отсутствия поднимался по лестнице к себе домой, его догнал какой-то парнишка, который разыскивал ту же квартиру. Выяснилось, что ему нужен не кто иной, как Яльцев. Это был посланец из военкомата, который тут же на лестнице и вручил Павлу под расписку повестку о явке. Поскольку дело складывалось таким образом, Павел не мог не пойти. В последний день он зашел к военкому и доложил, что является бойцом Краснопресненской дивизии народного ополчения.

— Отставить! — сказал ему военком. — Вы аттестованный морской офицер запаса. Соблаговолите немедленно отправиться во Владивосток для прохождения службы на Тихоокеанском флоте.

— Что ж, по-вашему, я должен пренебречь тем, что записался в ополчение? Да меня там сочтут дезертиром. Я не имею права так поступить...

— А они у вас в дивизии не имеют права держать вас бойцом: ваше звание по армейским меркам соответствует двум шпалам. Вы обязаны служить соответственно своему званию. Так что отправляйтесь во Владивосток, иначе вас действительно сочтут дезертиром.

— Дезертиром на фронт?



Но военком шутки не принял и сказал тоном, не терпящим возражения:

— Завтра в десять ноль-ноль явитесь за проездными документами.

Теперь, когда он уже в полную меру хлебнул ополченческих тягот и не питал никаких иллюзий относительно ополченческого будущего, коварная судьба словно искушала Яльцева своими неожиданными соблазнами. Она предлагала ему еще раз, повторно сделать выбор между... Впрочем, трудно сказать между чем и чем. В том-то и дело, что война была чрезвычайно изобретательна по части биографических парадоксов и случайностей прохождения службы. Мне самому в окружении часто думалось о том, как подвел меня данинский компас. Ведь не будь его, меня, наверно, не забрали бы в роту ПВО и я сейчас не скитался бы по немецким тылам, а сидел бы где-нибудь в стрелковой ячейке...

Конечно, я зря винил во всем компас, тем более что в значительной мере именно благодаря ему мы вышли из окружения, потому что могли идти на восток ночами и пробираться к фронту глухими тропами. Кроме того, тогда я еще не знал размеров военной катастрофы, постигшей нас. Мне думалось, что из нашей дивизии в окружении оказались только мы трое, в то время как на самом деле в беде оказались четыре наши армии.

Но вернусь к Яльцеву.

Назавтра после разговора с военкомом он выехал обратно.

— Хорош бы я был,— говорил нам Яльцев, передав в подробностях этот диалог.— Набрал полный сидор посылок и писем, посмотрелся на ваших жен, которые с утра до вечера заполняли мою комнату, да еще толпились в коридоре, а потом смылся в противоположном направлении.— И он сердито хмыкнул.— А приятно, наверно, носить флотскую форму,— ни с того ни с сего добавил Яльцев задумчиво, разматывая на ночь обмотки и прилаживаясь поспать под елкой.

Военком оказался прав. Всем ополченцам, имевшим офицерское звание по запасу, стали спешно подыскивать соответственные должности. Тут выяснилось, что маленький, подвижный, нервный Чачиков, воевавший прапорщиком еще в империалистическую, тоже имеет две шпалы. Не помню, куда его назначили, но из роты забрали. Перевели в штаб и Шалву Сослани, аттестованного, как и многие писатели накануне войны, в результате лагерного сбора.

Павел Яльцев погиб в окружении вскоре после описанного выше возвращения из Москвы. К этому времени его перевели в политотдел и поручили писать историю нашей дивизии.

## 7

Когда я вспоминаю теперь три месяца ополчения, с которых началась моя скромная военная биография, перед моим мысленным взором, как в таких случаях принято выражаться, неизменно возникают одни и те же картины. Изнурительные дневные и ночные марши, уставная премудрость боевой учебы, однообразие строительства оборонительных укреплений. Нечеловеческая усталость, пот, заливающий глаза, короткий сон где-нибудь в сарае или под деревом, постоянная неутолимая жажда. А на фоне этих непривычных физических лишений — необычайно стойкое ощущение причастности к главному делу современности, а также неуклонно растущее, с каждым днем крепнущее чувство товарищества, душевного единения с окружающими.

Писательская рота, в которой мне суждено было начинать войну, состояла из людей сугубо индивидуального опыта, обусловленного их профессией. Вполне естественно, что само превращение тако-

го пестрого собрания индивидуальностей в некое сплоченное содружество не могло обойтись без некоторых издержек. Ведь это был процесс преодоления весьма стойких социально-психологических навыков во имя приспособления к новым, необычным формам совместного бытия в экстремальных условиях. От одних этот процесс потребовал в качестве душевной амортизации каких-то нелепых чудачеств, вымышленных эмоций. У других он был сопряжен с гипертрофией фаталистических настроений. Третьим инстинкт подсказывал в качестве нравственной опоры настойчивый оптимизм, оптимизм во что бы то ни стало.

Но и те, и другие, и третьи — все мы тогда, может быть, безотчетно, очень быстро прониклись духом воинского братства, духом дружелюбия и взаимной поддержки. Старые счеты, борьба самолюбий, вздорная цеховая нетерпимость на поприще славы, зависть, литературное местничество — все это разом отступило перед грозным велением долга, которое принесла с собой война.

Бек и Роскин, Яльцев и Кунин выделены мною здесь из общей массы писателей-ополченцев не только потому, что я их успел тогда узнать ближе других. Эти люди были мне интересны, меня к ним тянуло. Они лучше, чем я, понимали жизнь, и понимали ее не так, как я.

Бек защищался от ее тягот с помощью обманного простодушия. Он почти по-детски играл со своей судьбой в жмурки, хитрил с нею, отводил ее от себя, прикидывался для этого другим человеком.

Роскин не столько защищался от тягот войны, сколько принимал их как свою неминуемую долю. Он принес с собой в ополчение какую-то жертвенную готовность разделить историческую участь миллионов. Войну он ощущал как трагедию, в которой каждая личная участь значит не меньше истории. Роскина как литератора особенно страшило в войне ее властное и неумолимое своеволие в море человеческих судеб. Может быть, поэтому его так раздражали розовые иллюзии, которые у многих тогда еще сохранились от мирного времени. В этом смысле он принес с собой на фронт ту суровость толкования событий, которая позволила ему провидеть неслыханную жестокость этой войны, ее тотальный характер, невысказанные раньше масштабы нравственных потрясений.

Роскин дважды приходил ко мне на нашу высотку из своей санчасти. Он приходил за несколько километров для ночных бесед. Как я теперь понимаю, ему было важно, чтобы я его запомнил, чтобы он остался в моей памяти. Нам никто не мешал, все кругом спали. Лишь изредка зуммерил полевой телефон, и я в качестве дневального откликался на проверку связи.

Мне разговаривать с Роскиным было очень интересно и очень трудно. Я был намного моложе, намного наивнее, намного непосредственнее. Но те наши ночные беседы о жизни и смерти как бы стали для меня окончательным прощанием с юностью.

Яльцев, напротив, привлекал меня своим неистребимым оптимизмом. Интеллигент из крестьян, Яльцев таил в своем характере, в своей внешности нечто аристократическое. Даже в нашей ополченческой форме он сохранял присущее ему строгое изящество. Я думаю, что оптимизм его питался главным образом за счет органического чувства внутренней свободы. Тонкое сочетание независимости и иронии делало его характер как бы слегка прищуренным, притом что он умел искренне и беззаветно радоваться самым разным проявлениям окружающей действительности.

И наконец — Костя Кунин. В этом нестройном ряду у Кости тоже есть свое, особое место. Он был ярко выраженным носителем сознательного, глубоко интеллигентного долженствования. Чувство дол-

га было в нем сильнее всех его **безмерных** энциклопедических познаний...

В заключение мне хочется вернуться к тому разговору на привале возле Малеевки. Конечно, он был порожден стремлением каждого заглянуть в свое будущее, угадать свою судьбу. Случилось так, что эта самая судьба отмерила мне еще более сорока лет жизни с того памятного дня, и я могу хоть как-то рассказать людям, какими добрыми товарищами мы были. Конкретными же сведениями я, к сожалению, почти не располагаю. Даже о тех, кто уцелел тогда, в октябрьских боях, я теперь мало что могу поведать. Почти все умерли. А время в этом смысле безжалостно, оно не щадит и тех, кого пощадила война...

И все-таки несколько итоговых слов об упомянутых мною литераторах добавить необходимо.

Степан Злобин был тогда же, в октябре, ранен, попал в плен и содержался в минском лагере, где вел подпольную работу. Он был освобожден нашими войсками и после войны написал несколько хороших книг.

Попал в плен и Петр Жаткин. Но ему вскоре удалось бежать и пробраться к партизанам.

Партизанил на Смоленщине и Иван Жига.

Павел Железнов, тяжело раненный в первых же боях, был эвакуирован в госпиталь.

Эммануил Казакевич окончил курсы лейтенантов, стал разведчиком, был ранен и окончил войну в Берлине в должности помощника начальника разведки одной из армий. За свои книги о войне он дважды удостоивался Государственной премии.

Окончил войну в Берлине и Бек. В октябре 1941-го он быстрее других выбрался из окружения.

Бела Иллеш вошел с войсками в свой родной освобожденный Будапешт в звании подполковника Красной Армии.

Рувим Фраерман успешно работал в армейской газете, а после войны написал несколько книг, которые и сейчас доставляют радость как детям, так и взрослым.

В числе немногих удалось вырваться из вяземского окружения Натану Базилевскому. После войны я как-то был у него в Газетном по случаю премьеры его пьесы «Закон Ликурга».

Много книг написал после войны Осип Черный. Он был демобилизован после тяжелого ранения — осколок снаряда настиг его в Сталинграде на КП знаменитой 64-й армии. Тем же снарядом был убит Михаил Лузгин.

Фурманский после окружения оказался в писательской группе при политуправлении Северного флота. В 1944 году мы с ним встретились в Полярном, куда я был послан в командировку от газеты Карельского фронта. Как-то не верилось, что война снова свела нас за тысячи километров от Ельни, где мы приняли боевое крещение. И мы были уже другими, и война стала совсем другой. В послевоенные годы Фурманский написал несколько сценариев, в том числе два по произведениям своего однополчанина Казакевича.

Не так давно отметил свое восьмидесятилетие Н. Н. Вильмонт. У меня на полке стоит его книга «Вечные спутники» с дарственной надписью. Он и сейчас продолжает увлеченно работать за письменным столом.

С Сафразбеяном мы изредка видимся, но перезваниваемся регулярно. После окружения он, как физик-оптик, сделал много полезного для нашей артиллерии, но в результате контузии почти полностью утратил зрение. Сейчас он на пенсии.

С Даниным я по-прежнему дружу. Он окончил войну военным журналистом в Праге. Если война нас развела на четыре года, то

мирная жизнь снова соединила — последние двадцать три года мы даже живем в одном доме, что называется, через стенку. Он стал известным писателем и сценаристом научного кино, лауреатом премии имени братьев Васильевых, автором двух капитальных биографических книг — о Резерфорде и Боре.

Каждый раз, бывая в Центральном доме литераторов, я невольно задерживаюсь у мемориальной доски с восьмьюдесятью фамилиями московских писателей, павших смертью храбрых на войне. Всем им — вечная память. Половина из них — мои товарищи по писательской роте. И почти все они погибли тогда, в октябре сорок первого, или чуть позже. Должен признаться, что первое время я несколько раз ловил себя на том, что ищу в этом списке и свою фамилию. То, что ее там нет, я и сейчас ощущаю как странную прихоть судьбы.



---

---

## ГАЛИНА ШЕРГОВА



### СТИХИ

#### Берестяные письма

Берестяные письма! —  
Снизу доверху, как стена,  
Роща белая испещрена  
То ли клинописью,  
То ли скорописью,  
Знать, ходила рука  
  будто иноходью.

Берестяные письма —  
Вся береза исписана,  
Вся записана  
Снизу доверху,  
Недописано — значит, довеку.  
На березе все обозначено:  
Все, что нажито,  
Что утрачено,  
Кем зазнобило,  
Как жила-была —  
Черным по белу,  
  черным набело.

Но пока она молода  
И пока кора не тверда —  
Не кора еще, лист батистовый,  
Скинешь лист долой —  
Новый лист давай.  
Все, что нажито, что утрачено,  
Все, что в прошлом году обозначено,  
Словно книжица  
Про «жила-была»,  
Перепишется  
Черным набело.

Берестяные письма!  
Я сегодня приобщена  
Буреломом и ледоставом  
К этой роще, к ее уставам:  
Скину с плеч долой

  плат батистовый —  
Все грехи спишу,  
  только лист давай.

Все, что нажито,  
  что утрачено,  
Что с ошибками обозначено,

Чем зазнобило,  
Как жила-была —  
Черным по белу,  
Черным набело.  
Мне устав лесной  
Как родной знаком.  
Но у зрелости есть иной закон.  
Я не белый ствол — палка-палица:  
Приросла кора, не отвалится.  
Хоть ошибками, и утратами,  
И грехами вся, и расплатами  
Я исписана снизу доверху,  
Это — в зрелости.  
Значит — довеку.

### Апрельский снегопад

Кто простегал снега  
Без спросу и без страха,  
А после — вот неряха! —  
Иголки разбросал?  
Кто простегал снега  
Прилежницей капелью,  
Вонзая иглы в перья  
Пологих одеял? —  
Апрельский снегопад.  
Ведь это он, бездельник,  
Втащил в скучнейший ельник  
Цветущий снегом сад.  
Вслепую, наугад  
Воздвиг из сосен крепость.  
Но это ведь нелепость:  
Апрельский снегопад.  
Апрельский снегопад —  
Заклятый враг резонов,  
Попратель всех сезонов  
И низвергатель дат,  
Не понятый никем.  
Во мне он сохранится,  
Как белая страница  
В пожухлом дневнике.  
На ней пишу скорей:  
«В любое время года  
Да здравствует свобода  
От смен календарей!»  
И вправду: эти дни,  
Питомцы беспорядка,  
Нам, видимо, сродни,  
Близки нам их повадки.  
Пусть засмеет любой,  
Пусть детям возраст явен,  
Ему, моя любовь,  
Наш приговор объявлен.  
И потому — стократ  
Зову тебя, который  
Идет в мои просторы,  
Как этот снегопад!

---

---

---

ГАРИЙ НЕМЧЕНКО



## НА ФОНЕ НЕБА...

**Т**ут уж ничего не попишешь: такая у него доля. Своего транспорта нет, откуда ему быть в музее, и приходится всякий раз напрашиваться в попутчики... Районное начальство ли едет куда-либо проводить собрание, специалист ли спешит на дальний кош, он тихонько сидит себе в машине позади, не вылезает даже во время длинных стоянок, словно, как мальчишка, боится: а вдруг да не успеет потом сесть? вдруг бросят?

Терпеливо ждет единственной той минуты, когда маршруты наконец совпадут, и тут-то он добежит до школы, чтобы посмотреть черепки, которые нашли в поле рядом с курганом, или постучит в дверь древней хатенки: верно ли, что у хозяина все еще хранится старый наборный пояс?

Районной газете сам бог, как говорится, велел помогать Ложкину, всегда берут, если место есть, и в пропыленном «газике» за спиной у водителя Миши Габрильяна, старого своего знакомого, он чувствует себя посвободней, оттого всякий раз, когда машина останавливается, тут же заводит одно и то же: «Можно попросить, чтобы хоть тут — недолго?»

Со Славой Филипповым, заведующим отделом писем отрядненской «Сельской жизни», отношения у них самые короткие, Слава у него во всех делах первый помощник, потому и может позволить себе сейчас, когда мы уже отошли от «газика», слегка покровительственную усмешку: «Еще и канючит, а?..»

Мне, когда я вылезал из «газика», Ложкин успел шепнуть: «Я тебе там такое покажу! А тут неинтересно!»

И неловко томить старика в машине, и показать ему есть что, не сомневаюсь, да только как же неинтересно, если в родных своих местах я не был долгих четыре года?

А какие это места!

Где-либо за тысячи километров от них рассказывая, откуда родом, назовешь, бывало, свою Отрадную и, нет бы остановиться, тут же начнешь перечислять окрестные станицы: Бесскорбная, Благодарная, Спокойная, Удобная, Надежная, Бесстрашная... И самое интересное, что ведь не врут названия, не врут. И даже преувеличения особенного за ними нет — есть покатые, с отарами на склонах холмы; покрытые удивительными травами, предальпийские, с заповедными цветами луга; широкие долины с садами и пасеками среди них; заросли облепихи — по-здешнему дерезы — на берегах горных речек; минеральные, редкостного состава источники; горячие — пожалуйста, заваривай чай — подземные воды. Может, душенька еще чего пожелает?

Да только в том-то и штука, что, видно, мало ей, душе, знать: есть на теплой и зеленой земле такой уголок — Предгорье...

Только что мы останавливались на просторном подворье колхоза «Россия» в станице Удобной и там в стригальном цехе подошли к широкому классировочному столу — две женщины сортировали за ним шерсть. У Славы были свои редакционные заботы, он спросил у них, как идут сегодня дела, и Лидия Романовна Рыжкова, которую я тоже столько лет кряду видел раньше за этим старым столом, на грогнутой его металлической сетке ловко, словно одеяло, раскинула только что снятое, еще не успевшее, казалось, остыть ни от овечьего тепла, ни от жаркой работы цельное руно.

— Да сегодня хвалиться нечем, вот поглядите... Голодной тонины много.

Я не понял, что она сказала, переспросил, и Лидия Романовна улыбнулась так, будто вдруг отчего-то пожалела меня:

— Забыли?.. Это ж маточная отара стрижется, а ей зимою досталось: то заносы, а то пастухи позаболели. А овечка, когда недоедает, она тогда как? Ягненок старается сохранить, все только в себя, а шерсть в это время тоньше растет, вот же... — Приподняла край руна, отделила желтоватый, с прозрачным подбоем клоч, начала потихоньку растягивать, и он на глазах стал истончаться у основания — вот-вот порвется. — Голодная тонина и есть.

Потом уже успели мы побывать в разных других местах, но я все «Россию» вспоминал и все как бы про себя тихонечко улыбался — и радостно, и вместе печально...

Выходит, правда, мне давно надо было снова все это увидеть: длинные, на добрую сотню метров, затоптанные подмости, на которых за темными штакетиными базков толкуются то молчаливые, а то вдруг разом заблеявшие овцы; разгоряченных, в мокрых от пота майках стригалей — вот он распахнул калитку базка, быстро нагнулся, за ногу поймал крайнюю овечку, почти рывком вытащил, ловко усадил ее, напуганную, у себя в ногах, придерживая коленями, левой рукой остановил дрожащие на весу передние копытца, а в правой уже стрекочет машинка, уже по шее скользнула вниз, вниз, уже распахнула белую с исподу овечью шубу — и так до конца останется машинка в правой руке, а все остальное — только левою, коленом, обеими ногами, бедром: единым махом на бок перевернуть, опрокинуть навзничь, на другой бок, на брюхе распластать, снова посадить... Все это без церемоний, хватко, сноровисто, потому что, соревнуясь тут между собой, заодно готовятся к районному конкурсу стригалей, но все же, хоть это странным покажется, бережно, даже как будто с лаской, чтобы не лопнуло у овечки — тем более когда стрижется впервой — сердчишко от страха: в неопытных руках такое бывает.

Девственно белая, без единого пореза, если работал мастер, если, как говорится, старая школа, сама спешит она поскорее нырнуть в лазок, вниз, к таким же стриженным, а стригаль берет обеими руками руно, вместе с номерком своим кладет на конвейер, лента которого медленно плывет вдоль подмостков, выпрямляется на миг, только на миг, медленно расправляет плечи, а то и отяжелевшими пятернями словно подтолкнет себя в поясницу, но это все уже опять на ходу, следующим движением он снова толкает калитку базка...

В конце конвейера — а сколько я видел, всегда это делали в «России» подростки, в основном пацанва, — две девочки лет по одиннадцати по очереди брали серые охапки руна и неторопливо несли к столу сортировки.

На деревянной приступке рядом с конвейером, положив на колени уставшие руки, сидела миловидная женщина в вылинявшем, когда-то синем комбинезоне, и я с ней радостно поздоровался: Вера Кирьянова, Вера Павловна, великая здешняя искусница — и в самом деле великая! Начав когда-то с чемпионки своей «России», она один за другим привезла в район потом почти все, какие только возможны, громкие титулы — чемпионка края, затем южной зоны, затем всей — уже без кавычек — России, затем Союза... Не знал бы этого — сразу не поверил бы: столько в ее облике чисто женского обаяния и еще чего-то совсем домашнего, семейного — спокойствия, доброты, кротости... Да только тут простое совпадение, станичники хорошо знают: не за красивые глаза даются на конкурсах такие звания.

Вот и сейчас, хорошенько поработав, позволила себе короткую передышку: пусть-ка подруги догоняют...

Пока я спрашивал, когда она уезжает в Москву на сессию — Кирьянова теперь депутат Верховного Совета РСФСР — да кто же будет вместо нее вырывать колхоз на предстоящем районном конкурсе, пока Вера Павловна, показывая глазами на рослых, покрупнее ее самой, молодых женщин, тоже в комбинезонах, негромко называла их имена, две носившие руно девчонки ходили мимо нас туда и сюда с лицами, явно сверх меры деловитыми: кто его знает, чего тут торчит этот усатый дядька из Москвы, сказали, писатель!

У знакомого зоотехника Василия Васильевича Соловьева — начальника стригального цеха в сезонное это время — спросил, как звать девчонок: а вдруг



да придется где-нибудь помянуть потом добрым словом. Еще не успел достать записную книжку, он прямо-таки отчеканил:

— Пинкус Светлана Анатольевна. Марченко Марина Анатольевна.

У меня невольно задержалась рука:

— Ну уж — даже по батюшке?

А он удивился:

— А как же? Как в ведомости на зарплату. Пиши-пиши!

И вот теперь мне все навязчивее казалось, что это я обязательно должен был увидеть, услышать, ощутить полузабытые запахи, поговорить с искусницей Верой и даже, как звать-величать этих, которых впервые видел, девчонок, записать в свою книжечку — точно так, как значатся, видишь ли, они в ведомости...

Тут никуда не деться: каждый день, каждый час жизнь неумолимо и все стремительней захтриховывает память новыми и новыми набросками самых разных картин и все незаметней под ними становится первооснова — вот-вот исчезнет, вот-вот пропадет совсем... Не побывал бы дома еще годок-другой, к родной, где корни твои, земле не прикоснулся душою, и, как знать, одолела бы и ее своя какая-нибудь голодная тонина... Может же такое с душой случиться?

Когда мы снова уселись в «газик», Ложкин явно повеселел, сунул меж колен сложенные ладони и словно потер их — вот теперь-то, мол, вот теперь!

Наступал наконец его час, и, чтобы доставить старику удовольствие да и разузнать хоть что-то заранее, я спросил:

— Так можете, Михаил Николаич, сказать, куда мы едем?

Он для начала укорил:

— Почему я торопил: хотел, чтобы людей застали в обед — хорошенько с ними поговорить...

— Так с кем, с кем?

Тут он повернулся худющим, с остреньким подбородком лицом, слегка наклонил совершенно седую, с мальчишеским ежиком голову, и серые глаза его под стеклами очков стали очень серьезными.

— С передовскими казаками. С ветеранами.

Он учитель истории, Ложкин, голосом умеет владеть, еще бы, но откуда такая нотка — даже не значительная, нет, почти эпическая?

Потом я понял. Но сперва не понял, ведь бывает же, когда мысль еще почти не разбужена, не то что главное, частностей распознать не успела, а тревожно-радостный стук сердца подскажет вдруг, что тебе отчаянно повезло, и всем существом, всей кожей благодарно ощутишь неповторимость происходящего, его высокую ценность, без мало-мальской подделки красоту... Тут я не о внешней красоте, нет, хотя уже на первый взгляд удивительная открылась картина, пожалуй, впервые в жизни я искренне пожалел, что не живописец.

«Газик» наш остановился на обочине, приткнувшись к двум красным «Запорожцам» с открытыми на одну сторону дверками.

На плавном взгорке через дорогу далеко тянулось черное, только что взрыленное поле с ровными рядами еще невысоких подсолнушков, а на самом его краю полукругом расположились десятка три пожилых женщин... Иные возвышались на перевернутых ведрах — в Предгорье издавна водится на любую работу брать их вместо корзинок, — другие, словно наседки, мостились на широких цибарках поверх торчавших по краям безрукавок да ватников, третьи, вытянув ноги, сидели на брошенных между ростками подстилках... Обветренные, пропеченные солнцем лица, узловатые, тяжелые от работы, словно мужские, руки, грубые башмаки, трогательно соседствующие с неокрепшими стебельками подсолнухов...

Так уж, наверное, мы устроены: в самых разных местах — то в вагоне сибирского поезда, а то и за прилавком столичного рынка — в чертах впервые увиденной женщины ловил вдруг что-то родное, сразу возвращающее в детство, заставляющее с южной интонацией шутливо спросить: «А вы, тетя, с Кубани?.. Из каких, интересно, мест?..» Ничего не поделаешь! То где-либо в поле получал от них хорошенький подзатыльник за то, что бросил в дружка початком, а то вдруг — с этим же дружком на двоих — они тебе разламывали поджаристый, величиной с ладонь капустный пирожок...

И вдруг увидел столько их вместе, и это они теперь словно присматривались: или правда земляк?

Еще что-то общее. сразу не понятое, было в облике женщин, хотелось угадать что, и тут дошло: они же в поле, они работали, вон тяпки штабельном посреди дороги, и рядом кто-то из мужчин с отяжкой стучит молотком, другой шаркает напильником — значит, еще не кончено, снова возьмутся сейчас за держки. Но как они все одеты!.. Идеально белая, словно у сестер милосердия, косынка, а то и неяркий чистенький платок. простенькие цветные кофты и юбки потемней, платья из дешевой материи, но поверх — свежий, словно только что надетый передник — завеска, поправит меня потом Ложкин. не забывай: в станции Передовой — за в е с к а! Оделись они все как на праздник — вот в чем было дело.

Странно смотрелся среди них в самом центре сидевший на земле хрупкий, с очень тонкими чертами мальчишка — наши джинсы, клетчатая рубашка, широкая, с загнутыми, под ковбойскую, полями шляпа из рисовой соломы с черным шнурком под подбородком.

А сбоку от женщин, почти все на дороге, стояли кучкой полтора десятка мужчин — тоже пожилых, иные из тех, кого называют стариками чуть ли не походя, уже не боясь причинить обиду... Только и того, что задубелые лица чисто выбриты, только и того, что сорочка почти на каждом светлая, но это больше от солнца, тут все понятно, хитрят старики, а как же, но вид совсем не геройский: подробнее, помельче женщин сложенем, уже с обвисшими, словно они не в своей одежке, брюками, из-под штанины у крайнего выглядывает черный, с нашлепкой из резины протез...

Опираясь на палочку, расхаживал вдоль машин худой и высокий Стрельников, их временный бригадир. С короткими рукавами белая рубашка навывпуск, из белой же материи кепочка блином. Такие кепочки по всему Черноморскому побережью, по всем кавказским курортам словно для того тысячами и шьются, чтобы сразу отличить по ней впервые сюда приехавшего по нелепому, чуть ли не дураковатому виду. На голове у Стрельникова такая кепочка сидела до того ладно, одним стежком пришитый к полю посередине козырек так лихо на лоб надвинут, что невольно казалось: на самом-то деле такие кепари и продают, чтобы яснее из-под них был виден острый и цепкий прищур.

— Так вот! — остановившись, сказал Стрельников громко. — Про нас: инвалидная команда. А мы считаем: боевой отряд. Так?

— Ну прям партизаны!

— Да, а то не помогаем в самом деле!

По тону, каким ответили Стрельникову женщины, как улыгнулись, а то плечом кто повел, шевельнулись остальные, ясно было, какой тут дух, какое меж людьми понимание, и тут меня вдруг снова как ударило: а правда!.. Неделя на исходе, как я в Предгорье, и в дни, когда не уезжал из станицы, мать непременно, как встарь, наказывала, когда к обеду прийти, чтоб ничего не остыло, — да только где там! Какое двенадцать часов, пришел бы в три, потому что кого только не встретишь по дороге и с каждым из них, давним своим знакомым, хоть немножко да постоишь... И каждый все про одно и то же: замучили болезни, сын не пишет, далеко ходить за водой, никак не проведут газ... Чуть ли не плачущим голосом станет мать спрашивать, где так надолго задержался, и ты невольно предупреждаешь: «Только не надо, ма, о болячках — я уже по дороге столько всего об этом наслушался!» И невольно ловишь себя на том, будто на нее-то, на мать, жалости у тебя уже не осталось.

Ну а они что ж?.. Не болеют? Каждый день получают письма? В старинных хатах у них водопровод? И газовые печки у всех давно подключены?

— Жалуетесь, что к нам никто не наведется, — так же громко говорил Стрельников и все щурился. — Так вот и к нам люди завернули. Рассказывайте, как тут живете!

— Да, а что рассказывать?

— Пусть спросят!

А мы уже поняли, что из нашего случайного, в общем-то, приезда хочет Стрельников чуть ли не праздник людям своим устроить, и Слава — газета

все-таки! — решил взять инициативу на себя, а значит, заодно и ответственность. Как бы отделяясь от нас с Ложкиным, чуток шагнул вперед:

— Во-первых, как вас кормят?

На самом краю поля сидела на цибарке, вытянув ноги, дородная, с наливыми плечами женщина — крупные черты, цыганский взгляд больших темных глаз, мирной лодочкой сложенные ладони мощно продавили подол.

— Хорошо кормимся, — сказала насмешливо. — Из дома приносим.

— Таня! — укорил Стрельников.

— А воду вам привозят? — спросил Слава.

Она сказала:

— А то нет? — И повела подбородком на Стрельникова, потом еще на кого-то в толпе мужчин. — Вот он привозит и он. На инвалидских драндулетах.

— Таня! — Еще сильнее прищурился Стрельников и даже приподнял палочку — пристукнуть.

Но Слава и сам уже понял, что надо переламывать настроение.

— Автолавка у вас бывает?

Запереглядывались женщины, нарочно строго посмотрел на языкастую Таню Стрельников. Она будто этого и ждала:

— Ну дак что — Таня, Таня?! Раз в год приехала и привезла на всех три будильника и три закрутки. Да девятьсот крышечек, все из-за них поперегрызлись!

— Ну так разобрались же? — миролюбиво спросил Стрельников. — Помирились?!

— И двадцать пар калош, — тихо, почти задумчиво сказала женщина, сидевшая на подстилке позади остальных. — Бабушка Кучеренчиха так хотела взять, а ей не досталось.

— А старухе много ли надо? — приподняла Таня руки над подолом. — Сразу давление, вечером слегла, нынче полоть не вышла.

— Да, жалко Кучеренчиху, жалко! — поддержали Таню, и все опять запереглядывались, словно искали глазами бабушку: а вдруг она все же здесь?

— Так что ж теперь, Таня, так и будем жаловаться? — Поближе к краю поля шагнул Стрельников, налочкой своей почти уперся в Танины башмаки.

— Да кто жалуется, Николаич? — подняла глаза Таня. — Сроду не жаловались. Просто не брешем — дак это другое дело.

— Пока вы тут спорили, я вас, извините, пересчитал, — снова вступил в разговор Слава Филиппов. — Вас тут сорок семь, правильно? А могло бы выйти побольше?

И тут он в точку попал — настолько живо откликнулись:

— Дак а чего ж не могло?

— Полстаницы еще могло бы, а то нет?

— Это ж кто привык всю жизнь трудиться, дак на тех и нынче выезжают, а кто никогда не работал...

— Говорят, пока еще не край, не война!

— Как будто если война, так это еще не поздно!

— А мы, слава богу, и до войны, и в войну, и скоко теперь посля нее — и все тут!

— Да оно — а куда ж ты теперь и денешься?.. Кабы это было не твое. Как другие: и не видал, как подсолнух этот бедный растет...

— Конечно, тогда разве будет душа болеть? Да пропади оно пропадом — жалко, что ли?

Им-то жалко было, и жалостливо звучали их голоса, была в них и печаль, и застарелая какая-то обида, но теперь-то не о себе они говорили, нет, — о земле, на которой выросли, и как бы об общей доле всех, кто не отрывается от земли, кто, как бы трудно ни жилось, так на ней до конца и остается. И оттого, что отстранился каждый от себя, неуловимо возникло уважение друг к другу, а может, даже и неосознанная гордость — это тоже слышалось в голосах, это ясно так читалось теперь во взглядах... И разве не было на то у них права?

Пока мы все говорили, Миша, водитель наш, тихонько прохаживался кругами с фотоаппаратом в руках, все пытался поймать кадр, где мы с Ложкиным вместе, со Славой Филипповым... Снимать он начал недавно, но знает же, что

мы трое — старые друзья, почувствовал сейчас, как все трое увлеклись разговором, — а вдруг да что-нибудь выйдет?

Стрельников, по-моему, давно уже на Мишу поглядывал и теперь в благостную минуту общего согласия в такой непростой своей бригаде громко окликнул Мишу:

— Знаешь что, друг? А ты бы нам сделал карточки!

Миша засмутился, стал было говорить, что и снимать-то не умеет, и плохонький аппарат, да и как тут хорошо снимешь — такое неудачное для съемки место.

Оно и правда: кажется, нарочно ищи, все равно не найдешь в Предгорье пейзажа, на котором не виднелись бы холмы — катавалы по-здешнему, — на котором не виднелись бы далекие пики Кавказского хребта... Но вот поди ж ты: этот пологий взлобок, где раскинулось поле подсолнухов, словно бы часть изогнутого моста, уходящая вверх и вверх.

— Ничего! — настаивал Стрельников. — Не в этом дело... Мы цепью рассыпемся по рядкам, а ты нас — на фоне неба!

Он даже прошел немножко по полю. Обернулся. Замер между рядков.

Высокий, с палкой, по-петровски властно отставленной сейчас вбок, с этим командирским прищуром из-под лихо сидящей белой кепчки, сам он так смотрелся сейчас — на фоне неба!..

И тут послышалось женское, материнское:

— А может, все вместе?.. Кучечкой. И будет память!

Пока Миша определял, где бы всем встать, чтобы получше вышло, пока поправляли косынки женщины да пошевеливали плечами — словно пошире их расправляли — мужчины, я подошел к тяпкам на дороге, взял одну.

Отполированный ладонями держак тычком доставал до подбородка, но чтобы тяпку на ладони качнуть, перехватить его пришлось почти у железного кольца. На широком полотне попробовал растянуть пальцы, и пятерни моей, хоть не такая уж маленькая, не хватило.

Невольно вспомнилась городская привычка: где-либо в подшефном совхозе не отстать от других, успеть выбрать лопату полегче, поменьше мешок, — неужели и в меня уже въелась?

Мужчина, который снова теперь ширкал напильником, словно угадал, о чем думаю, не поднимая головы, сказал насмешливо из-под шляпы:

— Не чикаться ж. Полоть.

А я к Стрельникову пошел.

— Иван Николаич, а сколько уже бабушке Кучеренчихе?

— Да семьдесят четыре ей. Семьдесят пятый пошел. — И вздохнул. — Плохо это и в самом деле — с калошами...

Решил, что я только об этом: о паре калош, которых бабушке не досталось.

Спросил у него, как звать единственного среди взрослых парнишку, — тот одиноко и словно бы чуть потерянно стоял в сторонке. Парнишку звали Толя Наумчик.

— Толя, а почему других ребят нету? Почему один?

Он дернул головой, казавшейся совсем маленькой под этой ковбойской шляпой из рисовой кубанской соломы.

— Так а им зачем? Я-то за маму отрабатываю.

— Как — за маму?.. Почему ты отрабатывать должен?

— Да она у меня сильно болеет, в последнее время почти не встает. С сердцем... А передали по радио про подсолнухи, что они пропадают, а потом сколько вышло да кто, она — в плач: была бы здоровая — разве бы я не помогла?.. Плачет и плачет. Тогда я и говорю: «Ну чего ты плачешь?.. Если тебе так хочется, пойду и за тебя отработаю».

— А у тебя каникулы?

— Да нет, вообще заканчиваю. Сдаю за десятый. Последний остался.

— За десятый?!

Он так хорошо и чисто улыбнулся.

— Маленький, да?.. Мама говорит, порода наша такая. Мы маленькие.

— Толик! — кричали женщины оттуда, где Миша уже расставлял всех для снимка. — Иди сюда, Толик!

Чуть ли не силой усадили опять в самом центре, он все беспомощно улыбался, потом спохватился вдруг, стащил свою шляпу, женщины одобрительно закивали, и соседка его, чтоб парню удобней было сидеть, взяла у него шляпу, положила себе на колени, а другая, глянув почему-то на Ложкина, быстренько провела по ладони языком, одним почти незаметным касаньем на макушке у Толи смирила вихор.

Потом попросили снять их отдельно фронтовики. Вышло, что все мужчины. Когда выстроились одним плотным рядком, тоже позвали Толю. Он отмахивался, отчаянно тряс головой: я-то, мол, при чем?

— Тебе через год в армию, Толик! — таким тоном, словно он ему уже повестку вручил, сказал Стрельников. — Стань с мужчинами. Стань.

Женщины уже начали потихоньку разбирать тяпки, некоторые, опершись на держак, смотрели, как снимаются фронтовики, и лица у них одинаково погрузтели, и снова печальными сделались голоса... Я сперва даже не обернулся, не посмотрел, кто это говорит, когда рядом потихоньку стали рассказывать, только потом понял, что это для меня.

— С ногой-то вот... с того краю — Гавриил Васильич Богачков. Тогда Гаврюша... Он помоложе, в армию не пошел еще, а в сорок втором повез нас под Армавир, на Красную Поляну, окопы копать... Ой, а кругом же ничего еще нету, одна голая степь, а они летят тучей, бомбы эти, что воют, бросают одну за одной, одну за одной!.. Или как дадут, как дадут из пулеметов!.. А куда? Голову под носилки схоронишь, они улетят, сидим плачем: дуры мы, дуры, да разве под носилками уцелеешь?.. Тогда летит его тихий самолет. Одни листовки бросает. Много-а!.. Как снег. А там так: «Послушайтесь, бабочки, не ройте ваши ямочки. Пройдут наши таночки, заруют вас у ямочки»... Сидим, опять плачем: обидно, что так хорошо по-нашему знает. Раз так — неужели это уже и все?! А он же прет и прет. Наши отступают, вот мы все побросали, на бричку скорей — да и домой. Исть нечего, а пристали — хоть Христа-ради проси, он же — за нами по пятам, люди уже позапирались, нигде никого... До Попутной доехали, Гаврюша и говорит мне: «Тетечка! Да пойдй попроси хоть пару картошечек!» А я: «Гаврюша, да где ж я их попрошу?» «Тетечка, — просит, — да хоть где-нибудь!» Вот остановились, пошла просить. Вся чуть слезами не вышла, пока одни люди наконец не сжалились да не открыли. А кто там откроет — ночь!.. Я им говорю: хоть две картошечки, ради бога! А они тоже попереругались: сколько попросила, столько и вынесли. Вот приношу, отдаю ему, он берет, посидел с ними, посидел, а потом с брочки слазит, подходит к лошадям. Одной картошку в зубы, другой... Они только хрум-хрум!.. «Гаврюша! — шепчу ему. — Да что ж ты наделал! Думала, ты себе». А он: «Тетья! Да я сперва себе хотел. Но вы ж видите, как кони заморились. Не дам я им, они нас до дому не довезут!» При немцах потом прятался, где он только не прятался! Чтob в Германию в свою не увезли. А наши пришли, тогда пошел в армию. И до самого конца почти. Вот что перемялся-то, стоять неудобно... С того краю. С ногой.

Как болят до сих пор в России раны войны, вроде бы и до этого знал. А тут вдруг чуть не впервые дошло: как в России жалеют!

Не «без ноги», нет. «С ногой».

— Да-а там же вот, под горой, наши и отступали, — тоже негромко, в тон закончившей рассказывать, печально подхватила другая женщина. — И солдаты, и беженцы шли, и скот гнали...

— А на самой горе они потом наших расстреливали, — вступила третья. — Хоть дорога и плохая, а все равно на самую макушку привезут...

— Да и возвращались наши там.

Вот говорим: носится в воздухе. Говорим в другом смысле, но здесь, когда стоял среди женщин, я так ясно ощутил: солнечный, с маревом над зеленью холмов день наполнен виденьями прошлой жизни и невидимым глазу чем-то бесплотным, им словно тесно над краем поля — столько много их вместе, вызванных воспоминаньями, собралось...

Стрельников уговорил-таки Мишу снять всех еще и рассыпанной цепью. Каждый нашел свой рядок, стали, тут же начали полоть, да как дружно, как быстро они пошли, — чтобы все поместились в кадре, Миша не успевал перед ними отбегать.

Потом он наконец там закончил, бежал через поле к нам троим, а они все так же споро шли по рядкам, все дальше шли, не оглядываясь на нас, а только уже работая, шли по тягучему взлобку вверх, воздух над ними уже схватился маревом, и мне казалось опять: это неслышно помаргивают уходящие вместе с ними виденья...

В машине Ложкин сидел притихший и торжественный, я не знал, что ему сказать... А столько лет уже так хотелось сказать ему! Сказать, что он — настоящий Учитель, Ложкин. Учитель без двойного дна. Праведник.

Старший сын Ложкина учился в хуторской школе, в которой отец столько лет был директором, — благодаря ему она тогда и держалась... Поступил потом в институт. В педагогический. Тоже стал учителем.

Повез на побережье детишек, как возили когда-то его самого посмотреть море.

Был шторм, и в море тонул мальчик, которого также привезли из другого города посмотреть море. И те, кто привез его, бегали по берегу и кричали.

Сын Ложкина бросился в воду, подплыл к месту, где последний раз мелькнул мальчик, чудом выловил его, уже потерявшего сознание, в глубине, вместе с ним сумел подплыть к волнолому, протянуть его подбежавшим людям.

Мальчика тут же стали откачивать, о спасателе на секунду забыли. Обессиленного, его ударило о волнолом.

Может, еще и оттого давно и прочно всех нас Ложкин усыновил? И меня, уже потерявшего отца, и Славу Филиппова, у которого отец еще жив, только от сына далеко. Усыновил многих-многих других, кто гораздо моложе его и кто старше.

Так на свете бывает. Не исключено — это лучшее, что только может на свете быть.

И вот он теперь — смотритель музея, хранитель общей нашей истории; на древние городища, которые он нашел, приезжают летом студенты-археологи, одному ему известными тропками он ведет их к старым могильникам, к еле видимым под буреломом в горах или скрытым в густой, выше человеческого роста траве апсидам тысячелетних храмов и, пока преподаватели отвечают на десятки вопросов, терпеливо сидит в сторонке, утишая боль в сердце; он сам готовится отвечать — им, преподавателям, многие из которых когда-то приезжали сюда студентами и которые учеными своими званиями обязаны его безотказной щедрости.

Раньше, бывало, мы приставали к нему: а почему бы ему самому не «остепениться»?

Он молча сухонькой ладошкой отмахивался.

Только и радости, когда зимой не забудут, все-таки позовут на Крупновские чтения в Ленинград или напишут, что дадут коротенькое слово на международном симпозиуме в Тбилиси. Только ли?

Однажды летом, когда мы с ним сидели под вечер уже в притихшем его музее, в дверь постучали, и на пороге появился пожилой, в промасленной рубахе — прямо с работы — тракторист, державший под мышкой что-то завернутое в мешок.

Смущаясь, начал разворачивать мешок на столе.

— Ребята сказали: иди, а то Ложкин узнает, что выпахал да не принес, — даст чертей!

На мешковине лежали две половинки давно проржавевшего большого меча, и каждая из них тускло синела свежим разломом.

Ложкин потянулся к мечу:

— Вы что же его — разрезали плугом?

— Не-ет, — отчего-то повеселел тракторист. — Выпахал целый. Сам потом разломал.

У Ложкина перехватило дыхание:

— Зачем?

— А как бы я с ним по улице шел? — спросил тракторист, и в голосе у него послышалось нескрываемое — всех перехитрил! — торжество. — Вон он какой длинный был!.. Кто увидел бы: гля, наш Петрович — с саблюшкой!

И смех и грех... Но ведь знают! Несут! И при этом делают вид, что даже его боятся...

Как старенький наш отец, трясется Ложкин на заднем сиденье «газика». Да еще, бывает, канючит...

— Наверное, это не так просто — сагитировать старых-то людей снова встаться за тямки,— сказал я Ложкину.— Что же их все-таки вместе собрало?.. С чего это началось? С кого?

И Ложкин ожил.

— А вот завтра военком едет в Передовую... Если местечко будет, попросу, чтобы и тебя взял. Какой они там создали музей боевой славы! Ты ведь еще не видел. А надо обязательно посмотреть. И обязательно надо с Иваном Николаевичем поговорить. Это все он, Стрельников.

Назавтра с утра повис над Отрадной тихий обложной дождь. Военком передумал, не поехал в Передовую, я пошел к Славе в редакцию.

У подъезда стоял отмытый до блеска красный «Запорожец». Рядом с пустым водительским местом, опустившись на сиденье пониже, привалясь к спинке не только плечами, но и головой, устроился пожилой человек в фуражке старого послевоенного образца, и весь вид его словно говорил о том, что ждать водителя предстоит ему долго.

В кабинете Славы рядом с его заваленным письмами столом сидел в кресле Стрельников.

Он, видно, только вошел, еще не успел снять шляпу, и сразу бросилось в глаза, как идет ему эта фетровая шляпа, насколько тоньше и выразительней стали под нею черты лица, сколько пронизательной ясности появилось вдруг в ястребином взгляде без прищура. На Стрельникове был серый недорогой костюм и белая, без галстука, рубашка, застегнутая и на верхнюю, под самым кадыком, пуговицу. Палка его стояла в углу, левая нога вытянута, уперлась в пол краем каблука.

Над креслом на стене рядом висели две небольшие, одинаковые по размеру карты — Краснодарского края и политическая карта мира, он сидел как раз между ними, и выходило, что Кубань была у него над правым плечом, а над левым вообще вся наша матушка земля со всеми ее как никогда горькими заботами.

Его «инвалидная команда» успела-таки вчера дополоть подсолнухи, сегодня дождь, люди отдыхали, и Стрельников явно благодушествовал, это и видно было по глазам, и слышалось в голосе — нынче металла в нем почти не осталось, хоть разговор пошел сразу о сорок втором...

Может, Стрельников понял, как мы вчера с Филипповым загорелись, и это ему понравилось, может быть, мы и в самом деле были внимательными слушателями да и спрашивали его по той, еще из далекого детства, простосердечной схеме, которая осталась в памяти с сорок пятого, когда они вернулись с войны: «А за что у вас, дядь, этот орден?.. А вот этот?.. А ранило, дядя, как?»

И он теперь посматривал так же, как все они посматривали на нас, пацанву, тогда, в сорок пятом. А может быть, так же и говорил?.. Может, эта вечно живая в народе теркинская интонация была у него уже и тогда?

— Орден Славы за что?.. Это Ложкин про орден доложил? Ну вообще-то — за языка. Это перед Корсунь-Шевченковской операцией. Новомыргород такой, слышали? Стояли тогда под ним, а у немца за линией что-то творится непонятное. Что? Нас послали. Думали тихо взять, да не вышло. Получилась разведка боем... По траншее немецкой бегу, одного пришлось и другого — иначе б они меня... И вдруг — третий... Здор-овый фельдфебель!.. А ракеты, все видать, гляжу: растерялся. И знаете, как бывает?.. От испуга его вроде и я остыл. Вот бой идет, а мы с ним стоим и разговариваем. Я ему: «Хенде хох! Рус плен». Он интересуется: «Рус плен капут?» А я уверяю: «Нихтс. Рус плен арбайтен Си-бирь». Тут очередь прямо над головой, и я в себя пришел. «Да что ж, — думаю, — стоишь?! Переговоры вести вроде еще рано. Да и не затем тебя послали». И вот веришь — откуда силы берутся?.. Как тот геркулес: за грудь и за ногу — через бруствер и сам следом вылетел. Руки за спину, кляп, тут же сигнал ре-

бят, чтоб хоть по нам не били, они как раз — в нашу сторону. Тут еще один из нашего взвода ко мне подскочил и — потартали!.. Кинжал с него только в штабе снял. «Ты что, — говорят, — Стрельников, совсем?» «Не успел, — говорю. — Было некогда». А фельдфебель мой сразу: так и так, прибыли три танковых дивизии, через двадцать четыре часа — прорыв... Сперва не поверили! И давай: из штаба — в штаб, из штаба — в штаб. Я за ним больше, чем там, за линией, побегал... А потом выдвинули два артдивизиона из Эргека. Поставили на прямую наводку. Успели-таки ребята раздолбать эти танки — ох они тогда их и долбали!

Ранило как?.. Уже в Будапеште. Бои и бои... Из каждого окна бьет. Хуже этого дела нету. Командир вызывает: центральный телеграф надо взять. А он посреди большой площади, телеграф... Да... Уже перед самым Будапештом он мне курсы офицерские предлагал. А я отказался. «Зачем? — говорю. — Военным всю жизнь не собираюсь». «А что собираешься?» «Землю собираюсь пахать. Пшеницу сеять». Он тогда рассмеялся: «Землю пахать!.. Пшеницу сеять! Ты что, Ваня?! А о том, что тут тебя завтра могут убить, а там ты в тылу будешь, ты подумал?» «Подумал, — говорю. — Меня не убьют. Если уж даже по немецкому гороскопу живой приду...» При чем гороскоп?.. А они тогда и это с самолета бросали. Каждому его судьбу — по дням рождения и по годам. А люди — кто верит, кто нет, а — точит!.. Давил на психику... Он тогда: «Ну смотри не пожалей потом!..» Когда теперь задачу поставил, я и говорю: «На смерть посылаете. Ведь так?..» «Так, — он говорит. — Так. Только если бы можно не послать, думаешь, послал бы?..» Ну и дали мне батальон из сорок седьмого опроса. Что такое опрос? Особый полк резерва офицерского состава. Нет, не штрафники. Нет. Кто в плену был. Еще с сорок первого. Только освободили их, еще и разобраться не успели, даже не успели переодеть. В гетрах были. Немцы их называли футболистами. Они им показали футбол... Людей нету, повыбило, и тут им — оружие: давай и вы, ребята. Выручайте... Отчаянно дрались! Отчаянно! Почти все там и полегли. В Буде и в Пеште... Значит, дали мне батальон. Всех своих я оставил огнем прикрывать. Каждому указал окно, каждому!.. А потом бегу первый, площадь почти перебежал, уже меня обгоняют, и краем глаза ловлю: бьет, гад, прицельно!.. Из ручника. Еще и мелькнуть успело: кто ж проморгал? И увидеть успел, что тут его и достали... немножко поздно! Меня как оглоблей по ногам. И тут я и уснул...

— Это как — уснули?

— Да так... Это потом уже в госпитале с доктором всю картину сложили. Все удивлялся: мол, ничего не понимаю! Ноги перебиты, двое штанов в крови, а на верхних — только дырки от пуль. Хоть бы малая капля!.. А я перед этим месяца три не спал. Что ты хочешь — разведка!.. Есть улицы, по каким и сейчас бы с закрытыми глазами прополз. Бывает, что камни снятся: булыжник, а где плита... А тогда спать — хорошо, если в сутки полчаса. На корточках. Где-нибудь в уголке. И вдруг — такая возможность!.. Ну, не повезло казаку?.. Шок сперва, и моментом уснул. Часов восемнадцать проспал. Утром ранило, а подобрали глубокой ночью. Команда похоронная подобрала. В бричку покидали, и вдруг из нее — храп... А может, это они сбрехали, когда в госпиталь привезли. Может, шутили. Работенка — не позавидуешь! Только и радости, когда вот так еще тепленького найдут...

И мы слушали и спрашивали еще, Стрельников снова вернулся в сорок второй, к тому дню, к тому часу, когда пятьдесят подвод с призывниками из Предгорья наткнулись на немецкие, шедшие от Черкесска, танкетки, когда бежали по домам не то что необстрелянные — вообще еще не знавшие кровавого ремесла войны кубанские хлопцы... Потом он тоже прятался, вышел только тогда, когда отступающие немцы приказали собираться в дорогу деду: гнать на Армавир большой, около пятисот голов, гурт коров — четыреста семьдесят пять, если точно.

Вместе с пятью другими одногодками, тоже заменившими стариков, они связали — еще пока не убили, нет, — единственного сопровождавшего их немца, по лощинам погнали стадо подальше от дорог, от одного дальнего хутора к другому, и еще неделю потом скрывались то в садах, то в лесу — ждали своих.



Обратно в Передовую — уже при наших — они пригнали четыреста семьдесят четыре коровы — одну пришлось отдать за ведро махорки: есть было нечего совершенно, февраль, так хоть дымили от пуза.

А любопытно, думалось, любопытно: может, потому-то столько ребят из Передовой и попали потом в разведку, что перед этим уже успели к немцам поприглядеться? Или те, кто их назначал, надеялись на старую пластунскую выучку, которая должна была остаться в крови? Если надеялись на нее, то не ошиблись.

Удачливы были передовчане в разведке, много получили наград, очень много. Жаль, не все донесли их до дома. Стрельников — один из немногих, кому это удалось — донести...

Мы все слушали, у меня то и дело возникало: вот же, вот! Эти биографии, что начались в двадцать пятом, одна к одной ложатся в роман о станице, о твоих пастухах, над сюжетом которого так долго ломаешь голову в Москве... Эх, кубанец! Там ли, станичник, ищешь?

Невольно поглядывал на Славу Филиппова, круглое лицо его сейчас так и светилось... Слава в своей стихии! Он закопался в Предгорье, как надежный солдат в окоп.

Всякий раз, отрывая от «Сельской жизни» тоненькую полоску бумаги с моим адресом, невольно жду: что там Филиппов на этот раз? Снова о проблеме вымиравших, но каких богатых еще хуторов? О термальных, зря пропадающих пока — хочешь, чай заваривай — водах? О каком-нибудь удивительной судьбы человеке, тихо и скромно живущем себе в одной из предгорных наших станиц? О ком-нибудь из погибших?

Несколько лет назад Филиппов впервые опубликовал в «Сельской жизни» маленькую заметку о Лавриненко, легендарном танкисте. Уроженец Бесстрашной, он погиб под Москвой в суровом декабре сорок первого. К этому времени на его счету было пятьдесят два немецких танка. Это в сорок первом!.. Пятьдесят два!

После победы в военных академиях разных стран читали лекции на тему «Танковый бой Лавриненко».

Но все потихоньку уходит в прошлое, все уходит... Многие знают сегодня о Лавриненко?

Слава Филиппов начал с писем во все концы. Потом приехал в Москву. Не по командировке, нет. Приехал в отпуск. На свои. С вечно виноватой своей улыбочкой на добродушно-круглом лице появился у меня дома: закажи ему, хоть умри, гостиницу. «Что тебе, тут плохо? — говорю. — Обижает. Половина Кубани на этом диване спит, и ничего. И половина Сибири. Западной». Жена постелила ему, вхожу пожелать доброй ночи — лежит под одеялом в спортивном костюме. «Слава, ты что?!» «Вижу, — говорит, — все чистое, да, но я и костюм перед дорогом выстирал, он тоже чистый, вот и останется белье для кого-то еще, а меня бы ты завтра с утра — в гостиницу, а?..»

Он приехал в Москву и еще раз и другой, и все — в счет отпуска, и все — на свои. Звонил, напоминал, убеждал, доказывал, пропуск просил заказать, приходил, объяснял, упрасивал — в Министерстве обороны, в Военном архиве в Подольске, в домашних кабинетах уже ушедших на пенсию генералов и никогда не уходящих в запас маршалов.

И однажды вечером — не ради Филиппова, нет, ради легендарного танкиста Лавриненко, ради святого дела — они, все, кто знал его, кто им командовал, кто о нем только слышал, собрались на квартире у маршала и стали припоминать, дополнять друг друга, как всегда, спорить, а жена маршала уже совсем по-свойски говорила Славе: «Не слушай их, пиши, что я тебе говорю, пиши. Я ведь уже пятьдесят лет все это знаю и все помню лучше них, у меня голова меньше забита... Я бы тебе, Слава, и больше рассказала, если бы не приходилось то и дело бегать на кухню, поэтому кое-чего я и не успела узнать, прослушала... Ну ты попробуй напасись-ка, в самом деле, на такую ораву!»

«Ты и об этом, — убеждал я Славу. — Обязательно и об этом. Как ты ищешь. О самом поиске». Он пугался: «Да что ты?! Зачем? Кому это надо?!» «Слава! Да московский бы мальчик в каждую такую деталь вцепился бы мерт-

вой хваткой, вцепился, как клещ в теля, да он бы знаешь как все это повернул?.. Да он бы сам стал главным героем — столько-то труда положил! — а биография Лавриненко была бы всего лишь поводом для того, чтобы героизм провить ему, бойкому мальчику!»

Маршал часто теперь зовет Славу в Москву. На праздники свои, на дружеские встречи вызывают старые полководцы защищавших Москву танковых дивизий, ему шлют приглашения из Комитета ветеранов войны, да только не всегда он может поехать — все-таки семья, двое ребятишек... Но скоро выйдет книжка в Москве, документальная книга о легендарном танкисте Лавриненко, уроженце Бесстрашной...

— А с чего, Иван Николаич, бригада началась? Как?

И тут переменялся временами насмешливый, а то и бесшабашный тон Стрельникова, он даже вздохнул:

— Бри-га-а-ада?.. — Помолчал, прищурился снова. — Началась она с собрания. Стансовет проводил в январе. По Продовольственной программе. — И опять помолчал. — Н-ну, поговорили, как всегда. Вроде пора и расходиться. — И опять вздохнул: — Тут я, значит, и вылез...

Длинная была пауза, спросить пришлось:

— На трибуну?

— Ну да. А то куда ж еще?.. Вышел, значит, и говорю: все это болтология, вот что. Сам был в стансовете пятнадцать лет председателем, а то я не знаю. Необходимо личное участие — вот принцип. Ну а из зала: как-как?! Как вот ты сам, Иван Николаич, участвовать будешь?.. Может, скажешь, мол, поделишься с нами, научишь?.. И тут я в первый раз — про подсолнухи: нехватка людей, они каждый раз и зарастают.

Слава вспомнил, видно, наш вчерашний, уже без Ложкина, горячий разговор о сельских делах, в том числе и об этой самой навязшей в зубах нехватке, быстренько протянул ко мне руку.

— Расскажи про Василя из Канады! Расскажи.

Стрельников по-ястребиному приподнял голову и снова жестко прищурился.

— Про Василя?.. Из Канады?

Я поднес было к губам палец, мол, не сейчас, не время, но Слава и сам уже, видно, понял, что увлекся: нельзя в такую минуту говорить об этом Стрельникову, нельзя! А я только ладошкой отмахнулся: ничего, мол, интересного, потом, после. Повторил вслед за Стрельниковым твердо:

— Нехватка. Они и зарастают.

Он еще миг-другой поглядывал на нас недоверчиво, потом плечи опустил и улыбнулся чуть-чуть насмешливо.

— Д-да... Я и говорю: в мае выхожу полоть. — И не выдержал, все-таки рассмеялся, шутливо взялся обеими руками за голову. — Что там бы-ыло!

— Ну а что, что? — снова уже лучился Слава. На самом деле это он мне докладывал о стрельниковских наградах.

— И что дюже грамотный, кричат. И дюже умный. И гордый. И что калекка, мол, да что ты мелешь?! И что больше всех надо... Да это если собрать!

— Ну а потом? — допытывался Слава.

— Потом что?.. Я-то себя знал. Лишь бы, думаю, в мае не заболеть. Знаешь, даже беречься, будь оно проклято, начал... Ну хоть на сохраненье ложись, если уж тогда кукарекнул!

— Ну и дожили до мая?..

— Как видите... Восемнадцатого поехал на них посмотреть. На подсолнухи. Возвращаюсь, встречают по дороге два председателя: колхозный и стансоветский. Смеются оба: «Ну и дальше что?..» «А что, — отвечаю, — дальше? Дальше так: объявляйте по радио, что в понедельник добровольцы — на прополку. Я в понедельник выхожу».

— И сколько вас сразу вышло?

Он вскинулся:

— Один! Один и вышел... Приехал по холодку, машину поставил, достал тяпку. Сам себе сказал: не оглядываться. Машиной привезут — будет слышно. Если на велосипеде кто — кликнет... На руки поплевал и вперед! Загон там

восемьсот тридцать метров. Это почти шесть соток один рядок, два — одиннадцать с половиной, если конкретно. Вот с шести до девяти я и шел... Туда. В одну сторону.

— И ни разу не оглянулись? — радовался чему-то Слава.

— Ну не помню. Может, случайно как... А вот когда к дороге лицом стал... не будешь же отдыхать — глаза в землю. Как где машина оказалась: «Может, — думаю, — все-таки едут? Даже если подвода. Мало ли? Машина обломаться могла. Или куда послали...» Нет... Около подсолнухов — никогошеньки! Тут и началось... ну не то чтобы обида — а как бы это сказать? — плохие думки. Неужели так-таки никто не приедет?... Ладно. Зубы сцепил, иду один... И вот осталось уже до дороги метров сто двадцать — сто, не больше, а со мной тут что-то такое непонятное... Вот, знаешь, не то что в поле один, а как будто один на всей земле... И так сумно! «Лишь бы, — думаю, — не схватило грудь». И только это подумал — раз!.. Я по карманам: цоп! цоп!.. Нету. И нитроглицерин в машине, и валидол... Выходит, лучше, чем есть, о себе думал. Держусь за тяпку, а оно все плывет. Как будто только я и стою на месте... а я стою! Идти к машине — это ж и точно не дойдешь, только поддайся. Так решил перебиться, стоя. Опять по карманам, там две конфетки. Всегда для внуков держу, у меня двое: Игорек и Роман. «Сегодня, — думаю, — без конфеток останетесь, пацаны, дед их сам сосет... давно я конфет, слушай...» Стало проходить помаленьку. Другой раз пишут: стрессовое состояние. От оно ж у меня и было... Хорошо, что все-таки поборол себя. Добил-таки рядок, когда маленько очухался, дошкандылял до машины, сел, отдышаться не могу... Наверно, вид был и в самом деле не очень. Потому что дома жена опять: и доже гордый, и больше всех надо!.. Прямо по протоколу того собрания, что зимой стансовет проводил. А я ей только одно: спать! Как лег — так и до утра. А утром тяпку нашел, она спрятала, и снова туда...

— Опять один?

— Сперва один, а потом гляжу... — И тут он разулыбался, Стрельников. — Ну стрессовое состояние ладно, теперь понятно. А вот когда наоборот? Когда душе хорошо? Так сильно хорошо, как перед этим — плохо?... Это когда оглянулся и вижу: двое с тяпками. Буклов Николай Федорович и Тихоненко Ефим Максимович. Оба бывшие колхозники. фронтовики оба, у меня только одна Слава, а у Ефима Максимовича — у того две... На третий день кавалерия поддержала. Чернов Иван Федорович, доваторовец, вышел. И первые две женщины с ним: Голубцова Акулина Никитична и Уткина Анна Алексеевна. Обе бывшие колхозницы тоже... Потом Величко вышла, Евдокия Антоновна. «Что ж это, — говорит, — всю жизнь звеньевой была, а тут — в отстающих?...» Ну а потом больше, больше... Однажды гляжу: Мельников Иван Захарыч, отставной капитан, моряк. Также пожилой — десятого года... А по радио, правда: «Кто только способен держать тяпку в руках!..» Шутим: «А ты способен?» «Не знаю, — говорит. — Ни разу в жизни не пробовал. У меня и тяпка не своя, а соседская...» И такой оказался настырный, они ж, правда, и раньше вот, морячки... С середины поля на руках несли, да скорей на подводу и на табор, а там камфару... называется, не пробовал... А Гамазин Дмитрий Дмитрич? На четвертый день вышел. А у него эмфизема легких. Только в работу вошли, вдруг слышу — от одного к другому по рядкам: «Нема эфедрину?... Эфедрину нема?...» Еле его спровадили, тоже на подводе пришлось, назавтра опять является!.. «Ты чего это пришел?!» Хотел его не допустить до работы, а он — как хвастливое дите: «А у меня таблеточки, а у меня таблеточки — вот они!» Так в бригаде и остался. Да, а та ж Кучеренчиха? Она девятого года. Посмотришь: не бабушка, а вопросительный знак. Всю жизнь дояркой проработала. А за два дня — тридцать соток! Вот тебе и Евдокия Ивановна! Это ж задождало, так я в район и приехал — ей за калошами.. Буду в потребиловке добиваться.

В кабинет заглянул Миша Габрилян, заметил Стрельникова и быстренько прикрыл дверь, но Иван Николаевич успел-таки его увидеть:

— Друг, друг!..

— Печатает, печатает, — успокоил Стрельникова Слава. — Сейчас заглянем к нему в лабораторию.

— Люди уже деньги сдали,— сказал Стрельников.— И не напоминал никому — сами. «Поезжай,— говорят.— Может же, ему там бумаги этой надо купить, еще какой химии — если б это одна карточка, а то полсотни...» Надо людям на память. Надо.

На одной из книжных полок в той комнате, где работаю, зажата меж стекол, стоит у меня дома эта фотография: двадцать четыре на восемнадцать... Справа на заднем плане — наш «газик», слева — драндулет Стрельникова, а посредине — его «инвалидная команда». Первый ряд с Толей Наумчиком в центре сидит на подстилках на земле; во втором на ведрах устроились; те, кто стоит в третьем ряду, нарочно слегка пригнулись, а в четвертом заметно вытянулись — вошли все. И языкастая Таня, которая брехни не любит, и тетя Маша Гусятникова, которая копала под Армавиром окопы, и бывший Гаврюша Богачков, Гавриил Васильевич, в сорок втором отдавший лошадям две картохи — чтобы только до дому дотащили. Жаль, бабушки Кучеренчихи нет, в тот день не вышла.

Приславший мне эту фотографию Ложкин пишет: «А ты знаешь, как хорошо получилось: по станице прошел слух, что у ветеранов были какие-то представители, и вот через денек-другой к ним приехал председатель колхоза. Они ему такую встречу устроили — вот бы тебе посмотреть. Качали его на руках — вроде и в шутку, а на самом деле, я думаю, были рады, что труд их заметили и наконец сказали спасибо».

Но что фотография: один раз всмотрелся внимательно, а потом часто ли глянешь? Хорошо, если на ходу скользнешь краем глаза.

Однако вот уже столько дней — на ходу, на бегу, среди разных дел, между совсем другими заботами — возвращаюсь я в тот июньский день мысленно, и память о нем не только греет душу, но и бережит, бережит ее тем больнее, чем больше об этом думаешь.

Надо ли о том, почему греет?

Несколько лет назад мы с женой приехали в Майкоп, к ее отцу и матери. Встретили нас, как всегда, радостно, но тесть мой, подполковник в отставке, тогда ему было уже под восемьдесят, был чем-то явно огорчен, скрыть ему это, как ни старался, не удавалось. Я спросил и раз и другой, в чем дело, он сперва отмалчивался, только потом, словно собравшись с духом, выложил:

— Знаешь, сынка!.. Я полковника такого-то из дома выгнал! — И он, человек удивительно миролюбивый и удивительно добрый, побагровел, наверное, как тогда в разговоре с полковником.— Вон, сказал, из этого дома!.. Чтобы ноги твоей тут — никогда. И еще сказал ему: сволочь!

Он был старый и добросовестный служака, представляю, чего ему это стоило: пусть оба давно отставники — гость имел ранг повыше.

— И было за что?

У него еще не перекипело, он явно волновался.

— Приходит: дело есть. Садись, предлагаю. Мама нам еще вина принесла — все честь по чести... По стаканчику выпили, он говорит: «В горькое был. Всем отставникам предлагают взять по гектару кукурузы. А мы с тобой должны быть застрельщиками. На общем собрании предложим такое дело. Как ты? Готов?..» Я его спрашиваю: «А ты сам сможешь прополоть? Я себя этим летом неважно чувствую. Рука отнимается. Как полоть будем?» Он смеется: «В том-то и дело, что нам с тобой полоть не придется. Мы только на собрании выступим. Я договорился, нам за одно только это по гектару запишут. За инициативу».

Вот тогда-то покойный мой тесть, как в атаку, и поднялся из-за стола, на котором стоял графин с домашним вином...

Стрельникова никто, что называется, за язык не тянул. Он сам вызвался. И сам вышел. Сперва — один. И держак мотыги был ему вместо его инвалидной палочки. А остальные, кто на поле подсолнухов пришел потом вслед за ним?..

Может, я так устроен — назовите это способностью увлекаться, а то чем-либо и еще потоньше, излишней, предположим, впечатлительностью, а хотите, так попросту недомыслием, как хотите,— но в тот первый вечер, когда только вернулись от Стрельникова и разошлись потом наконец с Филипповым по домам, я зависал у себя в блокноте: «И раньше так думал: сколько образов мя-

тущихся интеллектуалов создали за последнее время сообща дорогие мои собратья по перу! Сколько противоречивых, якобы глубины неизмеримой натур, которые только потому ничего и не делают, что никак не могут решить, где не-растроченные их силы, способности недюжинные будут всего нужней! Пусть не открыли сокровенных тайн бытия — на сколько из них хотя бы намекнули!..

Но не тайной ли прорастающего в теплой земле живого злака начинаются все остальные загадки мироздания? Как иначе решите — не пообедав?

И начало начал — не раздвоение личности. Средоточие усилий. Воля. Дело. Поступок.

Все наши герои с их архисовременными профессиями — это, конечно, здорово, да, и физики-ядерщики, и микропроцессорщики, и гении экстрасенсы, и знающие восемнадцать языков дипломаты, и закончившие зарубежные колледжи управленцы новой формации, — да, да, да, но все-таки согбенная такими земными заботами бабушка Кучеренчиха — не главная ли, забытая почти всеми из нас фигура родной словесности?..»

После, когда сел о стрельниковской бригаде писать и нашел эти строчки в блокноте, грустно улыбнулся: мол, что же ты?.. Сам всегда посмеивался над подобными истинами в последней инстанции, а тут вдруг закрутил — жуть!.. Или ты мало ездил да мало видел, или не знаешь, что вокруг пока всякого хватает, что многим и в самом деле есть отчего за голову хвататься, оставь этот тон и это незнание родной литературной критике, оставь!.. А Стрельникову Ивану Николаевичу будь благодарен за то, что после встречи с ним сердце у тебя забилось яростней... Разбирайся!

Но ведь — забилось! Но ведь — яростней. А бережит душу...

Это, наверное, в пятьдесят пятом отправилась из Предгорья целая колонна грузовиков, больше десятка, — школьников везли Москву показать. Каких только «Приветов с Кубани» не было намалевано на бортах, и гаишники — от Армавира до Тулы — с опаскою вглядывались в народное творчество и то и дело заворачивали машины на какой-нибудь эмтээсовский двор: еще маленько надставить борта, чтобы никто, чего доброго, не выпал... Из-за высоких этих бортов по дороге было ничего почти не видеть, хлопцы и девчата тянули шеи, и под Курском одна умудрилась-таки выпасть на дорогу, как раз из той школы, где директором был Ложкин. Он остался с девочкой в сельской больнице, вместе с ней приехал в Москву уже в тот день, когда всем вручали сухой паек на обратную дорогу...

А Москва! Стайками стояли на Красной площади, одно за другим делали открытия: «А Кремль-то, батюшки, небеленый!.. Или некому в Москве? Позвали бы нас!»

Их позвали совсем по другим делам: на сибирские стройки, на целину, ловить на Камчатке рыбу, уголь добывать, вести тяжелые военные самолеты, за тысячи километров от родного дома дежурить в тихих подлодках... Разве это не нужно? Как без этого!

Но все-таки, все-таки...

Иные уже изъездили мир, где только побывать не успели, чего только не повидали; а эти, из стрельниковской «инвалидной команды», только и того что прошли тогда пол-Европы — ни заявлений не подавали, ни фотокарточек шесть на девять на заграничный паспорт не приносили. Только и того, что под Армавир ездил окопы рыть, в Ростов — в госпиталь, на Украину — когда прошел слух, что живой: был сильно раненный, одна женщина выходила, так с нею остался, да неужели правда?.. В лучшем случае — к сыну в Москву, к дочке в Ленинград.

В одной моей отраденской средней школе номер один кого только не упоминали год назад в день ее семидесятилетнего юбилея: докторов наук с лауреатскими званиями, народных артистов Советского Союза, генералов и адмиралов, начальников главков, министров — пусть не больших, но все же республик!..

А они приезжают с тяжелыми тятками на инвалидных машинах с ручным управлением и полют по жаре, полют...

И все тревожней ощущение, что мы их словно бросили в поле одних, покинули, не помогли управиться — вовсе не в прямом смысле, нет.

Вот снова строчки из блокнота, написанные в Отрадной в те дни, когда ответить на все вопросы мне хотелось, что называется, с ходу: «Не придумали умных машин? Не создали условий, которые к родной станции привязали бы молодежь — душой, сердцем? Не слишком заглядывали вперед, когда славляли романтику дальних дорог? Бескорыстных добровольцев не уберегли от соседства с целой армией летунов, добрая часть которых только тем теперь постоянно и занята, что переезжает с места на место?»

А что, думалось потом, если бы эти твои скороспелые записки ты вдруг вздумал бы обнародовать в кругу достаточно хорошо тебе знакомых зубров-деревенщиков — писателей, хорошо знающих село, давно и глубоко вникающих в общие проблемы и нашего сельского хозяйства, и экономики в целом?

Так и слышу снисходительный — это в лучшем случае — смешок: да ведь это все слащавое рустословие недоучек! Значит, продолжаем, голуба, заниматься краснбайством? рещил накормить страну сердечной привязанностью к отчету дому? накормишь ли?!

Тут, может, и место рассказать о Василе из Канады.

Еще давно, осенью шестьдесят шестого года, с группой таких же, как я, тридцатилетних и помоложе ребят мы попали в Канаду. Это была первая большая поездка от нашего «Спутника», летели мы самым первым пассажирским рейсом Москва — Монреаль, когда наш «Ту-114» больше десятка часов шел без посадки, почти все время висел над холодным океаном, — то был только что проложенный аэрофлотовцами курс. Курс, пролагаемый странюю к разрядке.

Этим же рейсом летел бывший тогда послом в Канаде Иван Фадеевич Шпитько, и еще в салоне самолета он пригласил нас, когда будем в Оттаве, посетить кусочек родной территории — посольство.

Так получилось, что на приеме в Оттаве я тут же нашел себе дело: начал помогать выполнявшему обязанности бармена одному из водителей посольства, Володе.

Я к тому времени уже достаточно долго прожил на сибирской стройке, а стройка — такая штука, что привычек английского лорда на ней не обретишь, это точно. Другое дело — монтажная закваска: видишь, человеку трудно — подставь плечо. А возле бара толкалось одних только наших около тридцати гавриков, Володя явно не успевал за всеми ухаживать. Вот я и взялся помогать, тем более мы с Володей успели выяснить, что земляки: я в то время жил в Новокузнецке, а его родиной был Омск. Два лаптя по карте, как шутили у нас на стройке. Но в том ли дело?

И пока я смешивал напитки да щипцами опускал в бокалы кубики льда, Володя потихоньку рассказывал о гостях: кто есть кто.

Почти напротив бара, дружелюбно поглядывая на наших ребят, стояли двое: совсем пожилой старичок в свитерке под простеньким, выдавшим виды пиджачком и рядом краснолицый, пузатый, прошу простить, дядька в дорогом костюме и в белой рубашке с расстегнутым воротом — большой клин цветасто-яркого по тогдашней моде галстука выглядывал из бокового кармана.

Я повел на них глазами, и земляк мой словно чему-то обрадовался:

— А-а!.. Это Василь с отцом.

— Русские?

— Украинцы. Иван Фадеевич на них сегодня полдня убил. Опять в гости собрались, а он уговаривал еще пару месяцев подождать. Вот и на прием оставил, чтоб только не обиделись, хорошие люди.

— А почему им ждать надо?

Володя все посмеивался:

— Ноябрь, осень. Они у себя уже все убрали, хозяева крепкие. А на Украину прилетят, в то село, где отец жил еще мальчишкой, и пошли по соседям. Обоих медом не корми — попеть дай да песни послушать. Потихоньку-потихоньку и все село заспывало.. Да если б только одно! У них там и родни вокруг и знакомых... Ну и сплошная самодеятельность, а свекла так и будет лежать под снегом... В конце концов Ивана Фадеевича из Киева попросили: пусть зимой прилетают, что у них там — горит?

Давно это было, многое с тех пор из памяти стерлось, но вот этого самого канадского Василя с его стареньким, но бодрым отцом, который своему родив-

шесюся уже за океаном сыну не дал забыть «неньку-Украину», хорошо помню до сих пор. Более того, маленькая эта история, которой я тогда не придал значения, с годами обрела вдруг особый, свой смысл, припоминать ее стал все чаще.

Вот и в тот вечер, когда впервые вернулись от Стрельникова и говорили со Славой Филипповым, я снова ее припомнил. Ну почему, говорил я, Слава, почему, ответь, канадский этот Василь давно уже со своим урожаем управился, уже, может, и пшеничку свою между делом к нам же и определил, ему уже хочется расправить плечи, с земляками, понимаешь ты, поспивать, а землякам пока некогда, у них еще дел по горло, свекла не убрана, может уйти под снег? Ну почему?.. Что у него там, в Виннипеге, пожирнее земли, получше климат, погода всегда как по заказу? Или он уже тогда забыл, что такое тяпка, эта наша мотыга, у него гербициды, у него все что душа пожелает, машины, у него агротехника? Не знаю.

Я и в самом деле совсем, как говорится, по другой части, многого, верно, не понимаю, могу ошибиться. Но посмотрели бы вы на стрельниковскую бригаду!

Мне возражат: дело это все-таки добровольное — прополка. Не по силам — сиди себе дома. И в самом деле ведь не война. А поработал — получишь денежки. За каждую прополотую сотку. Что — разве лишние?

Тут так: денежки, если бы захотели, они могли заработать иным способом — куда более легким. Разве не приятнее, в самом деле, собирать в катавалах чабрец, материнку, зверобой? Или выкапывать в лесу коренья валерианы, ятрышника? Оно бы даже естественней — интересоваться этим делом старичкам да старушкам: уже в силу своего возраста каждый из них чуть-чуть ведун, чуть-чуть знахарь... Обидчиком природы проживший долго на земле человек стать не сможет: возьмет только то, что можно взять. Но нет же!

Посмотреть только, какие молодые богатыри травками да корешками занимаются в Предгорье! С каким рвением!

А земля здешняя и в самом деле сказочно щедра. Знаменитые золоты почвы, тысячелетия назад перенесенные ветрами сюда с Востока, из райских кущ, на месте которых лежат теперь самые большие и самые бесплодные в мире пустыни, все еще почти полнокровно питают удивительную флору Приэльбрусья.

Но помните это старинное название — золоты! — ой как сегодня необходимо. Ветры над Кубанью — черные бури — становятся год от года сильней.

Бывало, еще в пятидесятые годы в конце лета охотники на перепелку приезжали в Предгорье целыми семьями: впереди по жнивью собачка бежит — поднять птаху, за нею с двустволкой в руках глава семейства идет, он только перезаряжает и бьет, подбирают перепелок мальчишки, тут же наперегонки несут женщинам — те щиплют и потрошат, укладывают, пересыпая солью, тушки в бидоны за слоем слой... Такая была охота.

Случалось, ночью стая перепелов где-либо в степи или обочь дороги належала на провода — сколько мальчишек бежали тогда туда утром с кошелками!.. А где теперь несметные эти, в Предгорье жировавшие стаи?

Еще недавно, всего лишь несколько лет назад, из Армавира же за облепихой — за дерезой — приезжали на грузовиках-длинномерах. Чтобы не утруждать себя, ягоду на месте не брали — рубили мощный кустарник, увозили домой, там ее можно оборвать не торопясь, не исцарапав рук об иголки...

Нынче облепиха, как и многие другие деревья, кустарники, травы Предгорья, взята под защиту. Но все пышней процветает промысел, который носит название — заготовка.

«Ты вот лучше, чем над книжками своими сидеть, приехал бы домой на три месяца, — пошучивали надо мной в Отрадной старые мои товарищи. — И окрепнешь, и загорись, а главное — на целый год семью обеспечишь. Сколько у нас приспособилось — так только и живут! Сезон поработал, а все остальное время в году трать себе потихоньку, жирок нагуливай».

Самое грустное, что в этой шутке ой как много правды.

Сейчас в предгорных станицах появилось новое **поветрие**: многие бросились кормить шелкопряда. Получаешь ты, предположим, десять граммов крошечных, еле заметных червячков, почти месяц их кормишь через каж-

дые три часа днем и ночью свежими листьями шелковицы, они растут и растут, домой к тебе лаборант наведывается, следит, чтобы так и было, чтобы они росли и росли, а потом сдавай на вес коконы, получай на руки чистыми...

— И ты, Брут, не удержался! — сказал я своему школьному товарищу, когда на веранде у него увидел сделанные нарами четыре просторных полки, на которых среди наполовину объеденных тутовых веток копошились уже большие, длинной со спичку, серые гусеницы. — Или не знаешь: всех денег...

Он остановил меня:

— Ты брось, брось!.. Не забывай: шелк! Думаешь, он только девкам на платье?.. А если честно, знаешь, зачем я его взял? Чтобы Колька без дела не болтался, сынок. Пусть привыкает. Через каждые три часа, знаешь, — оно обяывает... И мотоцикл не папка с мамкой подарят — пусть сам на него и зарабатывает. Он уже присмотрел себе. Венгерский.

Я было удивился:

— Мотоцикл?

Мой товарищ понял это по-своему:

— Мы-то всего десять граммов взяли. Больше в воспитательных целях. А люди, что берут по пятьдесят граммов и не халтурят, докармливают, они уже заранее по «Жигулю» заказали.

— Такие деньги?!

— Да ты прислушайся, как он жрет! — рассмеялся мой дружок. — Треск стоит! Это ж чертова работа — его кормить!

Мы и в самом деле прислушались. От полка, где обосновался шелкопряд, доносился хорошо уловимый тугой шелест...

Никто не спорит: и травки нам нужны, и корешки, и за коконы шелкопряда платят большие деньги не зря — выходит, они того стоят. Все так.

Но сколько пропадает в поле посеянного, посаженного, с таким трудом выращиваемого людьми! Сколько пропадает!

Все кажется: над замерзшею в поле картошкой, над погибшей свеклой, над запаханными перезрелыми помидорами как бы витает серая тень предательства... И предаем мы не только нами же вызванный к жизни зеленый мир. Друг друга при этом — тоже.

Весною этого года директор племенного совхоза «Урупский», одного из лучших в районе, приказал вырубить старый ореховый сад — несколько гектаров прекрасно плодоносящего, в самой поре грецкого ореха. Объяснение приказа такое: ухаживать некому, некому сторожить орехи, когда они поспевают, все так и лезут, да ладно брали бы для себя — некоторые ими еще и поторговывают... Разве это порядок?

И Алексей Георгиевич Глущенко снял вопрос — однажды и навсегда. Что называется, под корень...

Итак, нехватка рабочих рук. Именно рабочих. Работящих: Это с одной стороны. А с другой: кроме официальных полубездельников, сколько щедрые золоты почвы взрастили в Предгорье откровенных тунейдцев? Сколько по всей Кубани? На юге вообще? Только ли на юге? Не слишком ли густо вошли они там, куда в свое время золоту почву ветры не донесли, где о ней и слыхом не слыхивали?

В прошлом году осенью группа московских писателей ездила по Кузбассу. Приехали мы и в Заводский район Новокузнецка, на бывшую мою антоновскую площадку, где раскинулся теперь громадный Западно-Сибирский металлургический завод. Когда в парткоме комбината решили, что сопровождать по цехам нас будет Вадим Кувшинов, молодой заместитель секретаря, я тут же сказал себе: обязательно поведет во второй конверторный... До того как стать комсоргом завода, Кувшинов работал в нем мастером, потом начальником смены, оттуда пришел на партийную работу. Цех этот он хорошо знал, любил, гордился им — а там есть чем гордиться... Мой старый знакомый Вадим знал еще и другое: о строительстве второго конверторного я написал не одну повесть, постоянно упоминаю его то в рассказах, то в очерках, — можно сделать человеку приятное?

Вышло так, что работала бывшая смена Кувшинова, и тут он вообще, что называется, расцвел. Стараясь перекрычать мощный гул, громко представлял



москвичам сталеваров из комсомольско-молодежной бригады Александра Морокова, а мне, улучив момент, на всякий случай тихонько, в самое ухо напоминал: «Ты-то Сашу знать должен. Знаешь? Сын бывшего начальника производственного отдела Александра Николаевича Морокова, он умер недавно. На заводе траурный митинг был. А это Игорь Сельский. Его отца тоже знать должен — он у нас начальник теплотехнической лаборатории, Бронислав Иваныч... Так что и на Запсибе уже свои потомственные есты!..»

Сам он тоже потомственный, покойного Владимира Липатовича Кувшинова. Запсиб до сих пор помнит добром, и у меня душа радовалась, когда видел их тут всех вместе — наших потомственных...

Но вот Вадим построжел лицом, кивнув на ярус пониже, нарочно сухо спросил у Саши:

— А это что? Смена кончается, а шлак не убрали?

Саша тронул под каскою затылок.

— Это Эй нас нынче подвел — почему-то не пришел, его дело...

— Какой такой Эй? — спросил Кувшинов.

— Работаем как-то в третью, — стал Саша рассказывать, — вдруг возникает перед нами: обросший весь, чуть не в рванье... «Чайку дадите? Одолжите пачку!» Хлопцы поняли все. «Вон, — говорят, — лопата. А вон — шлак». Молча лопату взял. Часа четыре, однако, отмантулил... Даем ему пачку. «Чайник нужен?» «Не надо. Плоские есть?..» Вытащил из кармана консервную банку, зажал край плоскогубцами, присел над резаком, над горелкой. На корточках выдул чай и — пропал... Думаем: уж не сон ли? Кто тогда шлак убрал? На следующий день — та же история. Сам берет лопату, четыре часа бросает. Потом подходит ко мне, тянет руку... Говорю: «Звать-то как?..» «Зови меня, — говорит, — Эй! Только на это откликаюсь».

Пока Вадим все это переваривал, Сашу забросали вопросами москвичи:

— И долго уже он к вам ходит?

— А где живет?

— Да, ночует где?

— А разговорить его не пытались?.. Хоть что-то о нем узнать?

— Только он к вам приходит? Или еще бывают «помощники»?

Саша пожимал плечами.

— Всегда один. Месяца три уже приходит. А знать ничего не знаем: он все молча. Надо что ему подсказать: «Эй!» — и все. Молча вкальвает, а потом тянет руку. Пьет и также молча уходит.

— Ну хоть вкальвает!

— Хоть молча!

Кувшинов уже принял решение:

— В общем, так: или принимайте его в бригаду, берите шефство... Или...

— Вадим Владимирович! — укорил Саша. — Может, еще и в комсомол принять?.. Достаточно того, что переодеться заставили — шуметь ему кое-какого тут принесли. Разве мы не думали?.. Ребята говорят: пусть хоть так помогает — все польза от человека!

— Ну хоть о технике безопасности вы... — начал было Кувшинов, но Саша перебил его:

— Все рассказали — от и до. И каску дали, вон висит...

Когда я рассказал об этом начальнику отделения милиции Заводского района Николаю Александровичу Паку, тот только устало улыбнулся:

— Выходит, хорошо устроился... Попробуй наш сотрудник попасть на завод! Пропуск оформляй да все такое... Они сейчас там все перекрыли, молодцы, птица не пролетит.

Если бы двадцать пять лет назад, когда на антоновской еще стояли палатки, нашелся провидец, который сказал бы нам, что такое будет, не знаю — отделался бы он от ребят только порванной на груди рубахой!..

И выходит, дело вовсе не в нехватке рук? Может, в приложении сил, способностей? В том числе умственных, интеллектуальных. И для осознания самого этого факта — в первую очередь.

Там, на Запсибе, когда мы снова припомним эту историю с человеком по кличке Эй, один из сибиряков сказал:

— Да это ведь еще не самый худой вариант, разве нет? Со своей, если хотите, этикой. Повкальвал — получи. А сколько у тунеядства других ликов! От примитивного, даже без закуски, алкачества до благопристойного вполне сибаритства — с черной икрой, с коньячком. Не на те денешки, что собственным горбом заработал, а на те, что с неба свалились... Разве нет?

В газете «Советская Россия» недавно была опубликована любопытная статья одного из наших известных социологов о нетрудовых доходах. Кроме всего прочего, говорилось в ней и о том, что наибольшее количество материальных благ сосредоточено сейчас в руках молодых людей в возрасте от двадцати трех до тридцати пяти лет. Вроде бы оно и в самом деле объяснимо: в семьях детей все меньше, круг престарелых родственников тем самым невольно расширяется, наследство за наследством достается одному и тому же: кооперативная квартира, сберкнижка, дача, машина, фамильные реликвии, драгоценности... Само собой, что проблема будильника тут давно уже решена. И проблема закрутки. И крышечек. Не говоря уж о паре калош — у них такой проблемы и не было. Но ведь это — от двадцати трех до тридцати пяти — и самая трудоспособная часть населения!.. А зачем ей, выходит, трудиться?

Заговорите о высоком сознании?..

Мы сами себя успокаиваем: бывает. Известный академик, длинную и плодотворную жизнь целиком положивший на алтарь отечества... неужели он этого не заслужил: спокойно умереть, зная, что дети благодаря его трудам праведным обеспечены.

Всегда ли академик? Если бы так — ох как далеко бы мы уже науку продвинули. А если — «королева бензоколонки», обернувшаяся к нам сейчас все не тем, не экранным своим милым лицом?.. А если — директор гастронома? А экспедитор овощной базы? Да проходимец, в конце-то концов, и спекулянт — мало их?

Но пусть даже академик. Неужели, выходит, всю жизнь он трудился не во славу отечества, а во вред ему — ради расслоения общества?

«Вся наша надежда на тех, кто сам себя кормит». Помните?

Мы часто потешаемся публично над каким-нибудь английским, четырехвековой давности, законом, запрещающим жеребцам на одной из лондонских улиц появляться без гульфика... И в самом деле — смешно.

Но только ли в них дело — в законах?.. Или дело еще и в инерции на местах, в нежелании каждый день думать: чем помочь настоящему труженику? как его самоотверженность отметить? как приподнять над тунеядцем? как от него, выходит, защитить?

Сам собою, что сделать это разумно, без перегиба не так легко. В редакции «Сельской жизни», когда об этом как раз и спорили, один из сотрудников горячился:

— Да ведь все проще простого! С теми же травками. С тем же шелкопрядом. Нравится — собирай на здоровье. И себе и всем нам. Корми его, пожалуйста. Сдавай. Греби денежку. Это твое личное дело. Но будь добренький, покажи перед этим справку, что ты уже отработал в поле, что принял участие в общем деле. Разве это не выход? Выход!

Слава Филиппов усмехнулся:

— А не помнишь, кто-то из американцев сказал... не то фермер какой-то знаменитый, не то... Он сказал: бычок набирает вес от взгляда хозяина. Понимаешь? От взгляда.

— Ну сказал, предположим. Ну и что?

— А то, что от взгляда этого-то, что за справкой на поле придет, подсолнух тут же пожухнет. Заявнет еще до того, как он его полоть начнет. А тот, что уцелеет, он потом тяпкой вырубит. Будет спешить поскорей свою справку получить. Для него бог будет эта справка. А на остальное ему плевать.

Вот мы и вернулись опять в Предгорье.

Отраденский район издавна числится в отстающих. Причин тому много, в том числе и якобы объективных: сильные грозы, начисто выбивающие градом

поля, заставляющие пересевать в середине лета; частые и сильные ветры; ранние для Кубани заморозки — на то оно и Предгорье... Сыграло роль и повсеместное увлечение зерноводством: по крутым склонам комбайны добирались до засеянных пшеницей пятачков по три-четыре гектара. Разумно ли?

Истари тяготеющий к Ставрополю — Отрадная входила раньше в Баталпашинский район (Баталпашинск — нынешний Черкесск), — дальше всех расположенный от краевого центра, район этот никогда, в общем-то, не баловали вниманием, а последние десять лет словно и совсем о нем забыли, дали, как говорится, волюшку. Может, еще и потому сильнее, чем где-либо, укоренились тут и порука, и кумовство с поблажками, и всякого рода разгильдяйство...

Помню, несколько лет назад на празднике стригалей мы разговорились — казалось, по душам — с председателем одного из самых больших в районе колхозов. Расспрашивал он меня о писательском житье-бытье, а когда узнал, что на службе не состою, что капиталов на книжках своих не нажил, начал звать к себе заместителем: ничего, мол, что села не знаешь, дело наживное, тут главное — крестьянская душа, а она, мол, есть в тебе — чувствую... Зато, мол, тут, пока будешь замом, и «материально отдохнешь» — так он выразился, — и книжку, глядишь, о колхозе кубанском напишешь... «Да и вообще, — он говорил, — чем не жизнь: в день большого праздника выходишь утречком, значит, из коттеджа, идешь меж роз по асфальтовой дорожке, а под кустом жасмина — большая плетеная корзинка, а в ней — и коньячок с шампанским, и копченая индейка, и балычок, и яблоки такие, каких ты нигде больше не найдешь...» «А если я буду против, чтобы мне такую корзинку под кустик ставили?» — спросил я у председателя. Он протянул ко мне руку, почти ткнул пальцем в грудь: «А если народ тебя полюбит, куда ты денешься?!»

Такие были дела с «народной любовью»...

Как шутят записные остряки: вместе с рисом чуть было не привилась на Кубани и известная на Востоке болезнь бери-бери... Сперва не знали, как от нее избавиться, хорошо, что потом припомнили: есть традиционное русское средство — крепкие припарки.

Два года назад в Отрадную приехал новый секретарь райкома партии Владимир Степанович Булат. Человек стремительный, энергичный, начал он бурно, и деятельность его тут же обросла множеством легенд. Вот некоторые из них.

На кош приезжает в сапогах, в телогреечке... «Газик» подальше поставил, сам — к пастухам: «У сына свадьба, баран нужен. Выручите?» «Да какой на тебя смотрит, такого и бери!..» Деньги отдает, берет. В «газик» и — прямым ходом к председателю: «Взял у тебя на таком-то коше барана, да вот думаю, что одного мне не хватит, может, подскажешь, где второго купить?!»

Приезжает на ферму. «Хочу к вам, мужики, на работу устроиться. Что посоветуете?..» А ему: «Тю на тебя!.. Да чи ты сдурел? Да мы тут не работаем, а мучаемся. Такого кабака, как тут у нас, нигде больше нету. Хочешь глянуть?» «Хочу!» За ними идет, смотрит. Говорит потом: «Да, я, конечно, к вам не пойду, это страшное дело — тут работать. А вот завтра приедет на ферму заведующий отделением, станет на рабочее место и будет тут до тех пор, пока порядок не наведет!»

Из райкома вышел и — в парк, где раньше алкоголики собирались... «А ну-ка, давайте, — говорит, — ребята, в кружок. Давайте-ка сегодня мирно за жизнь поговорим. Подчеркиваю, — говорит, — сегодня — мирно...» Ты хоть одного теперь в парке видел?.. Никто больше не валается. Вот.

Раньше у нас чем выбраковка овец кончалась?.. Повезут в Армавир на мясокомбинат — они или по дороге подохнут, или там уже, пока машина в очереди стоит. Бывали в яму дохлятинку — и домой порожнячком. Так он на этот раз — что? Сам поехал на мясокомбинат, договорился: суббота и воскресенье — наши. Дали только дежурных слесарей да механика, а бойцы и другие рабочие — все свои, из района. Мобилизовали транспорт. И за два дня — три тысячи овец... Ни одна зря не пропала. И хозяйствам прибыль, и люди с баринкой...

Он в феврале, когда теплынь была, картошку дома посадил, а недавно выкопал — с кулак!.. В кармане носит. На поле с агрономом приезжает: «А ну похвались, копни куст, давай посмотрим, чья больше?» А куда там!

Воскресник был. Их теперь булатниками называют, слышал?.. Косить помогали. Ну, правда, хорошо поработали. Умотались. Вдруг люди видят: подъезжает машина с бочкой пива на прицепе. Мужчины за кошельки, а им: «Нет, ребята, это — бесплатно. Но только — по две кружки, не больше». По паре кружек выпили — бочка дальше. А тут другая подъезжает: с холодным кваском. Для пацанов и для женщин. Он распорядился. Булат.

Может, еще?.. По району их, легенд, ой сколько нынче ходит!

Когда мы с Владимиром Степановичем с самого раннего утра и до позднего вечера ездили однажды по угодьям «России», меня все сперва подмывало спросить: что приукрасили? что правда?.. Но я так и не спросил. Может, потому, что карман его серого пиджака и в самом деле оттопыривала большая, с кулак, картоха?.. И это вроде бы давало основание верить и всему остальному? Может, по другой причине. Я думал примерно так: чего расспрашивать?.. Если говорят люди, значит, рассказы эти живут уже как бы и сами по себе. Ведь я же их не придумал — услышал. А было, не было — теперь это и не важно. Что будет — вот в чем главное. Полностью ли это совпадет: большие надежды и то, как новый секретарь поведет дела дальше? А только тогда ведь и возможен тот общий рывок, ожиданием которого — и это ощущаешь — живет сегодня Предгорье.

Многое тут уже обернулось добром для колхозников — и обильное травосеяние, и упор на выращивание семян, — и все же говорить о стратегии сегодняшнего руководства в районе, наверно, пока рановато. А тактика здесь скорее всего такая: если на первых порах не приумножить, то хотя бы сберечь все, что должно сберечь — от ягненка до зеленого стебелька.

Дается это непросто.

Бесперывные воскресники в Отрадной и в самом деле окрестили булатниками. Одни произносят это новое слово с торжеством — наконец-то, мол, до нас до всех добрались, — другие только со вздохом — никуда, мол, не денешься: надо, хоть и не хочется, — а третьи с откровенной усмешкой: в этом ли дело? так ли, мол, надо начинать?!

Так, нет ли — в станице кого только с тяпкою не увидишь!.. Как молвим: «Коли будем живы» — тут, намечая какие-либо общие дела, непременно сделаю оговорку: «...если только полоть не пошлют».

Организовать внеурочную работу стараются как можно лучше, как можно душевней отблагодарить за нее: и пиво с кваском в косовицу правда привозили — отчего бы не потратить на человека полтинник, если он тебе отмахал на полновесные восемь — десять рублей, — угощают в поле свежим — только что с фермы — молоком, не жалеют меда. И все же, как бы там ни было, на воскресники выходят все те, кто и без того везет воз. А дорогие наши четверть, одна треть, полу- и целиком тунеядцы?

В «России» мы остановились около одной из полеводческих бригад: может быть, секретарь райкома решил взглянуть на семенную свеклу, может, выяснить, почему люди не работают. Было уже далеко за полдень, а женщины все еще отдыхали на краю лесополосы, недалеко от дороги. Оказалось, они только закончили рядки, и Булат немного прошелся по одному из них, для начала полотьщик похвалил, но потом потихоньку журить начал: сорняков не оставили, но прорывать свеклу забывают, оставляют в кустике по три-четыре ростка — будет ли с такой свеклы толк?

— Да ведь все равно какая-нибудь найдется, разопрет остальные! — заступилась за бригаду одна из женщин.

— А по-моему, это разговоры — что разопрет, — начал убеждать ее секретарь. — На самом деле такого не бывает.

— Скажете, не разопрет?!

Тут возник сначала полусутиливый, а потом все более горячий спор между новой агротехнической наукой и древним опытом, а когда все аргументы и с той и с другой стороны уже, казалось, были исчерпаны, женщина вдруг переменяла задорный тон, в голосе у нее послышались неожиданные слезы.

— Да все мне ясно, может, оно и ваша правда, но ведь хочется сделать поскорей, зачем, думаешь, лишний раз нагибаться, я детей одних дома бросила, а он, паразит, четвертый день пьет, на это у вас глаз как и нету!

Поддержали ее чуть не хором:

— А то неправда?!

— Это сколько ж можно на бабах выезжать?

— А они — по ларькам!

— Вот вы нам тут: «На что жалуетесь?» Это самая главная жалоба и есть!

— Попреварились в бездельников, пораспустились!

— Чего там — дали им поводок, дали!

Булату пришлось обе руки поднять.

— Вы хоть не все сразу, не все! — Когда женщины немного утихли, сказал: — Вы же знаете: за мужичков мы уже взялись. Знаете?

Они опять зашумели:

— Значит, плохо пока взялись! Толку нема пока!..

Вроде бы и верно: взялись.

Еще в Москве, открывая дома «Сельскую жизнь», я то и дело наткнулся на отчеты о сходах граждан — то в одной станице, то в другой... Но почти в каждом из них говорилось о плохой подготовке собрания, о том, что многие из ту-неядцев да алкоголиков на них не явились, а те, что пришли, вели себя вызывающе, жесткого разговора с ними не получилось, сход был похож на перебранку, даже в самой Отрадной.

Из парка в центре станицы, который много лет был для них надежным пристанищем, алкаши нынче убрались, но ведь не на работу же они вышли — просто нашли себе новое место: на бережку Урупа, подальше от глаз... И хоть висят по колхозам на видном месте «черные доски» с именами лодырей и прогульщиков, толку от этого пока маловато.

Уже на нашем обратном пути из «России» секретарю райкома сообщили горькую новость: в соседнем хозяйстве только что погибли две с половиной сотни овец. Пастухи отстриглись, закрыли отару в базке и запьянствовали. Три дня овечки голодали, а когда их выпустили наконец, набросились на сочные июньские травы и тут же объелись...

Мы сидели рядом на заднем сиденье «газика», Владимир Степанович ерзал, и на руку мне иногда ложилась крупная картоха из кармана его серого пиджака.

— Нет, вы представляете: каждого больного ягненка выхаживали, потом старались до срока не выпустить, чтобы вместе с крошечной травой земли не наелся да не заболел от этого, а тут — на тебе: двести пятьдесят овец сразу! Единым махом!.. И еще вот что: ну даже если такое случилось — загуляли, где специалисты были три дня, не могли разве наведаться? Ведь почти у каждого машина!

А я думал: «Попробовать его утешить, сказать, что раньше в Предгорье и не такое бывало?»

Как-то несколько лет назад уснул в лесополосе махальщик с флажком, который должен был снизу указать летчику границу опыления, тот прихватил несколько гектаров пастбища, рассыпал химикаты перед отарами — тогда погибло полтысячи овец сразу.

Скотина она и есть скотина, и вместо души у нее, как исстари считается, — один пар, но все же это живое, теплое, без чего немислима и твоя собственная жизнь на зеленой нашей земле... Как все это совместить: фронтовики-инвалиды, старухи из добровольной «команды» Стрельникова стараются случайно не наступить на неокрепший росток, а рядом происходит совсем другое, что, несмотря на отсутствие души у бессловесной твари, сильно все-таки отдаёт душегубством.

Может, еще и потому, что губится при этом и собственная — если была — душа и подтачивается то общее, неделимое, одно на всех — дух народный.

Не просто, думал я, будет в Предгорье работать Владимиру Степановичу Булату, вокруг которого уже возникло столько легенд, ой не просто!

В Москву я ехал поездом.

Предгорье давно осталось позади, за окном вагона разворачивалась поделенная лесополосами на строгие прямоугольники зеленая равнина, на которой, казалось, ухожен был каждый квадратный метр — даже рядом с насыпью, по полюсе отчуждения, тянулись одна за другой бесконечные бахчи.

Ехал я один, но, как это бывает, все казалось, что, оторвись от окна, загляни в купе, — увидишь и Ложкина, который не решился отправить почтой найденный им недавно древний кубок — в Исторический музей повез показать сам; и Славу Филиппова, которого опять позвали на встречу ветеранов — теперь под Волоколамск; и Перевалова Ивана Ильича из стрелниковской бригады — отправился навестить сына-майора; и этих двух — Пинкус Светлану Анатольевну и Марченко Марину Анатольевну, которые решили на свои трудовые прокатиться посмотреть Москву, посмотреть Кремль, который так-таки и не собрались до сих пор побелить...

Но вместо них сидел в купе симпатичный, лет сорока мужчина — председатель сельского Совета одного из причерноморских поселков.

Я, видно, все еще переваривал увиденное в Предгорье, все возникла в памяти эта картина — стрелниковская бригада на краю взрыхленного поля... Вроде бы ни с того ни с сего начал о ней рассказывать своему попутчику и тут же пожалел: ну зачем, зачем, еще и сам не разобрался как следует, может, никому это, в общем-то, кроме тебя, неинтересно? Попытался перевести разговор на что-то другое, но попутчик мой уже загорелся, стал дотошно расспрашивать, выпытывать подробности, о которых я и не знал. Тут уж мне захотелось пыл его поумерить: да что, мол, в этом особенного? Он загорячился: «Да вы чудеса рассказываете! Понимаете? Чудеса!» И вдруг приумолк, начал потом уже другим тоном, словно сам с собой рассуждал: «А может, наоборот? Так и должно быть? А это у нас там — чудеса? Наши приморские поселки... Человек на Севере отработал, потом приехал, купил дом. Деньги отдал — ого!.. И словно пытается потом самому себе возместить. С теми, кто сто лет живет в этом поселке, — наперегонки давай... У тебя двадцать отдыхающих? Возьму тридцать! А попробуй-ка тридцать человек бельем обеспечить. Тут поневоле все остальное бросишь, хватило бы времени простыни постирать да погладить. Некоторые и кормить постояльцев умудряются. Посмотришь: где пансионат, а где частная лавочка?.. Не сразу и разберешь. Вытащи такого поработать в сад, в поле. Да ему хоть трава не расти! У него — сезон. Сезон кончится — тогда поговорим. Да и потом не вытащишь. Зато советы давать!.. Зато указывать! Требовать! Тут он тебе и защитник природы, и враг пьянству-хулиганству, и наставник молодежи, и вообще — борец за справедливость: хоть мой дом рядом, не для себя фонари повесить требую — для рабочего класса! Людям рано утром по темноте — на работу! Живет — рукой не достать, а все перед ним советская власть в долгу, все она в долгу!»

Я вспомнил свое недолгое житье на Кубани после двенадцати лет в Сибири, на стройке, вспомнил это грустное ощущение, которое и сегодня отзывается в душе болью, — от разницы между неумением устроиться, тихим самоотречением тех, кто приехал в теплые края по жестокой необходимости, часто из-за болезни детишек, и самодовольным напором, деловой хваткой других — кто отвоевал-таки наконец себе место под южным солнцем!..

Мой собеседник вернул меня к «инвалидной команде» из Предгорья: «Критиковать-то легче всего, так? И советы давать».

...А Стрелников снова вышел работать, и вот захотелось ему снять на память свою бригаду. На фоне неба...



---

---

УИЛЬЯМ СТАЙРОН



## И ПОДЖЕГ ЭТОТ ДОМ\*

Роман

— **М**не надо протрезветь, мне надо протрезветь,— бормотал он снова и снова.— Есть дела. Спасибо, Леверетт. Поппи, свари побольше кофе. Мне надо протрезветь.

Мы тащили и толкали Касса через опутанный кабелем двор.

— Силы небесные,— приговаривала Поппи тонким детским голоском, пыхтя от натуги.— Силы небесные! Говорила я тебе утром: протрезвись. Ты меня не слушаешь! Ты просто... неисправимый, вот и все.

— Неисправимый,— пробормотал он.— Мне надо протрезветь.

— Какой же ты упрямый, Касс,— сокрушалась она, шмыгая носом.— Подумай о детях! Они же видели тебя, видели эту гадость!

— Мы тебя видели!— зазвонили они сзади. Тоненькие, в ночных рубашках, с темными серьезными глазами, они были хорошенькие и свеженькие, как две маргаритки.— Папа, мы тебя видели!

— Фу ты!— закричал Касс, споткнувшись о кабель.— Я, правда, что-то делал, или мне приснилось?

— Подумай о своей язве!— сказала Поппи.

— Господи боже мой, я спятил. Протрезви меня!

Через зеленую дверь мы вошли к Кинсолвингам. Они жили — описываю по первому впечатлению — в пустынной, тускло освещенной комнате с двустворчатыми дверьми в дальнем конце; как и у Мейсона, двери выходили на хмуро мерцавшее море. В остальном же — никакого сходства с хоромами Мейсона, и, может быть, по контрасту с ними это жилище показалось мне таким анархически-неряшливым и запущенным. А может быть — из-за пеленки на полу перед входом, которая влажно хлюпнула у меня под ногой. Так или иначе, когда Касс повалился ничком на какую-то засаленную лежанку, а Поппи с детьми ушла в другую комнату, я еще раз огляделся и пришел к выводу, что отродясь не видел такого стойбища. Тарелки и чашки из-под кофе стояли повсюду. В воздухе витал назойливый загадочный душок, не совсем чтобы гнили, но чего-то родственного — вроде того места, где мусорные ящики томятся дни напролет своей незаполненностью. Штук десять пепельниц оцетинились сигарными окурками, а некоторые окурки были запихнуты в бутылки из-под вина и кока-колы, и один даже действовал, извергая зеленоватый жирный дым. Пол был завален итальянскими книжками комиксов с Мики-Маусом, превратившимся в Тополино, со Стефано Каньоном, Пикколо Абнером и Суперуоом<sup>1</sup>. Через комнату тянулась бельевая веревка, провисшая под тяжестью благоухающих и, по-видимому, мокрых пеленок, а с единственного в комнате предмета, который внушал надежду, — с большого деревянного мольберта — словно казненная, свисала замурзанная кукла с испуганными пуговичными глазами. Касс со своей лежанки громко и хрипло требовал у Поппи кофе. Когда глаза совсем привыкли к мглистому жилищу, я увидел, что откуда-

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 1, 2 с. г.

<sup>1</sup> Мики-Маус Стив Кэньон, Малыш Абнер, Супермен—герои комиксов.

то из потемок на нас движется фигура, принятая мною сперва за призрака Панчо Вильи,— молодой круглолицый усатый карабинер, с головы до ног затянутый в патронташи; с неотчетливым бряцанием и звяканьем, обнажив в зевке ослепительные зубы, он прошел сквозь стаю мух и приветствовал меня меланхолическим *buonase*<sup>2</sup>.

В омраченном моем состоянии я вполне был готов к аресту, но полицейский мною не заинтересовался, а, лениво ковыряя в зубах, прошел прямо к койке Касса и положил руку ему на плечо.

— *Povero Cass*,— вздохнул он.— *Sempre ubriaco. Sempre sbronzo. Come va, amico mio*, О. К.<sup>3</sup>

Говорил он тихо, печально, почти нежно. Касс молчал. Наконец из подушки, вялый, но на чистом итальянском языке, послышался ответ:

— Не совсем о'кей, Луиджи. Дядя плохо провел ночь. Протрезви меня, Луиджи. У меня дела.

Полицейский нагнулся к нему и мягко проговорил:

— Вам надо лечь, Касс. Поспать. Это сейчас самое полезное. Поспать. А дела подождут до утра.

Касс со стоном перекатился на спину, закрыл глаза локтем и шумно задышал.

— Господи, все кружится и кружится. Я спятил, Луиджи. Который час? Вы что тут делаете в такое время?

— Паринелло назначил меня на ночное дежурство. Свинья. И опять, могу поклясться,— потому, что я интеллигент, а он непросвещенный болван, презирующий мысль. (Полицейский-интеллигент! Я не верил своим ушам.) Этого и следовало ожидать. Помните, я вам рассказывал...

Касс со стоном прервал его:

— Хватит об этом, Луиджи. Сердце обливается кровью, когда вас слушаешь. У меня на с т о я щ и е неприятности. Мне надо протрезветь. Поппи!— завовил он.— Поторопись с кофе!— Он перевернулся на бок и, мигая, посмотрел на полицейского.— Который, вы сказали, час? У меня в голове вата.

— Третий час,— ответил Луиджи.— Я был возле гостиницы. Там всякое кинооборудование. я должен за ним присматривать. Знаете этих крестьян из долины: дай им волю — разберут пароход и по частям утащат. В общем, я услышал прекрасные звуки Моцарта — из виллы, очень громко — и понял, что вы не спите. Вот зашел поболтать — и что я вижу?— Он развел руками.— Никого. Вас нет. Поппи нет. *Vambini*<sup>4</sup> нет. Только проигрыватель: с-с-п-т, с-с-п-т, с-с-п-т! Я его выключил и остался присмотреть за другими двумя детьми. Я подумал: непохоже на вас — оставить так пластинку. Вы совсем испортили «Дон Жуана».

Касс приподнялся, сел на край койки, обвел комнату обалделым взглядом.

— Спасибо, Луиджи.—Вы гений. Тьфу ты, я, правда, видел одно время пустоту. Громадную, потрясающую пустоту. Меня было слышно от гостиницы? Хорошо еще, сам сержант Паринелло не заявился.— Касс замотал головой, словно пытаясь прогнать туман. Я почувствовал, что тут происходит борьба. битва; он медленно и мучительно выбирался из алкогольного тумана — так изнуренный пловец сантиметр за сантиметром продвигает себя к спасительному берегу. Он опять помотал головой, потом хлопнул по ней ладонью, словно выбивая воду из уха.— Дайте подумать.— Потом повторил громче:— Дайте подумать! Что я должен был сделать?— Взгляд его упал на меня, и в глазах мелькнуло удивление: наверное, он вообще забыл, что я тут.— А-а, это вы, Леверетт,— с улыбкой сказал он по-английски.— Ей-богу, по-моему, я вам чем-то обязан, но чем,— добавил он, сняв очки и протирая красные глаза,— чем, почему, за что — понятия не имею.— Он встал, хотел пожать мне руку, но споткнулся об один из бесчисленных и безымянных предметов, усеявших пол, плюхнулся обратно на кровать и надсадно закашлялся.— *Questi sigari italiani!*<sup>5</sup>— провыл он между приступами кашля.— Из чего их делают, эти сигары! Из козьего дерьма! Из поповских экскрементов! Слышите, Луиджи... кха! кха!.. мне надо на рентген. У меня

<sup>2</sup> Добрый вечер.

<sup>3</sup> Вездный Касс. Всегда пьяный. Всегда под мухой. Как дела, мой друг, о'кей?

<sup>4</sup> Детей.

<sup>5</sup> Ох эти итальянские сигары!



уже труха внутри... кха!.. Чем я травлю мою бедную утробу! Протрезвите меня, Христа ради! У меня дела!

— Povero Cass, — сочувственно промолвил Луиджи, — почему вы с таким упорством топите себя, губите себя, уничтожаете себя? Примите таблетку, лягте спать.

В полумраке я разглядывал Луиджи. Это был хорошо сложенный, аккурат-но подстриженный молодой человек, даже интересный, несмотря на некоторую насупленность и общее у полицейских всего мира упрямое, почти церковное отвращение к шутке. Он смотрел на Касса хмурясь, усталый и недовольный: во всех странах полицейским недоплачивают, но если голубые глаза нью-йоркского полисмена нередко внушают страх, а в глазах парижского проглядывает злобная истерика, то в глазах итальянского карабинера отражается неизбыточная, спокойная, меланхолическая тоска о деньгах, чем и объясняется, наверно, что его, как ни одного, пожалуй, полицейского в мире, постоянно подкупают.

— Почему вы не хотите свернуть с опасного пути, Касс? — сказал он. — Который месяц я объясняю вам, какими ужасными опасностями чреват такой образ жизни? Неужели вы не понимаете, что это может привести к роковым последствиям? Неужели вы не понимаете, что с вашей желудочной болезнью шутить уже нельзя? И надеюсь, что не покажусь вам напыщенным, если позволю себе спросить: до конца ли прочувствовали вы всю ужасающую перспективу вечности?

— Gesù Cristo!<sup>6</sup> — закричал Касс. — Итальянец-кальвинист!

Луиджи скорбно переглянулся со мной — как врач, чьи худшие опасения подтвердились.

— Нет, — снова обратился он к лежавшему, которого сотрясал кашель, — нет, мой дорогой друг, я не религиозный человек, о чем вы прекрасно знаете...

— Вы фашист, что не лучше, — спокойно и как бы вскользь бросил Касс. — Как вы можете быть фашистом, Луиджи?

— Я не религиозный человек, — продолжал Луиджи, не обращая на него внимания. — и вы это прекрасно знаете. Однако я изучал философов-гуманистов — француза Монтеня, Кроче, грека Платона, не говоря уж, конечно, о Габриэле д'Аннунцио, — и если обнаружил у них какой-то высший принцип, то вот какой: самый тяжкий моральный грех — это самоубийство, желание смерти, которое вы обнаруживаете с такой мучительной ясностью. Безумцев я, конечно, исключаяю. Добро есть уважение к силе жизни. Неужели вы не пытались взглянуть в ужасающую перспективу вечности? Все это я вам уже говорил, Касс. Абсолютная пустота, il niente, la nullita'<sup>7</sup> без конца и края, жерло тьмы, в которое вы летите стремглав, забвение, небытие, ничто. И хотя это само по себе страшно, неужели вы не способны понять, что это пустяки по сравнению с моральным грехом, который вы совершаете, отказываясь от жизненной силы, воспетой д'Аннунцио, и этим отказом обрекая жену и детей на ад безотцовщины, на чудовищное...

— Луиджи, вы ненормальный, — бесцеремонно перебил Касс и встал на ноги. — Я люблю вас как брата... — Он положил свою лапу на плечо Луиджи и с ухмылкой повернулся ко мне. Он совсем не протрезвел, его пошатывало, но лицо уже не было отсутствующим, как во время позорной сцены наверху. — Это в самом деле замечательный мальчик, — сказал мне Касс по-итальянски. — Интеллигенты, пожмите друг другу руки.

Степенно с уctивым поклоном Луиджи пожал мне руку.

— Представьте, такой чудесный мальчик — фашист! И гуманист! Вы видели когда-нибудь такую ерунду? Поглядите на него — фашист! А ведь мухи не обидит!

— Я не божья коровка, — сухо возразил Луиджи.

— Конечно, нет. — Касс дружелюбно ткнул его в бок. — Конечно, нет, мой друг. Но вы ненормальный. Ну зачем вам быть полицейским в Италии, в жалком приморском городишке, мучаться за гроши, натирать себе мозоли? Скиньте эту форму и подавайтесь в Южную Калифорнию. Будете зарабатывать миллионы! Луиджи Мильиоре, консультант по философии гуманизма! С вашей внешностью вы разбогатеете и будете купаться в любви. Да все эти дерганые, перестоявшие

<sup>6</sup> Господи Иисусе!

<sup>7</sup> Ничто, пустота.

ся, безмозглые бабенки слетятся на вас, как мухи на мед. У вас будет кабинет, кушетка, уложите там такую глупую хорошенькую калифорнийскую блондиночку, будете заливать ей про благородного философа-гуманиста Габриэле д'Аннунцио и про жуткие горизонты вечности и не успеете оглянуться, как по... извиняюсь, по уши...

— Шутки на эту тему неуместны, — мрачно сказал Луиджи. — Кроме того, как вы знаете, я не имею желаний ехать в Америку. Касс, я серьезно за вас беспокоюсь.

— Sciocchezze!<sup>8</sup> — сказал Касс, вскинув руки. — В жизни не слышал такой ерунды. Все итальянцы хотят в Америку. Все! Признайтесь же честно, Луиджи. Вы л ю б и т е Америку. Вы ее обожаете! Не морочьте дядю Касса.

— Я не хотел бы об этом говорить, — нахмурясь, ответил Луиджи. — И не вижу смысла здесь оставаться, если вы преследуете цель выставить меня дураком. Вы испытываете мое терпение, Касс. Вы твердите о своей дружбе ко мне, но вы слишком много шутите. Я неизменно пытаюсь быть вашим другом, ибо полагаю, что мы родственны по духу. — Он пожал плечами. — Я просто хотел помочь, а вы насмехаетесь.

— Знаю, Луиджи, знаю. Я безнадежный пьяница, скользку по наклонной плоскости, мне нужна рука помощи. Я люблю вас как брата. Вы были мне щитом и оплотом, помимо того что выпили весь мой вермут. Только, ради бога, не гудите мне про ужасающую перспективу вечности. Почему вы знаете, какая она, вечность? Вы просто хотите запугать меня, Луиджи.

— Созерцание вечности внушает ужас, — ответил тот без улыбки. — Nullita, oscurita<sup>9</sup>, как нескончаемый снег. Таково мое представление о ней. Темная белизна...

— Ерунда, Луиджи! А если я вам объясню, почему умереть хорошо? А если я вам скажу, что вечность — это тихий уголок, что там трава и камни, и бежит ручей, и над тобой синее небо, и овечки на лугу, что там играет рожок и звонят колокола? Если я скажу вам, дорогой мой друг, что вечность не сильно отличается от той красивой деревушки в долине, от Трамонти, которую вы так презираете? Если я скажу, что вечность — это утоление жажды у родника, где бьет вода из растаявшего снега Апеннин, где можно лежать под кедрами и смотреть, как на солнечной лужайке пляшут и резвятся девушки, лежать в полном покое и безмятежности? Ну, если я вам так скажу? Как вы на это посмотрите, Луиджи? Я буду прав или вы? поверите вы мне?

— Я вот как посмотрю, — отвечал Луиджи с важностью филина, — я решу, что вы предаетесь мещанской романтике. Что вы рассказываете мне приторные сказочки. Как говорит д'Аннунцио: «Вся жизнь — здесь и сейчас...»

— Vero!<sup>10</sup>, Луиджи! Конечно, вы правы. Но кончим эту лихорадочную болтовню. У меня еще дела не сделаны. Вы отвлекаете меня, не даете протрезветь. Эй, Поппи! — завopil он через плечо. — Porta il caffe, subito! E due aspirine!<sup>11</sup> — Он повернулся ко мне с ленивой улыбкой и продолжал, даже не заметив этого, говорить по-итальянски — на зависть чисто и бегло, как на родном: — Могу вам предложить только стакан самбукского красного — мой буфетчик скрылся с ключами и оставил нас без «Джека Даниэлса».

— Нет, спасибо, — ответил я по-английски, — но от кофе я бы не отказался, да и от аспирина тоже.

— Quattro aspirine!<sup>12</sup> — крикнул он Поппи. Потом сел на кровать, покачнулся уже сидя и начал откупоривать бутылку красного вина. Луиджи грустно следил за его действиями.

— Мне надо продолжать обход, Касс. Мне крайне огорчительно оставлять вас в таком состоянии. Вы намерены выпить еще целую бутылку вина? По-моему, вы сошли с ума. — Он надел фуражку и медленно направился к двери. — Теперь я думаю, что вы сошли с ума. Иметь дело с сумасшедшими выше моих сил. Вас безусловно заберут в Салерно и посадят в сумасшедший дом. И все будут опечале-

<sup>8</sup> Ерунда!

<sup>9</sup> Ничто, темнота.

<sup>10</sup> Правильно.

<sup>11</sup> Неси кофе, живо! И два аспирина!

<sup>12</sup> Четыре аспирина!

ны этим до глубины души — кроме вас, конечно. Я сделал все что мог. Buona notte<sup>13</sup>. — И с удрученным видом, явно мешкая, вышел из комнаты; но потом высунул голову из-за двери для последнего предостережения: — Сумасшедший дом в Салерно я видел собственными глазами. Я видел его, Касс, это превосходит всякое воображение. Это средневековье. — И он ушел.

— Прекрасный мальч, — сказал Касс, продолжая возню с бутылкой. — Ему бы адвокатом быть в Неаполе, а не деревенским жандармом, но слишком много завихрений в голове. Совершенно фантастический тип. Вообразите! Фашист-гуманист! Когда-нибудь я вам про него расскажу. И мистик. Господи! — Он с хлопком вытащил пробку. — Попробуйте самбукского красного.

— Нет, спасибо, обойдусь кофе. А может, и вам сделать передышку, Касс? — осторожно сказал я. — Вы ведь сами говорили, что вам надо проветрить голову, что у вас дела...

Он долго смотрел на бутылку, потом на пол, потом с заискивающей улыбкой посмотрел на меня. Он колебался; несколько мух с сонным гудением кружили у нас над головами.

— Ей-богу, — наконец сказал он, — вы правы как никогда. Да вы просто ангел-хранитель, плюньте мне в глаза. Спустились с небес, чтобы спасти беднягу Касса из лап наемого, хищного антропоида. Отвести от его бледных уст эту чашу... — Он с горечью посмотрел на бутылку. — Яду.

Друг он швырнул бутылку в угол; она ударилась об пол среди мусора, но чудом не разбилась, а выбросила на стену длинную багровую струю.

— Ни разу в жизни этого не делал. — Он хохотнул. Потом завалился на кровать, задрал ноги в защитных брюках и заревел по-английски и по-итальянски: — *Brutto maiale!*<sup>14</sup> Паршивый пс! Господи, дай мне силу, дай мне мужество! Шанал кровосмесительный! Господи, укрепи мою руку! — Он зашелся в лающем кашле и воздел к потолку увесистый кулак. — *Vigliacco!*<sup>15</sup> Растлитель младенцев! Акула гнилотная! О господи, дай мне силу! Господи! Неужто нет справедливости? Неужто мало лишить меня ума и богатства, гордости и рассудка, а надо еще сделать т р у с о м? Господи, полюби меня! — с мольбой ревел он небу. — Научи меня, как повергнуть эту ненасытную похабную свинью! Научи, господи! Дай мне смелости встать против него, и я протащу его за дряблую мошонку по Новому Иерусалиму!

Друг он умолк и, передернувшись, с глубоким вздохом лег на кровать. Помолчал, потом закричал и глухим голосом, в котором не осталось и следов воодушевления или юмора, а только одна безнадежность, сказал:

— Человек умирает, Леверетт. Умирает, и я должен помочь. Мне надо быть ловким вором, а для этого надо протрезветь. — Он опять замолчал, а я пытался сообразить, к чему он клонит, и слышал только его тяжелые свистящие вдохи и выдохи. — Очень неприятно вас выгонять. Вы были ангелом. Но человек умирает. Это я не о себе. Без дураков, Леверетт. Дело серьезное. Если бы вы... что-нибудь со мной сделали — саданули бы пару раз, вкатили какой-нибудь укол, чтобы я очухался... и сумел бы спереть эту вещь, я был бы вам вечно благодарен. Мне надо быть на ногах, старик. Вы сделали доброе...

В этот миг Поппи, все в том же замусоленном кимоно, все в тех же неприглядных бигуди, вошла с полным кофейником.

— Касс Кинсолвинг, — заворчала она, — может быть, кончишь трубить, как слон или не знаю кто, угомонишься наконец? — Она поставила перед нами две чашки и налила кофе; в моем плавал ее светлый волос. — Ты просто невозможен, Касс. Просто невозможен! Напиваешься, напиваешься и позволяешь Мейсону унижать и позорить тебя. А теперь еще детям спать не даешь! Почему ты не стараешься вести себя прилично? — Пока она несла от захламленного буфета сахарницу и сморщенный лимон, я разглядывал ее милое лицо. Даже в бигуди и с жирным слоем крема на щеках она была похожа на фею — трогательное, непосредственное и диковатое существо, скромное и вместе с тем не совсем земное — такое существо вполне могло бы выпорхнуть из леса. — А какими ты словами вы-

<sup>13</sup> Спокойной ночи.

<sup>14</sup> Гнусная свинья!

<sup>16</sup> Мерзавец!

ражаешься,— продолжала она.— Когда на тебя находит. Я стараюсь, чтобы дети говорили на хорошем английском языке и на хорошем итальянском, а ты выражаешься безобразными словами. Я уж не говорю,— добавила она, сердито раздувая ноздри,— как ты склоняешь отца нашего. Просто хулиганство! Не понимаешь, что ли, как это может сказаться на их психологии?— Она кинула на стол две оранжевые облатки.

— Что это?— удрученно спросил Касс.

— Детский аспирин. Все что осталось. Из той бутылочки, что Мейсон дал... Ух, ужасный человек!

— Господи Иисусе,— промычал Касс и уткнул лицо в ладони.— Почему ты не ухаживаешь за мной, Поппи? У меня голова болит!— Мутным взглядом он посмотрел на нее, потом на меня, словно призывая засвидетельствовать его страдания. Потом помотал головой и шумно отхлебнул кофе.— Да, сыграл он с мужчинами шутку. Сам начинил нас гормонами, в расцвете молодости заставил заниматься темным делом и за это же насрал на нас горластых головастиков. Скверная шутка. Поглядите вокруг, Леверетт! Видали вы такую nepотpeбную мерзость, такую непролазную трясину? Это считается моим ателье — извините за высокопарное выражение. Я ведь красил когда-то. Посмотрите на это, ради бога! Мики-Маус. Пеленки. Куклы. Старые заслуженные кильки под кроватью; это они воняют который месяц. Вы холостой, Леверетт? Взгляните же на сию картину семен... извините, семейной жизни и остерегитесь. Жениться на католичке — все равно что превратиться в племенного жеребца. Вы видали что-нибудь подобное? Богом клянусь, нет на свете ничего подобного к западу от трущоб Бангкока. Что-нибудь похожее видели? Господи, как голова болит!

— По-моему, квартира как квартира,— бессовестно соврал я, глядя на Поппи.

— Конечно!— воскликнула она.— Могло бы быть поопрятней,— а если ты такой умный, Касс, почему ты сам не возьмешься ухаживать за четырьмя детьми, стирать, готовить и не знаю что еще вдвоем со служанкой, которая приходит всего на несколько часов...

— Отправляйся спать, Поппи,— перебил он без гнева.— Отправляйся спать. Мне надо уйти.

— Касс Кинсолвинг! Никуда ты не...

— А ну спать!— Он разговаривал с ней, как отец с упрямым ребенком, не сердито, но твердо.— Спать, тебе говорят.

Она вспыхнула, тряхнула головой, но потом стянула на груди кимоно и обиженно устремилась к двери.

— Ну тебя совсем!— прерывающимся голосом сказала она и независимой походкой вышла из комнаты, трогательная и неправдоподобная.— Иногда мне кажется, что ты форменный pazzo<sup>16</sup>.

— Вот уже двое за вечер обозвали меня ненормальным — двое, не считая меня самого.— мрачно сказал он, когда Поппи ушла.

Он угрюмо уставился в свою чашку с кофейной гущей. Я смотрел на него, и мне не верилось, что он еще способен куда-то пойти. Однако в нем происходила какая-то борьба: у меня на глазах одним усилием воли он сдирал с себя слой за слоем алкогольную хряпу и чем-то похож был на пса, который встряхивается всем телом, вылезши из грязи. Казалось, что Касс тоже отряхивается. Что-то мучило его и гнало куда-то; я еще не видел человека, которому так хотелось протрезветь.

Внезапно он поднялся.

— Теперь, Леверетт, вы будете моей силой воли. Пошли.

Я с недоумением стал спускаться за ним в сырой и темный подвал, но по дороге он все-таки объяснил мне, что хочет принять холодный душ — чтобы завершить очищение,— но не удержится и пустит горячую воду, характера не хватит. Он включил свет в пахучей ванной, где тоже валялись на полу мокрые пеленки.

— Я к этому привык,— как бы извиняясь, сказал он и стал раздеваться.— Приду сюда бриться и воображаю, что я где-нибудь на холме и пахнет папорот-

<sup>16</sup> Сумасшедший.

никами и земляникой. Ну... — Он шагнул в ванну и с закрытыми глазами напряженно выпрямился под душем. Потом протянул мне что-то. — Ну-ка подержите очки. Ну, на полный! — Я пустил холодную воду из горных ручьев. Он завопил. Вода била и текла по нему, а он кричал: — То, что надо! — Он дрожал и трясся, он задыхался, он кричал, губы у него шевелились, как будто он молился. — То, что надо! Так держать! Гадство... Я спартанец, японский бог!.. Так держать, Леверетт!.. Sacramento!<sup>17</sup> Я превращаюсь в... сталагмит, японский бог! — Пять минут он вопил и орал под ледяными струями и наконец с видом мистика, объявляющего о божественном откровении, пропыхтел, что трезв, как баптист, — да, старик, — и мокрый, с прилипшими ко лбу волосами вылез из ванны. — Так, — сказал он и зашлепал по полу, не открывая глаз. — Теперь можно идти на дело. — Полотенца не нашлось, он согнал с себя воду ладонями и мокрый втиснулся в штаны. И, пока одевался, говорил без умолку. — Нет, вру, — сказал он, прыгая на одной ноге, а на другую натягивая туфлю. — Не такой я трезвый. Но достаточно трезвый, чтобы совершить эту... эту необходимую кражу. Кражу! Знаете, с войны ни разу не крал. Мы были на острове, и я спер из корабельного лазарета полведра спирту, до сих пор угрызаюсь. Зато какая была гулянка! Какая гулянка! Вспомнишь — всякое раскаяние пропадает. Сидели на бережку под пальмами, между пальцев песочек, глядели на луну и дули спирт. Господи, благослови! Вы когда-нибудь пили спирт? Его в рот не возьмешь. А жажда от него — это что-то несусветное. Дайте мне вон расческу, а? — Он стал причисываться перед зеркалом; глаза у него прояснились, руки больше не дрожали. Он как будто полностью овладел собой и годился почти для любого дела. — Настоящий вор должен следить за собой. Кто всегда первый фронт в квартале? Скокарь! Кроме того, такого чистенького, благородного грабежа еще не отмечено в анналах. Не грязные автомобильные покрышки, не замусоленные бумажки из кассового аппарата, не какие-нибудь низменные вещи — фотоаппараты, сигареты, авторучки и тому подобное. Избави бог. Это будет что-то особенное. Нет, поглядите, — перебил он себя, взглянув на ноги. — Не могу же я на таких колесах. Они мертвого разбудят. У настоящего вора, имейте в виду, ход должен быть бесшумным. Иначе налетишь на скамеечку, табуреточку, раскладушку или так растревожишь стропила и балки, что вся семья в ночных рубашках слетится на тебя, как стая ворон. Нет, друг мой. Ворюга должен порхать, как зефир.

Сняв туфли, он ушел в темный коридор, и я услышал, как он с пыхтением роется в каком-то сундуке или шкафу. Немного погодя он вернулся в теннисных туфлях. Лицо у него было сосредоточенное.

— Мне вдруг пришло в голову, — сказал он, — что я со своими делами надел вам, как зубная боль. Извините, Леверетт. Я не нарочно. Если хотите, можете послать меня подальше и уйти. Ей-богу, на вашем месте я бы так и сделал. Ну... в общем, очень порядочно с вашей стороны... что вы за меня там вступились.

— Мейсон скотина! — вырвалось у меня. — Скажите, Касс, вы...

Он остановил меня озлобленным взглядом.

— Не надо об этом. Не надо говорить. Я должен произвести небольшой грабеж, и все, а если выйду из себя, могу засыпаться. Слушайте... — помолчав, сказал он, — слушайте, хоть и надрызгался я сегодня, как свинья, несколько просветов в памяти все же осталось. Один из них — это вы, днем, на дороге. Не знаю почему, но у меня такое чувство, как будто я вас оскорбил. Если да, то очень жаль, и я хочу извиниться. Наверно, я решил, что вы из мейсоновской шоблы...

— Вам не за что извиняться. Я был измотан, а вы...

— В дугу. Короче, не в этом дело. Я вот что хотел сказать: сквозь эту густую красную мглу припоминаю, как разливался о Тромонти — об этой деревушке в долине. Так я вам не проповедь читал. Я просто... — Он отвернулся и медленно пошел по коридору. — Вы были славным малым, Леверетт, и, надеюсь, мы еще увидимся. Сейчас я немного облегчу Мейсона, а потом пойду в долину. Там есть на что посмотреть, даже ночью. Если хотите подождать — я вернусь минут через пятнадцать. — Не говоря больше ни слова, он исчез в потемках, и с лестницы донеслись его мягкие звериные шаги.

<sup>17</sup> Проклятье:

Я поднялся в его захламленную, затхлую комнату. В тишине жужжали бессонные мухи. Это было печальное место: грязь, вонь, хаос, — подобные комнаты мне доводилось видеть в тяжелые тридцатые годы, когда бедность была не только в отсутствии денег, а обнаруживала себя, как здесь, в замызганности душевной. Базарная гипсовая мадонна мечтательно и доверчиво строила мне глазки со стены; рядом календарь с днями всех святых провозглашал кроваво-красный *Marzo*<sup>18</sup> — месяц, которому стукнуло полгода. На столе стояла банка из-под сардин с огуречного цвета маслом. Рядом валялся альбом для набросков, и в нем пьяными, в заусенцах каракулями было написано: Ты вновь со мной Теперь и умирать не тяжело Ко мне прижмитесь дети с двух сторон Прильните крепче отдохните обе от горького скитанья своего!!<sup>19</sup>

Ручку бросили в начале следующей фразы, уже совсем неразборчивой, — вернее, ткнули наискось, в спор пером бумагу словно в приступе ярости. Под всем этим кособочилась немислимый детский домик с трубой, нарисованный красным карандашом, стая мезозойских птичек, лошадь-рахит с распухшими, как гигантские морковки, ушами — тоже красная — и внизу огромными красными буквами примечание: РНК! ВО! МАРГАРЕТ КИНСОЛВИНГ 8 ЛЕТ УФ. Мне почудилось, что в углу завозилась мышь или крыса, я вздрогнул, оглянулся и с чувством озноба, как будто окружающее тление и разруха затронули уже самые мои кости, вышел на балкон. Огоньки на воде не сдвинулись, не изменились, они застыли в море, словно невозмутимое созвездие в покойной и черной небесной тверди. Ни звука не слышалось кругом. Ближе, подрагивая синевой, лежал бассейн; все покинули его, кроме неугомонных бабочек, носившихся, как лепестки на ветру, вокруг ярких софитов. «Ты вновь со мной Теперь и умирать не тяжело...» Я не мог совладать с ознобом, пробиравшим меня до костей, до сердца. Липкий, смутный страх охватил меня; будь я женщиной, мне стоило бы, наверно, больших трудов сдерживать крик.

Позади со стуком распахнулась дверь, и я вздрогнул, как студень. Я круто повернулся и увидел Касса: очень возбужденный, в спешке он подошел к громадной куче барахла в углу комнаты и начал рыться в ней, разбрасывая во все стороны какие-то носки, ремни и туфли.

— Где этот несчастный рюкзак?— сказал он.— Леверетт, все оказалось проще пареной репы. Я мог впересться туда в латах, с консервной банкой на хвосте. Голливудская кодла еще гудела — заходи и бери. Все равно что конфетку стырить.

— Что бери?

Он как будто не услышал меня.

— Смешно, — продолжал он. — Я выхожу с добром из ванной, а мне навстречу — какой-то битюг, по виду римский киношник. Незнакомый, соображает, что я тут неспроста. Стоит, губищу отвесил и спрашивает: «*Che vuole lei?*»<sup>20</sup> Ну, я не растерялся и говорю ему: «Гуляй, красавец, я тут работаю» — на самом лучшем английском языке и проплываю мимо и сияю, как епископ. Нахрап и хитрость — вот что нужно вору.

— С каким добром?— не отставал я.

— А-а. Я и забыл, — небрежно ответил он. — Ну как же. Вот. — Он показал баночку. Я подошел, наклонился, чтобы разглядеть получше, и увидел в ней капсулы с лекарством. На этикетке значилось: ПАРААМИНОСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА, ЛЕДЕРЛИ, США. Баночка зажиточно блестела при тусклом свете.

— Магическое средство, — сказал он тихим голосом, кривя губы. — Сто капсул. Хватит, чтобы вылечить десять романтических поэтов. А применяют его от туберкулеза вместе со стрептомицином. Если бы оно у нас было до войны, моя милая кузина Юнис Кинсолвинг до сих пор жила бы, не тужила в своем Колфаксе.

— А Мейсон где его достал?— спросил я.

— Он-то?— с неохотой отозвался Касс. — Он достал его из рукава.

— Нет, правда, на что ему сто капсул такого лекарства?

<sup>18</sup> Март.

<sup>19</sup> Софокл, «Эдип в Колоне». Перевод С. Шервинского.

<sup>20</sup> Чего вы хотите?

— Ха! — невесело усмехнулся Касс. — Ну, это долгий рассказ. Но такой уж зато рассказец, что у вас волосы на ногах встанут дыбом.

— Не мог ведь он получить его без рецепта, правда?

Касс уперся в меня взглядом.

— Ну, брат, я думал, вы знаете Мейсона. Или вы не знаете, что, когда дело доходит до земных благ, этот мальчик может достать все? Все! — Он мрачно поглядел на банку. — В этой темной стране его днем с огнем не сыщешь — вот в чем дело. Нет, оно есть, конечно. Его уже производить тут стали помаленьку, как в наших благословенных США и А. Но попробуйте доберитесь до него. Да на такую баночку вы можете купить целый выводок демохристианских сенаторов.

— А что вы будете с ней делать?

Он долго молчал.

— Не знаю, — ответил он наконец голосом, похожим на тихий плач. — Господи спаси, не знаю я! Врач... Кальтрони... этот местный врачиска... Ну его к черту! Короче, это средство должно творить чудеса. В нашем случае, я думаю, уже поздно, но почему не попробовать. Какого черта мы тут стоим и болтаем! Пошли, что ли? — Он побросал в грязный рюкзак баночку с лекарством, несколько банок сардин, полбуханки хлеба и три или четыре яблока, побитых и не первой свежести. И мы окунулись в ночь.

Главная улица Самбуко, лежавшая перед нами, была даже не улица, а скорее лестница из булыжника, слишком узкая и слишком крутая для любого колесного экипажа, вечно мокрая от подпочвенных вод и скользкая — и от воды и оттого, что ее веками шлифовали подошвы. Мы шли вверх, тяжело дыша, почти не разговаривая; путь наш лежал между сонными затаившимися домами, освещенными только тусклым светом фонарей, но километра через полтора город остался позади, и нас обступила тьма. Снова запахло деревней. Касс включил фонарь.

— Где-то тут начинается тропинка, — сказал он, водя лучом по бурьяну. — Вот она. Пошли. Тут добрых полчаса ходу — но по краю долины, место ровное, особенно не устанете. — Луч света упал на ящерицу — маленькое встревоженное существо с глазами призрака кинулось наутек и шмыгнуло через стенку. — Бедная тварь, ей миллион лет, — сказал Касс. — Пошли.

Мы двинулись по тропинке. Пахнуло ароматом лимонных деревьев. Не знаю почему — потому, быть может, что я перестал наконец думать об этих дворцовых интригах, — ночь вдруг показалась мне сладостной. Запах чистой земли, лимонного цвета, сосновый воздух, струившийся с гор, обволокли нас. Из-за облака выплыла полная луна, осветила лес и склон под нами, и речка, отчаянно булькавшая и лопотавшая в долине, заблестела живым серебром. Где-то вдалеке заблеяла овца. Должна казалась зачарованной. Касс погасил фонарь; луна освещала дорогу: свет ее растекся по всей долине, облил серебром сосновые рощи, скалы и крестьянские домишки, разбросанные там и сям по склонам, одинокие, беспризорные, сонные. Наверху kloкотал водопад: вот радуга подрожала над ним, потом исчезла. Снова донеслось блеяние овцы — дремотный, вкрадчивый звук. Наконец Касс заговорил:

— Прямо какая-то дурацкая Аркадия, правда? Вам надо посмотреть на это днем или на рассвете. — Он помолчал. — Чем промышляете, Леверетт?

— Что значит промышляю?

— Не обижайтесь. В смысле — чем занимаетесь? Чтобы земля вращалась и цвели сады и прочее.

Когда я сказал ему, чем занимаюсь, вернее, занимался в Риме, он опять долго молчал.

— Теперь вспоминаю. Мейсон говорил. — Он опять помолчал. — Вы, ребята, могли бы направить часть этой помощи — или как это у вас называется — вот сюда вот. — Он споткнулся о камень, схватился за мою руку. — Извините, не совсем еще твердо стою на ногах.

— От меня там мало что зависело, — на ходу стал оправдываться я. — Я был не начальником, а, как говорится, исполнителем.

— Ага! — Он хрипло, невесело рассмеялся. Потом вытащил из кармана берет и нахлобучил на лоб; в этом странном порывистом жесте были злость и презрение. — Я знаю, что не вы были начальником, боже сохрани. Лицо начальника

я вижу каждый раз, когда беру в руки газету. Акулья морда, староста из пресвитерианской церкви. Что такой знает о жизни, я вас спрашиваю! И что они все знают — гладкие, надутые паразиты! Приехали бы сюда посмотреть. — Он тяжело дышал. Долина вокруг нас купалась в нежном серебристом свете луны. Он показал рукой. — Посмотрите на это! С ума сойти, а? Но, клянусь богом, Леверетт, печальнее места на земле я не знаю.

Не сбавляя шага, Касс раскурил сигару. Клубы зловонного дыма относило назад. Откашлявшись и отхаркавшись, он заговорил:

— Есть смешной рассказ про эту долину. Очень, очень смешной. В Самбуко все покатываются. Особенно толстые христианские демократы, отцы города. Они прямо валяются. Так вот, знаете, денег тут ни у кого нет. Они тут что-то выращивают, но земля уже давно истощена, и хорошо, если к весне наскребут пяток сухих горошин. Вы бы видели здешних кур. Тут про них даже притчу придумали. Дескать, долина Трамонти — единственное место в Италии, где нет лис. Здешним лисам так опротивели эти куры, что они собрались и ушли. Но смешной рассказ не этот. Рассказ про молоко. Вы не представляете, какие здесь коровы, Леверетт. Кормов тут, конечно, нет; они пасутся на склонах и размером они с козу. Значит, лет пять назад, рассказывают, правительство прислало в эту провинцию сельскохозяйственных инспекторов брать пробы молока. Важное дело, ну как же. Берут с собой хитрую передвижную лабораторию на большом грузовике и приезжают в Самбуко. Ну, крестьяне из всех долин в округе сошлись на площадь с ведрами, чтобы их молоко проверили на туберкулез, на жирность, минеральный состав и так далее. На площади целый день делали анализ молока, и наконец приносят свое крестьяне из этой долины, из Трамонти, — а их там, черт знает, десяток наберется, от силы полтора. Ну, забирают их молоко в эту передвижную лабораторию, исследуют, анализируют, и наконец главный химик выходит с результатом. Представляю себе картину: появляется этот толстый боров, главный проверяльщик из Салерно, со своими пробирками, диаграммами и прочим, а эти грустные вахланды глядят на него снизу, разинув рты. Он набирает в грудь воздух и говорит: «Questo qui non è latte. E un'altra cosa»<sup>21</sup>. Представьте себе, происходит такая идиотская сцена: эти грязные мужички глядят снизу на важного толстого химика, а он им очень внушительно объясняет: «Принесли вы мне непонятно что, но только не молоко». Это не молоко, говорит он опять таким, наверно, жирным голосом, как у всех правительственных чиновников, это что-то другое. Горожане глядят и хихикают, а он с надутым видом зачитывает результаты анализа этого трамонтийского черт знает чего: вода, мышинные катышки, волосы и какая-то голубая окраска, которая может быть вызвана чем-то совершенно отрицательным и отвратительным, при полном отсутствии жиров, минеральных солей и питательной ценности. И говорит напоследок: «Заберите эту жидкость домой. Это не молоко». — Помолчав, Касс добавил: — Очень смешной рассказ. Каждый раз, когда слышу его, валяюсь. — Голос у него был унылый. — Очень смешно, — повторил он. И дальше шел в полном молчании, выдувая дым через угол мрачно сжатого рта.

Примерно через полчаса мы забрались на бугор и увидели в низине посеребрённый луной крестьянский домик. К нему отвечивалась тропинка, и она повела нас через луг, укутанный в стрекотание насекомых, через ручей, через населенную тенями сосновую рощицу, к изгороди. По ступенькам мы спустились на рыхлую, влажную землю, и я увидел, что стою на крестьянском дворе. Пахло навозом, откуда-то из тьмы слышалась возня и шуршание беспокойно дремавших кур. Дряхлая собака бросилась к нам с рычанием, но Касс что-то шепнул ей, и она восторженно взвизгнула и забегала вокруг нас, топорща ребра в лунном свете. Через полоску запекшейся земли мы направились к дому. В доме горел тусклый огонек. Когда мы подошли ближе, я расслышал звук, прорезавший безмятежную лунную тишину долины, как царапанье гвоздя по стеклу или визг тормозов — не громкий звук, но и не тихий: долгий, долгий, протяжный вой муки и отчаяния несся из темного дома, терзая барабанные перепонки.

— Господи, — сказал я, — что это?

<sup>21</sup> Это не молоко. Что-то другое.



Касс не ответил. Вой в доме вдруг прекратился, словно задохнувшись, а через несколько секунд раздалась стона, едва слышные, но полные той же непереносимой и одинокой муки. Уже различалось за дверью шарканье ног; заплакала ребенок, упала сжоворода или кастрюля, потом все стихло.

— Chi è là?<sup>22</sup> — раздалось из темноты. Спрашивала женщина, но голос был густой, как у мужчины, безразличный и усталый.

— Sono io Ghita<sup>23</sup>, — тихо ответил Касс. — Это я. Гита, Касс. С другом.

Женщина стояла в дверях, держась за косяк, на лицо ее падал резкий свет луны. Лицо это вселяло страх, вернее ужасало: на нем лежала печать страдания. Углы губ были опущены, тусклые, невидящие глаза похожи на два черных камня, волосы разметались по лицу, словно спутанные пряди травы. Она стояла неподвижно, но дышала так, что не только вислая грудь вздымалась под обтрепанным мешковатым платьем, а все тело ходило ходуном. Горе, казалось, давно увело ее из того мира, где просто плачут.

— Buonase<sup>24</sup>, — глухо сказала она. — Мы тебя ждали.

— Как Микеле? Вечером как?

— Слабеет, — сказала она. — Спрашивал тебя. Сейчас опять заболело. Прямо как будто у меня эта боль — когда он кричит, я чувствую ее во всем теле. Мне кажется, он скоро умрет. Она засела у меня в костях.

— А морфий? Перестань болтать о смерти.

— От него теперь нет толку. Он его не чувствует. И еще эта стеклянная вещь разбилась. La siringa<sup>25</sup>. Алессандро взял ее в руки...

— Я же сказал — держать... — в сердцах перебил Касс. Потом успокоился и добавил: — А, ладно, достанем новый.

— Она в костях у меня, во всем теле. — Голос у нее был сухой, перегоревший. — Здесь. Везде. Вечером приходила Маддалена. Говорит, что теперь болезнь в меня вселилась. И в детей. Всех нас сожрет. Она дала мне заговоренную...

— Не пускай эту ведьму, — перебил Касс. В глубине дома снова послышались стоны. Женщина напряглась, глаза у нее расширились. — Не пускай эту ведьму, Гита. Сколькo раз тебе говорить — выбрось эти дурацкие зелья. Она сделает только хуже. Не пускай ее. Отрава. Франческа тебе не говорила, что ли? Где Франческа?

Женщина не ответила. Она, как автомат, повернулась на звук и растворилась в темной глубине комнаты. Стоны стали тише и вдруг прекратились.

— У него, — сказал мне Касс, снимая рюкзак, — миллиарный туберкулез. Скоротечная чахотка. Она изрешетила его с головы до пят — кости, почки, печень, легкие... И ко всему — недавно сломал ногу. Нога болит и нога — как губка. Надежды никакой. На вашем месте я бы не входил. — Он покачнулся, словно еще не совсем протрезвел. Потом вынул из рюкзака баночку с лекарством и внимательно поглядел на нее при лунном свете. — Что касается меня, если мне написано на роду заразиться, я уже заразился. Господи боже мой! Самозванный лекарь! Так что говорилось в проклятой книжке? Какая доза? Ага, четыре раза в день по три грамма. Ну, посмотрим. Бедняге это все равно не повредит. Ему ничего повредить не может. — Он повернулся и шагнул к двери. — Вам нет смысла рисковать. Я ненадолго.

— Пойду, пожалуй, с вами, — сказал я.

— Дело хозяйское.

Вонь хлынула на меня из двери, вцепилась мне в лицо, как грязная зеленая ладонь. Пахло разным: все тем же навозом, кислотной, грязью и помоями, но главное, пахло болезнью — воздух словно окрашен был назойливым, густым, сладковатым душком тронувшегося мяса. Это был запах покойницкой. Я пробирался ощупью, моргая и озираясь в чумазом сумраке. В тишине раздавалось неослабное жужжание мух: они были повсюду — в воздухе, на земляном полу, на каждом сантиметре глухих стен. Они ползали по воспаленным лицам трех

<sup>22</sup> Кто там?

<sup>23</sup> Гита, это я.

<sup>24</sup> Добрый вечер.

<sup>25</sup> Шприц.

нездоровых, изнуренных детей, которые спали в углу на соломенном тюфяке, не ощущая их липкой ночной возни, не слыша ходьбы вокруг и стонов. На стенах не было никаких украшений и даже мадонны, а мебели — только стол и три стула. В дальнем углу зашевелилась громадная тень, я вздрогнул, потом разглядел корову — из-за низкой дощатой перегородки она смотрела на меня кротким траурным взглядом и невозмутимо продолжала жевать. Потом я обернулся на стон и увидел больного на соломенной подстилке: только обтянутое восковое лицо высовывалось из-под старого армейского одеяла, и меня так поразило это зрелище уничтожаемой, почти сожженной плоти, что сперва я принял его за мертвеца. Касс и женщина опустились возле него на колени. Я услышал мягкий голос Касса:

— Come va, mio caro? Soffri molto?<sup>26</sup> Микеле, это я, Касс.

Микеле открыл глаза и медленно огляделся. Он будто жил наедине со своим мучением, ушел, погрузился в свою боль, как в глубокий сон, и сейчас, когда внешний мир потребовал его, он был похож на проснувшегося, который не понимает, где он. Взгляд его медленно скользил по стенам и потолку. Наконец он посмотрел на Касса, пошевелился под одеялом, и его запавший беззубый рот растянулся в неожиданно радостной улыбке. Он заговорил надтреснутым, хриплым, замогильным голосом; речь была невнятна, затронута тем же распадом, который хозяйничал внутри.

— Касс, — сказал он, — я ждал тебя! У меня есть бутылка вина. Франческа сегодня принесла. Настоящее кьянти.

— Тебе нужен сон, Микеле, — ответил Касс. — А еще я достал одно замечательное лекарство, оно в два счета поставит тебя на ноги. Нога сильно болит?

— Сильно, Касс, — сказал он, по-прежнему улыбаясь. — Очень сильно, Касс. Но когда ты приходишь... не знаю. Другое дело. Понимаешь, разговариваем. Шутим. И болит по-другому. Не так болит.

— А жар? Аспирин, что я принес, принимаешь от жара?

Заговорила женщина. Гита:

— Он писает кровью. Плохой признак, Мадалена говорит...

— Хватит про Мадалену, — сказал Касс. — Что она понимает? Не пускай ее. — С терпеливой укоризной он обернулся к женщине. — И мухи, Гита! Посмотри, тучи. Ты хочешь и детей заразить? Где баллон, который принесла Франческа?

Женщина пожала плечами.

— Кончился. А потом, они все равно прилетают. Где корова, там и мухи.

— Дай мне воды, Гита, — сказал Касс.

— Вон она, Касс, возле тебя. В стакане.

Касс открыл баночку и вынул две желтые капсулы.

— Ну-ка, Микеле, прими сейчас. А потом — по одной каждые шесть часов и запивай как следует, а когда перестать — я сам тебе скажу. — Он просунул руку под худые плечи больного и приподнял его на тюфяке. Это была трудная процедура; напрягшись, с испариной на лбу Микеле приподнялся на локтях и вдруг взвыл от боли.

— Ой! Господи! — Он замер, закрыл глаза. Потом глаза открылись, и он улыбнулся покорной беззубой улыбкой. — От чего они, Касс? — спросил он, задержав стакан у губ. — Это правда, что в Америке есть лекарство от il cancro<sup>27</sup>? Это оно, Касс?

Я увидел, что руки у Касса задрожали, когда он клал капсулы в рот больному. Казалось, ему даже ответить было трудно. Но он твердо сказал:

— Ты же знаешь, Микеле, у тебя не рак. Мы об этом говорили. Лекарство — для почек и для сломанной кости. Оно тебя поднимет. Глотай.

Пока Микеле пил воду, женщина заныла, и этот спокойный, грудной, мягкий плач был настолько ровен, настолько лишен малейшего оттенка истерики, что можно было подумать, будто она напевает. Потом она умолкла.

— Я видела черного ангела, — забормотала она. — Видела нынче ночью. По ночам он все время возле нас.

\* Как дела, дорогой? Очень мучаешься?

\* Рака.

Когда я обернулся, веки у нее опускались, как будто она засыпала; сжав на высохшей груди руки, похожие на красные ободранные крылья, она снова завела свою жалобную покорную песню.

— Тихо, Гита,— сказал Касс.— Замолчи. Это глупости. Перестань себя мучить.

— Я видела...— начала она опять, открыв глаза.

— Тихо,— строже сказал Касс.— Где Франческа?

— Она так и не пришла,— безучастно ответила женщина.

Касс встревоженно сморщил лицо.

— Что значит «так и не пришла»?— сердито спросил он и схватил ее за локоть, пока она не успела закрыть глаза.— Значит, ее нет в комнате?— Он кивнул на единственную перегородку в глубине дома, проем в которой был завешен мешковиной.— А она сказала, что идет прямо сюда! Сказала, что ночует здесь!

— Она не пришла,— повторила Гита.

Касс резко поднялся с тюфяка. Он подошел к проему в перегородке, заглянул внутрь, вернулся, снова сел на тюфяк и уставился в плоское невозмутимое лицо Гиты.

— Где же она может быть?— сказал он.— Незачем ей было... И что-то сегодня случилось такое...— Он не закончил.— Черт,— прошептал он по-английски.— Змей паршивый! Если он...

Касс снова вскопчил, словно собираясь выбежать вон, но тут Микеле прохрипел с тюфяка:

— Касс...— Он приподнялся, сбросив верхний край одеяла и открыв невыносимо худую грудь в линиях и полосатой, как у заключенного, пижаме.— Касс,— сказал он,— не волнуйся за Франческу. Знаешь, она часто остается у Лючии — знаешь, у дочки садовника из albergo «Eden»<sup>28</sup>. То и дело. Не волнуйся, amico<sup>29</sup>. И сегодня там. Не волнуйся. Поди сюда, сядь. Мне уже лучше от лекарства.

Касс колебался.

— Пожалуй...— начал он нерешительно.— Она ведь сказала бы мне, а, Микеле? Мне надо идти!

Микеле ответил натужным, клопочущим смехом.

— Почему она скажет тебе, если родному отцу сроду не говорила? Сядь. Ничего с ней не случится. Ты же знаешь Франческу! Сядь сюда, Касс. Кажется, еще немного — и я встану на ноги.

— Не знаю,— угрюмо отозвался Касс. Но тревога понемногу сходила с его лица.— Я забыл про Лючию.— Сказав это, он вздохнул и снова занялся больным.— Ты ляг на спину, Микеле. Вот так. И не надо столько разговаривать. Это вредно.

— Ах, господи! Долго!— вырвалось у Микеле. А его жена снова стала раскачиваться взад-вперед и застонала.

Я сидел у другой стены, и в голове у меня раздавалось тиканье несуществующих часов, то воображаемое тик-так, которым сопровождается, должно быть, всякое ночное страдание, всякое бдение у гроба. Женщина раскачивалась и тихо ныла, дети возлились, дергались и хныкали в беспокойном сне, корова глядела на меня добрыми карими непонимающими глазами сквозь населенный мухами воздух — и я наконец понял, что этот итальянец в самом деле умирает. Умирает — и знает это, несмотря ни на что, — и только хочет вырвать у Касса последнее подтверждение той невозможной мечты, которую он носил в себе бог знает сколько времени — наверное, все годы своей злополучной жизни. Так что между стенами, которые Касс успокаивал то словом, то прикосновением руки, я слышал его голос — оживленный изумлением и надеждой, он все расспрашивал об Америке: правда ли, что у самого бедного рабочего есть машина, Касс, и печка. и дом с окнами? А можно ли, Касс, когда он поправится и они все вместе поедут в Америку, купить Алессандро; и Карле, и даже меньшенькому по паре хороших туфель? Он уже спрашивал об этом Касса, но надо было, чтобы сияющую эту

<sup>28</sup> Гостиницы «Эдем».

<sup>29</sup> Друг.

истину повторяли ему снова и снова — как мальчику, который грезит тиграми и слонами, далекими заморскими странами.

— Да, amico, — слышал я терпеливый и усталый голос Касса. — Да, все это так и есть, как я тебе говорил.

— Я хотел бы пожить в Провиденца, там мой брат когда-то жил. Скажи, Касс, это красивый город?

— Да, Микеле. — И, обернувшись ко мне, по-английски: — Слышали, Провиденс!

Микеле устал. Тихий свист слетел с его губ; он вытянулся, закрыл глаза, крепко зажмурился, вздрогнул всем телом словно от озноба и, теперь уже молча, заступил на вахту в своем нездешнем царстве боли. Все замерло, стихло в комнате, только женщина раскачивалась и ныла да несносно жужжали мухи, нагоняя сон. Коленопреклоненный Касс застыл над больным; весь вид его выражал безнадежность, в лице не осталось ни кровинки, глаза потухли. Немного погодя Микеле очнулся и открыл глаза.

— Не должно так быть, Касс, — произнес он сдавленным, прерывающимся голосом, и в первый раз я увидел на его лице отчаяние. — Не должно так быть, Касс.

— Что?

— Чтобы человек так мучался. Чтобы человек всю жизнь работал, как вол, и зарабатывал девяносто тысяч лир в год. И под конец так мучался.

Касс не сразу ответил; губы у него зашевелились, словно он подыскивал слова. Наконец он сказал:

— Совершенно согласен, друг мой. Но ты не растравляй себя. Animo. Мужайся.

Со стоном приподнявшись на локте, Микеле уставился на него горящим отчаянным взглядом и прохрипел:

— Нет, не должно так быть, Касс! Он злой — разве не злой он, если загнал нас сюда, заставил работать и рабствовать пятьдесят лет за девяносто тысяч в год, которых не хватает даже на макароны? Девяносто тысяч лир! И еще присылает все время сборщика налогов из Рима. А когда выкрутит и выжмет нас до суха, он выбрасывает нас, как будто мы для него ничто, и для забавы насыляет такую боль. Он любит только богатых в Риме. Он злой, слышишь? Я с... на него! Я с... на него, потому что я не верю!

Женщина, пребывавшая в трансе, хищно встрепенулась при этих словах, как будто только их и ждала.

— Богохульник! — крикнула она. — Только послушай его, Касс! С утра сегодня несет неизвестно что. В его-то состоянии! Ведь прямо в геенну отправится. — Она обернулась и посмотрела на больного. — И ведь что сделал, Касс, страшно сказать. Утром до того разбушевался — встал оттуда и на здоровой ноге — к стенке, а сам ругается, как турок, сорвал распятые и выбросил за дверь! Богохульник, Микеле! В своем-то состоянии! Недаром кровью стал писать. Это знамение свыше! Всех нас в геенну утащишь со своим богохульством!

Кто-то из детей заплакал.

— Не хуже!.. — задушенным, захлебывающимся, ужасным голосом завопил с полу Микеле. — Не хуже этих талисманов, и амулетов, и снадобий от твоей ведьмы! Еще толкуешь о богохульстве! Предупреждал тебя Касс про колдунью! Ой!..

— Silenzio!<sup>30</sup> — Между двух пылких, ошетинившихся теологий голос Касса поднялся стеной, заставив смолкнуть и жену и мужа. Но когда он закричал на них, я выбежал из проклятого места не в силах больше выносить его. И где-то на дворе при свете новорожденной и древней зари, которая растеклась над морем громадной, без краев, жемчужиной, среди гомона и щебета птиц и ропота сосен, похожого на шум дождя, я неожиданно для себя вспомнил другие, росистые, ясные зори Рима, которыми любовался с высоты балкона молодой благополучный благотворитель со своей Джиневрой, и Анной-Марией, и студенткой из колледжа Смита, — и от утраты, от незадачливости своей глупо, хотя и вполголоса, заревел, уткнувшись лбом в дерево.

Касс же — ничего подобного. Он вскоре вывалился из дома, горланя что бы-

\* Тихо!

ло сил, шатаюсь, и я даже подумал, что он каким-то таинственным образом опять ухитрился выпить. Но он не был пьян, а просто разгорячен и буен: он поносил и коммунистов, и христианских демократов, и миссис Клер Бут Люс<sup>31</sup>, а потом прознес нечто, удивившее меня в ту минуту своей уместностью.

— Ты можешь взять политику,— сказал он,— и можешь ей подтереться.

В ту ночь — а вернее, утро — я спал в свободной спальне у Касса. Когда мы шли обратно через долину в Самбуко, Касс был усталым, притихшим и почти не разговаривал. Я тоже лишился последних сил и не раскрывал рта. Когда мы стали прощаться у ворот «Белла висты» и я рискнул обронить несколько слов о Мейсоне (что он, конечно, уже не считает себя обязанным платить за мой дорогой номер), Касс, поглядев на меня с усталой улыбкой, предложил: «Переселяйтесь к нам». Только и всего — простое гостеприимство. Я сонно подумал, что это было бы своего рода мезью, мелкой, конечно, но все же мезью — покрасоваться несколько дней перед Мейсоном в качестве гостя Кинсолвингов,— поэтому, сперва поблагодарив и отказавшись для приличия, принял приглашение. Я расплатился со скучающим заспанным портье и вышел из гостиницы. Улица еще спала; Касс помог мне донести чемоданы до виллы. Меня смутила его благожелательность: похоже на сон, думал я, пока он втаскивал мои чемоданы по лестнице в спальню — довольно чистое и прибранное помещение по сравнению с «кателье» наверху,— помогал мне стелить постель и доставал откуда-то пару стареньких, но чистых полотенец. Однако разговаривал он мало, вид у него был встревоженный, озабоченно-отсутствующий, и неспроста, как показали дальнейшие события, но тогда я не придал этому значения, а он выпил стакан красного вина и пожелал мне спокойной ночи, рассеянно пробормотав напоследок, что ему надо «проверить», как там наш приятель».

Засыпая, я слышал, как он расхаживает надо мной по комнате. Я долго не мог забыться; тело было как чужое, в голову лезли печальные мысли и сожаления. Сперва я подумал о Кассе: кто этот грустный, терзающийся, странный человек? Мысли о Кассе долго донимали меня. Потом я стал думать, жив ли еще ди Лието; потом, как ни старался, не мог отогнать видение обреченного домишка на красивой поляне. Потом из мути, которая поднимается в голове при полном изнеможении, вынырнула порнографическая книжка, которую просил привезти Мейсон, и я долго решал, должен я каким-нибудь способом переправить ему эту книжку или выкинуть в знак окончательного разрыва. Я начал ворочаться и чесаться, потом захотел курить, но сигареты у меня кончились. Потом вспомнил одну девушку, с которой случайно встретился в Риме,— завождедел, вспотел, встал, выпил стакан холодной воды. Ноги надо мной перестали шагать. Касс Кинсолвинг! Кто он? Наконец, когда солнечный свет уже пролился на меня из-за шуршащих жалюзи, я беспокойно уснул под веселый и пронзительный птичий хор, под стук повозки и бархатный девичий голос, который пел вдалеке «Caro nome»<sup>32</sup>. Проснувшись я весь в поту и через сколько часов — неизвестно; в комнате было почти темно, мои часы показывали начало первого — но они стояли. Я решил, что снова ночь. Я полежал немного, радуясь тому, что еще живу и дышу: только что покинутая страна сновидений по жути превосходила все, что я когда-либо видел; я даже не мог вспомнить начало кошмара — таким оно было ужасным; как заслонка упал в мозгу занавес, сплетенный словно из черных вороньих крыльев, кишащих омерзительными вшами,— упал, шурша и колыхаясь, и отсек начало сновидения. А после все часы сна была только громадная голая равнина, и я стоял, наблюдая страну в катаклизме бунта — страну восстания, резни и варварства, где по голой земле бежали дикие волосатые люди с факелами, а женщины прижимали вопящих младенцев к груди, и полыхали странные жилища, и тучи зловонного дыма клубились над ними в хмуром грозовом небе. И все это время, все несчитанные часы, пока я ворочался, возился и стонал, мне слышались далекие крики, вопли ужаса и боли, вой людей, которых распинали и крошили живьем,— без секундной передышки, затишья, до того самого мига, когда я проснулся в поту, ощущая на губах охвостье своего умоляющего крика. И пока я лежал на кровати,

<sup>31</sup> Бут Люс Клер — американская писательница и политическая деятельница, в 1953—1957 годах посол США в Италии.

<sup>32</sup> «Дорогое имя».

приходя в себя, и последние бледные отблески дня гасли в комнате, я убедился, что не все было сном. Самбуко словно застыл в невыносимой тишине и безветрии. Ни звука не долетало оттуда, где должен был бы жужжать, посмеиваться и звенеть колоколами итальянский горрдок: он молчал, как погост. Но пока я лежал и прислушивался к какой-то тихой течи в нутре дворца, издали донесся звук, который был и эхом и разгадкой моего кошмара: женский крик, тонкий, истощный крик горя, дрожал в неподвижном жарком воздухе, взмывая все выше и выше, и вдруг оборвался, словно ей пробрили пулей голову. И снова, как раньше, — мертвая тишина. Немного погодя я встал — в мрачном недоумении и с прострелом в шее. Простынями обтер на себе пот. Пока я бестолково, как одурманенный, одевался в потемках, то где-то рядом, то вдалеке раздавались горестные вопли, похожие, как и в моем кошмаре, на вопли душ, обреченных вечным мукам. Я ожидал, наверно, что, выйдя на улицу, увижу пылающий или осажденный город... нет, не знаю, чего я ожидал — во всяком случае, не того, что там сейчас день, а не ночь. Было светло, и часы, тикавшие в коридоре, показывали пять, а это значило, что проспал я часов двенадцать.

В доме не раздавалось ни звука; комната наверху была такой же грязной и запущенной, как накануне вечером, — и пустой. Мне пришло в голову, что шум на улице подняла киногруппа Алонзо Крипса, но, выйдя во двор, я увидел, что все оборудование разобрано и вывезено. На его месте возвышалась целая гора чемоданов, сумок с ключами для гольфа и прочего багажа, приготовленного к отъезду. Караулил его обтрепанный старичок из местных, и, когда я проходил мимо, он поднес пальцы к кепке и пробормотал что-то печальное и невразумительное. В остальном тут не было никаких признаков жизни, если не считать вчерашней пленной ласточки, которая до сих пор летала между желобчатых колонн и билась в световой люк, пытаясь взлететь к недостижимому солнцу. На верху лестницы, по которой я поднимался, кажется, не вчера, а неделю назад, дверь Мейсона под фризом с чумазыми нимфами была приоткрыта, но и там — ни души; тишина стояла пугающая.

Я вышел на пустую улицу и, щурясь, огляделся. Был еще день, ясный и жаркий, но жару смягчал бриз. Лавки на той стороне стояли запертые, с закрытыми ставнями; и тут ни души. Я стоял долго. Потом услышал женский крик — тонкий, жалобный, скорбный. Обернулся и увидел, что она бежит ко мне — седая старуха в развевающемся черном платье; причитая во весь голос и страшно клонясь вперед, она пробежала мимо, и слезы ручьями текли по ее древним щекам. «Disonorata! A sangue freddo!»<sup>33</sup> — причитала она, а черное, до земли платье парусило назад; не переставая голосить, с каким-то необъяснимым креном, словно ведьма на помеле, она унеслась за угол, оставив после себя небольшой вихрь пыли. Я вдруг сообразил, что шея у меня свернута набок — вот почему и старуха, и улица, и небо, все накренилось в моих глазах, — и, преодолевая боль, выпрямил голову. Я смотрел вслед старухе, бессмысленно ожидая какого-то разъяснения, но улица, известково-белая под тирренским солнцем, снова была пуста и безмолвна — спряталась, затаилась за своими дверями и ставнями, словно город осадили сарацины. Надругались, сказала старуха, безжалостно.

В недоумении я пошел к гостинице: там в ресторанчике на террасе можно было получить апельсин, бутерброд, кофе. Но в саду перед входом в гостиницу не было никого — только куцый кот с мышью в зубах опасно поглядел на меня и юркнул под куст камелии. Терраса тоже превратилась в пустыню; с жутким ощущением покинутости и пустоты под ногами я побрел мимо незанятых стульев и белых скатертей к краю террасы, откуда открывалась прославленная в путеводителях панорама. День был ослепительный: море целлофановой чистоты словно готово было открыть взгляду синюю и холодную глубину; солнечный свет вылепил зеленые горбатые горы, как в стереоскопе. Казалось, стоит немного напрячь глаза — и увидишь Африку. Но почему, спрашивал я себя, эта нелепая, мертвая тишина? Далеко внизу грузовик величиной с горошину пополз от берега по пеглистой дороге вверх: кашель его мотора должен был донестись до меня, но я ничего не услышал. Звук словно вытек из всего видимого мира, как из сосуда. Минут десять я сидел и ждал официанта, но никто не шел. Тут даже в моей тупости обозначил-

<sup>33</sup> Надругались! Безжалостно!

ся предел: что-то неладно, подумал я и уже хотел встать и уйти, как вдруг из сада не то рысью, не то быстрым шагом ко мне устремился взволнованный человек. «Non c'è servizio oggil!» — закричал он, и я узнал моего недавнего padrone<sup>34</sup> Фаусто Ветергаза. «Шегодня не обшлуживаем!» — пршепелявил он по-английски, тоже узнав меня; он подбежал ближе и стал звать меня из сада, исступленно махая рукой. Я поднялся и нехотя пошел к нему, чувствуя, что уже заразился его истерикой, ожидая чего-то ужасного.

— Что стряслось? — спросил я, когда подошел поближе.

У франтоватого человечка только что пены не было на губах: глаза помутнели, шелковистые прядки вокруг лысины встали дыбом, как у загнанного, перепуганного зверька, и колыхались на ветру.

— Это вы, миштер Леверетт! Как хорошо, что вы переехали. Как хорошо, что вы уезжаете! — Он забыл всю свою учтивость и схватил меня за руку. — *Quelle horreur...* — захлебывался он, сбившись на французский, — *quelle tragedie*<sup>35</sup>, о боже мой, вы слышали что-нибудь подобное? — Ощутив, должно быть, какое-то непонятное щекотание на черепе, он отпустил мою руку, выхватил серебряный гребешок и стал причесываться. Глаза у него наполнились слезами, нижняя губа отвисла и задрожала; я испугался, что сейчас он свалится мне на руки.

— Ради бога, что случилось? — Я и сам уже не говорил, а лепетал: такой ужас был написан на его лице, что у меня сердце зашло и ослабли ноги; мелькнула дурацкая мысль, что опять началась мировая война. — Я спал весь день! Скажите, что случилось! Я не знаю!

— Вы не знаете? — изумился он. — Вы не знаете, мистер Леверетт? О бедствии, которое постигло наш город? Мы погибли! Город повержен во прах! После этого происшествия в Самбуку десять лет не будет туризма... Боже мой, двадцать лет. Невыносимая трагедия. Боже мой. Как у греков, поверьте мне, только гораздо хуже!

— Да говорите же!

— Молодая девушка, крестьянская девушка, — проговорил он тихим убитым голосом. — Крестьянская девушка из долины. Утром ее нашли на дороге изнасилованной и умирающей. Говорят, что она не доживет до ночи. — Он всхлипнул. — Поверьте мне, это первое кровавое злодеяние в нашем городе с прошлого века. Еще до моего отца...

— Дальше! — перебил я.

— Я не решаюсь, потому что... — Он плакал и бормотал — маленький человечек на глазах превратился в кисель. — Потому что... Потому что, боже мой, это такая трагедия, поверьте мне! Мистер Флагг...

— Да он-то здесь при чем?

— О, мистер Леверетт, — всхлипнул он, обнаруживая, впрочем, некоторый вкус к театральности. В речи его слышалось эхо странной, мертвой гостиничной библиотеки, хранилища картинных жестов и пылких речей — из госпожи Хамфри Уорд и Бульвер-Литтона, из «Лорны Дун»<sup>36</sup> и других невероятных обморочных хроник, оставленных сонными английскими дамами, — по-видимому, единственной литературы, с которой он был знаком. — Ах, мистер Леверетт, мистер Флагг погиб. Он лежит сейчас в пропасти под виллой Кардасси — говорят, он бросился туда в раскаянии... после содеянного...

Я не мог взять в толк, о чем лепечет Ветергаз и кто этот дряблый, глупый, раскисший человечек, который причесывается на ветру. Заставь его повторить, приказывал мне рассудок, ты не так понял. Я схватил его за руку.

— Да да, именно так, — всхлипывал он. — Мистер Флагг лежит под виллой Кардасси. Мертвый, мертвый. мертвый. — Он затрубил в носовой платок. — Какой любезный, порядочный, щедрый человек. Невозможно поверить. Такой великодушный, такой обходительный, такой состоятельный.

Я не стал слушать дальше, отпустил его и пошел из сада на улицу. Куда идти, я не знал, но направился вниз, к площади. Постепенно я ускорял шаг и вскоре

<sup>34</sup> Хозяина.

<sup>35</sup> Какой ужас... какая трагедия.

<sup>36</sup> Миссис Хамфри Уорд (1851—1920) — английская романистка; Бульвер-Литтон Э. Д. (1803—1873) — английский писатель; «Лорна Дун» — роман английского писателя Р. Д. Блекмора (1825—1900).

уже бежал, спотыкаясь и оскальзываясь на булыжнике. Я пробегал мимо людей, которые стояли кучками у открытых дверей, — одни молчали, другие бешено жестикулировали, но вид у всех был ошарашенный. Я несся вскачь навстречу прогретому солнцем ветру: едва не опрокинул мальчишку на велосипеде, вильнул мимо беспризорной козы, перелетел как во сне разом пять крутых ступенек вниз и наконец, пыхтя, в развевающемся пиджаке вырвался на жужжащую, запруженную народом площадь. Тут, кажется, собрались все и местные жители, и туристы, и крестьяне, и полицейские, и киноартисты. Стояли группами по четыре-пять-шесть человек и тихо разговаривали; горожане — посреди площади, туристы при «кодаках» — помятыми гроздьями возле своих автобусов у фонтана, хмурые кинематографисты — за столиками кафе, со стаканами. Справа под нисходящий вой сирены, распугав стадо толстых увальней гусей, на авансцену выехал военный грузовик с карабинерами. За исключением двух-трех анахронических деталей запруженная площадь могла бы быть декорацией из «Il Trovatore»<sup>37</sup>. Над спрессованной толпой, как черная туча, плыл гомон — задумчивый, траурный, со взрывами нервного, почти истерического смеха. И пока я стоял там, все еще не понимая что к чему, в вышине, в солнечном и ветренном небе, где кружились голуби, церковный колокол завел свой нестройный реквием — не более мелодичный, чем грохот падающих тазов, но гулкий и печальный. ДИН-ДОН! БАМ! БОМ!

— Che govina!<sup>38</sup> — произнес голос рядом со мной. Это был старик Джорджо, дворецкий; несмотря на жару, он кутался в американский бушлат и, глядя водянисто-голубыми глазами в пустоту, с несчастным видом дергал себя за складки кожи на шее.

— Это правда, Джорджо? — спросил я. — Синьор Флагг в самом...

— Да, синьор, — безучастно ответил он, глядя в пустоту, — правда. Он погиб. Покончил с собой.

LACRIME!<sup>39</sup> — лязгали, брякали колокола.

— Что произошло, что он сделал, где он находится? — выпалил я без остановки.

Старик был будто опоенный. Глядел невидящими глазами, щипал себя за шею, сопел и тихо горевал.

— Кто живет насилем, от насилия и погибнет, — нравоучительно пробормотал он. Потом замолк, снова погрузившись в свое горе. Наконец он сказал: — Что такую чистую и добрую душу постигла такая страшная гибель — это величайшая трагедия в мире.

Я не сразу сообразил, что говорит он не о Мейсоне, вокруг которого вертелись все мои мысли, а об изнасилованной умирающей девушке. Под пологом колокольного звона я отодвинулся от старика и, то направо, то лавируя, стал пробираться сквозь толпу к краю площади. Здесь между двумя зданиями начинался темный узкий проулок, в него и ринулись только что прибывшие карабинеры: вооруженные до зубов, мрачные, нахмуренные, они врезались в толпу ротозеев, паля по ней звучными ругательствами и работая локтями, как паровозы. Я постоял в нерешительности, но потом справился с внутренней дрожью и, тоже ругаясь, протолкался вслед за полицейскими в проулок. Очень скоро проулок превратился в мощеную улочку-лабиринт, стиснутую сырими и пустыми домами, а она — в извилистую тропу с каменным ограждением, которая вела из центра города в гору и лезла вверх по обрыву, настолько крутому и гладкому, что на нем ничего не росло, даже мох и лишайник, как на скалах крайнего Севера. По этой извилистой тропе я шел за полицейскими — но только слышал их топот где-то выше меня. Навстречу тоже шли — должно быть, зрители, побывавшие на месте трагедии горожане, оборванные крестьяне из долины, несколько унылых собак и даже двое немцев-туристов — толстая мучнистая чета с альпенштоками и в зеленых баварских шляпах; когда они проходили мимо меня, на лицах у обоих было глубокое удовлетворение, и долго еще слышались за спиной у меня их жуткие сочные смешки. Я тащился вверх. Уходящий день был золотистым, зеленым, легким и виделся будто сквозь

<sup>37</sup> «Трубадур», опера Верди.

<sup>38</sup> Конеч!

<sup>39</sup> Слезы!



прозрачайшее стекло. Впереди по парапету радужными стрелами пролетали ящерицы, осыпая с гребня каменную крошку. Головокружительная круча вздымалась по одну сторону от меня, и такая же обрывалась по другую; а на уровне глаз, пухлое и рыхлое, как сахарная вата, плыло над долиной облако с розовым тающим исподом. В городе без умолку продолжал горевать колокол. Из этого получасового восхождения в памяти не осталось больше ничего, кроме встречи с Доун О'Доннел. Она едва переставляла ноги, рыжая голова была трагически опущена к комку бумажных салфеток, а сопровождал ее давешний молодой человек с короткой стрижкой, который, клянусь, говорил ей. «К он ча й это, слышишь, детка?» Он поглядел на меня, но увидел ли — не знаю.

На середине крутого склона, который вел к подножию утеса, тропа расширялась и выходила на поросший травой уступ шириной метров в сто, и на нем собралась небольшая толпа: горожане, и опять туристы, и опять собаки, и не меньше двадцати полицейских. Над уступом титанически вздымался к вилле Кардасси обрыв; задрал голову, можно было увидеть парящую в косых закатных лучах мавританскую крышу, низкорослые, согнутые ветром кедры, которые жались к крепостным стенам виллы. Дух захватывало от вида этой кручи. Вдоль подножия обрыва в нескольких шагах от него была натянута веревка метров в пятнадцать длиной, привязанная одним концом к столбу, а другим к стальному крюку, вбитому в трещину. Перед этой веревкой и сгрудились зрители, и висел над ними в воздухе нехороший шорох: догадки, слухи, пересуды; а за веревкой стояло человек пятьдесят карабинеров — важные и неприступные, они озирали толпу остекленело-презрительными глазами. Среди них был приятель Касса Луиджи. Я протолкался сквозь разопревшую толпу и подал ему знак пальцами. Его сонные глаза открылись шире — он узнал меня. В это время между двумя напوماженными головами на вытянутых шеях образовался просвет, и я наконец увидел Мейсона — и сердце екнуло от жалости при виде знакомой длинной фигуры под одеялом, изпод которого высывались только ноги, босые, покрытые мухами, с подвернутыми ступнями. Мелькнула несуразная мысль, что на нем, наверно, все те же зеленые бермудские шорты с зауженной складкой.

— Buongiorno,— сказал я Луиджи.

— Buongiorno.

— Come sta?

— Bene, grazie, e lei?<sup>40</sup>

Этот обмен приветствиями показался мне такой нелепостью, что я с трудом сдержал приступ безумного, со слезой смеха. Я заставил себя успокоиться и ответил:

— Не знаю. Кажется, я схожу с ума.

— Понимаю вас. Брысь отсюда! — рявкнул он на двух мальчишек, которые хотели пролезть мимо него. — Отлично понимаю. Вы хорошо знали этого человека — Мейсона. Правда?

— Знал. Скажите ради бога, как это случилось?

По соседству со смертью, убийством, катастрофой в итальянце просыпается мудрец, дремавший доселе философ; из многих подробностей этого адского дня не последнее место в моей памяти занимает коллекция изречений, которые мне пришлось выслушать, пока я разузнавал подробности.

— Кто знает, — сказал он, мягко глядя на меня из-под тяжелых век, — кто знает, какие ужасы таятся в душе убийцы? Кто...

— Луиджи, можно его увидеть? — перебил я.

Почему я тогда захотел увидеть Мейсона (учитывая, что мое отвращение к мертвецам превосходит обычную брезгливость), навсегда останется тайной — впрочем, может быть, в тупом своем недоумении я просто хотел убедиться, что под одеялом действительно бранные останки Мейсона, а не живой и дышащий розовый Мейсон, этот неисправимый любитель дешевых эффектов, который подмигнет мне лежа и загогочет как ненормальный.

---

— Добрый день.

— Добрый день.

— Как поживаете?

— Спасибо, хорошо, а вы?

— Èvietato<sup>41</sup>, — сказал Луиджи. — На место происшествия запрещено пускать, пока не закончится следствие и не уберут тело.

— Но мы с ним были знакомы, — стал спрашивать я. — Он был... он был... — И ложь сорвалась с языка: — Он был моим лучшим другом.

Луиджи задумался. Вопреки его вчерашним замечаниям — а может быть, именно из-за них — то, что я американец, придавало мне в его глазах определенный вес — я это почувствовал.

— Хорошо, — сказал он наконец.

Он отошел туда, где лежал Мейсон. Там, углубившись в какую-то папку, стояли двое: толстый сержант карабинеров, мастодонт с тройным подбородком, напоминавшим попку младенца, — он был в очках и курил сигарету — и худой, костлявый, напряженный человек в плаще с погончиками и в шляпе, надвинутой на самые глаза, — этот усердно жевал резинку, и пистолет оттопыривал его плащ с одной стороны, как у сыщика в кинокомедии. Но комического в нем ничего не было. Этот человек, как сказал мне с вытаращенными глазами мальчишка, был l'investigatore<sup>42</sup> из Салерно, и, пока Луиджи шептал ему на ухо и показывал на меня, я смиренно ждал его решения — без скорби, без горя, но с таким ощущением покинутости, какого не испытывал ни разу в жизни.

— Хорошо, — вернувшись, сказал Луиджи. — Вы можете поговорить со следователем. — Этот титул он произнес по слогам, чеканно и округло, придав ему блеск и пышность. — Но будьте кратки, — предупредил он. — У следователя много работы. Кстати, вы видели Касса?

— С прошлой ночи не видел.

— Странно, — сказал он с озадаченным видом. — Нигде не могу его найти. И Поппи с детьми исчезла.

Я нырнул под веревку и пошел к следователю; он оторвался от бумаг и вцепился в меня подозрительным, ледяным взглядом; что-то было от чернца в этом полицейском, прилежно жевавшем жвачку, — и в суровом, аскетическом выражении глаз, и в поджарости, и в хмурой монашеской повадке. Сержант-мастодонт загораживал солнце, от него, как от навеса, на Мейсона падала продолговатая тень. Во мне всколыхнулся древний, атавистический страх перед полицией — я подошел к ним весьма нерешительно.

— Buongiorno<sup>43</sup>, — сказал я.

— Вы знаете этого человека? — строго спросил следователь.

— Да. Знаю. Если можно, я хотел бы его увидеть.

— Его уже опознали, — последовал несколько неожиданный ответ. Тон его не был ни резким, ни грубым, но любезным тоже не был. Казалось, в следователе медленно накапливает гнев, как пар в закупоренной кастрюле, и он с трудом себя сдерживает. — Его уже опознали, — повторил следователь, не сводя с меня цепкого холодного взгляда. — Вы кто этому человеку?

— Кто? Я?.. Не знаю... То есть как кто?

Сержант-бегемот вступил осипшей дудочкой; у тонны мяса оказался флейтовый, канареечный голосок подхалима — кастратский, сварливый и насмешливый:

— Ascoltami! <sup>44</sup> Вы слышали l'investigatore? Кто вам этот человек? Как вы знакомы с этим Флогом?

— Тихо, Паринелло, — оборвал его следователь. И, повернувшись ко мне, уже спокойнее повторил: — Я спрашиваю, синьор, в каких отношениях вы стояли с этим человеком. Кто он вам, покойный? Родственник? Друг?

— Он был моим другом.

Следователь опять остановил на мне ледяной взгляд; и опять в этом взгляде не было враждебности, по крайней мере ко мне; наоборот, в обращении его появилось даже что-то душевное. Но он был сама деловитость: от меня можно было получить информацию, и, вероятно, опасаясь спугнуть меня, он не давал воли своему гневу. Он передвинул во рту жвачку, откашлялся и сказал:

<sup>41</sup> Запрещено.

<sup>42</sup> Следователь.

<sup>43</sup> Добрый день.

<sup>44</sup> Слушайте!

— Значит, другом? Тогда, синьор, разрешите у вас спросить. Он был психопатом?

Со школьных лет закормленный жидкой кашкой психологии, я не меньше любого другого склонен навешивать на людей ярлыки; но о Мейсоне в его состоянии окончательной, жалкой беззащитности я не знал, что сказать.

— Виноват... — начал я. — Если он и был, то потому только... Нет!

— Вы давно с ним знакомы? — спросил он. — Видите ли, синьор, вы не обязаны отвечать на мои вопросы. Однако вы окажете нам любезность, если сообщите какие-либо сведения об этом... — Он поглядел на Мейсона и, брезгливо вздернув губу, произнес: — Об этом человеке. Вы давно его знаете?

Я украдкой взглянул на тело под одеялом. Можно было бы сказать, что тут пахло смертью, но ею-то как раз и не пахло: единственное, чем тут пахло, это раскисшим и потным мной, смерть же открывалась только глазу — в потрясающей неподвижности тела под одеялом, в щиколотках и ступнях с фактурой и окраской молочного стекла и в этой крылатой стервозной нечисти, безмозглым присутствием своим отрицавшей — по крайней мере в ту минуту — всякую идею о заботливом и добром божестве: сотнях сосущих мух, которые варились в своей собственной гнойной метафизике, облепив одеяло и лодыжки Мейсона, взыскуя личных тайн у него между пальцев. Я задумался сколько же все-таки я знал Мейсона? — и понял, что, с какой меркой ни подойти к моему праву судить о Мейсоне, знал я его недолго — два коротких школьных года, и неделю, и несколько последних горячечных часов, — но при всем этом у меня было ощущение, что я знал его всю жизнь. Так я и сказал в конце концов:

— Я знаю его всю жизнь.

— И никогда не замечали в его поведении психопатических черт?

— Нет, не замечал.

Не знаю, лгал ли я ему — по сей день не знаю. Я знал одно: что Мейсон, от которого совсем недавно я отвернулся бы даже в минуту крайней нужды, был теперь совсем беззащитен и хотя бы так я мог заступиться за него, хотя бы так удружить ему — пусть это всего лишь сентиментальный жест. Я сказал:

— Насколько я понимаю синьор, он не был психопатом. — И неожиданное воспоминание — что я даже не попрощался с ним по-человечески — обожгло меня болью.

Следователь еще сдерживался, хотя и с трудом, сухие тонкие губы выдавали его раздражение. Он передал папку сержанту и резким движением одернул на себе плащ. («Спасибо, мой капитан, спасибо, спасибо», — назойливо повторял сержант.) Со стороны города снова донесся горестный вопль старухи, далекий, умноженный эхом, и утонул в колокольном звоне, который прилетел в долину с порывом ветра. На нас легла тень от облачка, трава зашуршала вокруг мертвого тела, я услышал стрекот кузнечиков. Облачко проплыло: свет солнца обрушился на долину, как желтый гром. Следователь тонкими костлявыми пальцами стер пот со лба.

— Я не могу допустить вас к телу, — сказал он. — Щажу ваши чувства. Он страшно изуродован. Посмотрите гуда. — Он показал головой на виллу и каменный выступ в вышине. — Падение с такой высоты не проходит... бесследно. *Inoltre* <sup>45</sup>. . . — Он помолчал, глядя на меня то ли с горечью, то ли с укоризной.

— Что — кроме того? — спросил я.

— Кроме того, я не верю вам, когда вы говорите, что этот человек не был психопатом. *Per prima cosa* <sup>46</sup>, для меня очевидно, что он самоубийца. Само по себе это необязательно означает, что он был психопатом, но на такой поступок толкает только помраченное сознание как минимум *Secondo* <sup>47</sup>, — тут голос следователя задрожал — он уже не мог совладать с гневом и возмущением. — *secondo*, синьор, я не верю, что на такое безумное зверство способен кто-нибудь кроме психопата. Тем самым назвать так этого человека — не более чем снисходительность. Никогда в жизни я не видел, чтобы над человеком так чудовищно надругались, как над этой девушкой. Никогда! Синьор, вы были его другом, и я избавлю вас от...

<sup>45</sup> Кроме того...

<sup>46</sup> Во-первых.

<sup>47</sup> Во-вторых.

— Никогда в жизни! — раздался бабий голос сержанта; лицо у него стало помидорного цвета, и он дрожал, как желе, грозя обрушиться на меня всей своей раздутой обоеполой тушей. — Кожу с головы, будто медведь, содрал! Никогда в жизни! Гангстер американского...

— Замолчите, Паринелло! — приказал следователь, — Закройте рот! — Он повернулся ко мне и произнес яростным шепотом: — Но это правда! Он был дьяволом. — Брови следователя щетинились у самого моего лица, изо рта пахло мятой. — Дьяволом!

— Неправда! — сказал я. — Не был он дьяволом.

Но я уже ничего не понимал. Они говорили как будто о совсем другом человеке. Изнемогающий мой ум, словно в теплую шаль, кутался в неверие, в ушах звучал какой-то струнный перебор — первый звонок, решил я, из желтого дома.

MISERIA! — голосили в городе колокола. DOLORE!<sup>48</sup>

Были уже сумерки, когда я вернулся в город. Нет, не сумерки, конечно, а та видимость вечера, когда солнце, свалившись за гору, позволяло звездам светить днем, а курам возле домишек на склоне с горестным квохтаньем усаживаться спать в сиреновой мгле. Тем не менее с наступлением этой лженочи все утихомирилось. В домах, мимо которых я шел, уже горел свет и пахло жареной рыбой; один раз донесся даже обрывок громкого смеха. Первое оцепенение как будто прошло, и, тут насвистывая, там гремя посудой, люди занялись привычными делами. В темном проулке из приемника гремела музыка; это был старый номер Арти Шоу<sup>49</sup> «Френеси», и у меня защемило сердце; мелодия была связана со школьными годами, со «Святым Андреем» и, неизбежно, с Мейсоном. Но, как ни странно, я старался не думать о Мейсоне — я просто не мог о нем думать. Он был мертв, и все, и чувств у меня это вызывало не больше, чем если бы он умер двадцать лет назад. Когда я признал этот факт, у меня пропало даже первое ощущение утраты, покинутости: я был потрясен, но горя не чувствовал, и глаза были сухие, как кремни. И совсем другая смерть занимала меня, когда я подошел к городским воротам и увидел останки «остина», еще не разобранные местными автомобилистами на запасные части, но уже заляпанного голубиной побелкой. Мне и вспоминать не хотелось о машине, но при виде ее мрачной чередой потянулись мысли о ди Лието: вот он, забинтованный, беспомощный и немой, лежит в больнице и плазма капает ему в вену; вот он, все в том же комбинезоне, кривой и бодро ухмыляющийся, предъявляет свою личность перед вечными вратами. Но и это я выбросил из головы; мне ничего так не хотелось, как только выбраться из Самбуко; зато теперь в голову втемяшилась еще одна мысль, не менее угнетающая: я назойливо повторял себе, что на мне лежит последнее обязательство перед Мейсоном — необходимо «распорядиться» насчет тела.

Я подошел к площади: народ еще топтался тут, но уже не в таком количестве, не такой ошарашенный, не такой испуганный. Тоже немного успокоившись, я снова почувствовал голод, сел в кафе за столик и заказал бутерброд. Но официант, прилизанный и надутый молодой человек с муссолиниевской челюстью, был так резок и недружелюбен, что я поскорее проглотил кофе и удалился. Люди на площади перешептывались, когда я проходил мимо; только теперь я сообразил, что в этом маленьком городке меня без труда опознали как одного из приятелей Мейсона, — и было не очень приятно шлепать по площади в сандалиях мишенью для двух десятков враждебных глаз. Колокола смерти и горя гремели у меня в ушах, пока я шел мимо строгого фасада церкви и по улице к дворцу. Горожане с ворчанием расступались передо мной как перед прокаженным. «Orco! — прошипел кто-то в потемках. — Людоед!»

На холме дубовые двери дворца были распахнуты, а по улице перед ними медленно двигалась вереница грузовиков и легковых машин. Тут царил буйный дух демобилизации: ватага местных грузчиков таскала оборудование на грузовики; раздавались крики, угрозы, ругательства; багаж передавали из дверей виллы по цепи; «крайслер-универсал» стрелял глушителем, и сумеречную сцену заволакивал синий дым. Над всей этой суетой возвышался один из итальянцев, кото-

<sup>48</sup> О горе! О скорбы!

<sup>49</sup> Шоу Арти — американский джазовый кларнетист и руководитель оркестра.

рого я видел накануне ночью в трусах; теперь на нем был темный костюм в полоску и темные очки, и он командовал с грузовика. Подойдя поближе, я различил в сумерках знакомые лица: Доун О'Доннел и Алису Адэр, уныло несших шляпные коробки; Билли Реймонда, занятого какой-то безрадостной беседой с Мортонем Бэйром; и наконец Карлтона Бёрнса, который вышел из дворца с нездоровым, зеленым лицом, опасливо поглядел на небо, а потом, вскинув на плечо сумку с клюшками для гольфа и прижимая к груди пару маленьких барабанчиков, как сомнамбула, поворотил к своему «кадиллаку». Несколько минут я не мог попасть во дворец. Наконец открылась лазейка, я протиснулся сквозь толпу к внутреннему двору и чуть не столкнулся с Розмари де Лафрамбуаз. Наверное, она проплакала несколько часов без передышки; ее широкие щеки, уже без всяких следов пудры, горели, и синяк вокруг глаза — это последнее свидетельство теплых чувств Мейсона — был особенно заметен. Она шла спотыкаясь, прекрасные белые плечи были прикрыты норковой накидкой, из могучей груди вырывались хриплые рыдания; ее поддерживала под локоть Мегги, та хорошенькая девушка в очках, над которой издевался Карлтон Бёрнс. Я взял Розмари за руку. Я сочувствовал ее горю, но не знал, что сказать.

— Мне... мне очень жаль, Розмари... — начал я.

— Она в шоке, — сообщила Мегги. В ее голосе с монотонным голливудским распевом слышалось благоговение. — Она накачалась фенобарбиталом. Бедняжка...

— Ох, Питер, — дрожащими губами выговорила Розмари. — Ох, Питер... — И онемела. Глаза у нее были расширены, ее мраморные руки покрылись гусиной кожей.

— Господи, — сказал я, — Розмари. Я... Я прямо не знаю, что сказать. — Перед человеком, потерявшим кого-то из близких, я превращаюсь в дурака как ни перед кем другим; я тщетно искал слова утешения.

— Это... это невозможно, — выдавила она наконец; глаза у нее вдруг раскрылись еще шире, и от этого лицо приобрело такое изумленное выражение, что ее можно было принять за помешанную. — Он не мог этого сделать, Питер. Не мог. Не мог. Я его знаю! — Она закрыла лицо руками и заплакала.

— Розмари... — пробормотал я, дотронувшись до ее руки. Кожа под моей ладонью была как жабья — влажная, ледяная, она бешено пульсировала.

— Она в шоке, — повторила Мегги. — Алонзо велел поскорее увезти ее в Рим.

— Где Алонзо? — спросил я.

— Поехал в Неаполь договариваться с нашим консулом или еще с кем-то... ну, насчет того, как распорядиться.

— Он вернется? — Только Крипс, казалось мне, мог предпринять что-то разумное в этом бедламе.

— Ну ничего, детка, — приговаривала Мегги, глядя Розмари по плечу. — Не плачь. Все обойдется. — Она обернулась ко мне. — Нет. Все уезжают. Солу Кишорну кто-то сразу сообщил об этом, и он прислал телеграмму из Рима. Я ее видела. «Выезжайте из города subito<sup>50</sup> повторяю subito». Бойтся попасть в историю. Ничего, деточка, все обойдется. Ну, давай пойдем и сядем в машину.

Розмари подняла голову и глядела на меня, беззвучно шевеля губами. И на миг я душой прозрел ее горе: даже подбитый глаз и тот был свидетелем ее преданности, превозмогшей и обиды, и синяки, и затрещины, и его измены. Что потеряла она в нем. Я не понимал почему горюет дама прекрасная о таком человеке, как Мейсон? Но, повторяю, на миг я печально прозрел, я подумал, что горюет она, наверно, о тех ночах, когда они любили друг друга, когда она шептала в спутанные волосы спящего: «Булка», или о тех утрах первой любовной лихорадки, когда он казался ей верным рыцарем, не только богатым, но и нежным, когда жизнь с ним обещала так много. Она нервно схватилась за голову; волосы рассыпались, шпильки полетели на пол.

— Питер, — умоляюще сказала она, — он этого не сделал, я знаю. Он просто...

— Пойдем, деточка, — сказала Мегги.

<sup>50</sup> Немедленно.

Ледяная ладонь Розмари лежала на моей руке; она хотела добавить что-то еще, но губы опять зашевелились беззвучно, и, судорожно вздохнув, она повернулась и пошла, а вернее сказать, заковыляла — таким мучительным было ее продвижение — по плиткам к двери. Я смотрел ей в спину: добрая женщина, думал я, натерпелась горя с живым и опять горюет — о мертвом; славная женщина; она шла, роняя шпильки из золотых волос, смяв подмышкой «Нью-Йоркер».

— Если хотите знать, — доверительно шепнула мне Мегги, уходя за ней, — так ему и надо, мерзавцу. Это какое-то чудовище. Говорят, у девушки ни одной целой кости не осталось.

Я подождал на дворе, пока не уехали кинематографисты. Эвакуация их была спазматически стремительна; никакое воинское подразделение, вынужденное к отходу, не могло бы осуществить его так скоро. В фургонах и на грузовиках, в «универсалах» и на мотороллерах, на «фиатах», «альфа-romeо» и «бьюиках» с откидным верхом они потянулись мимо дверей караваном беженцев. Я, помню, пожалел, что больше не увижу Крипса. Предпоследним выехал автобус с техниками, а за ним открытая машина с Глорией Манджамеле, все еще над чем-то хихикавшей, и Карлтоном Бёрнсом, чье худое собачье лицо было запрокинуто к опрокинутой бутылке виски. Все это не их печаль, еще минута — и они исчезнут из виду, и только будут мигать светляки да мелькать ушаны на тихой улице, как тысячу лет назад при добром Рожере, сицилийском короле.

Так в конце дня я вернулся к Кинсолвингам. Неизвестно для чего я прикрыл за собой большие деревянные двери: может быть, чтобы отделаться от далекого и беспрестанного похоронного звона, может быть, чтобы отгородиться, пусть на время, от самого города, от его тяжелой атмосферы, пропитанной мрачностью, страхом и угрозой. Безлюдный, стихший двор был усыпан бумажками, коробками и прочими отбросами отъезда. Глаза сами собой обратились к потолку: пленная птица все еще рвалась к луне через стеклянную лилию фонаря, но без прежней иступленности, почти бессильно хлопая крыльями, и недолго оставалось до той минуты, когда она упадет на эти оскверненные, раздавленные плитки и умрет. Раньше ее мучения трогали меня, а сейчас оставили равнодушным. Я вообще ничего не чувствовал, словно всю волю выкачали из меня до капли, всю силу мышц и костей, — клони и гни меня в любую сторону, я уступлю, как водоросль. Наверху затопали чьи-то ноги. Я подумал (если только память меня не обманывает), что сейчас увижу Мейсона — сейчас он выйдет на балкон, замашет мне длинной рукой, капризно крикнет: «Питси» — и потребует, чтобы я с ним выпил. Мало того, в секундном помрачении я решил, что это он и есть — человек был того же роста, — но это оказался всего лишь местный рабочий из прислуги Ветергаза, который вышел из двери Мейсона и поволок вниз ящик с мусором, механически буркнув бессмысленное «prego<sup>61</sup>», после чего скрипил губы и обдал меня презрительным взглядом.

Через зеленую дверь я вошел в комнату Касса: все та же грязь, все тот же хаос, освещенные все той же тусклой лампочкой. Тишина, никого в доме. С прошлой ночи тут ничего не тронули; веревка с волглым бельем, повешенная кукла на мольберте, разбросанные комиксы, сигарные окурки, бутылки — все на прежних, если можно так выразиться, местах. Только запах стал крепче, забористее. Когда я зажег верхний свет, три упитанные мыши сиганули со стола, как три пушистые мушкетные пули, и, с троекратным отчетливым стуком приземлившись на пол, шмыгнули за стенную панель. Но ничто не могло смутить моего голода: я вспомнил, что мельком видел где-то комнату, похожую на кухню, и стал рыскать по верхнему этажу, обдирая щиколотки, зажигая спички. Наконец я наткнулся в коридоре на допотопный ледник и открыл его; лед давно растаял, внутри шкафа было сыро и тепло, пахло кислятиной, а на липких нечистых полках стояла одна бутылка кока-колы, пузырек с раствором витаминов для грудного ребенка и черствый кусок сыра. Я выдавил несколько капель витамина в кока-колу и с бутылкой и сыром вернулся в комнату. Тут я откопал еще окаменевшую половинку батона, тоже съел и продолжал сидеть, ничего не чувствуя, дряблый, как кусок студня. Сидел долго и думал, что делать дальше.

<sup>61</sup> Прошу.

Наконец — было уже совсем темно, часов, наверное, девять, — со стороны сада, из-за бассейна, долетели голоса. Тонкие и пронзительные, они раздавались где-то далеко. Я подумал, что там ссорятся женщины; потом они приблизились, и стало ясно, что это детские голоса. По мощным дорожкам сада зашаркали ноги, зашуршали кусты, хлопнули двери. Потом на лестнице раздались выкрики по-английски и по-итальянски — и после короткой возни на площадке они ворвались в комнату, как повсюду врываются домой дети летним вечером, — запыхавшиеся, с потными лбами, расчесывая комариные укусы. За ними тащилась Поппи, неся самого маленького, который крепко спал, несмотря на шум.

— Пегги! — скомандовала она. — Тимоти! Фелиция! Все в кровати! Без разговоров! (Я встал и кашлянул.) А, это вы, мистер Леверетт! — Лицо у нее было измученное и несчастное, на голове — линялая косынка. Такие хорошенькие, худенькие, прозрачные лица показывают настроение, как лакмусовая бумажка: дети от усталости под глазами напоминали разводы сажи. — Вы видели Касса? — закричала она, широко раскрывая рот. В голосе ее была мольба, слезы — и никаких светских ужимок, никакой благовоспитанности; так горюет трехлетняя девочка, потерявшая куклу. — Вы его видели? Я везде его искала! Я не видела его с прошлой ночи!

Завопил кто-то из детей: «Мама, я хочу cioccolato<sup>52</sup>!» «Cioccolato!» — подхватил другой. И в одно мгновение у меня на глазах разразилась форменная буря: все — кроме старшей девочки, которая чинно сидела на стуле, — вопило что есть мочи, требуя шоколадку, и младенец на руках у Поппи тоже присоединился к ним — он проснулся в испуге, сразу сделался малиновый и заорал. Всю жизнь от детского крика на меня находит оторопь; я вынул сигарету, закурил и загордился от них облаком дыма.

— Прекратите! — взвизгнула Поппи. — Прекратите, дети! Чтоб вам! — Грудь у нее вздымалась, она чуть не плакала. — Прошу вас, прекратите, — взмолилась она, и дети притихли. — Не могу я вам дать шоколад. Нету его. Нету его у нас. Я же вам говорила. Ну ложитесь спать. — Маленький продолжал плакать, и, укачивая его, она сама захныкала. — Вы не видели Касса? — Она обернулась ко мне, но в голосе у нее был не вопрос, а просьба, как будто она не верила, что я его не видел.

— Нет, не видел. Можно у вас...

— Вы слышали, что сегодня случилось? — сказала она с испуганным видом. — Какой ужас. Вы слышали когда-нибудь такой ужас?

— Мама, что случилось? — спросил Тимоти. Он возил пальцами в банке из-под сардин и слизывал с них загустевшее прованское масло; вид у него был такой голодный, что я не мог его осудить. — Мама, скажи, что случилось? — повторил он простодушно и без всякого интереса.

— А я знаю, что случилось, — сказала Пегги, которая сидела на стуле, не доставая ногами до пола. Она вздернула бровь и с видом превосходства опустила уголки губ: ангельское дитя с лучистыми глазами и ярко-золотыми волосами. — Противный Флагг прыгнул...

— Таси!<sup>53</sup> — прикрикнула Поппи. — Сейчас же замолчи, Пегги Кинсолвинг! За это вы сейчас же отправитесь спать, слышите? Вниз, живо! — Одним пальцем она стала зондировать пеленку малыша. — Ой-ой-ой, опять полные штаны. Только что тебя передела, Ники, — проворковала она мальчику, — и готово дело, опять напрудил. Пирожочек мой. — Улыбаясь, с тихим вихотаньем она приставила нос к носу младенца. Голос ее был полон нежности и восторга. — Только что, только что тебя передела. — ворковала она, обтирая палец о джинсы; горести утонули в приливе материнской любви. Потом она согнала детей в кучу и с младенцем, который сонно мигал мне, свесив розовые щеки над ее плечом, повела весь выводок вниз, нежно приговаривая что-то, словно позабыв свою тревогу.

Но когда она вернулась минут через десять, на лице у нее опять было отчаяние. Она заходила по комнате, говоря на ходу и то и дело тихонько всхлипывая:

<sup>52</sup> Шоколадку.

<sup>53</sup> Молчи!

— Утром, когда мне рассказали, я просто не поверила. Не поверила своим ушам! Но оказалось — правда. А утро началось так смешно. И тут еще вы, мистер Леверетт...

— Зовите меня Питером, — сказал я. — Вы о чем?

— Вы меня не слышали? Когда я вошла в комнату и стала вас будить? Я думала, это Касс. Иногда он ночует там — если поздно ложится и не хочет меня будить. Я потрясла вас за плечо, а вы перевернулись и застонали. Надо сказать, я опешила. — Она помолчала, комкая мокрый носовой платок, потом вежливо добавила: — Мы, конечно, очень рады, что вы у нас остались...

— Где это произошло? — перебил я.

— Вы про... Ах да что же я... — Она покраснела, и лицо ее омрачилось. — Ох, это такой ужас. Я ничего не могла выяснить. Но потом увидела Алонзо Крипса, он как раз собирался уезжать. Он сказал, что это произошло возле самого города, на тропинке, которая ведет в Трамонти. Там есть верхняя тропинка и нижняя тропинка, и, кажется, он сказал, что это было на верхней... или нет, на нижней. В общем, утром ее нашли на этой тропинке крестьяне, подняли и перенесли бедняжку в ближайший дом. — Голос у нее прервался, она вздрогнула, и по щекам медленно проползли две слезинки. — Ох, это такой ужас! Прямо какие-то средние века. Я про Мейсона. Ну да, он был жестоким, злым человеком, он помывал Кассом, он пользовался его состоянием и не знаю, что еще, но, правда, мистер... Питер... просто не верится. Он, наверно, рехнулся. — Тут она не выдержала и беспомощно заплакала в свой крохотный носовой платок.

— Поппи, а что с девушкой? — сказал я. — С Франческой? Что с ней? Вам известно?

— Она умрет, — всхлипывая, ответила Поппи. — В городе все так говорят. Почему я не могу найти Касса?

Сегодня на ней были джинсы и золотой браслет; худенькая, узкобедрая, в сползших носках, с грязной щекой, она была похожа на девочку-подростка, которая упала с велосипеда и горько переживает свое унижение. У меня сжалось сердце от жалости. Я еще раз окинул взглядом этот саморазвивающийся кавардак в комнате, с которым она, наверное, пыталась совладать; то, что она мать четверых детей, внушало мне благоговение. Я положил руку ей на плечо.

— Не волнуйтесь, Поппи, он скоро вернется.

Она подняла залитое слезами лицо.

— Но где он может быть? Я его всюду искала. На площади, у виллы Констанца, на рынке, всюду! Он никогда так не уходил! Никогда. Ах... — Лицо ее вдруг осветилось. — Ах да, забыла. Я знаю, где он может быть! Он мог поехать с Луиджи в Салерно. Они часто...

— Луиджи я видел. Он говорит, что не видел Касса, — пришлось сказать мне.

Поппи изменилась в лице.

— Силы небесные, — проговорила она упавшим голосом. — Слушайте, Питер, я знаю, он в этом как-то участвовал.

— Что вы хотите сказать?

Лицо у нее стало землистого цвета, и, когда она медленно поднялась со стула, мне показалось, что зубы у нее стучат.

— Да если бы я знала! Понимаете, он такой больной. Алкоголик, вы сами прекрасно понимаете, а у него язва, ему нельзя пить, и потом у него головокружения. Я хочу сказать...

— Поппи, что вы говорите! Как он мог в этом участвовать...

— Не знаю! — плачущим голосом выкрикнула она. — Нет, знаю! — Она пошла к стене, сдернула желтый дождевик, который был велик ей размера на три, и завернулась в него (дождя на улице не было). — У женщин бывает предчувствие, вот. Я хочу... — губы у нее дрожали, — я хочу сказать, я знаю Касса! Его это очень потрясло, ведь он знал Мейсона, знал Франческу, она у нас работала и вообще. Я знаю Касса, он, конечно, напился и разбушевался, сказал что-то обидное *carabinieri*<sup>54</sup> насчет того, как они ведут дело, и они посадили его в тюрьму! Он ненавидит сержанта Паринелло! Фу! — Она топнула ногой и поправила

\* Карabinieri.



косынку. — До чего он безответственный, этот Касс Кинсолвинг. Может быть, — добавила она, вытерев слезы и глядя на меня с надменным видом человека, терпение которого истощилось, — знаете, может быть, его пора сдать «Анонимным алкоголикам»<sup>55</sup> или еще куда-нибудь. — Она пошла к двери. — Если дети закричат, я буду fra venti minuti<sup>56</sup>. Пойду попробую вызволить Касса из тюрьмы. Если проголодались, посмотрите, нет ли чего в леднике. Чао! — И изо всех небольших своих сил захлопнула за собой дверь. Станный ход ее мыслей, причудливость мотивировок ошеломили меня так, что я прирос к месту; мне пришлось в голову, что она немного недоразвита.

Я спустился вниз и собрал свои пожитки. Слышно было, как дети воют в спальне; к черту, подумал я, без меня разберутся. Я чувствовал себя грязным, рубашка липла к телу; в ванной, пока я обтирался губкой, у меня созрел план отъезда. Деньги сейчас меня мало заботили; судя по расписанию, которое попалось мне на глаза в вестибюле гостиницы, последний автобус в Неаполь уже ушел, но я не сомневался, что долларов за десять можно нанять машину с шофером. Правда, мой пароход отплывал в Америку только через пять дней, но было бы даже приятно побродить по Неаполю, еще раз сходить в музей, съездить на Капри, на Искью и на Понцу. И я решил, что пора в дорогу.

Я собирался идти наверх, но тут вспомнил про «остин»: эта груда лома обошлась мне в тысячу триста долларов, и я не собирался дарить ее стихиям или местным мародерам. Но, в общем-то, мне было все равно. Может быть, удастся выжать из Ветергаза за эту развалину сотню тысяч лир — на пять дней в Неаполе хватит; если же не удастся, пусть стоит тут вечно нужником для голубей.

Поднявшись наверх и войдя в комнату, я не сразу увидел Касса. Он, наверно, вошел потихоньку, или его шаги заглушила возня детей; я был уже у двери, как вдруг услышал звук за спиной, обернулся с испугом и увидел его. Не знаю, из-за чего именно он сразу показался мне совсем другим, не похожим на себя человека. Это был Касс — и одет был так же, в грязное, мягкое хаки, и берет был заломлен так же лихо, и так же поблескивали очки. — но он был не совсем Кассом, какой-то непонятный и жутковатый сдвиг превратил его как бы в собственного близнеца. А в остальном — все знакомое: он был пьян, как и при первой нашей встрече. В тяжелой вялой руке висела бутылка вина, он едва держался на ногах, пошатывался и, чтобы не упасть, прислонился бедром к столу. В другой руке он держал изжеванный и обслюнявленный окурочек черной сигары. В тишине отчетливо слышалось его тяжелое дыхание. Сперва мне почудилась в его глазах угроза — так упорно и пронзительно он смотрел на меня, — но потом я понял, что он пьян до бесчувствия и просто пытается сфокусировать взгляд. Язык тоже не слушался его, и, когда он заговорил, речь была хриплой, почти невнятной.

— Да, черт возьми, — медленно и с усилием выговорил он. — Вы поймали меня с поличным. Видел только что, как Поппи ушла. Думал, шмыгну сюда и займусь своим делом от людей и от чудовищ втайне. Только про вас забыл. Пожалуй, надо вас убрать, как говорят в фильмах. Он слишком много знает. Куда это вы спешите? Вид у вас, как будто вы ограбили тотализатор.

Чемоданы выпали у меня из рук и грохнулись на пол.

— Я... Я... не знаю... Я просто...

Он остановил меня, махнув бутылкой.

— Эй-богу, рад вас видеть, Пит. — сказал он с вислогубой улыбкой. — Человека, которому верю. С которым можно разговаривать. Сперва думал, что вы из киношных умников. С Юга, а? Джорджия? Луизиана? Бабушка Виргиния? Сразу понял по вашим нежным развратным щечкам. А потом... о, боже мой!

— Что случилось? — спросил я, не придумав ничего более осмысленного. — Чем вам помочь, старик?

Он на секунду овладел собой, уперся в меня горячим, пьяным взглядом.

— Да, я вам скажу, чем вы можете помочь старику Кассу, — мрачно произнес он. — Да, я скажу тебе, мой черный ангел. Поддай ему машину, орудие поддай... кинжал, понятно, нож обоестрый, чтоб был наточен... и принеси сюда, к его груди приставь и надави со всею силой, по рукоять вонзи. — Он замолчал, но про-

<sup>55</sup> «Анонимные алкоголики» — американское общество для лечения и перевоспитания алкоголиков.

<sup>56</sup> Через двадцать минут.

должал смотреть на меня, слегка пошатываясь. — Без булды, Пит. Желаю исчезнуть. Составь мне зелье, понятно? Свари его из горьких, смертоносных трав и влей мне в глотку. Кассу выпал трудный день. Он сегодня выложился, голова у него болит, ноги устали, и слез в нем не осталось. — Он вытянул руки. — Вот и они утомились. Ты погляди на них. Видал, как дрожат и трясутся? Для чего они даны, спрашивается? Чтобы прижимать красивых дам к груди? Ваять памятники? Чтобы обнять ими всю красоту мира? Не-е! Они даны, чтобы разрушать, и они устали, и голова болит, и есть желание надолго провалиться в темноту.

Я хотел заговорить, но язык прилип к гортани: медленно и тяжеломерно надвигаясь на меня, он выронил бутылку, и она разбилась вдребезги. Он сунул в рот окурок сигареты; очки его, отразив свет, превратились в две блестящие монеты. Он шел ко мне пьяно и неуклюже, и такая угроза исходила от него, что я напряжил ноги и приготовился бежать. Но тут его рука сделала поразительное по быстроте движение, похожее на выпад гремучей змеи, — и запястье мое мгновенно онемело в его ухватистой и свирепой лапе. Он прижался ко мне, от него пахло потом, и теперь уже не пьяный, бешеный взгляд удерживал меня на месте, а мертвая хватка.

— Саись, — сказал он и отпустил мою руку.

— Что?!

— С а д и т е с ь! — приказал он.

И я, обалдев, повиновался.

— Ну что, он все-таки решился? — сказал Касс, тяжело дыша. — Решился все-таки.

Я хотел что-то сказать, но он оборвал меня, оглушительно рыгнул и плюнул на пол.

— Не придумал ничего умнее, паразит. — Он начал говорить что-то еще, но замолк, с выпученными глазами и разинутым ртом. Немного погодя очень медленно произнес: — Он мог умереть только раз — вот что самое обидное. Один раз...

— Не волнуйтесь. — пробормотал я, потирая запястье. Я встал. — Успокойтесь, Касс. Не надо так волноваться.

Я нерешительно похлопал его по плечу, но он отшатнулся, а потом медленно сел на стул. Он подпер голову рукой и затих, застыл в этой позе; оцепенелый, с буграми напряженных мышц под мокрой и грязной рубашкой, он был похож на изваяние — могучая понурая фигура вроде роденовского «Мыслителя», только не размышляющего, а скорбящего. Я слушал его тяжелое, усталое сопение; вдали, за стенами, приглушенно, металлически и печально снова зазвонили колокола.

— Где киношная кодла? — спросил он.

— Уехала.

Мне показалось, что он ухмыльнулся.

— Лохань потекла, крысы драпают первыми. — И он опять замолчал.

Когда он наконец заговорил, монотонным хриплым голосом, слова его были настолько темны, что я подумал: нет, не вином так затуманен его мозг, а чем-то более губительным и глубоким.

— *Exeunt omnes*<sup>57</sup>. Выходит вся шившая команда. Входит Паринелло, болтая брюхом, с богатой теорией. *Gentilissimi signori, tutto è chiaro*<sup>58</sup>. В раскаянии убил себя. Мать честная! Мозги из шерсти, пропитанной мочой. Покажи мне умного полицейского — и я покажу тебе девушку по имени Генри. — Его плечи затряслись от смеха, только оказалось — когда он медленно поднял лицо, — что это вовсе не смех; он плакал, если можно плакать без слез. Он поднял голову, плечи его по-прежнему вздрагивали, а сухие глаза смотрели с такой черной злобой, что я опять подобрался и приготовился бежать. — Не помню, с каких пор, — зашептал он, — я мечтаю, чтобы для меня все кончилось. Не помню, с каких пор! И вот оправдание. Назначь мне цену. Назначь цену! Да. Скажи мне. Скажи мне: десять миллионов раз умри, и пусть за гробом будет только чернота, и десять миллионов раз родись и проживи несчастным, умри, родись и снова умри, и десять миллионов раз пусть будет чернота. Слышишь? Скажи мне так! Но скажи, что один раз из десяти миллионов там будет не чернота, а будет он стоять посреди вечности и скалить-

<sup>57</sup> Все выходят (лат.).

<sup>58</sup> Любезные господа, все ясно.

ся, как помойная собака, и ждать, чтобы его настигла ярость этих рук, — и я заплачу тебе, глазом не моргну, распрощаюсь с жизнью в полминуты. Нет, слишком легко он от меня ушел! Нет! Слишком легко от меня ушел!

— Не понимаю.

— Шиш-то, — сказал он, уже рассеянно. — Не добраться до гада. Издох наш Мейсон.

Касс неуверенно встал. Он сделал странное движение рукой, как бы подзывая меня, и той же рукой хлопнул себя по лбу. Он стоял с отрешенным видом, покачивался, потом опять заговорил:

— Знаете, мне кажется, что сегодня я лежал где-то на высоком склоне над Трамонти, там, где дуют холодные ветры и земля перемешана с голубиным пометом. И ручьи... да, холодные ручьи бегут сверху! Мне снилось, что я обнимаю любимую, что мы с ней дома наконец. Потом пришел этот доктор и разбудил меня — этот доктор с бородой-веником, с бутоньеркой и красным носом. И знаете, что он сказал мне, этот старик? Знаете, что он сказал?

Я не мог вымолвить ни слова.

— Он сказал: «Ты слышал, что дама твоя, прекрасная дама, убита?» Он положил мне лед на голову и остудил мой жар, и я сказал ему: «Почтенный синьор доктор, не морочьте голову бедному Кассу. Чертов доктор! Скажите, что жива она, чей след в пыли дороже всех сокровищ мира!» И кажется, тогда он сказал: «Нет, это правда, ваша дама правда умерла». И тогда я понял, что это правда.

Он бессильно провел рукой по глазам. Вдруг рука его потянулась к бутылке на столе; движение было неловким, он потерял равновесие, упал на стул и долю секунды лежал на нем под каким-то невысказанным углом вопреки закону тяготения, колотя по воздуху ногами, словно пловец, потом рухнул на пол, с грохотом повалив тяжелый мольберт. Он неподвижно лежал на полу в расходящемся облаке пыли. Я оцепенел, не мог сдвинуться с места, чтобы помочь ему, и думал только: неужели он и вправду себя убил? Однако немного погодя он зашевелился, подогнул ноги, все еще лежа ничком, и медленно, с огромными трудами принял сидячее положение. Он обалдело помотал головой, прижал руку ко лбу, и между растопыренными пальцами я увидел тонкую струйку крови. Я заговорил с ним — он не ответил. Сзади послышалось шлепанье босых ног: разбуженные, наверно, грохотом мольберта, с испуганными глазами к отцу шли двое детей. «Это папа. Ой, смотри, он ушибся!» Они остановились и смотрели на него. Потом неслышно, как тени, словно их подхватил ветерок, вдруг ворвавшийся в комнату и зашелестевший где-то в углу занавески, невесомо впрорхнули к нему в руки.

Окровавленный, с мутными и бессмысленными глазами, он крепко обнял обоих. «Ко мне прижмитесь, дети, с двух сторон...» — начал он и умолк. Потом вдруг мягко оттолкнул их в стороны и поднялся на ноги. Он смотрел на меня, но больше меня не видел: взгляд его устремился сквозь меня и за меня к чему-то таинственному, далекому и самодовлеющему. Он шевелил губами, но не издавал ни звука.

Потом он быстро — насколько позволяли непослушные ноги — пошел мимо меня к двери. И, не обратив внимания на только что вернувшуюся Поппи, не обратив внимания ни на ее горестный крик: «Ох, Касс! Ты на себя не похож!» — ни на тряпичную ее фигурку на полу — когда она бросилась к нему, раскинув руки, и упала, — он вывалился во двор. И только через несколько секунд, склонившись над Поппи (которая медленно раскрыла глаза и прошептала: «Ох, Касс! Я тебя не узнаю»), я понял, что все это время передо мной было лицо человека, который за день постарел на десять лет.

*Перевел с английского В. ГОЛЫШЕВ.*

*Конец первой части*

*(Продолжение следует)*



---

---

# ЛЮБЛИЦА ИСТИКА

СИМОН СОЛОВЕЙЧИК



## «АГУ» И «БУКА»

*Педагогические размышления*

1

**М**ы читаем, слушаем, смотрим, словно, находясь в огромном амфитеатре, постоянно видим отражение и выражение того, что случается с нами и со всеми. И когда в жизни вдруг проступит что-то такое, что задевает всех, то волнуется грандиозный театр-амфитеатр, вскипает разговорами и спорами, криками одобрения и осуждения.

Вы заметили? Пошел по кинотеатрам фильм «Чучело», показали на телеэкранах «Хозяйку детского дома», и словно общее «ах!» раздалось — так волнуются, так заинтересованно говорят об этих работах всюду. Н. Гундарева, исполнительница роли Хозяйки, рассказывает: «Ни один фильм не принес мне такого количества писем...»

В самом деле, что же это такое? Почему мать безжалостно покидает рожденного ею ребенка? Почему милые, ухоженные, одетые-разодетые мальчики и девочки могут гнать, бить, со свету сживать одноклассницу, нисколько ее не жалея? Драматург С. Алешин рассказывает в «Советской культуре» о компании парней, приемами карате до смерти забивших в парке немолодую женщину, и о том, как держались убийцы и их товарищи на суде — «как на забавном спектакле», вынудив автора статьи спросить у судьи: «Не находите ли вы, что подсудимых и эту публику можно было бы неразлично поменять местами?» В «Учительской газете» молодая преподавательница пишет: «Вошла в класс и к своему столу добралась под «гул канонады» из отборной брани». «Что делать?» — спрашивает она себя, и мы все спрашиваем — не министерства, не ведомства — себя спрашиваем: что делать? На каждую драматическую историю можно привести десять, сто и тысячу свидетельств благородства, но жизни человеческие не уравновешиваются на весах, нет таких весов... Замечательно, что мы стали нетерпимы к тому, что прежде казалось неизбежным, пусть даже и впадая иной раз в преувеличения, как бывает при всякой тревоге. Мы думаем и пишем: болезнь... «Это стало какой-то просто-таки педагогической болезнью века: родители, отдавая ребенку все, в то же время лишают его себя», — пишет в «Известиях» В. Каджая.

Я и сам бы мог рассказывать грустные истории, но нарочно называю факты уже опубликованные, ссылаюсь на работы кинематографические и телевизионные, на то, что у всех на виду, что обсуждается всеми. Мы горюем, мы вздыхаем, мы сердимся, мы ищем виноватых: кто семью винит, кто школу, кто что. Привычный набор виноватых, известный перечень диагнозов, но постепенно эти ответы и диагнозы перестают удовлетворять. Начинаем искать нечто более глубокое, более общее, быть может даже и абстрактное в какой-то степени, потому что общее всегда абстрактно, и пугаться тут нечего. Больше не хочется рассказывать истории, приводить примеры, привлекать внимание — в нем нет сегодня недостатка, — нужно думать и думать... Говорят: бездушность.

Пишут: бездуховность. А где основа душевности? Что — духовность? Как они воспитываются?

Хорошо поэтам! Поэт может написать:

Душа — это сквозняк пространства  
меж мертвой и живой отчизн.

И никто его, поэта, не попрекнет! Но педагогу и само-то слово «душа» заказано, не то что «сквозняк пространства». Понятия эти — «душа», «дух» — в Академию педагогических наук еще не избраны, и, если бы не поэты, мы, возможно, потеряли бы эти слова, истаяли бы они в «Красной книге» языка, и упрямо вертелись бы мы в кругу «семья — школа — меры — мероприятия», не понимая, отчего это так: мы говорим, мы сердимся, мы принимаем меры, а между тем горят чучела, хихикают убийцы в зале суда, матом встречают пэтэушники учительницу и пишут «Известия»: болезнь.

А может, хоть чуть-чуть отойти от привычных ходов мысли и ради детей наших рискнуть потрудиться, поискать самый корень — не бесчеловечности, нет! Корень ч е л о в е ч н о с т и поискать.

Принятая в стране реформа общеобразовательной и профессиональной школы, как подчеркивалось на Всесоюзной научно-практической конференции, проходившей в Москве в декабре прошлого года, — это «неотъемлемая составная часть совершенствования зрелого социализма». В то же время секретарь ЦК КПСС М. В. Зимянин, выступая на конференции, говорил: «Осуществление реформы начато, но пока можно говорить лишь о начале коренного улучшения трудового воспитания и профессиональной ориентации учащихся». «Лишь о начале...» Нам предстоит преодолеть еще немало трудностей в самом сложном из всех искусств — в воспитании детей, еще над многим надо думать.

Не без смущения, не без страха предлагаю я к публикации нижеследующие страницы. Одно могу сказать в свое оправдание: я не собирался, не хотел! Я задал себе однажды простой вопрос: почему в одних семьях вырастают хорошие дети, а в других — плохие? Откуда я мог знать, что невинный этот вопрос, который многие люди задают себе, заведет меня в дебри, не имеющие названия: философия не философия, этика не этика и уж, конечно, не психология...

Знаю только, что это все совершенно необходимо понимать для воспитания детей — хотя бы для этой цели!

По многим причинам, в объяснение которых не стану здесь вдаваться, вслед за демографическим взрывом, вслед за образовательным бумом середины нынешнего века идет третья волна — круто возрастает интерес к семейной педагогике. Мир не справляется со своими детьми. Родители не успевают приспособиться к постоянно меняющимся обстоятельствам жизни, не умеют достаточно быстро изменить свои педагогические взгляды и приемы. Оттого — небывалая потребность в педагогической помощи, в знании, в совете, и во всем мире примерно с начала 70-х годов появляются одна за другой программы практического обучения родителей, создаются методика такого обучения, выходят одна за другой книги-бестселлеры о воспитании детей в семье.

И у нас то же самое. В документах о школьной реформе впервые говорится о «педагогическом всеобуче». И вот на первое занятие университета для родителей в одном из крупных городов пришли, как сообщала местная газета, девятьсот пап и мам. Девятьсот!

...А на следующее занятие — девяносто.

А на третье — девять.

Похоже, что великий спрос на педагогические знания сегодня никто не может удовлетворить — никто не знает толком, чему же надо учить родителей и чем им помочь. Оттого и бегут они с лекций, и так всюду, во всем мире. В США провели исследование с целью установить, каков же реальный результат лекций, семинаров и курсов по семейному воспитанию, по технике общения с детьми. Обнаружилось, что результаты крайне незначительны. Об этом рассказывает «Руководство по обучению родителей», изданное в Нью-Йорке в 1980 году.

Пожалуй, иначе быть и не могло, потому что повсюду считается, будто обучать родителей — значит давать им психологические сведения. Между тем у педагогики не одно, а два основания — психология и этика, и, скажем, выдающиеся наши воспитатели А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинский были специалистами в области этики, а не психологии. Но такой науки, которая соединила бы психологию и этику, пока еще нет, и оттого общее разочарование в обучении родителей.

Родителям говорят: бейте детей — не бейте детей, относитесь к детям терпимее — не распускайте детей, давайте больше воли детям — не давайте воли детям, будьте добрее к детям — будьте требовательны к детям... То есть с мамой обращаются точно так же, как и с учительницей, забывая, что в случае неудачи маме выговора не объявишь и с работы ее не снимешь. А как мама может быть требовательной, если она не умеет? Нас не удивляет, что не все люди обладают достаточными организаторскими способностями для руководства другими людьми. Почему же маме в праве на этот естественный недостаток отказывают?

Говорят: «А вы займитесь, мамаша, самовоспитанием; воспитатель, воспитай сначала себя» — и прочие очень прогрессивные с виду слова. Да самовоспитание во сто раз труднее воспитания, и если бы мама могла заняться самосовершенствованием, если бы был у нее досуг для этого очаровательного занятия, была бы культура, были бы силы, то и не спрашивала бы она никого, как ей справиться с детьми.

Вот и выходит: с одной стороны, педагогика, набор замечательных советов для замечательных родителей, а с другой стороны, родители отнюдь не совершенные, которые с тоской этим советам внимают и чувствуют себя очень виноватыми перед своими детьми. Но что они могут сделать, если у них в отличие от школьного воспитателя нет главной педагогической силы — коллектива. Хотя и говорят, что семья — это маленький коллектив, но, во-первых, во многих случаях до того маленький, что слово «коллектив» становится смешным в таком применении, а во-вторых, в маленьком этом коллективе такие подчас великие раздоры, что и вовсе в стороны разбегаются люди и меньше всего годится такая семья для воспитания. И нет у мамы опыта, и нет сил, и нет времени, и нет способностей, наконец! Маме говорят: «Методы воспитания... формы воспитания... принципы воспитания...» — а она приходит с работы домой и обнаруживает, что ее озлобившийся десятилетний сын сбивает зубилом штукатурку на кухне. Вот тебе формы, методы и принципы, вместе взятые!

Педагогика — наука об искусстве воспитания детей. Но не всех, должны мы понять, не всех, а только чужих! Когда же дело доходит до своих собственных детей, то всякая наука кончается и начинается неизвестно что. Даже у самых прекрасных учителей бывают никудашные дети. В таких случаях говорят осуждающе: «Своих воспитать не может, а за чужих берется». Но много ли хирургов делали операции на собственном сердце?

Да, чужих воспитывают, а своих не могут, потому что наука педагогика прекрасно работает, когда перед воспитателем тысяча детей, похуже — когда их тридцать, и совсем плохо, когда один-два-три.

Что же делать?

Не знаю, я знаю одно: нужно понять процесс воспитания, понять, что же происходит между нами и детьми, когда мы их воспитываем, и какую силу имеют различные наши педагогические действия. Некоторым это помогает хотя бы потому, что они начинают лучше относиться к своим детям, начинают понимать границы своих возможностей, не требуют от детей неведомого совершенства. Да и просто начинают понимать что к чему.

Педагогика для родителей исследует, при каких обстоятельствах у родителей все хорошо с детьми, а при каких — все плохо. Так получается, а так нет — вот, пожалуй, все, что может сказать педагогика. Но это немало.

## 2

Начнем с трех самых привычных моделей воспитания, назовем их условно «уличное движение», «сад-огород», «кнут и пряник».

Модель «уличное движение». Нам кажется, будто детей воспитывают точно так же, как обучают их правилам уличного движения, будто ребенок должен выучить некий свод правил, — вот и все! Если мальчик ведет себя плохо, значит, взрослые, ответственные за его воспитание, не объяснили ему, как надо себя вести. Если бы они не ленились, а объясняли бы детям и особенно подросткам, как себя вести, то все было бы хорошо. Так и предлагают: надо, мол, ввести в школе уроки морали и объяснять детям, что нехорошо, например, угонять чужую машину даже с невинной вроде бы целью покататься.

Но отчего одни люди, не видевшие в глаза уголовного кодекса, не нарушают законов, а другие, вызубрив все статьи кодекса наизусть, то и дело попадают за ре-

шетку? И разве есть на свете хоть один ребенок, который не знал бы, что не только машину — и самокат чужой брат нехорошо?

Женщина говорит на суде, где обвиняемый — ее двадцатилетний сын-убийца: «Гена, что же ты наделал! Я же тебя учила только хорошему! Ну скажи им, что мы с отцом учили тебя только хорошему!».

Все учат только хорошему, редко кто внушает детям дурное, но дети вырастают плохими людьми не потому, что они не знают, что такое хорошо и что такое плохо, и даже не потому, что они безвольны, а по каким-то совсем другим причинам. У одного литературного героя с детства висели перед глазами прописи: «Не лги, послушай старшим и носи добродетель в сердце». Все объяснили ему! А вырос Чичиков.

Вторая модель, «с а д о г о р о д», основана на странном убеждении, будто мы, родители или какие-то другие воспитатели, можем обходиться с ребенком как с грядкой — выпалывая сорняки в его душе, и/л как с деревом — прививая ему лучшие качества. Но ребенок не грядка и не дерево, он существо одушевленное, он не поддается этим процедурам и манипуляциям. В. А. Сухомлинский писал об этом так: «...причина бессилия воспитателя и даже коллектива перед трудным ребенком кроется не в том, что этот воспитатель не исправим, а в том, что самый процесс воспитания идет по ложному пути: воспитатель стремится только и скоренять пороки, в лучшем случае предотвращает их возникновение. Опыт (во многих случаях горький опыт) убедил, что таким путем нельзя воспитать стойких нравственных убеждений... Пороки искореняются сами по себе, уходят незаметно для ребенка, и уничтожение их не сопровождается никакими болезненными явлениями, если их вытесняет бурная поросль достоинств».

С «бурной порослью достоинств» не всегда получается, особенно у родителей, которые склонны видеть в своем ребенке только пороки и недостатки. Но хотя бы установим: «выпалывание» недостатков — занятие бессмысленное, и чем более категорично об этом будет заявлено, тем больше пользы для детей и родителей, потому что многие из нас уверены в том, что воспитывать — значит бороться с недостатками. Что же касается привития... Почти вся педагогика прошлого держалась на приучении. Но для приучения требуется постоянный, почти круглосуточный надзор. Теперь, когда родители видят своих детей полчаса в день, а нянь и гувернанток нет, на приучение полагаться опасно, надо искать другие пути воспитания. Можно, конечно, приучить ребенка мыть руки, но невозможно приучить любить людей. Не приучением дается ребенку доброе сердце, совсем другие механизмы тут действуют.

Модели «уличное движение» и «сад-огород» особенно опасны тем, что, следуя им, мы из лучших побуждений постоянно ссоримся с детьми, и вся наша работа воспитания становится безнадежным занятием.

Наконец, о модели «кнут и пряник». Вот, кажется, без чего нельзя, вот самое естественное: за добрый поступок наградить, за дурной — наказать, поругать, пожурить. Как иначе? На этом мир держится!

Но мир не держится на штрафах и наградах, это нам лишь кажется. Мир устроен принципиально другим образом. Жизнь представляет собой непрерывную цепь задач и выборов. Неудачные выборы действительно влекут за собой неприятные или тяжелые последствия, но за благонравие вовсе не причитается воздаяние, а за дурным поступком не всегда следует возмездие, потому что жизнь, бывает, и ошибается в распределении наград и штрафов. Кроме социальной справедливости или несправедливости, есть еще и беды, утраты, несчастья, болезни, и они выпадают отнюдь не тем, кто их заслужил, кто сам виноват.

С первых дней жизни воспитывая ребенка поощрениями и наказаниями, мы внедряем в его сознание образ вселенского кнута и пряника и подрываем его веру в справедливость. Он очень скоро обнаружит, что вовсе не всегда выпадает награда за добро или следует наказание за дурные поступки, и он никогда не поймет, в чем же справедливость, не поймет, что она не в расплатах и мщениях, что мир не торжище, не базар и не рынок, что мир скорее похож на мастерскую. Мир — не торговля, не баш на баш, не обмен: «Я сделаю добро — и мне кто-нибудь сделает». Человек в своей духовной жизни не купец, а творец. Мы любим людей, мы стараемся совершать добрые поступки, мы трудимся, мы наслаждаемся жизнью, потому что она сама есть творчество, она носит проблемный, а не обменный характер. Справедливость мира — в его творчестве, проблемности, в нашей деятельности, борьбе. Воспитывать по модели «кнут и пряник» относительно легко, такое воспитание нельзя не признать действенным, осо-

бенно если проводить его неуклонно. Но оно опасно для будущего детей. Может вырасти человек, который при первой же крупной неудаче возденет руки и возропщет: «За что?!» И потеряет веру в правду, веру в жизнь...

Мы все воспитаны по этим привычным моделям, никуда от них не уйти. Мы непременно будем и поучать детей, и приучать, и поощрять, и наказывать, но полезно понимать и дурную сторону такого воспитания.

### 3

Как же на самом деле появляются и закрепляются черты характера? Как устроен этот механизм, на что он похож?

Посмотрим на ребенка, начинающего говорить. Язык гораздо сложнее, чем те десять или сто заповедей, которые мы внушаем детям, однако все дети говорят, и большинство из них — без вмешательства логопедов. В определенное время у ребенка появляется потребность произнести слово: он лепечет, потом говорит «мама». Навстречу детской потребности говорить идут взрослые, постоянно разговаривающие с ребенком и между собой. Если бы не было внутренней потребности или если бы ребенок не слышал речи взрослых, он никогда бы не стал говорить. Следовательно, не одно, а два условия нужны для того, чтобы ребенок заговорил: внутренняя потребность и внешние обстоятельства.

Примерно так же приходят к ребенку и моральные его свойства: движение изнутри встречается с движением внутрь, словно две строительные бригады идут навстречу друг другу, — образуется тоннель, в качестве постепенно закрепляется. Старания что-то привить без встречного движения изнутри души бесполезны: получается не тоннель, а подкоп, мы не воспитываем, а подкапываемся, причем подкоп наш — в никуда, хоть всю жизнь рой.

И точно так же пропадает движение души, дурное или доброе, если оно не встречается с движением от внешнего мира, если не выстраивается тоннель.

Все, что есть в нашем ребенке, возникает как результат двух встречных движений — изнутри ребенка к миру и от мира внутрь ребенка. Это неудобно, это сложно, но это так. Воспитывая, мы обычно держим под контролем лишь свои действия, направленные на ребенка, и очень удивляемся, отчего у нас иногда получается, а иногда нет. Да потому что для воспитания надо понимать или чувствовать не только свои движения, но и движения ребенка.

А они откуда берутся? Первые материалисты говорили, что есть два источника душевных движений человека — его ощущения и его душа. Марксизм такое представление отвергает. Нет никаких двух источников, в человеке нет ничего, что не дано ему в ощущениях, неоткуда взяться другому. Источник всего, что есть в душе ребенка, — это окружающий его мир. Сознательно, вольно мы действуем на ближний к нам конек тоннеля, а невольно — интонациями, прикосновениями, манерами — мы в то же самое время действуем и на тот, дальний конек, вызываем неподвластные нам душевные движения — неподвластные в том смысле, что мы не умеем их контролировать. Способные воспитатели интуицией, сердцем чувствуют глубинные движения ребенка, и быстро создаются прочные тоннели, каналы добра.

...Ранним воскресным утром я рассказываю на кухне трехлетнему мальчику сказку о репке. Мне нужно, чтобы он вел себя тихо и никого не разбудил. Сказку он любит, слушает внимательно, и, пока репку тянул дед, тянула бабка, тянула внучка, все было хорошо. На собачке Жучке мы споткнулись. Я заметил, что мальчик вовсе не слушает меня, а согнул руки в локтях и странно вертит ими, словно собирается взлететь.

Что такое?

И тут я понял, что сижу за столом, облокотясь и подперев голову рукой. Мальчик, подражая мне, хочет сесть таким же чудесным образом, но, увы, не достает локтями до стола. Я думаю, будто рассказываю сказку, учу доброму, а на самом деле я учу мальчика облокачиваться, только и всего.

Вот так постоянно в воспитании детей: мы контролируем воспитательные меры, похвалы, наказания и думаем, будто в этом и состоит воспитание. А дети перенимают что-то другое, и потому на одних и тех же сказках вырастают и добрые и злые люди.

Что ж, предпримем трудное путешествие к дальнему концу тоннеля, туда, где рождаются встречные движения детской души.



Душа? Да что это такое? Мы на каждом шагу говорим о воспитании души, о труде души, о душевных людях и бездушных — надо же хоть как-нибудь представить себе, о чем, собственно, идет речь.

В каждой стране есть свой Главный педагог — народ и есть Главный учебник педагогики — язык, «практическое сознание», как писали Маркс и Энгельс. За поступками следует обращаться к народу, за понятиями — к языку народа. Я не должен объяснять маме, что такое душа, я должен спросить у нее об этом, прислушиваясь к тому, как живет слово в сегодняшнем языке, в распространенных фразах и оборотах речи, с какими другими словами сочетается, а с какими нет, почему так говорят, а так не говорят — это никогда не бывает случайным. И тогда обнаруживается, что слово «душа» употребляется в речи не в том значении, какое принято в современной философии и психологии, и не в том, которое придает ему религия.

Принято считать, что душа — весь психический мир человека. Но нет, судя по языку, душа — лишь часть психики, самая дорогая для человека:

Но ты, душа души моей...—

читаем у Пушкина, и поэт постоянно разделяет понятия «ум» и «сердце», причем слово «сердце» встречается у него примерно так же часто и в том же значении, что и «душа». Татьяна пеняет Онегину:

Как с вашим сердцем и умом  
Быть чувства мелкого рабом?

Душа — не «я», не весь мой внутренний мир, существуют еще ум, память, способности — это другое. О душе говорят отстраненно, как о живом существе: одно дело «мне больно», другое — «душа болит». Душа болит, душа жаждет, хочет, страдает, не принимает, тоскует, радуется... Не я радуюсь — душа во мне радуется. И что-то она таинственное в человеке: куда-то рвется моя душа, в глубине души, из самой глубины души. И что-то свесовольное, что-то такое, что нельзя приневолить. И что-то искреннее, необманное, выражающее суть человека: душевно вам предан, от всей души желаю вам...

Самое дорогое, таинственное, бездонное, своевольное, искреннее, непродажное — какими прекрасными качествами наделена в нашем общем сознании человеческая душа!

Вслушаемся в ряд выражений: всей душой желаю; всей душой чувствую; всей душой люблю; всей душой надеюсь; всей душой благодарен, ненавижу, страдаю, радуюсь, печалюсь, стремлюсь, верю... Но нельзя сказать: «всей душой думаю». Люблю всей душой, то есть вся моя душа — любовь. Или вся моя душа — надежда, ненависть, вера, благодарность, радость.

Душа, если вслушаться в нашу речь, это соединение всех желаний, чувств, стремлений, печалей и радостей человека.

Быть может (и даже наверняка это произойдет!), такое понимание разочарует своей непозитичностью, ну что это — соединение желаний и чувств? Но ведь не автор так считает, не в словарях так написано — мы все вместе так думаем, это в языке закреплено. Если кто-нибудь вслед за психологами хочет говорить «эмоционально-волевая сфера» — что ж, пожалуйста...

Соединенные вместе, желания и чувства получают новые свойства, а именно свойства души, так что мы говорим о чистоте души, о красоте ее или о низости. Это чрезвычайно важно для воспитания — что душа понимается как цельное: душа болит, жаждет, хочет, страдает, принимает, радуется. У нее свои, характерные ей свойства: в чистой душе не появится низкое желание, в низкой душонке редко благородное чувство. Цельность души, устанавливаемая из опыта народом-педагогом, народом-психологом, как раз и делает невозможным воспитывать по модели «сад-огород» — прививать какое-то одно чувство или желание в отдельности. Душа — соединение желаний и чувств, но каждое чувство и желание зависит от всего набора в целом, и воспитывать можно только всю душу в целом.

Мама беспокоится: что делать? Сын растет жадным, никогда ни с кем не поделится, отнимает игрушки у других детей. Но ничего с этой жадностью не сделаешь. Если мальчик и в остальном плох, то не с жадностью надо бороться, она лишь симптом; если же растет добрая душа, то ничего страшного, станет старше и не будет жадничать.

Оттого душа самое дорогое, что с рождения, еще до ума, образуется она в человеке в виде первых его желаний и чувств. Оттого и — таинственное, что человек не знает, как появляются в нем желания и чувства, они возникают помимо его воли. Он может дать им свободу или подавить их, но искоренить их трудно. Не принудишь любить, не заставишь верить или страдать — своевольна душа! Мысль бывает чужой или ложной, а чувство всегда свое, даже если оно возникло под чьим-то влиянием, и оно всегда реально; оттого душа — искренность.

Чувствовать я научился раньше, чем мыслить, говорил Руссо и добавлял, что так бывает со всеми людьми. Душа человеческая складывается в те первые недели, месяцы и годы жизни, когда ум еще не развит, а память не включилась. Вспомним себя с самых первых лет, войдем усилием памяти так далеко, как сможем, — и каждый обнаружит, что он и тогда был примерно тот же человек, что и сегодня. Не оттого первые три или пять лет важны в жизни человека, что он получает в это время сколько-то процентов всей информации, хватит нам все мерить информацией, а оттого, что в эти годы из простых желаний и чувств складывается самое важное и самое ценное, что потом будет определять всю жизнь человека: складывается его душа. Всякое новое чувство после первых лет удивляет нас именно своей новизной, но много ли их, этих новых чувств? Почти все они известны с раннего детства.

Мы видим, что наш маленький ребенок еще ничего не понимает, мы обращаемся с ним бесцеремонно, мы спорим о режиме, мы шлепаем его, если он капризничает; ребенок для нас еще как матрешка. Но вот он подросток, начинает понимать нас, и мы торжественно приступаем к воспитанию — в тот самый момент приступаем, когда оно закончено! Если ребенок понимает нас, значит, душа его сложилась: человеческий мозг в отличие от машинного без души работать не может, мысли, писал Л. С. Выготский, рождаются не от других мыслей, а в эмоционально-волевой сфере. Разум, память включаются лишь тогда, когда заканчивается работа над фундаментом психики, над душой, — и тут мы являемся, «воспитатели», и начинаем бороться с недостатками, корчевать их и прививать полезные качества, не имея ни малейшего представления о том, как же это делается, и не подозревая, что поезд ушел и что те самые недостатки, с которыми мы всю жизнь будем теперь самозабвенно бороться, мы сами в душу ребенка и внедрились.

## 5

А вправду, откуда берется добро и зло в душе ребенка?

Можно было бы, конечно, найти вопрос и полегче. Происхождение добра и зла — одна из самых старых человеческих проблем. Когда Онегин с Ленским обсуждали «плоды наук, добро и зло», они были отнюдь не первыми. Примерно за полторы тысячи лет до них Блаженный Августин, сомневаясь во всемогущем боге, стоял над детскими колыбельками, всматриваясь в младенцев и недоумевал: откуда в них-то зло? Так он пишет в знаменитой своей «Исповеди». И задолго до Августина был создан библейский миф о древе познания добра и зла...

Мифы мифами, споры спорами, но что же нам делать? Мы должны воспитывать детей.

Заменим чисто этическую проблему о том, что такое добро и зло, проблемой педагогической: как появляются добрые и злые чувства, добрая и злая воля? Нам трудно бороться с дурными чувствами, со злобой, жадностью, завистью, агрессивностью, неблагодарностью, грубостью, если мы не понимаем, откуда они в душе ребенка. А что, если мы, не зная механизма происхождения дурных чувств, сами сеем их в детской душе, подобно тому как до открытия антисептики врачи не мыли руки при операциях и заражали больных смертельными болезнями, удивляясь потом, откуда эта напасть?

У человека, как и у любого живого существа, не одна первая потребность, как обычно думают, — потребность в безопасности, а две: в безопасности и в развитии. Две эти потребности не могут существовать друг без друга, и они же мешают одна другой. Безопасность нужна живому организму для развития, а развитие — для безопасности. Но развитие опасно, а стремление к безопасности останавливает развитие. Примерно так представлял себе движущие силы души и К. Д. Ушинский, когда писал о потребности бытть (безопасность) и потребности житть (развитие). Если бы попросили дать какой-нибудь самый простой, самый короткий и самый дельный совет о воспитании, я бы сказал: «Делайте с ребенком все, что вы делаете, но помните, что у

него есть не зависящие от него и от вас потребности быть и жить, потребности в безопасности и в развитии — их две, две, две!»

Мы, родители, тоже печемся о безопасности детей и их развитии, но мы не то вкладываем в эти слова, что дети. Потребность в развитии у них часто бывает сильнее потребности в безопасности, этим дети отличаются от взрослых. Для нас безопасность сынишки — «надень пальто!». А для него — «оставь меня, я оденусь как хочу». Мы охраняем здоровье, он — достоинство. Для нас развитие — «сиди над учебником», для него — игры во дворе, они ему необходимы. В общем-то, цель воспитания в том и состоит, чтобы облагородить, окультурить две эти коренные потребности, чтобы в представлении о личной безопасности входили моральные принципы, чтобы человек готов был на все для их защиты. И чтобы развитие действительно было развитием сознания, дарований, присвоением человеческой культуры и, главное, чтобы оно не останавливалось до конца жизни. Ведь две эти потребности — быть и жить — действуют не всегда, не вечно. Приходит глубокая старость, наступает нормальная усталость от жизни, как говорил И. И. Мечников, и человек умирает. А потребность в развитии у многих людей исчерпывается задолго до успокоения потребности быть. Судя по всему не только темп, но и продолжительность психического развития заложена в каждом из нас от природы. У несчастных, больных детей развитие останавливается в 3—4 года, и тут уж ничего не поделаешь; у других остановка происходит в 16—17 лет — это менее заметно, поскольку человек вроде бы, как все, и пишет и читает, мы видим, что с ним что-то не так, но трудно догадаться, что он больше не развивается, что природный ресурс развития выработан. Продлить его действие можно лишь глубоким, серьезным образованием. Есть ведь люди, которые развиваются до старости, до смерти, им и жизни не хватает для полного развития.

Мы все печемся о раннем развитии, а надо бы хлопотать о развитии долгом, продолжительном, всю жизнь продолжающемся. Как бы раскатать, раскрутить в детстве этот механизм, чтобы движения хватило на всю жизнь?

И уж, во всяком случае, должны мы понимать, что потребности быть и жить, потребности в безопасности и развитии у детей — непреодолимы.

В Медицинской энциклопедии можно прочитать, что есть лишь две причины болезни: поломки и защита. В глаз попадает песчинка, организм поднимается на борьбу с ней, глаз опухает — это идет война с песчинкой, и человек остается без глаза. От чего? От песчинки? От защиты?

Мельчайшие песчинки — это наши грубые, неосторожные прикосновения к ранней, тоньше глаза организованной душе ребенка. Но душа, как и организм, не знает пределов необходимой обороны, она чувствует угрозу в едва заметном повышении тона, в грубой интонации, в небрежном прикосновении... Если правда, что ребенок слышит голос матери еще до своего рождения, то, значит, его ранит грубый тембр голоса, крик, скандал, его травмирует горе, которое он слышит в голосе матери. Он и рождается обиженным, настороженным, недобрым. Поэтому-то, наверно, «дети любви» отличаются ровным, счастливым характером... Стоит усталой маме неласково прикоснуться к новорожденному, как душа маленького поднимается на защиту безопасности, и зарождается опухоль обороны, опухоль зла; взрослые тоже обороняются от детских злых чувств — и пошел раскачиваться маятник, быстро-быстро проходим мы вместе с ребенком тоннель зла: злое чувство изнутри встречается со злым чувством извне. И наоборот: если отчего-либо, от невидимой песчинки вспыхнувшее злое чувство не встречает ответного зла, то нет и тоннеля, злое чувство растворяется, исчезает.

Прибегает со двора девочка трех лет, возбужденная, кричит маме: «Ты — собака!» Что на это ответить? Отшлепать, чтобы не смела так с матерью разговаривать? Но мама: «А ты — зайчик!» «А ты, а ты, а ты — белочка!» И все! Пропал запал! Нет тоннеля! Нет злого чувства.

Не противопоставлять детскому злу зло взрослых, не создавать тоннеля зла, никоим образом не посягать на ребенка — вот простая стратегия воспитания. Тогда из тех мимолетных чувств, которые идут нам навстречу, злые, вызванные песчинками зла, будут пропадать, а добрые — закрепляться, превращаясь в добродетели, в достоинства характера, которые сами забудут возможные недостатки.

Лишь только чувство безопасности и потребность в развитии встречают преграды, у ребенка начинает развиваться злая воля. У сильного и умного она выражается

в агрессивности, у слабого, но умного — в хитрости, изворотливости; у слабого и неумного — в коварстве и подлости. У одних защита выливается в агрессию против людей, у других в агрессию против себя, и они становятся ленивыми, бездеятельными людьми, которым, кажется, ничего в этом мире и не нужно. Все им представляется недосыгаемым, все им лень.

Лень, праздность — мать всех пороков. А кто отец их? Страх. Где страх, там излишняя осторожность, неприятие нового, чужого, скрытность, лживость, трусость, подлость, подозрительность, зависть, жадность, коварство, предательство. Поскребите любое дурное свойство человека, и выльется его основа — страх.

Веками целью педагогики было — посеять и укрепить страх в душе ребенка, чтобы им легче было управлять. Вместе со страхом сеяли зло и говорили потом, что оно — от природы. На самом деле зло — от наших посягательств на ребенка, зло мы сеем сами, даже когда действуем из добрых побуждений.

...Мы остались одни с пятилетним мальчиком, нам приготовили обед: суп, котлеты с картошкой, компот. Компот он — с удовольствием, насчет котлет — сомневается, а суп — ни в какую. Что мне делать? Мама это умеет: при ней он ест и суп. Что-то у нее в голосе есть такое, что мальчик слушается ее, и будет она уговаривать, и будет потихоньку сидеть с мальчиком хоть час, хоть два часа, пока он не съест свой суп. Я же этого не умею, я вскипаю, я кричу, я злюсь, я довожу мальчика до слез. Что мне делать? Ведь нельзя же без супа!

А почему, собственно, нельзя? И уж во всяком случае суп не стоит моих криков и его слез, не стоит тех злых чувств, которые я вызвал. Если я не умею обихаживать ребенка, не посягая на него, то надо ведь чем-то и поступиться. Не может быть, чтобы все получалось отлично, если чего-то не умеешь!

Но чем слабее наши педагогические способности, тем больших достоинств ждем мы от ребенка — это почти правило. Несовершенные, мы все хотим вырастить совершенных детей, а это невозможно. Но если у нас не хватает таланта подвести ребенка к желаемому совершенству, не посягая на него, мы непременно вырастим злого или ленивого человека и сами будем страдать от него всю жизнь. И чем меньше мы занимаемся развитием, тем сильнее потребность ребенка в безопасности, тем больше у него страхов, тем слабее он и злее.

Я с удивлением обнаружил, что даже самые образованные родители понятия не имеют о том, что примерно от двух до четырех-пяти лет ребенок почти непременно бывает упрямым, может сказать любую дерзость, наругать. Эти трудные «дважды два» приходится терпеть и терпеть, проявлять чудеса изворотливости и все-таки не одергивать ребенка на каждом шагу. Но родители не знают, что негативизм — общее правило, и думают, что если ребенок в три года дурно ведет себя, то так будет и всегда. На самом деле, сдерживая его, они делают его злым. Сумеет перетерпеть трудные годы — будем вознаграждены. Не сумеем — всю жизнь будем мучиться. Разбойница в пьесе Е. Шварца говорит, что, для того чтобы из детей выросли разбойники, их надо баловать. Это теоретическое рассуждение так нравится сторонникам жесткого воспитания, что они не обращают внимания на практический результат: ведь у Разбойницы как раз и выросла хорошая девочка, единственное доброе существо во всей шайке! Детей в определенном возрасте именно и стоит побаловать, чтобы из них не выросли разбойники. Только не поддаваться тупой логике «как сегодня, так и всегда». В воспитании она не действует, воспитатель имеет дело с растущим ребенком!

Но как можем мы не посягать на ребенка? Мы моем его — а он кричит, мы кормим — он не хочет есть, мы не пускаем его к плите или к открытому окну, мы без разговоров одеваем и раздеваем его, мы постоянно посягаем на него — как же иначе? Мы же добра ему хотим, только добра.

Увы! И по отношению к нам кто-нибудь творит зло, уверяя нас и, главное, себя в том, что мы не понимаем своих интересов. Но разговоры разговорами, а всякое без исключения посягательство на человека, на его безопасность и развитие есть зло по отношению к нему и рождает в нем злые чувства. Мы не умеем обихаживать ребенка так, чтобы ему все было в радость? Нам некогда? У нас нет сил? Нет терпения? Это можно, как говорится, извинить, но похвалить нельзя. В мире очень много вынужденного зла, и мы часто сеем зло по необходимости. Но будем понимать, откуда оно в ребенке!

Еще труднее понять, откуда в ребенке добро.

А. М. Филатов, председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР, рассказывает в газетном интервью: «Шел подросток по улице. Увидел, как группа знакомых ему ребят избивала лежащего на земле человека. Думаете, он бросился на помощь несчастному? Напротив, он тоже стал бить этого человека, которого видел в первый раз. Случай этот потряс многих. Вот уж, казалось бы, где нельзя найти ни причины, ни смысла. А они все-таки есть. Все предшествующее поведение подростка, по сути, готовило его к этому срыву. Он не знал, что такое доброта».

Не знал доброты...

Заметим кстати, что в последнее время милиционеры, прокуроры и судьи пишут о воспитании добра и добром гораздо чаще и настойчивее педагогов. Во всяком случае, упомянув слово «добро», они не начинают тут же извиняться и уточнять, что имеют в виду не абстрактное добро и что следует отличать добрых от добреньких. Слово «добро» не требует извинений и объяснений!

Мы сильно продвинемся вперед, если поймем, что потребность в безопасности разделяется у человека на две непреодолимые тяги: потребность в личной безопасности и потребность в коллективной безопасности, или, коротко говоря, безопасность-Я и безопасность-Мы. Если бы эволюция не выработала у человека потребности в безопасности-Мы, он никогда не убил бы своего первого мамонта, а если бы не было безопасности-Я, то люди были бы вроде муравьев, которым дорог муравейник, но не дорога собственная жизнь. Мамонта, может, и одолели бы, но пороха не выдумали бы ни за что... Эти две потребности сосуществуют в человеке, поддерживают одна другую и, в свою очередь, противостоят одна другой. Само их существование и делает необходимой нравственность.

Человек не получает с рождения одного из главных средств жизни — нравственности. Добыть ее из самого себя, вне общества, невозможно. В человеке нет добра от рождения, но есть потребность в нем — потребность в безопасности-Мы. В себе самом чувствует человек тягу к людям, нужду в безопасности-Мы. В этом красота человека, красота его души — в сложном, противоречивом единстве потребности в безопасности-Я и безопасности-Мы. Сила этих потребностей, их взаимодействие варьируются бесконечно, они даны людям в самых разных пропорциях, оттого одни люди кажутся очень злыми от природы — в них преобладает потребность в безопасности-Я, а другие кажутся прирожденно добрыми — в них преобладает безопасность-Мы. Но у дурно воспитанных людей обе эти потребности ведут к агрессии.

Причина, по которой мальчишка из рассказа судьи бил незнакомого человека, не только в том, что он не знал добра. Для него весь мир делится на своих и чужих, наших и не наших, он не может прожить без поддержки своих, он недостаточно развит для этого и готов пойти на все, даже на убийство, лишь бы свои считали его своим, удовлетворяли его дикую, необлагороженную потребность в безопасности-Мы.

Чем больше возможностей для развития даем мы ребенку, чем шире его кругозор, тем более самостоятелен он, меньше зависит от сверстников. Он перестает делить людей на своих и чужих, никого не боится — и в его душе нет или почти нет зла. Сильные и талантливые люди, как правило, добры. У них потребности в безопасности-Мы отвечают развитее высшие душевные способности, без которых человек не может жить среди людей, — способность верить, способность надеяться и способность любить.

В последнее время все жалуются на недостаток эмоциональности в детях и во взрослых людях; но нигде не встретишь простого указания на то, что чувства человека зависят от этих высших душевных способностей.

Да, вера, надежда и любовь. Это не просто поэтический набор, это первая забота каждого воспитателя, а может быть, и единственная забота. Представим себе человека, который ни во что не верит, ни на что не надеется и ничего, никого не любит. Это строгое описание мертвой, или, лучше сказать, парализованной, души. Так бывает после большого несчастья или при несчастном воспитании, когда родители сами делают из своих детей душевных паралитиков. Все это очевидно, однако говорить о воспитании самых важных душевных способностей, без которых нет эмоциональности (а следовательно, и разум засыпает), не принято. Как развивать способность

верить, надеяться, любить? Не то что книг об этом нет, но даже и статейки какой-нибудь.

В представлении многих людей слово «вера» связывается с понятием «вера в бога», и это неудивительно; до недавнего времени вся сфера нравственности находилась в ведении религии, и почти все понятия, с помощью которых только и можно выразить духовно-нравственные идеи, носят религиозную окраску: дух, душа, вера, надежда, милосердие, грех, совесть. Но что же делать? Мы по десять раз на дню произносим «спасибо»—«спаси бог»,—вовсе о боге не думая.

В реальной жизни, в реальной речи и, значит, в практическом нашем сознании слово «вера» на каждом шагу используется в его нерелигиозном значении. Мы говорим: вера в победу, вера в людей, вера в правду, с верой в будущее; люди верят в себя, в удачу, в судьбу; мы говорим о доверии к человеку и уверенности в себе. Наконец, мы говорим: верность Родине, верность долгу, верность в любви, верность своему призванию, беспредельная верность своему народу. Все высшие качества человека и лучшие его поступки связаны с верой и верностью!

Есть только одна область, где понятие «вера» не исследуется и не употребляется, и именно та, где оно должно быть центральным,— область педагогики, воспитания детей.

Почти все, если не все, трудности с детьми и подростками связаны с тем, что ребята не доверяют взрослым, не верят их словам, недоверчиво относятся к их ценностям — а то и вообще ни во что не верят. Воспитывать таких детей практически невозможно: они бессердечны и не знают пределов в безжалостности.

Что представляет собой способность верить?

В опытах доказано, что люди наиболее активны, когда вероятность успеха составляет примерно 50 процентов. Деятельность, в которой «пятьдесят на пятьдесят», требует веры в успех и в то же время позволяет верить в него. Если вера не нужна (гарантировано 100 процентов успеха) или невозможна (ожидается 100 процентов неудачи), то работа становится бездушной, постылой и оттого малоэффективной. Привяжите здоровую руку к туловищу—она отсохнет. Лишите человека возможности или необходимости верить — высохнет его душа, потому что вера — это функция души. как физическая работа — функция руки. Высохла душа — нет веры, нет и добрых чувств. Откуда же им взяться? «...для сердца нужно верить»,— писал Пушкин. Бревно бревном человек, не верящий ни во что. С ним не то что в разведку опасно — и за стол лучше не садиться.

И, разумеется, без веры невозможно никакое убеждение. Убеждение — это знание, соединенное с верой в него. Не все знания требуют убеждения, смешно заявлять: «Эта штука называется стол, таково мое убеждение». Убеждения появляются там, где есть оспоримые знания, труднодоказуемые и труднопроверяемые,— назовем их альтернативными. Убеждение — знание, способное выдержать критику, устоять под напором альтернативных взглядов и фактов.

Знания не прямо действуют на чувства, они из разных, так сказать, материй сотканы. Но есть между ними вера — она и чувство, она и знание, она и волнение по поводу знания. Вера — своего рода трансформатор, преобразующий умственную энергию в душевную и обратно, потому что она относится и к области чувств, и к области информации. Верю или не верю — вот пресс разума на чувства, другого нет. Оттого что разум действует на чувства не прямо, а через веру, возникают расхождения: можно не знать, но верить, а можно знать, но не верить. Но где нет способности верить, знания не становятся убеждениями. Ум и сердце — лед и пламень, их не соединить, если нет передаточного механизма. Как только этот механизм разваливается, как только человек теряет веру в свои знания, в правду, в жизнь, он становится бессильным и сразу появляется необходимость в принуждении внутреннем или внешнем. Это знает каждый учитель, каждый руководитель предприятия, каждый, кому хоть раз в жизни приходилось побуждать к труду другого человека или хотя бы себя самого. Руководить — это прежде всего укреплять веру в успех.

Вера совершенно необходима человеку там, где есть противоречия. Поэтому она и не дается легко, а требует постоянной затраты душевной энергии. Она сама есть непрерывный труд. И мы должны научить маленького человека трудом души поддерживать свою веру в людей, в правду, в жизнь, в добро, не впадать в безверие, не падать духом.

Есть родители, которые чуть ли не с колыбели стараются не упустить случая

сказать сыну: «Видишь, как дурно люди поступают? Видишь, какие негодяи? Видишь, что творится?» Это называется «говорить ребенку всю правду». Но в понятие правды входит и борьба за нее, а ребенку такая борьба не всегда по силам. Говоря всю правду, мы обманываем детей. Когда правда на уровне разговора, то дети вырастают невыносимыми — у них в голове полный хаос, соединенный с самомнением (им кажется, будто они выше других, будто они знают правду).

Как надо не любить своего ребенка, не чувствовать его души, чтобы хоть словом, хоть движением поколебать слабую еще веру в красоту мира, в добро! Родители не могут скрывать зло мира, они и не вправе, разумеется, представлять зло как добро; они могут лишь одно: быть источниками добра, доброго взгляда на людей. Насколько это им удастся, настолько и дети будут добрыми. Чем больше зла окружает детей, тем больше душевных сил приходится тратить, чтобы противопоставить ему добро и веру в добро.

Подрастающий человек обычно идеализирует жизнь, и почти наверняка его вера в добро пошатнется в юности. Что ж, не бывает так: прожил жизнь и не чихнул. Даже зубы прорезываются с болью, и духовное развитие не может быть безболезненным. Но чем лучше питали человека в детстве добром и красотой, чем больше вокруг него ценили правду и труд, тем крепче будет его нравственное здоровье и тем легче справится он с юношеским кризисом. Вера в добро со временем укрепит в нем и станет основой мировоззрения.

Я иду с пятилетним мальчиком, и он говорит мне о любимом своем старшем брате:

— А может быть, мы сейчас встретим его!

Я знаю, что это невозможно, и говорю мальчику:

— Нет, он не встретится, он дома.

Мальчик останавливается и смотрит на меня с изумлением. Он ораторски протягивает руку ладошкой вверх и трясет ею, объясняя мне, глупому взрослому человеку, такую простую вещь:

— Ну я же сказал «мо-о-ожет быть»!

Так стыдно, когда вспомню. У малыша надежда, а я сказал: не надейся... Мы не всегда в состоянии помочь нашим детям. Не на все их вопросы сразу ответишь, и не можем мы пойти работать вместо выросшего сына или пойти вместо него в армию. Точно так же не можем мы пройти вместо него трудный путь духовного развития. Наследством, которое мы ему оставляем, пусть распорядится сам; но все-таки мы оставим ему это наследство, снабдим его в дорогу главным — верой в добро.

## 7

Когда старший брат уходил на занятия, маленький, пятилетний, попросил его:

— Купи мне шоколадку, а?

Старший обещал, и вечером, когда он вернулся, маленький бросился к дверям:

— Принес шоколадку?

Старший огорчился:

— Забыл! Я плохой, я очень плохой, я забыл, не принес!

— Нет, ты принес! — Маленький бросился к сумке брата и раскрыл «молнию»...

Я многих спрашивал, рассказывая это «чудо о шоколадке»: что будет дальше?

Никто не угадал.

— Да нет же, не купил, я забыл, я плохой, — повторял старший.

А маленький пошарил в сумке с книгами и протянул пустую ладошку:

— Видишь? Ты принес, ты хороший! — И побежал к своим игрушкам.

Старший говорил потом, что он впервые в жизни понял, что такое любовь.

Кажется, глуповатый вопрос: «Ты кого больше любишь: маму или папу?» А не глупость, не пустая игра, коли она веками продолжается. Смысл ее прост: люби, умей любить! Способность любить — высшее достоинство ребенка, и вопрос «кого ты больше любишь...» задают с той же интонацией, с какой позже будут спрашивать об отметках в школе, а еще позже — о делах на работе. Труд жизни начинается с труда души — с любви, потом уж идет труд ума и труд рук. Любовь — это труд преображения действительности, превращение пустой ладошки в шоколадку, в чудо. Чтобы хорошо относиться к отличному и замечательному, труда не нужно, но увидеть лучшее в обыденном, несовершенном — вот труд души, вот любовь.

Все можно дать человеку, если удалось одарить его любящей душой, и ничего не получится, если не развить его способность сердцем стремиться к сердцу человека. В последнее время особенно настаивают на том, что родители должны любить своих детей, это несомненно, но беда в том, что материнская любовь не всегда учит ребенка любить, не всегда рождает ответное чувство. Любовь, как и все действительно ценное в этом мире, не обменивается, не возникает из благодарности, не подчиняется соглашениям типа «я тебе — ты мне». Сколько мир будет стоять, столько будет жить и несчастная, безответная любовь между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми. Что поделаешь? И любовь своих собственных детей приходится завоевывать...

Между тем для воспитания человеку важно не столько быть любимым, сколько любить. В этой ужасной педагогике любимые не в счет, счет только на любящих! Мама любит ребенка? Прекрасно, но кто при этом воспитывается? Тот, кто трудится душой, то есть мама. А не ребенок. Мама старается, мама расспрашивает, что ей делать с сыном, мама и так и этак — идет воспитание. А на самом деле равным счетом ничего не происходит, сын растет эгоистом — если и любит, то лишь себя одного. Говорят: слепая любовь; говорят: неблагодарный сын; высчитывают, сколько чего сыну куплено; но ведь это все слова, а суть в том, что ребенок растет обделенным. Любящие папа и мама не могут дать ему то единственное, в чем он нуждается, — не могут дать ему возможность полюбить их. Вот трагедия!

Любовь — жажда абсолютной безопасности и высочайшего развития. В зависимости от характера и от воспитания один человек больше нуждается в безопасности, другой — в развитии. Так, Обломов любил сначала Ольгу Ильинскую, это воплощение развития, но кончил домом вдовы Пшеницыной — нашел абсолютную безопасность. Часто бывает, что родители дают ребенку безопасность, но развития не дают — и они кажутся скучными сыну или дочери, не вызывают любви. Если приглядеться внимательно, то окажется, что и родители в этом случае вовсе не любят детей, а лишь боятся за них. Страх и любовь — страсти одного корня, но все же не одно и то же, как не одно и то же любовь и ревность. Страх за любимого естествен, но мы не всегда замечаем, что у нас остался один только страх, без любви. Мама всю кровь свою по капле за ребенка отдаст — она ли его не любит? Но любя, она по капле всю кровь из него выпьет, потому что «ты же знаешь, как я за тебя боюсь!». Женщина-врач с пафосом говорит о сыне-второкласснике: «Он негодяй! Он обо мне не думает! Он живет только для себя!»

Оказывается, «только для себя» живущий девятилетний мальчик, гуляя во дворе, не всегда приходит вовремя, как от него требуют, а мама боится... В таких случаях и дети отворачиваются от нас душой. Любовь придает силы любимому, а страх его парализует. Ребенок вынужден подчинять свою жизнь маминым страхам, и способность любить гаснет в его душе.

...Пушкинская баба из «Бориса Годунова», качая младенца, приговаривает:

Агу! Не плачь, не плачь, вот бука, бука  
Тебя возьмет! агу! агу!.. не плачь!

Тут все воспитание: то мы ласкаем ребенка — агу, агу! — то пугаем его букой. Наши «агу» рожают добро, наши «буки» — зло. Чего мы даем ребенку больше — «агу» или «бук»?

## 8

Трудности, связанные с воспитанием чувств, ничто по сравнению с той областью, в которую нам предстоит сейчас вступить, — областью желаний.

Если принять все книги, посвященные воспитанию ума, за тысячу, то воспитанию чувств посвящено едва ли десять работ, а воспитанию желаний — вряд ли одна.

Между тем в реальной жизни дело обстоит прямо противоположным образом. Конечно, мы все хотим, чтобы наш ребенок был умным, способным и добрым, но самые большие тревоги связаны с его желаниями. В общем-то, ладно, чувствуй что угодно, но желать — желай лишь то, что положено, и не желай лишнего!

Почти вся педагогика толкует об уме, воле, чувствах, а нацелена она на желания. Нет заповедей «чувствуй», «не чувствуй», заповеди издавна формулировались «не желай», «не возжелай».



Но здесь нас ждет очередная, и, пожалуй, самая крупная для воспитателя, неприятность. Неудобнейший для науки факт в поведении человека заключается в том, что у многих людей (и, в частности, как раз у тех, кто доставляет хлопоты родителям и обществу) желания часто не связаны ни с потребностями, ни с пользой, ни даже с удовольствиями — ни с чем! Ни с того ни с сего появляется в душе человека желание, которое ни он сам, ни тем более другие объяснить не могут. Гоголевский Кочкарев описал это так: «Поди ты спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает!»

Достоевский особенно настаивал на этом обстоятельстве. Он видел, что человек вовсе не всегда ищет выгоды или пользы даже для себя, а часто поступает по капризу — безмотивно, как сказали бы теперь. Более того, этот каприз так дорог человеку, что он его не променяет ни на какие прекрасные дворцы.

Можно преисполниться моральным негодованием, можно сто лет с важным видом повторять, что нельзя потакать человеческим капризам, можно заклеить здесь, на бумаге, выламывающуюся личность, можно и в жизни ее заклеить. Что ж, все правда! Нельзя потакать капризам! И не будем потакать им! На бумаге и на кафедре педагогика — самая легкая из наук. Нельзя — и точка. Нехорошо. Надо, чтобы... Но перечитайте хотя бы «Войну и мир» — там на каждом шагу встречаются всевозможные «вдруг» — вдруг сказал, вдруг сделал что-то, сам не зная почему... А что говорить о маленьких детях! Отчего десятилетний мальчик шел в школу на уроки, да не дошел? Всю Академию педагогических наук соберем — не объяснит. А мы к мальчику: «Ну почему ты прогулял? Ну объясни! Ну тебя же русским языком спрашивают! Ты что — язык проглотил?»

Как же все это изучать? Как этим управлять? Или поставим вопрос точнее: как получается, что у одних людей всякие «вдруг» не ведут ни к чему дурному, а у других крайне опасны?

Используем в поисках ответа одну из гипотез известного физиолога, члена-корреспондента АН СССР П. В. Симонова. Развивая свою информационную теорию эмоций, он остановился перед загадкой: как рождаются в голове человека новые мысли?

В самом деле, есть тысячи книг и статей о творческом мышлении, но ни в одной из них существенного ответа на этот вопрос не найдешь. Но откуда-то она берется, новая мысль, вот как-то вдруг — и есть! Что за тайна?

П. В. Симонов объяснил эту тайну так. Он говорит, что у человека есть подсознание, управляющее автоматизмами, есть сознание и есть «сверхсознание» (термин К. С. Станиславского). Именно в «сверхсознании» происходит «мутация» мыслей, они рождаются со всевозможными отклонениями, а затем поступают в сознание, которое бракует нелепые и ищет доказательства для дельных мыслей. Но природа охраняет «сверхсознание», не допускает туда наше сознание, здесь наложен принципиальный запрет. Как нельзя изобрести вечный двигатель, так нельзя сознательно войти в «кухню» новых мыслей, иначе количество новых мыслей сократилось бы катастрофическим образом.

Что ж, если так, то остается сделать совсем небольшой шаг к интересующей нас проблеме: желания ведь с некоторым допущением можно описать как мысли. Желания ребенка рождаются на той же «кухне».

Критический момент воспитания: как повлиять на желания ребенка, если нет входа в «кухню» желаний, если они не строго зависят от чувств и потребностей? И если при этом мы не хотим подавлять дурные желания, потому что это значит лишь укреплять их, сеять зло, вызывать желания еще более опасные. И если, добавим, мысль человеческая очень плохо справляется со своими и чужими желаниями.

Многие люди видят смысл воспитания в том, чтобы научить ребенка обуздывать дикие свои желания. Или так еще представляют себе воспитание: общество предъявляет человеку требования, а он обучается приспособлять свои желания к этим требованиям, адаптируется. Теорией социальной адаптации (приспособления) великое множество. Но оглянитесь вокруг себя, вспомните знакомых — большинство людей вовсе не борются с собой, не обуздывают себя! Люди не воруют не потому, что боятся стыда или наказания, а потому, что им противно воровать. Люди приходят на помощь друг другу не потому, что они решили каждый день делать что-то доброе или являются приверженцами теории малых дел, а просто потому, что любят людей. У действительно воспитанного человека нет недобрых желаний, зло претит ему. Он не сдерживается, не подавляет своих желаний, он делает все, что захочет, ни в чем себя не ограничивая, его никогда и не тянет к дурному, нечестному, некрасивому. Совесть и долг

служат ему не для самообуздания, они помогают ему различать добро и зло. Можно сказать, что такой человек и не знает долга — он не принуждает себя; а можно сказать, что такой человек все делает по долгу и ничего, кроме долга, не знает — он и вправду во всем руководствуется долгом. Ему не нужны механизмы самопринуждения, он чувствует себя внутренне свободным, даже если он и не во всем свободен в реальной жизни. Так, некурящий человек не курит вовсе не из долга перед собой и окружающими, и не из чувства стыда, и не потому, что у него обостренная совесть, и не потому, что он бережет здоровье, и не потому, что экономит деньги, и даже не потому, что он человек высокой нравственности, — да нет же! Он просто не курит!

Нормальное, надежное воспитание состоит не в том, что ребенка учат обуздывать свои желания, а в том, что ему нечего обуздывать: все, что ни захочет воспитанный ребенок, все хорошо.

Как бы нам разгадать секрет такого воспитания? Мы разгадаем его, если поймем, что человек не приспосабливается к обществу, у него совершенно другие отношения с миром!

Тут выходит на арену главное действующее лицо педагогики.

## 9

Даже самые развитые люди, я заметил, глубоко убеждены в том, что жить духовной жизнью значит ходить в театры, читать книги, спорить о смысле жизни. Но вот в «Пророке»:

Духовной жаждою томим,  
В пустыне мрачной я влачилс...

Чего же не хватало пушкинскому герою — споров, театров и выставок? Что это значит — духовная жажда? Чего жаждет человек, когда у него духовное томление?

...До сих пор, говоря о душе, о чувствах и желаниях, мы находились как бы по ту сторону тоннеля, по которому идут в мир сердечные движения ребенка. Теперь перейдем на нашу сторону, посмотрим, как идут наши сердечные движения к ребенку.

Первый источник движения изнутри человека к миру — его, человека, потребности. Первый источник встречного движения мира к человеку — его, мира, потребности. Не наши родительские и семейные нужды, а коренные потребности человечества в безопасности и в материальном и духовном развитии. Мы передаем детям заботу о потребностях человечества, часто даже и не замечая этого, потому что в нас, взрослых людях, такая забота живет в виде общего для всех стремления к правде, добру и красоте.

Если человек хоть в малой степени тянется к добру и рад, когда удается сделать что-то доброе, то это не он такой хороший родился — это ему передалось общечеловеческое стремление к добру. Если человек по возможности предпочитает правду, если возмущается при виде несправедливости, то это не он такой умный и честный — это в нем есть частица от общего стремления людей к правде. И если человека манит прекрасное, если все мы в меру своих способностей судим: это красиво, это некрасиво, — то ведь не мы открыли красоту в мире, нам была передана общечеловеческая тяга к ней!

Обычно желания делят на высокие и низкие, добрые и дурные или еще как-то. Но разделим их по иному принципу: на конечные и бесконечные.

Конечные желания могут быть в принципе осуществлены к такому-то числу; это желания сделать, приобрести, получить, достичь, стать. Но никогда не исполнятся полностью, не исчерпают себя желания бесконечные — назовем их стремлениями: «священный сердца жар, к высокому стремленью» (Пушкин). Бесконечно стремление к добру, неутолима жажда правды, ненасытен голод по красоте. Точно так же, как объективно существует общественное сознание, как существует язык, так же объективно, вне каждого из нас, существует в сердцах людей стремление к бесконечно высокому.

Когда человек умирает, то умирают его конечные желания, они сугубо личные. Но бесконечные стремления остаются в людях — они ведь общие. Оттого у духовно развитого человека возникает ощущение бессмертия. Отыщите, перечитайте предсмертные письма казненных революционеров, подпольщиков, партизан — они все пишут о том, что их заменят другие борцы, что дело их не погибнет. Бессмертие своего дела, своих стремлений они искренно воспринимают как личное бессмертие и потому они не боятся смерти. Здесь нет самообмана: общие стремления — часть их личной души,

и поскольку эти стремления не умирают, то не вовсе, следовательно, умирает и человеческая душа. Так возникло представление о бессмертии души, приобщенной к духу,—к всеобщему бесконечному стремлению к правде, добру и красоте. Как видим, здесь нет мистики.

Именно дух, собственное желание правды, добра и красоты, воспринятое от мира, высветляет все желания, вдруг возникающие в душе человека. Не пресс, а свет! Разум же дан человеку не для обуздания страстей, с чем он обычно не справляется, а для различения добра и зла, истины и неправды, без которого нет нравственности, нет духа. Но дух ненасытен, он рождает томление, духовную жажду, утолимую только творческим трудом, деянием, подвигом: «Встань, пророк...» Цель трудового воспитания, как и воспитания вообще,—вызвать эту жажду.

Если не воспитать сердечные способности верить, надеяться и любить, то ребенок будет невосприимчив к духовным стремлениям. Высшие стремления мира не встречаются с высшими сердечными способностями, проходят мимо — и ничего не происходит. Но может случиться и обратное: есть добрые, способные любить и надеяться люди, которые не знали в детстве и в юности высших духовных стремлений, не встретились с ними. Такие люди не нарушают моральных законов, но бездуховность их сразу видна. Добрый и работающий человек, но не мучается его душа, не может, не хочет он выйти за круг бытовых забот и переносит тяготы жизни не сознательно, не с бодрим и ясным терпением, а покорно.

Духовность не то, что культура поведения или образованность. Огромное количество людей, не имея образования, обладает высочайшей силой духа, воспринятой в народе. Интеллигентность не образованность, а духовность — вот отчего самые тонкие ценители искусства бывают порой негодными людьми. Да потому это совмещается, что само по себе чтение книг, посещение театров и музеев не есть духовная жизнь. Духовная жизнь человека — его собственное стремление к высокому, и если оно достаточно сильно, то книга или театр волнуют его, потому что отвечают его стремлениям. В произведениях искусства духовный человек ищет собеседника, союзника, ищет высшего духом — ему искусство нужно для поддержания собственного духа, для укрепления собственной веры в добро, правду, красоту. Если же дух человека низок, то в театре и в кино он лишь развлекается, убивает время, даже если он является ценителем искусства. Точно так же может быть бездуховным и само искусство — все признаки таланта налицо, но нет стремления к правде и добру и, значит, нет искусства, потому что искусство всегда духоподъемно, в этом его назначение.

Мой товарищ так ответил на вопрос о его воспитании:

— Отец мною совсем не занимался. Но когда бы я среди ночи ни проснулся, я видел щелочку света под дверью его комнаты. Он работал... Вот эта щелочка меня и воспитывала!

На щелочке воспитывают, на фотографии отца-солдата — и вовсе нет в живых, с войны не вернулся, а воспитывал!

Как умеем, как умеем, как умеем, потихоньку, не торопясь, преисполнившись веры в ребенка, будем передавать ему наши стремления к добру, правде, красоте, то есть укреплять его дух. Этого вполне достаточно для хорошего воспитания, больше ничего не нужно! В самом деле, если наш выросший сын во всех жизненных выборах будет тянуться в сторону доброго, честного, красивого, то что же нам еще от него ждать? Ведь дух — это стремление, воля. Творческая воля.

Спрашивают: но как быть тем родителям, у которых нет этих стремлений к высокому? Как им воспитывать детей?

Ответ звучит ужасно, я понимаю, но надо быть честным: никак! Что бы такие люди ни предпринимали, у них ничего не выйдет, и единственное спасение для их детей — какие-то другие воспитатели... Воспитание детей — это укрепление духа духом, а иного воспитания просто нет — ни хорошего, ни плохого. Так получается, а так не получается, вот и все.

Зло — посягательство на человека, чем бы оно ни объяснялось. Но добро — это не отсутствие зла, иначе считалось бы, что каждый сделал с утра массу добрых поступков — не убил и не ограбил. Чтобы перейти в область добра и великодушия, надо затратить определенный душевный труд, приложить силу. Эта сила — любовь к людям.

Для художественной литературы вопроса нет: любовь к людям — неперенное свойство каждого привлекательного героя. Но для педагогики здесь много сложностей. То, что очевидно для писателя или поэта, отнюдь не очевидно для практического семейного воспитания, для педагога, теоретика и практика: «Как это — любить людей? Разве можно всех любить? Да ведь люди — они знаете какие!», «Это что — толстовство?», «Я не люблю, не могу любить лицемеров!», «Я не могу любить людей, которые меня не любят!», «Не-ет, так нельзя, тут вы загнули, дорогой товарищ! Всех подряд? Нельзя! Одни достойны любви, другие нет. Вон бездельник, ту-неядец, спекулянт — их любить? Нет!», «Это вы что же, к всепрощению призываете? К абстрактному гуманизму? В наше тревожное время?»

И снова мы сталкиваемся с одним из самых трудных вопросов нравственности и воспитания. Ах, если бы и в самом деле можно было любить всех людей, если бы не было на свете фашизма, не было угнетателей, не было бездельников, мошенников, хулиганов — как легко было бы воспитывать детей! Да они подряд все выжили бы высокодуховными людьми почти без наших усилий. Но любить всех невозможно. В чем же выход?

В том, чтобы учить невозможному — учить ребенка любви к людям, ко всем людям. Добра без любви к людям не бывает!

Женщина-инженер, мать двух ребятешек, сказала мне: «Я учу детей отдавать, братья они сами научатся».

Будем учить детей любви; научатся любить людей, будет что и кого любить — они сами научатся ненавидеть тех, кто посягает на любимое и дорогое.

Слова «любовь к людям» тревожат нас потому, что это высшая человеческая способность, выше ее ничего нет. Ни один нормальный человек при обычных обстоятельствах не скажет: «Я люблю людей!» Но просто на улице можно подслушать разговор: «Нет, с ним работать нельзя, он какой-то... Он людей не любит».

Способность любить людей мы считаем обязательным свойством человека и мы же отвергаем эту обязанность, потому что мир так устроен, что всех любить и в самом деле трудно. А уголь в шахте добывать легко? А работать в грохоте ткацкого цеха легко? А спектакль поставить легко? Почему же мы, привыкшие к физическому и умственному труду, не хотим дать себе труда духовного, ленимся в самой важной области человеческого бытия? Если не воспитывается любовь к людям, то на всякое наше «так нельзя» подросток рано или поздно спросит: «А почему?» «Да потому что люди могут пострадать!» «Ну и что? — спросит он, ухмыльнувшись или удивившись. — Ну и что? А мне какое дело? Пусть сами о себе заботятся!»

Пробить эту броню будет невозможно.

Маркс и Энгельс, разбирая роман Эжена Сю, пишут о его героине, проститутке, крепостной служанке в кабачке, где собираются преступники. «Она добра потому, что никому не причинила страдания, она всегда была человечна по отношению к бесчеловечному окружению».

Даже в самом бесчеловечном окружении человек должен оставаться человеком.

Если мы начнем проповедовать выборочную любовь, если любить надо лишь достойных, лишь отличников, тех, кто на Доске почета, то мы быстро запутаемся. Растет маленький и слышит: тот плох, потому что глуп и груб, тот пьяница, тот злой, тот жадный, с тем не водись и с этим не водись. На поверку выходит, что и уважать-то некого: все вокруг дурные, о каждом что-то плохое сказали — кого уважать, кого любить?

Там, где ребенку с детства не внушают осторожное «не осуждай!», там родители первыми попадают в число осуждаемых. Сегодня мы осуждаем соседа Николая Петровича, а завтра или через пять лет этот урок будет воспринят до конца, и выросший сын будет без жалости осуждать нас самих, а мы будем воздевать руки: «Бессердечный! Как об отце говорит! Отца родного ему не жалко!» Но это мы сами научили сына не жалеть родного отца в тот момент, когда не пожалели соседа Николая Петровича вместе со всеми его грехами или, говоря более современным языком, недостатками. Немногие из нас ведут такой идеальный образ жизни, что детям не за что нас критиковать. Не за что — все равно найдут! И только дети, выросшие в любви к людям, бережно отнесутся и к родному отцу, родной матери. Дети тоже должны любить всех людей — в том числе и родителей. Только так можно объяснить детям, почему же все-таки должны они хорошо относиться к своим родителям, которые кажутся им иногда очень дурными людьми. И ведь по прямой логике они,

дети, вроде бы и правы. Их всю жизнь учили бороться с недостатками в людях — вот они и борются! И начинают с ближайших им людей — со своих родителей. А то, что родители дали им жизнь, — это дети начнут ценить, когда им самим исполнится лет 50 — 60.

Горький называл свою бабушку матерью всем людям, и почему-то не возникал у него вопрос: а как же быть с негодяями?

Две причины часто ведут к неудачам в воспитании: несчастная, безответная любовь — это когда мать любит ребенка, а он не отвечает ей взаимностью, и так называемая слепая любовь — когда мать любит только своих детей, а не всех. Для хорошего воспитания нужна мама, любящая всех людей («мать всем людям») — и своего ребенка в частности. Она любит свое дитя не потому, что это свое дитя, а потому, что дитя, — она всех детей любит и всех людей любит и жалеет.

Еще ни одному человеку не удалось вызвать любовь упреками. К тому же за упреком в нелюбви к людям слышится совсем другое, слышится: «Ты меня не любишь», — чувствуется требование: «Люби меня, ты обязан меня любить». А это — конечно! Только не ждать сиюминутной отдачи, только не думать, будто вымытый пол свидетельствует о любви, а неубранная постель — симптом неблагодарности, только не поддаваться этим коммерческим фразам типа «добро по кругу», «воздастся сторицей» и т. п. Если человек ждет, что добро вернется ему по кругу, да еще в сто-кратном размере увеличенное, — что же это за добро? И что он станет делать, если добро не вернется к нему ни по кругу, никак, — проклянет людей за их неблагодарность? Нет, все это пустые разговоры людей, никогда никого не любивших. Любящему гораздо радостнее дарить, чем получать подарки, он готов всю жизнь дарить, лишь бы было кому. Вот где трудность, вот где страдание — есть ли тот, кому хочется подарить, отдать?

С той минуты, когда появляется первый ребенок, мы вынуждены начать бесконечный, для многих почти непосильный труд: стараться полюбить всех людей, окружающих нас. Этот труд и есть то главное — вместе с верой в правду, — что мы можем сделать для нашего ребенка. Наша воспитательная сила прямо пропорциональна нашей любви к людям. Не к нашему ребенку, а к людям.

## 11

Одно из главных свойств человеческой души состоит, по-видимому, в том, что она жаждет общения, соприкосновения, контакта с душой другого человека. Поэтому-то детей так легко воспитывать. Дети больше нас нуждаются в общении. Пока разум не развит, душа занимает почти все пространство психики. Общаться с детьми не значит разговаривать с ними или отвечать на их вопросы, что само по себе важно. Общаться — это нечто другое.

Глагол «воспитывать» объединяет три разных действия: управлять, учить и общаться. Мы должны управлять детьми, пока они маленькие, мы должны учить их, но чаще всего мы этим и ограничиваемся, оставляя в стороне, опуская самое важное педагогическое действие — общение. И можно понять, отчего мы склонны опускать общение, — оно несовместимо с управлением и учением!

Для учения необходимо, чтобы учитель превосходил учащегося в знаниях или опыте. Для управления тем более необходимо превосходство по возрасту, или по опыту, или по должности, или по силе, или по авторитету. Чем значительнее превосходство, тем легче управлять, управление крепнет от власти.

Общение же, наоборот, требует абсолютного равенства! Всякое неравенство, превосходство, власть, необходимые для управления, делают невозможным общение.

Но как я могу быть равным с ребенком? В каком смысле?

Люди не равны между собой по уму, опыту, возрасту, положению, таланту, но души всех людей совершенно равны. Более того, равны души ныне живущих людей и тех, кто жил тысячу или пятьсот лет назад, иначе мы не могли бы читать Гомера и Шекспира. Мы только потому и можем наслаждаться их книгами, что между нашими душами и душами их героев нет никакой разницы. По уму мы разные, по знаниям невообразимо разные, но чувств, составляющих душу человека, древние насчитывали всего четыре: страсти, страх, печаль и радость. В «Евгении Онегине» эти четыре классических чувства перечислены совершенно точно:

Зато и пламенная младость  
 Не может ничего скрывать:  
 Вражду, любовь, печаль и радость  
 Она готова разболтать.

Нам могут быть не очень понятны желания другого человека, потому что желаний — сотни, но чувства так или иначе понятны всем!

В принципе все могут общаться со всеми, но не все способны на это, потому что не все взрослые нуждаются в общении — душа высохла и люди не могут снять с себя доспехи превосходства, разоружиться при встрече с человеком, открыться душой, почувствовать чужую душу равной. Собственно, в этом и состоит педагогический талант — в умении почувствовать в ребенке равного себе. Тут подлинный секрет сильной и силу дающей любви!

Многие думают, будто управлением мы учим ребенка подчиняться законам, создаем полезные привычки. Это мнение тем более обманчиво, что оно вроде бы отвечает здравому смыслу. В действительности же только общение делает детей воспитуемыми. Дети, вступающие в общение со взрослыми, поддаются разумному управлению и обучению — и только эти дети! Видимое энергичное управление на самом деле действенно лишь в той степени, в какой оно может опереться на скрытое, неуловимое сердечное общение. Управление ограничивает, гнетет, а общение уравнивает неравных, очеловечивает. Где нет общения, там и управление детьми невозможно — они не слышат старших. Чем больше уповаем мы на одно только управление, тем хуже результат воспитания, и нам остается только жаловаться на то, что нам достались трудные, неэмоциональные, бесчувственные, нечувствительные к чужой беде дети.

Трудные дети — те, у кого нет душевных и духовных контактов со взрослыми.

Трудные родители — те, кто не умеет и не хочет устанавливать такие контакты, кого возмущает сама идея равенства с детьми.

Душевный контакт с ребенком, богатое общение с ним, духовное единение — первая и последняя проверка, правильно ли идет воспитание. Есть контакт — все идет хорошо и будет хорошо; нет контакта — ничего нельзя предсказать. Как получится, так и получится. Воспитание в этом случае зависит не от нас, а от разных житейских обстоятельств, от других людей в школе или на улице. К сожалению, не все люди достаточно эмоциональны, чтобы чувствовать, есть ли у них контакт с ребенком, и не все в этих контактах нуждаются. Иные прекрасно обходятся без общения с ребенком, и тут уж ничем не поможешь. Остается сказать лишь одно: старайтесь... Так получается, а так нет.

## 12

«Не-ет,— слышу я,— стойте! Стойте! А как же наследственность? Гены как? Вот ученые обнаружили, что если у человека лишняя хромосома, то он...»

Когда у нас не получается со своими детьми, мы чувствуем себя виноватыми и нам так хочется свалить свою вину на кого-нибудь! Легче всего свалить ее на общество («Неужели вы и в самом деле думаете, что в наше время можно вырастить хорошего ребенка? В этой ужасной школе? В окружении таких людей?») или на гены («Я разъезжаю со своей девочкой, меняю квартиру и разъезжаю! У нее ужасные гены! У нее гены ее отца!»).

Вот катится шарик по плоскости. Чтобы понять его движение, мы должны представить себе, что в каждое данное мгновение он находится в данной точке и не находится в ней. Не сначала находится, а потом не находится, а именно сразу и есть он тут и нет его, иначе движение не поймешь. Современная физика полна всевозможных «и есть и нет». Но разве человек проще электрона и шарика?

Вопрос о наследственности решается, на мой взгляд, так: в человеке все решительно от наследственности, от генов, решительно все! И в человеке решительно все — все! — от воспитания. Не пятьдесят на пятьдесят, не это — от наследственности, а это — от воспитания, а все от наследственности и все от воспитания. Присмотритесь к любому человеку, ну хоть в метро, как он сидит и движется, какое у него лицо, и вы ясно увидите справедливость такой точки зрения: в нем все от природы и все от воспитания. Поэтому разговоры о генах (по крайней мере, пока речь идет о здоровых детях) — пустое занятие. Природа делает свое дело, а мы

должны делать свое. Результаты воспитания, конечно же, зависят от времени, от среды, от ближайшего окружения, от наследственности. И... не зависят!

Как же так — и зависят и не зависят?

Но в воспитании детей, особенно семейном, все так. Мы должны давать детям самостоятельность и не должны, мы должны понимать детей и не должны, мы должны баловать маленьких и не должны, мы должны думать об их будущем и не должны... Говорят, надо знать меру, с восторгом и глубокомысленно повторяют: «Мера, мера в воспитании, мера — это основное». Но как это — «надо знать»? В чувстве меры и заключается педагогический талант, причем мера — не золотая середина, не отсчитанное, а живое противоречие: должны и в то же время не должны... Но мы, поголовно изучавшие начала диалектики в школьном курсе обществоведения, совершенно, кажется, не способны принять, признать диалектику у себя на кухне, в общении с детьми. Мы ищем определенности и никак не хотим согласиться с живым, постоянным, бесконечно рождающимся, пульсирующим противоречием, которое так и надо принимать — как противоречие. Потребность в безопасности противоречит потребности в развитии, сердце — разуму. Всюду противоречия, всюду единство, все сложно и во всем красота...

Завернув ребенка в теплый платок, мама тихо напевает песенку о сурке. Голые ножки в голубых вязаных пинетках высовываются из свертка, маленький подпевает. И в том, как мама поет, как наклоняется к сыну, как смотрит на него, какой у нее и ласковый и веселый голос, — во всем видно, что будет у нее хороший сын, будет человек... Но как передать это здесь, на бумаге? Как научить искусство таким голосом напевать «Сурка» новорожденному, завернутому в теплый платок?

### 13

Читатель заметил, очевидно, что почти все ссылки здесь — на Пушкина. В вопросах психологии и этики Пушкин абсолютно точен, я думаю, что и вы согласитесь с утверждением: как у Пушкина — так правильно.

И вот в заключение нечто вроде премии терпеливому читателю — краткий пушкинский курс педагогики. Куда короче — в шести строках! Наука об искусстве воспитания для очень занятых людей.

Однажды Пушкин записал шуточные стихи в альбом семилетнего мальчика Павлуши Вяземского. Пушкин был верен себе в каждой строчке и каждой шутке, и даже экспромты его гораздо содержательнее, чем кажутся с виду. Вот случай убедиться в этом: переведем веселые строчки на язык педагогики.

Пушкин написал:

**Кн. П. П. Вяземскому**

Душа моя Павел,  
Держись моих правил:  
Люби то-то, то-то,  
Не делай того-то.  
Кажись, это ясно.  
Прощай, мой прекрасный.

В этих шести строчках — все искусство воспитания!

«Душа моя Павел...» — люби ребенка, как душу свою, умеи выразить свою любовь в ласковом слове, в ласковой интонации.

«Павел», «Кн. П. П. Вяземскому» — обращайся с ребенком как с равным, как со взрослым, невзначай подчеркивай, что он уже большой. Дети никогда не бывают для себя маленькими, они всегда «уже большие». И как бы ты ни любил ребенка, будь с ним немножко сдержан, особенно с мальчиком: «душа моя», но «Павел».

«Держись моих правил...» — сначала обзаведись, пожалуйста, своими правилами жизни, принципами, убеждениями — без них к ребенку лучше не подходить. И это должны быть свои правила, своей жизнью выработанные, чужие правила детям внушить невозможно. Сколько неудач в воспитании оттого, что мы пытаемся вбить в детские головы правила, которых сами не придерживаемся! Нет, «держись моих правил» — слова, убедительные для ребенка своей честностью. И не назидание здесь, а дружеское «держись». Совет, которого можно и не послушаться. В обязательном «держись» — поучение, необходимое ребенку, и свобода от поучения. Взрослый направляет, а действует ребенок сам.

«Люби то-то, то-то...» — люби! Все воспитание держится на этом слове «люби»! «Люби» — значит, трудись душой. Воспитание — не запреты, воспитывать — пробуждать способность любить.

«Не делай того-то...» — сказано категорично и без объяснений. Отметим тонкость: «не делай» — это ведь не запрет для мальчика, это относится к взрослому, это из его собственных запретов, это правило взрослого человека, а не особое детское правило для маленьких. «Не делай» — закон взрослых, серьезных людей. Не запрещено, не осудят, не накажут, но не делаю — не в моих правилах.

«Кажись, это ясно...» — ребенку и надо внушать, что все наши установления и советы просты, понятны, безусловны, ими весь мир живет. А ты, маленький, умница, ты все понимаешь с полуслова, ты не нуждаешься в длинных нотациях. Пусть ребенок и не понял взрослого — не страшно! Вера в понятливость мальчика делает его умнее: люди удивительно быстро умнеют, когда их считают умными. И с какой легкостью говорит поэт с мальчиком о самых важных правилах жизни! «Кажись, это ясно...» — он не просто подчеркивает равенство обращением «Павел», он и в самом деле чувствует себя равным с мальчиком. Он говорит с ним всерьез, хоть и в шуточной форме, и говорит не заученное, а только что открытое.

«Прощай, мой прекрасный» — взрослые и не должны слишком много заниматься детьми. Ребятам лучше быть в компании сверстников, отдаваться играм и своим делам. Поиграли, поговорили, объяснились в любви — достаточно, беги к своим игрушкам, там твой мир.

И словно кольцо замыкается: «Прощай, мой прекрасный». Внушайте ребенку, что он прекрасен в глазах взрослого! Кто умеет от всего сердца сказать маленькому человеку «мой прекрасный», тот счастлив в детях и у него счастливые дети. А что нам еще нужно? Как бы высоко ни подняла человека судьба, как бы круто ни обошлась она с нами, счастье или несчастье наше — в наших детях.

---



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

АЛЕКСАНДР ПЕРЕГУДИН,  
кавалер ордена Славы трех степеней



## РАЗВЕДЧИКИ ИДУТ ПЕРВЫМИ

Автор этих воспоминаний боевое крещение принял под Сумами в сентябре 1942 года. Молодой минометчик там же получил контузию и был направлен в тыл. Однако по пути в медсанбат А. И. Перегудин пристроился к одному из стрелковых взводов, который выдвигался на передовую, где и остался рядовым автоматчиком. Вскоре стал командиром отделения.

В боях за Киев получил серьезное ранение, после госпиталя оказался в запасном полку. Там-то его и нашли представители 42-й гвардейской стрелковой дивизии, которые прибыли в полк отбирать пополнение для разведроты.

Мужество и отвага всегда были свойственны Перегудину. Прапрадед Александра Ивановича участвовал в Бородинском сражении прадед — в боях на Шипкинском перевале, где вернулся с русско-японской войны полным георгиевским кавалером. Отец защищал молодую Советскую республику в годы гражданской войны, с первых дней Великой Отечественной ушел на фронт...

А. И. Перегудин участвовал в боях за освобождение Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, закончил войну помощником командира взвода пешей разведки и на Параде Победы пронес по Красной площади в Москве знамя своей дивизии.

После войны он продолжал службу в войсках Дальневосточного военного округа. Ныне прапорщик запаса живет в Хабаровске, ведет большую военно-патриотическую работу, часто бывает в дальневосточных гарнизонах, где его хорошо знают и где он всегда желанный гость.

Н

еподалеку от молдавского города Флорешты стрелковые полки были контратакованы свежими частями фашистов...

Из штаба дивизии гвардии капитан Белов вернулся озабоченным. Скорее всего у него был неприятный разговор с командованием. Каждый день уходили в поиск разведчики, а появления новых сил противника не заметили. Требовалось срочно исправить положение: установить номера вражеских частей, их состав, возможный характер предстоящих действий.

Очередную разведгруппу решил возглавить сам капитан. В ее состав включили наиболее опытных бойцов, а из молодых взяли одного меня. Чтобы не зазнавался, ротный сказал, что мне оказано особое доверие, которое надо оправдать храбрыми действиями. Посоветовал он брать во всем пример с гвардии сержанта Варенова — лучшего разведчика дивизии.

В поиск пошли 14 человек — почти в три раза больше, чем обычно. Патронов и гранат мы взяли по два боекомплекта да прихватили с собой ручной пулемет. Объявляя приказ, гвардии капитан Белов сообщил, что мы должны произвести налет на штаб немецкого батальона, расположенный, по сведениям армейских разведчиков, в одном из населенных пунктов за линией фронта. Наша задача — захватить документы и взять пленного, желательно офицера.

В путь двинулись, как только стемнело. Броском преодолели нейтралку, по оврагу углубились в тыл противника. За два часа быстрой ходьбы добрались до молдавского села, в центре которого размещался штаб. Наш ротный, взяв с собой двух разведчиков,

сходил в село, чтобы на месте определить точную дислокацию вражеских подразделений, порядок охраны, связи.

Томительно потянулось время. За три месяца службы в разведоте я хорошо понял — нет ничего тяжелее ждать возвращения товарищей с задания. Лежишь, вслушиваешься в тишину, которая в любой момент может быть нарушена стрельбой, взрывами. Только став разведчиком, узнал, какой грозной бывает иногда тишина.

Через час с небольшим Белов вернулся. Судя по его сообщению, нас ждал нелегкий бой. В штабе все на ногах, на улицах села полно гитлеровцев. Неподалеку от окраины вдоль дороги стоит колонна танков и бронетранспортеров с заведенными двигателями. Не готовятся ли фашисты покинуть село? Командир роты принял решение времени зря не терять, ударить сразу же, а то уйдет батальон — и ищи потом ветра в поле.

Вот впереди замаячили белые стены хат. Пробираясь по садам и огородам, мы вышли к объекту нашего налета — большому дому, в котором до войны, очевидно, размещалась школа. Гвардии сержант Варенов, закинув за спину автомат, вынул нож и исчез в темноте. Его задача — снять часового. Каждый из нас точно знал, что ему делать. Одни должны были собрать бумаги в штабе, другие — блокировать его со стороны улицы. Мне и гвардии сержанту Максимо́ву выпало взять языка.

Короткий вскрик не привлек внимания противника. Мы окружили дом, приготовили гранаты... Первую — противотанковую — гвардии старшина Веселов швырнул в стоящий около штаба бронетранспортер. Грянул взрыв. Из дома стали выбегать перепуганные гитлеровцы. Мы с Максимовым облюбовали одного из них — высокого офицера с портфелем, — схватили, уволокли в сад.

Захват языка стал сигналом для всех разведчиков. В упор ударили автоматы, в окна полетели гранаты. Связав как следует пленного, мы тоже включились в дело.

Бой длился не более пяти минут. Уничтожив всех, кто находился в штабе и около него, мы отошли к околице села.

Первое время нас никто не преследовал. Стремясь как можно дальше оторваться от противника, мы быстрым шагом уходили к линии фронта. Но через час послышался лай овчарок. Гвардии капитан Белов приказал шестерым бойцам прикрывать отход основной группы. На прощание не было времени. Хлопнули друг друга по плечу и расстались — с некоторыми навсегда. Четверо наших друзей погибли, спасая нас. Мы уже ползли по нейтральной полосе, а позади все еще гремела стрельба...

Утром наступление возобновилось с новой силой. Очень пригодились генерал-майору Ф. А. Боброву добытые нами сведения о противнике. Тот долговязый оберлейтенант, которого мы взяли, оказался на редкость осведомленным и разговорчивым. Да и документация пехотного батальона была ценной. Как только выдалась свободная минута, комдив приказал построить разведчиков, поблагодарил и сказал, что все будут награждены — живые и павшие.

Четверых бойцов из тех, кто остался прикрывать нас на обратном пути, мы нашли и похоронили на следующий день. Все они отстреливались до последнего патрона. Гвардии младший сержант Никитченко взорвал себя и нескольких фашистов последней ручной гранатой...

От поиска к поиску росло ратное мастерство моих товарищей. Все тяжелее становились узелки из платков, в которые разведчики завязывали свои ордена и медали, перед тем как сдать их на хранение старшине. И мне был вручен орден Славы 3-й степени. Когда генерал-майор Бобров приколол орден на гимнастерку, испытывал чувство приподнятости, хотелось научиться воевать еще лучше.

Запомнились бои между Днестром и Прутом. Они были ожесточенными. Враг предпринимал отчаянные попытки остановить наступление. Но ни его контратаки, ни весенняя распутица не могли задержать советские войска. Граница Румынии приближалась с каждым днем.

В частях 42-й гвардейской стрелковой дивизии царил небывало высокий подъем. Только и разговоров было, сколько еще километров осталось пройти с боями, чтобы вышвырнуть врага из советской Молдавии. Стоило одному полку продвинуться вперед, как об этом узнавали в соседних, и атаки становились еще более яростными. Бобровцы — так бойцы нашего соединения называли себя — соревновались за то, чтобы первыми выйти к Пруту. Но каждый из нас, разведчиков, был уверен: первыми пограничную реку увидим мы. Так оно впоследствии и оказалось.

Уважали в дивизии разведчиков. Но ни разу я не слышал, чтобы кто-то позавидовал нашим наградам, более обильному пайку, всегда новенькому обмундированию.

Ни для кого не было секретом, что фронтового лиха нам достается гораздо больше, чем представителям других армейских специальностей, что труд наш тяжел и опасен. Вот какой случай произошел с нами однажды после поиска на правом берегу Днестра — дело было еще равней весной. Возвращались мы, ободренные удачей — без особого шума взяли в плен румынского офицера. Но едва отчалили в лодке к левому берегу, как начались неприятности. От удара бревна лодка перевернулась, и мы оказались в воде. Хорошо еще, что глубина в том месте была небольшая — примерно по грудь. Что предпринять? Плыть назад? Но разве найдешь в темноте, под носом у противника плот или лодку? Да и враг может обнаружить исчезновение офицера. Положение наше усложнялось еще и тем, что одного из бойцов задела шальная пуля. Раненого мы держали на руках, да еще вражеского офицера надо было караулить.

Долго мы продержаться не могли. От холодной воды сводило тело, льдины норовили смести нас, эпрокинуть в воду с головой. Их приходилось отталкивать руками. Командир разведгруппы принял решение послать за помощью. Требовалось переплыть реку и перебраться к месту нашего «кораблекрушения» резервную лодку. Выбор командира пал на меня.

Чтобы плыть было легче, разделся, отдал друзьям оружие.

Течение сразу же подхватило, понесло. Изо всех сил боролся с ним, но напрасно. Вскоре я оказался метрах в пятистах ниже разведгруппы. Выбросило меня на песчаную, заросшую кустами косу. Отдышался. Совсем рядом услышал разговор на чужом языке. Значит, опять на тот же берег попал. Не хватало, чтобы меня полузамерзшего, безоружного нашли немцы... Оттолкнулся от кустов, поплыл дальше. К счастью, наткнулся на связку досок. Вцепился в них что есть сил и стал помаленьку работать ногами. Минут через двадцать был на левом берегу. Там повезло — встретил бойцов из саперной роты, которые готовили переправу. Приняли они меня сначала за немца. Видя это, хотел ругнуться, чтобы за своего признали, да не смог — так замерз. Но потом разобрались, спиртом оттерли, сухим обмундированием снабдили. Командир саперов выделил двух солдат — помочь найти лодку и переправиться на другой берег.

Вывезли мы втроем разведчиков. Через силу они уже держались, однако раненого спасли и языка привезли.

Долго мы удивлялись: провели в мартовской воде в общей сложности более двух часов, а никто даже насморка не схватил! Только языка нашего в госпиталь для военнопленных пришлось отправить. А русским ребятам хоть бы что! Но потом разговорились, и оказалось: у каждого таких случаев в памяти не один и не два. И в холодной воде купались, и голодали в немецком тылу по неделе, когда от преследования по лесам уходили, и по трое суток без сна бывать приходилось... Видимо, есть у человека особый запас жизненных сил, который помогает держаться, когда, кажется, совсем неспособен. И сила воли, конечно, нужна, чтобы наперекор всему выстоять, не согнуться.

Не раз замечал, что на фронте люди забывали думать о себе, о своем здоровье, жили одним — как можно лучше выполнить свой долг перед родиной. А приходилось не раз быть свидетелем самых настоящих чудес. Один из наших товарищей до войны страдал язвой желудка. Какие только лекарства не пил, диеты придерживался, на Кавказ минеральную воду пить каждый год ездил — ничего не помогало. На фронте он не лечился, ел с нами из одного котла, а о язве и не вспоминал. Однажды ранило его. В госпитале боец попросил врача сделать ему рентгенограмму желудка. Каково же было удивление разведчика, когда ему сказали, что язва зарубцевалась...

И раны наши заживали быстрее, чем предполагали врачи. Увезут, бывало, разведчика в медсанбат — в чем только душа держится, а пройдет недели три — снова встречаешь его в роте. Глаза весело смотрят и разговоры об одном: скорей бы в поиск...

Разведрота — особое подразделение. Редко нам приходилось действовать, как пехоте. Но в те мартовские дни 1944 года мы дважды сходились с фашистами. И, надо сказать, дрались разведчики в открытом бою по-геройски.

В первый раз роту бросили в бой под населенным пунктом Змеица, когда три фашистских пулемета, находившихся на окраине деревни, головы не давали поднять пехоте, которая атаковала опорный пункт. Происходило это все на глазах комдива, наблюдавшего за боем со своего КП. Вызвал он гвардии капитана Белова и приказал «утереть пехоте нос».

По неглубокой ложине, поросшей кустарником, по пояс в ледяной воде, мы обошли противника и дружно ударили с тыла. Разведчики так стремительно сблизилась

с фашистами, что те не успели открыть огонь. Началась рукопашная, а в ней мы кое-что понимали. Не выдержав удара, враг отступил. Путь стрелковому батальону был расчищен. За этот бой меня наградили орденом Красной Звезды.

Спустя неделю бойцы нашей разведроты легли вокруг штаба дивизии, чтобы защитить его от внезапного удара вражеской мотопехоты, которая пыталась выйти из окружения. Признаться, при виде такого количества бронетранспортеров, мотоциклов под сердцем возник неприятный холодок. Противотанковых ружей у нас не было, ручной гранатой бронетранспортер не остановишь... Кое-кто из бывалых бойцов, вспомнив 1941 год, стал собирать гранаты в связки.

Мотоциклистов, которые вырвались вперед, мы встретили метким автоматным огнем. Потеряв с десятков машин, противник отступил и скучился на винограднике метрах в двухстах от нас. И тут гвардейские минометчики напомнили и нам и фашистам, что на дворе 1944 год. По сравнительно небольшому участку местности ударили одновременно два дивизиона «катюш». Ничего более грозного я не видел за всю войну. Словно гигантский вулкан ожил перед нами. С высоты дохнуло пламенем, а потом все вокруг затянуло дымом и пылью.

Через полчаса гвардии майор Зима послал двух разведчиков принести солдатскую книжку врага — ему надо было узнать, какая часть пыталась выбраться из окружения. Вернулись они ни с чем: на месте виноградника был лишь пепел да обгоревшие бронированные машины.

29 марта наша 42-я гвардейская дивизия совместно с 242-й стрелковой дивизией форсировала Прут. А первыми из гвардейцев на чужой земле побывали мы, разведчики. Нам было приказано установить силы и средства противника, занявшего оборону на противоположном берегу пограничной реки.

Разведгруппа переправлялась под утро на двух лодках. Перед тем как сесть в них, бойцы в масках молча постояли у кромки холодной воды, вглядываясь в темноту весенней ночи. На востоке небо заметно посерело. Через несколько часов займется новый день. В нашей памяти он останется навсегда. Ведь в тот день мы вышли на границу советской земли.

В течение трех недель мы форсировали еще несколько водных преград. Противник, конечно же, делал все для того, чтобы сбить темп наступления дивизии. Фашистское командование лихорадочно перебрасывало силы и средства с одного участка обороны на другой, пытаясь предугадать, где дивизия будет вести активные действия. И каждый раз бой начинался там, где враг меньше всего этого ожидал. Располагая своевременно добытой достоверной информацией о противнике, офицеры штаба соединения умело планировали предстоящие операции. А снабжали командование сведениями о замыслах врага мы, разведчики.

7 апреля был освобожден румынский город Ботошани, и чуть позже Пашкани. Здесь, между реками Сиретом и Молдовой, 42-я гвардейская дивизия перешла к обороне. Начались, как сообщало Совинформбюро, бои местного значения.

Чем занимались мы почти четыре месяца, до начала Яско-Кишиневской операции? Со стороны может показаться, что ничего особенного на нашем участке фронта не происходило. И наши и вражеские войска подтягивали резервы, поглубже зарывались в землю, получали пополнение, осваивали новую технику и оружие, готовились к действиям в горных районах Румынии. Иногда вспыхивала перестрелка, велся контрбатарейный огонь.

Мы, разведчики, за это время и дня не провели сложа руки. Командованию требовалась достоверная информация о частях 78-го армейского корпуса, занявшего оборону в предгорьях Восточных Карпат. Противник перед нами стоял серьезный. Дивизии первого эшелона усиливались отборными частями, переброшенными из Германии. Наши надежды на то, что союзники откроют второй фронт и оттянут на себя хоть часть фашистских войск, не оправдались.

По мере стабилизации обстановки на нашем участке противник все больше укреплялся, каждый поиск давался разведчикам все труднее. Все чаще разведгруппы при попытке пробраться в тыл противника встречали огонь вражеских подразделений, находившихся в боевом охранении. Рота стала нести значительные потери.

Однажды разведчиков собрал гвардии майор Зима. Оглядел он наши печальные лица и предложил вместе обмозговать ситуацию. Языка мы не могли взять уже больше недели. По мнению начальника разведки, успех нам не сопутствовал из-за шаблонности

действий. Немцы уже привыкли к тому, что, как только стемнеет, через нейтралку идет очередная разведгруппа. Естественно, во вражеских траншеях в это время все на ногах.

— Надо менять тактику ведения поиска,— сказал гвардии майор Зима.

— А что, если днем попробовать? — неуверенно предложил кто-то из нас.

Днем? Вначале мы дружно рассмеялись. Да нам носа не дадут высунуть из своего окопа! Фашисты каждый камень, каждый куст пристреляли. А как преодолеть минное поле, проволочные заграждения в три ряда?

— Может быть, нейтралку переползти ночью, под утро, а пленного захватить, когда немцы спать уйдут? — вмешался в разговор молчавший до этого Ревин.

Пожалуй, это была мысль! Обсудили мы все возможные варианты операции и пришли к выводу, что самое трудное предстоит нам после захвата языка. Отходить до своих окопов придется метров триста на виду у всполошенных налетом гитлеровцев. Значит, минимум пять—семь минут они будут обстреливать группу из всех видов оружия, включая минометы. Без активной поддержки нашей артиллерии здесь не обойтись. Командир роты обратился к начальнику штаба дивизии с просьбой выделить для обеспечения операции артдивизион и две-три минометных батареи. Гвардии полковник Бочков, дотошно проверив все наши расчеты, нашел, что для надежного подавления противника артиллерии потребуется больше. Два дивизиона, четыре минометных батареи обеспечивали работу разведчиков.

...В три часа ночи группа в составе пяти человек, среди которых был и я, без помех преодолела нейтральную полосу и заняла позицию в шестидесяти метрах от выбранного нами объекта нападения — сторожевого поста. Приблизилось утро. Восток опоясался узкой полоской зари, все громче щебетали птицы. Тишина и покой были вокруг, но мы знали, что где-то в тылу дивизии уже заряжены гаубицы. Около сотни стволов вот-вот обрушат на этот участок обороны врага снаряды и мины.

Вскоре нам стали отчетливо видны лица фашистов. Бессонная ночь не прошла для них даром. Все зевали, терли воспаленные глаза, напряженно всматриваясь в изрытое воронками поле раскинувшееся между оборонительными позициями. Наконец в траншее появился офицер, подал команду. Гитлеровцы торопливо ушли по ходам сообщения в блиндаж, до которого было метров двести. Офицер расставил приведенных пулеметчиков по позициям, с каждым о чем-то поговорил. Эти немцы, видимо, только проснулись. Заспанные, они рассеянно поглядывали по сторонам, курили.

Момент для нападения был самый подходящий. В воздух взлетела красная ракета, и тут же за нашими спинами грозно загрохотала артиллерия. Прошелестели над головами снаряды, тяжело всколыхнули землю близкие разрывы.

Артиллерия била отсечным огнем по флангам и тылу участка обороны, выбранного нами для поиска. Гвардии лейтенант Торшин скомандовал: «Вперед!» — мы ринулись вслед за офицером к вражеской траншее. Не ожидавшие ни арналета, ни нашего появления фашисты не оказали сопротивления. Четверо из них были убиты, двое — пулеметчик и офицер, который не успел уйти в тыл, — захвачены в плен.

Обратная дорога заняла всего четыре минуты. Фашисты, опешив от дерзости разведчиков, две минуты молчали. Потом они открыли по нашей группе сильный минометный огонь. Несмотря на это мы без потерь добрались до своих окопов. Легкие ранения получили один из бойцов да немецкий пулеметчик, который не успел нырнуть в воронку, когда рядом начали рваться мины.

Еще раз мы убедились в том, что примененный неожиданно для врага тактический прием — самый верный путь к успеху.

Стремление к самостоятельности, инициативным действиям в тылу противника, ошеломляющая фашистов дерзость, военная хитрость, основанная на точном знании повадок врага, — вот что помогло моим фронтовым друзьям успешно выполнять приказы командира. Примеров на этот счет можно привести немало.

Но особенно вспоминается мне один поиск. Сначала все шло по заранее разработанному сценарию. Мы без помех преодолели передовую позицию вражеской обороны, углубились в тыл. Ночь стояла темная, ненастная. Дул сильный ветер, во всю хлестал дождь. Словом, погода была для разведчиков как по заказу. А то, что вымокли все до нитки, это не беда. Потом, после возвращения, можно и обсушиться, и перед сном наркомовские сто граммов принять ради противопопростудной профилактики. Правда, здесь надо заметить, что пить спиртное я за всю войну так и не научился. И от

этого нас, молодых еще совсем ребят, берегли старшие по возрасту товарищи. Разрешали понемногу и чтобы только согреться.

Целью нашего поиска был блиндаж, расположенный на второй линии обороны фашистов. Передовым наблюдателям удалось засесть около него появление нескольких офицеров. Вывод напрашивался один — в блиндаже живут не рядовые немцы. Значит, лучшего языка нам и желать не надо. Только вот как его взять? Блиндаж, конечно, охранялся, причем для большей надежности гитлеровские офицеры обычно выставляли двух часовых. Пока до дверей доберешься, многих можно в разведгруппе недосчитаться...

Перед поиском мы решили: если не удастся снять часовых, устроим налет. Поэтому и боеприпасов взяли больше обычного. Но когда прибыли на место, поняли, что действовать по плану не придется. Неподалеку от офицерского блиндажа находился еще один, битком набитый спящими солдатами. Оба укрытия тщательно охранялись. Поняли: действовать нельзя ни тихо, ни громко. А как?

— Ребята, надо схитрить. Иначе офицера из блиндажа мы не вынем, — прошептал гвардии сержант Варенов. — Давайте сделаем так... — И он коротко изложил свой план.

Осветительный пост был выставлен метрах в ста в отдельном окопчике. К нему вела неширокая, но глубокая траншея. Ваганов и Яблоневский поползли к гитлеровскому ракетчику, а четверо разведчиков расположились по обеим сторонам траншеи в кустах. Вскоре послышался короткий вскрик — Ваганов снял наблюдателя. А через минуту Яблоневский стал пускать одну ракету за другой и кричать что есть силы по-немецки: «Тревога! Вижу русских!» Эти слова немедленно продублировали часовые у блиндажей. Вскоре из них стали выскакивать немцы и разбегаться по своим позициям. А куда побежал их командир на этом участке обороны? Конечно, на осветительный пост, чтобы узнать, откуда идут русские и сколько их. За коротышкой капитаном (как впоследствии выяснилось, командиром роты) поспешали трое дюжих автоматчиков. Их мы уничтожили холодным оружием, а капитана быстро связали и потащили к своим.

Минут пятнадцать — двадцать за нашими спинами было тихо. А потом поднялась стрельба...

Памятен и такой случай. Выбрали мы в качестве объекта для нападения дежурный расчет пулемета, находившийся на левом фланге ротного опорного пункта противника. Наблюдение, которое велось до самого начала поиска, подтвердило: у пулемета двое гитлеровцев. А когда мы ввалились в окоп, застали там одного. Сначала мы хотели уйти с тем, кого взяли, но гвардии сержант Ревин усомнился, правильно ли мы поступим. А вдруг через минуту явится второй и, увидев, что его напарник исчез, поднимет тревогу? Начнут немцы кидать осветительные ракеты, а мы вот они — на открытом поле.

Решили остаться — и правильно сделали. Вскоре в окоп по ходу сообщения пробрался второй номер расчета. И его мы взяли без шума, вместо одного приволокли двух языков.

Разные были поиски — удачные и неудачные. Иногда взятого с большим трудом языка теряли на обратном пути. Всякое случалось. Но мы не кивали на судьбу: тщательно анализировали свои действия, отыскивали в них ошибки и в следующий раз старались их не повторять.

В одном из моих наградных листов есть запись о двух поисках, проведенных 14 и 16 июля 1944 года в районе небольшого городка, расположенного на берегу неширокой, но быстрой реки Молдова. Оборона противника в том месте отличалась глубоким эшелонированием боевых порядков, была неплохо подготовлена в инженерном отношении. Стоит сказать, что нашей дивизии с началом Яско-Кишиневской наступательной операции пришлось прорываться там через четыре оборонительных линии, оснащенных долговременными огневыми точками с бетонными колпаками, бетонированными траншеями, целым комплексом противотанковых заграждений. Шага негде было ступить, чтобы не наткнуться на мины. Причем противотанковые мины стояли вместе с противопехотными. А сверху на много метров в ширину лежала «спираль Бруно» — коварная проволока, в которой легко можно запутаться.

Естественно, командование нашей дивизии интересовало все в системе обороны противника на правом берегу Молдовы. Ведь близился день, когда эту реку надо будет форсировать под вражеским огнем.

К первому поиску мы готовились долго. Тщательно изучали поведение фашистов

на их переднем крае, подступы к реке. О том, чтобы переправиться вплавь, не могло идти и речи. Сильное течение унесло бы далеко от объекта поиска. Резиновые лодки тоже не годились: одна пуля — и переправа обречена на неудачу. Лодки местных жителей гитлеровцы или уничтожили при отступлении, или угнали к противоположному берегу. Решили переправляться на плоту. Саперы связали его из сухих бревен, а ночью мы перегнали плот, стараясь не шуметь, к месту переправы. Чтобы противник не разглядел его днем, набросали на бревна ил, кучки водорослей, дерн с прибрежной травой и пришвартовали плот в таком виде к берегу в небольшом заливчике.

Поиск начался следующей ночью. Четверо разведчиков, среди которых был и я, соблюдая все меры предосторожности, поплыли через темную реку. Стояла ненастная погода: дул сильный ветер, моросил дождь.

Окоп боевого охранения — объект действий разведгруппы — оказался пуст. Немцы укрылись от сырости в блиндаже. Мы поняли, что без шума сегодня не обойтись: попробуй выкради незаметно одного гитлеровца из десятка, когда все они собрались в тесном помещении!

Вот и блиндаж. Рывком открыв дверь, я метнул в темный проем гранату. Глухо ударил взрыв, послышались крики раненых. Не мешкая мы ворвались в блиндаж, уничтожили огнем из автоматов оставшихся в живых фашистов (предварительно выбросив одного за дверь) и поспешили в обратный путь. Но дорога к реке уже перекрыта. В упор ударили вражеские автоматы. Спасла нас темнота: под ее покровом мы отступили к блиндажу, заняли круговую оборону. Положение разведгруппы оказалось тяжелым. Понимали мы, что придут в себя гитлеровцы, увидят, что советских солдат всего четверо, и «прощай, мама!». А тут еще нашего командира гвардии лейтенанта Торшина зацепила пуля. Решили: двое прикрывают огнем, а один из нас несет к плоту командира. Выпало это сделать мне. До сих пор не знаю, как удалось пробиться к реке через плотное кольцо фашистов, разыскать в темноте плот. Видимо, есть у человека про запас качества, о существовании которых он в обычной обстановке и не догадывается.

Итак, задачу мы не выполнили. Вернулись к своим без пленного: в ночном бою он был убит. Поэтому через два дня снова пошли в поиск. На этот раз действовали по-иному. Правее пехота затеяла перестрелку с фашистами, отвлекла их внимание. Переправились в лодке, найденной накануне в зарослях камыша. И опять чуть не произошла осечка: некстати вспыхнувшая осветительная ракета помогла гитлеровцам разглядеть нас в момент броска на пулеметную точку. Снова завязался неравный бой. Однако в расположении роты мы вернулись без потерь и с языком. Правда, в рожках автоматов не осталось ни одного патрона. Истратили их с толком: через два дня перебежчик на допросе в штабе сообщил, что той ночью фашисты потеряли убитыми и ранеными 20 человек, один пропал без вести. Мы улыбнулись: для них пропал, для нас — нашелся.

Обычно после возвращения из вражеского тыла мы прежде всего хорошо отдыхали. Поиск каждый раз требовал полной отдачи сил, так что валились ребята на нары в землянках как подкошенные. Спали до обеда, а потом или готовились к новому походу за языком, или заступали в караул для охраны штаба. Те, кто был свободен от этого, тоже зря времени не теряли: изучали противостоящего противника (лекции нам обычно читал гвардии майор Зима), участвовали в тренировочных занятиях, которые проводил с разведчиками командир роты или один из командиров взводов. Без дела не сидел никто. Одни шли на передовые наблюдательные пункты, другие в который уже раз отрабатывали действия по захвату пленного в различных ситуациях. Каждое движение шлифовали до автоматизма. Когда счет времени идет на секунды, раздумывать особенно некогда.

Молодые разведчики старательно разучивали боевые приемы. Настоящим мастером на этот счет был гвардии сержант Матросов. Невысокого роста, гибкий, как кошка, сильный, он в мирное время вполне мог бы стать известным спортсменом-борцом. Любо-дорого было смотреть, как боролся Василий с двумя, а то и с тремя самыми здоровыми разведчиками! Изматывал всех так, что с ног валились. Не случайно Матросову чаще других доверяли брать языка или снимать часового. Делал это он всегда без осечки.

После войны появилось немало произведений о подвигах фронтовых разведчиков. Иных бойцов в маскахалатах показывали такими лихими ребятами, которые шутя ходили в глубокий вражеский тыл и легко брали в плен старших офицеров, а то и генералов. Конечно, наша реальная фронтовая жизнь была совершенно иной. Труд раз-

ведчика, можно сказать, самый тяжелый солдатский труд, потому что во время выполнения задания врагов вокруг тебя всегда во много раз больше. Но несмотря на это ты должен победить. Ведь с успеха разведчиков начинается успех полка, дивизии, армии. Твоя победа — спасение жизни однополчан. Вот почему разведчик обязан все сделать для того, чтобы точно выполнить приказ командира. Вот почему мы не жалели сил, времени на занятия, перенимая лучшие приемы работы наших опытных товарищей.

За полтора года службы в разведоте я принимал участие во многих поисках. Счета им не вел. Разведчики, как, к примеру, снайперы, зарубок на прикладе на память не делали. Да и мудрено было сосчитать все наши вылазки в тыл противника, если летом 1944 года мы ходили к врагу «в гости» чуть ли не каждую ночь. Многие стерлось из памяти за эти сорок лет, но самые удачные поиски помнятся, будто были недавно.

...Шла подготовка к Ясско-Кишиневской операции. Фашисты, конечно же, обратили внимание на то, что в ближайшем тылу советских войск накапливаются танки, артиллерия, в больших масштабах осуществляется подвоз горючего, боеприпасов. Усилила активность вражеская разведка, нас даже стали привлекать к перехвату лазутчиков, пытавшихся проникнуть к штабу дивизии, складам, местам размещения частей и подразделений. Надо сказать, что и такие задания мои товарищи выполняли неплохо. Трех гитлеровцев захватили в плен, с десятков положили на месте. Но кое-какие сведения врагу получить удалось.

Авиаразведка засекала передвижение к переднему краю противника нескольких крупных колонн мотолехоты, танков, грузовиков с пушками на прицепе. Стало быть, оборона фашистов усиливалась свежими частями. Откуда они пришли, с какой целью, чем вооружены, как укомплектованы личным составом? Эти вопросы интересовали нашего комдива генерал-майора Боброва.

Однажды пришел он к разведчикам, затеял неспешный разговор о положении на нашем участке фронта.

— Некачественных языков, сынки, добываете, — сказал как бы между прочим, — рядовых таскаете да ефрейторов. Ну что они могут знать? Номер своей части да фамилию командира роты. Мало этого сейчас. Нужен мне офицер, желательнее штабной или, на худой конец, писарь из штаба.

Мы переглянулись. Действительно, в последнее время разведчики брали языков из боевого охранения противника или с первой линии обороны.

— Если надо, товарищ генерал, возьмем и штабного, — твердо заверил командира дивизии один из нас.

— Спасибо за обещание. Подойдите к начальнику штаба, у него есть кое-какие сведения.

Оказывается, авиаторы обнаружили возле одного из хуторов в десяти километрах за линией фронта скопление спецмашин. Наверно, там располагается вражеский штаб. А чтобы уточнить, так ли это, послали на хутор группу.

Старшим впервые назначили меня. Волновался, конечно. Задание выпало нам ответственное да идти далеко.

Без приключений перебрались через линию фронта. Нашли лесную дорогу, по которой дошли до хутора. Там нам удалось взять в плен немецкого майора — начальника оперативного отдела дивизии, переброшенной за несколько дней до этого на наш участок фронта из Югославии.

Не обошлось, однако, без заминки. Сопровождал майора по темной улице, как впоследствии выяснилось, его денщик с фонариком в руке. Мы и не думали нападать на них — брать языка решили после того как выясним расположение и порядок охраны штаба. Но денщик поскользнулся, пятно света на мгновение переместилось с земли на спину идущего впереди немца, и мы увидели, как блеснул на его кожаном плаще ви- той погон. Поняли: более удобного случая взять офицера может и не быть.

Майор оказал отчаянное сопротивление. Долго барахтались мы вчетвером на тихой сельской улице. Когда наконец офицера связали, оказалось, что второй немец под шумок улизнул. Нам стало не по себе. Через несколько минут здесь будут враги. Уходить в лес? А если по следам пустят собак? Приказал Яблоневскому спросить у майора, в какую хату они шли. Тот мотнул головой в сторону одного из домов. Решил отсидеться там. Расчет оказался верным. Фашисты прочесали вдоль и поперек весь хутор, устроили обыски во всех домах, а в тот, где встал на постой важный чин из штаба дивизии, заглянуть не догадались.



Примерно через час, когда шум и беготня вокруг стихли, мы, соблюдая все меры осторожности, покинули хату. Но напрямик к линии фронта не пошли — близилось утро, добраться в темноте до своих мы не успели бы. Я повел группу строго на запад. Почему поступил так, а не иначе, догадаться нетрудно. Взбешенные похищением начопера дивизии, гитлеровцы сделали все, чтобы перехватить группу на пути к своей передовой. Взятый через неделю пленный рассказал о чрезвычайных мерах по охране всех подступов к переднему краю. А в это время наша разведгруппа отдыхала после броска в глухом овраге километрах в пяти западнее хутора. Следы свои мы посыпали табаком — собаки наш след не взяли. Весь последующий день мы вели наблюдение на дороге, подсчитывая, сколько боевой техники, живой силы противника прошло к линии фронта.

Назад двинулись, как только стемнело. Нейтралку преодолели без шума.

На первом же допросе офицер дал такие важные показания, что гвардии майор Зима сразу заторопился на доклад к генерал-майору Боброву. Фашистский майор наизусть помнил дислокацию частей своей дивизии.

Все разведчики, принимавшие участие в том поиске, были награждены орденом Славы 2-й степени.

Приходилось слышать разговоры, что на хуторе нам просто повезло. На первый взгляд так оно и есть: гитлеровский майор подвернулся случайно. Ни мы не ожидали такой встречи, ни он. Но, с другой стороны, нам приказали взять штабного офицера, и мы этот приказ выполнили. Если б не подвернулся майор, захватили бы другого. К своему «везению» разведчики шли трудным, опасным путем: через линию фронта, по тылам противника, где каждое неосторожное движение могло привести к срыву задания. От самообладания и выдержки зависело все. Нам удалось незамеченными пробраться на хутор, где находился штаб фашистской дивизии, а это непростое дело: через каждую сотню метров парные патрули, все удобные подходы перекрыты секретами, сторожевыми постами. И самое главное — группа сумела без потерь выбраться из кутерьмы, которая поднялась на хуторе. Но здесь я видел свою промашку. Увлечись борьбой с офицером, мы позабыли о втором немце. Это чуть было не привело к плачевным результатам. На волоске висели и задание, которое поручил нам командир дивизии, и наши жизни.

Тот поиск был последним перед началом Яско-Кишиневской операции. 20 августа 1944 года утреннюю тишину нарушили громовые залпы тысяч орудий. Небосвод прочертили огненные стрелы «катюш». Полки дивизий перешли в наступление. Мы были горды тем, что добытые нами сведения помогли командованию подготовить неотразимый удар по вражеской обороне.

Как только началось наступление, разведчики, используя промежутки в боевых порядках противника, прорывались в его тыл, на возможные пути отхода врага, подмечали, не вводит ли он свежие силы. Мы были на своем месте — впереди атакующих рот, помогали гвардейцам теснить и уничтожать фашистов.

...Наша разведгруппа находилась на одном из танков. Мы сидели на броне, укрывшись за башней. Никогда не завидовал пехоте, а здесь тем более. Тяжелую машину швыряло на ухабах, как лодку в шторм, свистели осколки от рваных неподалеку мин. Горло было забито пылью и гарью. Подумал: хватит и легкого ранения, чтобы выпустить из рук скобу на башне и свалиться с танка...

Танкисты получили приказ выйти на рубеж в десяти километрах восточнее населенного пункта Пятра-Нямц. Разведгруппе, которую мне было поручено возглавить, командир роты поставил задачу вскрыть оборону противника на южной окраине этого румынского города, выйти на дорогу, связывающую Пятра-Нямц с Тыргу-Нямцем, и установить, подходит ли по ней к противнику подкрепление.

Наконец танки веером разошлись по высоте, нацеливая острие атаки против гитлеровцев, занимавших оборону на опушке букового леса. Мы спрыгнули с машины, прошлись, разминая онемевшие ноги. Оглядел ребят. Гвардии сержанты Ревин, Матросов, гвардии рядовой Яблоневский. Испытанные во многих боях, отважные бойцы. И на душе стало сразу спокойно. Ничего, что группе предстояло долго действовать в отрыве от своих. Нам, разведчикам, командование доверило выполнение важного задания. И это придавало сил.

С группой был радист — гвардии сержант Петр Авраменко, прикомандированный к нам из роты связи. Он не раз ходил с разведчиками в поиски. Обладая огромной фи-

зической силой, Петр сам носил и радиостанцию и запасные батареи питания к ней. Надо сказать, что груз этот был немалым.

Простившись с танкистами, мы отправились в путь.

Предгорья Восточных Карпат — край сумрачных лесов, солнечных долин, быстрых горных рек. Перед нами открывались узкие полоски садов на холмах, веселые белые домики хуторов по долинам, мельницы у плотин.

С вершины одного из холмов мы разглядели белые строения, уступами спускавшиеся вниз, к реке. Сверили местность с топографической картой. Сомнений не было — мы у цели. Поручил Матросову и Яблоневскому осмотреть рубеж, на котором мы находились, а сам с Ревиным и радистом отправился поближе к городу. Встречу назначил через четыре часа у родника среди гранитных валунов, оплетенных колючим кустарником.

Вести разведку населенных пунктов, занятых противником, нелегко. Ближе к городу днем не подойдешь, ночью тоже. Пришлось нам подыскать место, с которого лучше всего просматривались окраины Пятра-Нямца, и вести наблюдение с помощью бинокля.

Судя по всему, противник не ожидал столь быстрого продвижения советских войск. Инженерные работы только начались, в садах гитлеровцы рыли окопы, улицы перекрывали баррикадами из мешков с песком и валунов. Подвалы зданий приспособили к обороне. Значит, им стало известно о появлении вблизи города советских танков. Об этом мы предупредили командование дивизии по радио. Впоследствии узнали, что танкисты, получив наше сообщение, нанесли удар по северной окраине Пятра-Нямца, где противотанковая оборона была слабее.

Четыре часа пролетели незаметно. Вернувшись к роднику, мы узнали хорошее известие: гвардии сержант Матросов и гвардии рядовой Яблоневский сумели не только произвести тщательную разведку нескольких участков оборонительной линии вокруг города, но и взяли на редкость разговорчивого языка. Им оказался унтер-офицер, старший команды по конфискации «излишков» фуража у румынских крестьян. Команда ждала своего начальника в городе, а он решил навестить свою знакомую на одном из хуторов. Поехал на мотоцикле один и попал в руки разведчиков.

Во время допроса унтер-офицер сообщил, что оборона Пятра-Нямца, по всей вероятности, не будет упорной. Уже получен приказ об эвакуации тыловых подразделений из города. В задачу войск, обороняющих подступы к нему, входит лишь задерживать русских, дав тем самым возможность организованно отойти основным силам.

— А вот дальше вас будут ожидать неприятности.— заявил унтер.

От друзей он слышал, что западнее Пятра-Нямца длительное время создается мощная линия обороны. Местность там позволяет надолго остановить наступление. На командных высотах построены укрепрайоны, перекрывающие немногочисленные горные дороги.

Это известие нас особенно заинтересовало. Выходило, что главные испытания ждут дивизию впереди. Так оно впоследствии и оказалось. Сравнительно легко взяв Пятра-Нямц, наше соединение вскоре встретило сильную оборону противника и на несколько дней вынуждено было прекратить активные действия. Но все это произошло через неделю после описанных выше событий. А тогда мы тщательно допросили пленного, передали командованию дивизии закодированное подробное сообщение о результатах поиска в окрестностях Пятра-Нямца и отправились в путь. Мы торопились приступить к выполнению второй части задания — выяснить, не подтягивают ли свои резервы гитлеровцы на помощь частям, которые отступали под натиском советских войск.

По дороге встретили танковую колонну противника численностью до батальона. Шла она от линии фронта — еще одно подтверждение тому, что наши сведения об организованном отступлении врага были верными. Некоторые танки тянули за собой на буксире тягачи. Значит, батальон совсем недавно побывал в бою. Об этом сообщил гвардии сержант Авраменко в штаб дивизии, как и о появлении кавалерийской части венгерских войск. Жалкий вид был у этих союзников Гитлера. Лошади отошали, солдаты сидели в седлах кое-как. Лица запыленные, злые. Видимо, не очень-то нравилось им теперь выполнять роль пешек в кровавой игре.

К вечеру добрались до участка шоссе, где нам было приказано организовать наблюдательный пункт. Здесь мы впервые встретились с группой румынских крестьян, которые заготавливали в лесу дрова. Увидев военных, они вначале бросились

врассыпную, но, различив звездочки на пилотках, остановились. Знали они с десяток русских слов, мы столько же румынских, но это не помешало нам быстро понять друг друга. «Война плохо, Русь хорошо! Антонеску капут!» — говорили крестьяне, улыбаясь нам. Мы спросили, не видели ли они здесь немцев. Румыны как могли объяснили, что по дороге немцы идут и едут, а в лесу их нет. Расстались по-дружески. Мы подарили румынам флягу русской водки, а они в ответ две головки брынзы.

Место для НП выбрали самое подходящее: за кучей камней на высоте, с которой отчетливо просматривался перекресток дорог — условный ориентир, назначенный начальником разведки дивизии, когда он ставил нам задачу. Стали считать, сколько единиц боевой и транспортной техники идет к линии фронта и обратно, какое количество вражеских солдат проходит перекресток, куда они направляются.

Этой «арифметикой» мы занимались, пока совсем не стемнело. Поспали часа четыре, а затем отправились за очередным пленным — требовалось определить, нет ли в полосе наступления нашей дивизии новых частей. Языка взяли способом, известным еще со времен войны 1812 года. В воспоминаниях Дениса Давыдова есть рассказ о том, как партизаны заранее подпиливали одно-два дерева и обрушивали их на дорогу перед проезжавшими на подводах французами. И мы так сделали. Только пилы у нас не было — к стволу дерева привязали тротильную шашку. Прием этот мы применяли не раз. Взрывом перебивало ствол, и дерево с грохотом падало на проезжую часть дороги.

Ждать долго не пришлось. Возле упавшего бука приостановился, пытаясь его объехать, вражеский мотоциклист. Через полминуты мы связали ефрейтора и утащили в лес.

Язык знал немного, но и из его показаний нам стало ясно, что новых частей перед фронтом наступления дивизии нет. А старые наши «знакомые» поспешно отходят, прикрываясь арьергардами на промежуточных рубежах. К одному из таких рубежей и спешил мотоциклист, чтобы на словах передать приказ командира переместиться на следующую оборонительную линию. Спешил, да не доехал.

Утром мы услышали звуки близкой перестрелки. Послал Яблоневского узнать, в чем дело. Оказывается, неподалеку наши бойцы теснили фашистов, отступавших к дороге. Ну как было не помочь однополчанам! Заняли мы огневую позицию, с которой цепь гитлеровцев просматривалась особенно отчетливо, и, выждав удобный момент, почти в упор ударили из автоматов.

Многих недосчитались враги после того утреннего боя. А командир стрелковой роты, высокий светловолосый лейтенант с пышными, как у запорожца, усами, разобравшись, кто ему помог так «причесать» фашистов, крепко пожал всем нам руки.

Вспоминая те далекие дни, не могу не отметить высокое боевое мастерство моих товарищей. Инициатива, смелость, решительность, военная хитрость — такие необходимые каждому разведчику качества отличали их. Благодаря этому мы одерживали верх над сильным, коварным врагом, своевременно разгадывали его замыслы, оперативно снабжали командование дивизии достоверной информацией. Не зря так ценил своих сынков генерал-майор Бобров. Комдив не раз подчеркивал, что без разведчиков он не сумел бы сделать и половины задуманного. А мы старались оправдать эту высокую оценку новыми успехами в ратном деле, столь необходимым для победы.

25 октября мы перешли румыно-венгерскую границу, а в первых числах ноября 1944 года достигли Тисы — второй по величине, после Дуная, реки Юго-Восточной Европы. Это был бой, продолжавшийся десять дней подряд. Части дивизии безостановочно шли вперед, сбивая заслоны противника, обходя узлы сопротивления. Мы без колебаний оставляли в своем тылу вражеские гарнизоны — их блокировали и уничтожали войска второго эшелона.

Сутками без отдыха были на ногах и разведчики. Командир дивизии гвардии генерал-майор С. П. Тимошков, месяц назад сменивший убитого осколком мины гвардии генерал-майора Боброва, требовал свежих языков. В то время мне пришлось заменить раненого командира разведзвезда, поэтому не раз слышал, как выговаривал комдив гвардии майору Зиме, если очередной пленный не располагал необходимыми сведениями.

Полки вышли к полноводной Тисе, но с ходу преодолеть эту серьезную водную преграду не смогли. Сказывалась усталость личного состава после непрерывных многодневных боев. Осенняя распутица мешала вовремя подвозить боеприпасы и горючее, сковывала маневр войск.

И снова послали вперед разведку. В поиск на правый берег Тисы собрался взвод гвардии лейтенанта Максимова. Мы помогли бойцам подготовить снаряжение, проверили надувные лодки — на них разведчикам предстояло переправиться через реку. С тревогой вглядывались в измученные лица боевых друзей. Хотя бы ночь поспать, и вдвое легче будет им там, в тылу врага. Но об этом приходилось только мечтать.

Взвод ушел в ночь. Мы, выбрав место посуше, улеглись вповалку на плащ-палатках. Но спать вдруг расхотелось. С тревогой прислушивались к тишине, ставшей такой зыбкой, неустойчивой. И вдруг в том месте, где намечалась переправа, к низким тучам взлетели десятки осветительных ракет. Застучал один пулемет, второй, третий. Заухали минометы. Как мы узнали через несколько часов, лодки противник обнаружил на середине реки. Потеряв убитыми и ранеными половину личного состава, первый взвод ни с чем вернулся назад.

— Следующей ночью ваша очередь, — сказал мне гвардии майор Зима, — но задача у вас будет посложнее...

Действительно, дело нам предстояло непростое. Взять контрольного пленного перед наступлением — это само собой. Главное — постараться захватить плацдарм и обеспечить переправу роты автоматчиков, которая должна будет держаться до форсирования реки основными силами передового отряда стрелкового полка.

Гвардии майор Зима сообщил, что в случае удачи комдив обещал всех представить к наградам.

В тот раз мы особенно тщательно выбирали объект поиска. Решили, что целесообразнее всего взять языка из расчета зенитного орудия, которое находилось примерно в полукилометре от берега. Почему не подыскали ничего ближе? Рассудили, что, если придется открыть стрельбу, это непременно вызовет панику у фашистов. Откуда им знать, сколько нас у второго оборонительного рубежа. Пошумим больше — сойдем за роту или батальон. Главное, гранат и патронов взять с собой побольше.

Нам придали радиста, чтобы могли сообщить о том, как идут дела на правом берегу. Если взводу удастся захватить плацдарм, мы должны дать об этом сигнал. Жаль, не запомнил фамилию невысокого серьезного паренька из роты связи, который пошел с нами в поиск. В ночном бою он дрался по-гвардейски — умело и бесстрашно.

Ребята из взвода конной разведки сходили на подвижной склад инженерного имущества за резиновыми лодками. Видно было, как переживали за нас товарищи, которые оставались на этой стороне. Ратный труд не просто сближает в недавнем прошлом незнакомых друг другу людей. Он роднит их, сплачивает в дружную боевую семью. Вот и тем вечером перед решающим броском через Тису товарищи старались ободрить нас незамысловатой шуткой, кто-то протягивал флягу со спиртом (вдруг выпадет искупаться, ведь лед). Бывалые разведчики разясняли молодым, как без всплесков грести на сильном течении, как уберечься в ночном бою от шальной пули...

На войне лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих собственных. Мы тщательно разобрались, отчего не удался первый поиск, и пришли к выводу: плыть надо плотной группой — меньше опасность быть обнаруженными, пока горит факел ракеты. Переправляться решили в том же месте. Расчет здесь простой: не ожидают от нас фашисты такой дерзости. Наверняка будут вести более пристальное наблюдение выше или ниже по течению, а не здесь, у разбитой взрывом сосны.

На наше счастье, вечером пошел сначала дождь, потом снег. Все окрест затянуло белесой мглой. Враг, конечно, отреагировал на такой погодный сюрприз по-своему: количество осветительных постов увеличил вдвое. Методично, через две-три минуты, взлетали ракеты, выхватывая из темноты черную гладь воды, кусты раки, облепленные снегом. Время от времени открывал огонь пулемет.

Когда под днищем нашей резиновой лодки зашуршал песок, мы сразу же выскочили на берег и развернулись в цепь, чтобы сподручнее было атаковать фашистов, если они находились здесь. Но правый берег Тисы встретил нас тишиной. Матросов прокричал два раза филином — на этот звук пришли остальные лодки. И вот под самым носом ничего не подозревавшего противника оказались 25 бойцов. У каждого по три сотни патронов, по 20 ручных гранат. С таким боезапасом жить можно. Веером рассыпались по мокрому песку. В пятидесяти метрах от уреза воды обнаружили пустые окопы. Из них еще не выветрился специфический противный запах гитлеровцев. Все они ежедневно посыпали себя каким-то зловонным порошком от вшей. Он-то и смердил так, что тошно было.

Пустые окопы у берега реки нас озадачили. Ведь еще вчера немцы не пропустили разведгруппу дальше середины Тисы. Нет ли здесь какого-нибудь подвоха? Позднее выяснилось: оголили этот участок фронта фашисты не от хорошей жизни. Пленный потом рассказал, что за два часа до начала поиска командир пехотного полка снял отсюда роту и перевел ее на правый фланг — туда, где фашистские разведчики обнаружили на нашем берегу скопление машин с понтонами. Вот и посчитало немецкое командование важным усилить тот участок обороны. Подумали — не захотим мы второй раз соваться здесь под их пулеметы.

Метрах в ста от зенитки остановил взвод, шепотом приказал бойцам рассредоточиться фронтом в сторону ближайшей позиции противника. Вдруг, когда мы будем хозяйничать у орудия, кто-то из немцев решит прийти расчёту на помощь. С собой взял самых опытных: гвардии сержанта Матросова и Ревина, гвардии рядовых Яблоневского и Низельникова. Подобрались к позиции, соблюдая все меры предосторожности, но зенитчики все-таки всполошились. Один из них, направляясь куда-то, случайно наткнулся на Ревина. Пришлось скомандовать «огонь!»...

Быстро осмотрели позицию и обнаружили за орудием трясущегося от страха немца. Увидев нас, он поднял руки, стал что-то истерично кричать.

— Просит не убивать, говорит, трое детей у него, — быстро перевел Яков Яблоневский.

— Он пленный, никто его убивать не собирается, — попросил перевести я и приказал одному из разведчиков зарядить зенитную пушку.

Нырнул в казенник первый снаряд из обоймы, щелкнул затвор. Ревин, вращая рукоятки подъемного и поворотного механизмов, навел ствол в сторону высоты. На ней мы еще вчера разглядели опорный пункт противника. А я надавил на педаль ножного спуска... Очередь из пяти выстрелов прогремела так звонко, что у всех заложило уши. Цепочка трассеров пронеслась над полем и погасла на высоте. Эхом донеслись оттуда звуки разрывов. На некоторое время даже огонь стих: немцы, видимо, растерялись от неожиданности (в тылу — советская артиллерия?!)..

Мы поспешили к левому флангу плацдарма. Во вражеские окопы полетели десятки гранат, разведчики дружно закричали «ура».

Паника на войне — страшная вещь. Наверное, показалось немцам, что наступает на них не меньше батальона. Они выскакивали из окопов под очереди своих же пулеметов с высоты, где находился командно-наблюдательный пункт немецкого полка. А с тыла из-за укрытий били из автоматов мы...

Через полчаса мы передали в эфир короткое сообщение о том, что плацдарм захвачен. Из штаба дивизии сообщили: начинается форсирование, необходимо как-то отвлечь противника от реки. Как это сделать? Мы решили отвлечь внимание фашистов на себя. Оставил я легко раненного гвардии сержанта Курбатова с пленным, приказал ему встречать наших, а сам повел поредевший уже взвод в еще одну атаку — на высоту, по которой мы совсем недавно били из трофейной зенитки. На этот раз немцы ответили плотным огнем. Чувствовалось, от испуга они отходят, их оборона стала организованнее. Один из взводов, выбитых нами из окопов, сделал попытку контратаковать. Плохо бы пришлось разведчикам, если б радист не вызвал огонь минометов, выделенных для нашей поддержки. Батарея еще вчера днем пристрелялась по всем отчетливо видимым ориентирам, поэтому первые же залпы плотно накрыли вражескую цепь. Немцы залегли.

Между тем наступило утро. Небо за спиной светлело, гасли звезды, плотный ветер разогнал тучи. Что предпринять? Пройдет еще немного времени — и фашисты разберутся, что против них всего взвод — 19 человек. Трое погибли в ночном бою, двоих тяжело ранило, Курбатов ждал наших на берегу. С такими силами нам не продержаться и часа. Решил запросить штаб. Ответили: держаться несмотря ни на что, помощь на подходе.

Фашисты пошли в атаку. Мы подпустили их поближе, ударили из двух захваченных в ночной суматохе пулеметов. Немцы залегли и стали что-то орать.

— Кричат: не стреляйте, мы, мол, свои, — сказал мне Яблоневский.

— А ты крикни в ответ, что ошибка вышла, извиняемся, мол, — посоветовал я нашему переводчику.

«Переговоры» заняли минут десять. Потом фашисты встали и пошли к занятым нами окопам. Вот тут-то мы и встретили их автоматным и пулеметным огнем.

Завязался, пожалуй, самый мой трудный за всю войну бой. Отбили мы атаку, вторую. Заметили, что немцы стали обходить нас с правого фланга. В предрассветных сумерках было отчетливо видно, как перебежали они от укрытия к укрытию, накапливаясь в ложине для удара в тыл. И в этот момент со стороны реки грянуло родное грозное «ура». Рота автоматчиков, достигнув берега на плотках, с ходу атаковала фашистов.

Вскоре бойцы уже деловито занимали окопы. По занятым нами позициям стала пристреливаться вражеская артиллерия. Но и наши артиллеристы не дремали. Где-то за Тисой раздались залпы, над головами прошелестели тяжелые снаряды, разорвались в тылу противника. Еще и еще ударили дивизионы, и вражеский огонь поутих.

— Командир! Смотри — идут! — крикнул вдруг Низельников.

Нас атаковали примерно две пехотные роты. Атаку отразили с большими для врага потерями. Во второй раз цепь была реже, но впереди нее шли, тяжело покачиваясь на ухабах, три тяжелых танка. Чем их остановить? Ни у нас, ни у автоматчиков не было противотанковых средств.

— Эх, бутылочки бы сюда «кто смелый!» — мечтательно протянул один из автоматчиков.

Вспомнил, видимо, сорок первый год и знаменитые бутылки с зажигательной смесью «КС». Их-то и называли старые бойцы «кто смелый» — точно метнуть ее с близкого расстояния на крышу моторного отделения вражеского танка мог человек не из робкого десятка.

Но обошлось без бутылок и ПТРов. Танки, конечно же, заметили и на левом берегу. Командир переправлявшегося в первой лодке стрелкового полка дал команду, и артиллеристы выкатили пушки на прямую наводку. Двух «тигров» они подожгли, а последний уполз восвояси.

Под прикрытием нашего огня через Тису переправился сначала батальон, а потом и весь полк. Когда мы подплывали к левому берегу на своих «резинках», саперы уже приступили к сборке понтонного моста. Вскоре на плацдарм были переброшены танки. 42-я гвардейская пошла вперед.

Генерал-майор С. П. Тимошков выполнил обещание. Все разведчики нашего взвода были представлены к орденам. Мне о событиях на Тисе напоминает орден Отечественной войны 1-й степени.

Памятны мне бои и в Словакии. Как мы поняли из задач, поставленных разведгруппам накануне нового наступления, нашей 42-й гвардейской стрелковой дивизии предстояло участвовать в освобождении города Банска-Бистрица. Расположен он на правом берегу реки Грон, километрах в тридцати от Зволена. Из показаний пленного нам было известно, что единственный в тех краях мост заминирован. Но его надо было захватить — мост решал все проблемы с переправой частей на противоположный берег Грона.

Наш взвод получил приказ: после того как левофланговый полк дивизии выйдет к реке, переправиться через нее, обойти узел сопротивления фашистов, прикрывающий северо-восточную окраину Банска-Бистрицы, и нанести внезапный удар по охране моста.

Приданные нам саперы разминируют его. Сигнал о том, что мост в наших руках, — серия красных ракет в сторону города.

На задание пошли в ночь на 25 марта. События развивались точно по разработанному плану. Правда, не обошлось и без неожиданностей. Один разведчик был ранен во время переправы, другой — едва мы высадились на правый берег. Пришлось оставить их под охраной одного из бойцов возле реки.

Пулеметный огонь становился все плотнее, а укрыться от него было негде — между местом высадки и мостом лежали луга. Слева от нас темнел лес. В него-то мы и устремились короткими перебежками. Лес — густой, темный — укрыл нас от пулеметных очередей.

По дороге, к которой мы вышли, одна за другой мчались машины. Видимо, фашисты перебрасывали из города Мартина, расположенного в тылу, подкрепления.

Пересекли шоссе, пошли по левому кювету к мосту...

Гитлеровское командование не без оснований считало город Банска-Бистрицу ключевым узлом сопротивления в северо-западной части Словакии. С востока город при-

крывали три оборонительных пояса. Дороги, идущие к нему, обстреливались из дзотов. Но, готовясь к налету, мы знали, что южнее и северо-восточнее города соединения 40-й армии уже захватили плацдарм на правом берегу Грона и вот-вот должны были окружить город. А наша дивизия наносила удар фронтально. От того, как мы выполним задачу по захвату моста, зависело многое.

Метрах в двухстах от реки мы неожиданно столкнулись с группой гитлеровцев, которые шли к городу. Что главное в ночном бою? Быстрота и натиск, мощный огонь. Пусть думает противник, что перевес сил не на его стороне — у страха глаза велики. Опрокинули мы тех фашистов, добежали до моста, готовые вступить в рукопашную с охраной, но... обнаружили в окопах только брошенный пулемет. Перетрусил немцы, услышав в своем тылу стрельбу, и удрали. Саперы же сразу приступили к разминированию. Подсвечивая фонариками, они тщательно обследовали фермы, настил, нашли и перерезали провода, которые вели к ящикам со взрывчаткой. А мы дали условный сигнал ракетами и, разделившись на две группы, легли в оборону по обеим сторонам моста.

Через полчаса на правый берег Грона непрерывным потоком пошли стрелковые и танковые подразделения.

Утром 24 марта 1945 года полки дивизии достигли окраин города Банска-Бистрица. Начались упорные бои за каждый квартал.

С 13 апреля и до конца войны наша 42-я гвардейская стрелковая дивизия вела боевые действия в составе 53-й армии. В ее рядах мы участвовали во взятии города Годонин, расположенного на правом берегу реки Морава, притока Дуная. Запомнилась мне та победа тем, как жители Годонина встретили советские войска звоном колоколов. В грузовик, в котором ехал наш взвод, летели букеты подснежников. Люди улыбались нам, размахивали красными флажками, отовсюду гремело: «Слава Красной Армии!»

Темп наступления был высоким. Войска безостановочно шли днем и ночью, зачастую смело вступая в бои с превосходящими силами противника. Мораву дивизия преодолела в темное время суток, не дав противнику как следует закрепиться на ее правом высоком берегу. Хочу отметить, что удобное для переправы место нашли мы, разведчики.

Со второй половины апреля все чаще в приказах, отдававшихся комдивом, и в разговорах между бойцами звучало короткое слово — Брно. Каждый из нас знал: взятие этого крупного города открывало путь на Прагу.

Штурм Брно — славная веха в боевой летописи нашей дивизии. После того как советские войска форсировали Мораву, немецкое командование создало вокруг Брно несколько оборонительных рубежей. Особенно мощные укрепления были возведены на берегах Свитавы. Из показаний пленных нам было известно, что обороняют город эсэсовские части. Много было здесь у врага танков, артиллерии, в том числе и крупных калибров.

Откуда у командования появились такие данные? Часть важных сведений добыли бойцы 44-й отдельной разведроты. Разведывательные группы побывали в юго-восточных предместьях Брно, взяли нескольких языков.

Во время одной вылазки мы встретились с разведчиками партизанского отряда «Мститель», который действовал неподалеку от Брно. Партизаны попросили провести их в расположение советских войск. Зачем — не сказали. Впоследствии оказалось, что передали они командиру дивизии карту с нанесенной на ней дислокацией вражеских частей, занимавших оборону южнее и юго-восточнее города.

Последний поиск перед штурмом этого крупнейшего административного и промышленного центра Чехословакии начался в ночь с 22 на 23 апреля. Гвардии майор Зима приказал разведгруппе, возглавить которую поручил мне, взять контрольного пленного из опорного пункта, прикрывавшего участок железнодорожной магистрали Брно—Вена. Запомнился нам тот поиск и тем, что вместо одного языка мы привели сразу пять. А дело было так.

Достигнув траншеи боевого охранения, мы увидели, что в ней никого нет. Даже растерялись вначале — еще вечером, ведя наблюдение с НП полка, видели здесь гитлеровцев. Поворачивать назад? Решили попробовать взять пленного на первом оборонительном рубеже. Ползком и короткими перебежками преодолели триста метров, от-

делявших нас от вражеских окопов. Неподалеку от них в неглубокой ложине перевели дух, прислушались. На передовой тихо. Ни выстрела, ни осветительной ракеты. Впечатление было такое, что попали мы в сонное царство. Подкрались к окопу, прыгнули в него. Гвардии рядовой Николай Низельников с двумя разведчиками сразу же занял оборону, блокируя возможный подход немцев слева, а мы с гвардии сержантом Ревиным пошли вправо, туда, где еще вечером заметили блиндаж. По пути обнаружили пулемет без прислуги. Было чему удивляться! Обычно немцы ни на миг не отходили от оружия. Вот и вход в блиндаж. Осторожно приоткрыл дверь: двое сидели у стола, в свете свечи лица их выглядели утомленными, угрюмыми. Четверо спали на нарах. Год назад я бы не раздумывая швырнул в блиндаж гранату и потом уже стал искать среди уцелевших фашистов языка. Но сейчас, в апреле 1945 года, делать этого не стал. Открыл дверь пошире и, держа автомат наизготовку, шагнул в круг света. Следом вошел Ревин.

Увидев нас, оба немца как по команде встали и подняли руки. Странное дело, они даже не испугались. Наоборот, тот, кто был постарше, несмело улыбнулся...

Утром следующего дня мы разглядели, что троим пленным было далеко за шестьдесят, а троим не исполнилось и шестнадцати. Вот кого бросал Гитлер в бой, пытаясь остановить наступление советских войск в Чехословакии.

23 апреля в 10 часов 30 минут воздух сотрясли залпы артиллерии. Вперед пошли танки и пехота. Оборона на переднем крае противника была смята. Наш разведвзвод помогал пехоте выкуривать гитлеровцев из рабочих кварталов Брно на его южной окраине. Рядом с нами дрались чехословацкие партизаны, примкнувшие за день до этого к штурмовой группе. Были они храбрыми, умелыми бойцами. Многие из партизан до войны жили здесь, работали на брновских фабриках и заводах. Отлично зная все проходные дворы, они выводили нас во фланги и в тыл вражеских опорных пунктов, помогали ориентироваться в лабиринте узких улиц. Вскоре город был очищен от врага, и вновь столица нашей родины салютовала войскам 2-го Украинского фронта, одержавшим блистательную победу.

В Брно части 42-й гвардейской стрелковой дивизии пробыли ровно день. 28 апреля колонна грузовиков с пехотой устремилась по шоссе на северо-восток. Впереди нее на мотоциклах и трофейном бронетранспортере двигался разведывательный дозор — второй взвод нашей роты. Лица приятно обдувал теплый весенний ветерок. Настроение у всех было приподнятое.

Путь наш лежал к тому месту, где сто сорок лет назад произошло знаменитое Аустерлицкое сражение.

Неподалеку от памятника русским воинам, павшим в Аустерлицкой битве, находился небольшой музей, его экспонаты рассказывали о событиях 1805 года. Фашисты оборудовали в домике артиллерийский наблюдательный пункт. Видимо, рассчитывали на то, что по святыне ратного мужества русского народа наши войска огонь открывать не станут. Правильно, конечно, рассчитывали, да не все учли. Разведчики из 42-й стрелковой дивизии среди бела дня пробрались в тыл противника, выбили гитлеровцев из музея и обороняли его до подхода наших войск.

Пражская наступательная операция началась для 42-й дивизии 8 мая — за день до победы. Противник отчаянно защищался. Наша дивизия в составе других соединений 53-й армии совершила марш из-под Брно под Прагу. Надо было отрезать врагу отход в западном направлении, помочь чехословацким патриотам, поднявшим в Праге восстание против оккупантов.

Много лет спустя люди будут петь: «Последний бой — он трудный самый...» Уверен: если бы воины знали, что ведут свой последний бой, он действительно показался бы самым трудным за всю войну. Но знать этого мы не могли, и последний наш бой ничем не отличался от предыдущих. 8 мая где-то около полудня второй взвод нашей разведки пресек попытку противника прорваться на запад. Бойцы действовали, как всегда, умело и мужественно. Никто не думал о том, что может оказаться последним убитым в роте. Мы метким огнем сдерживали натиск эсэсовцев, которым, по всей видимости, терять было нечего. Боясь справедливого возмездия, фашисты намеревались укрыться от нас под крылышком американцев. Не вышло. Остановили гитлеровцев, а затем контратаковали, рассеяли на мелкие группы и уничтожили.

Вечером 9 мая бойцы нашей разведроты, салютая долгожданной победе, разрядили в воздух автоматы. А 12 мая мне посчастливилось наблюдать, как капитулировали последние части группы армий «Центр». Несколько разведчиков на грузовике с душ-



кой на прицепе прибыли в район населенного пункта Костелец, где находился штаб эсэсовской дивизии. Заняв на всякий случай оборону у перекрестка дорог, неподалеку от окраины города, мы стали ждать. Часа через два увидели колонну немцев, направлявшуюся к нам из Костелеца. По шесть в ряд шли те, кто долгие четыре года был злейшими нашими врагами. Шли хмурые, небритые, в расстегнутых мундирах, без оружия.

Целый день мы направляли колонны к местам расположения лагерей пленных. Все порядочно устали. Да и надоело смотреть на фашистов. Мысли были уже о другом. О мирной жизни после такой тяжелой войны, о тех, кто ждал нашего возвращения на родину. А мимо нас, поднимая тучи пыли, тянулись «завоеватели» Европы. В нагретом воздухе полоскались белые простыни, укрепленные на палках, в кюветах лежали горы оружия...

Разведчики неторопливо обживали новое место. Рыли просторные землянки, обшивали их тесом. Когда меня вызвали в штаб дивизии, мы с гвардии старшим сержантом Ревиным как раз делали заготовки из досок. Отряхнул свежие опилки с гимнастерки, почистил сапоги и отправился знакомой тропой между соснами-великанами.

— Вам, товарищ Перегудин, оказана высокая честь, — сказал начальник штаба, когда я вошел в его палатку и представился. — На Параде Победы, который состоится в Москве, вы понесете боевое знамя нашей дивизии.

На Парад Победы от дивизии ехали семь человек — представители всех полков и бригад. А старшим среди нас комдив назначил Героя Советского Союза гвардии майора Ивана Павловича Зиму — нашего «главного разведчика». На сборы дали всего вечер.

Утром следующего дня части дивизии были построены для торжественных проводов нашего боевого знамени на Парад Победы. Под праздничные звуки оркестра знамя вынесли на середину строя и вручили мне. Командир дивизии обратился к войнам с речью. Он напомнил о боевом пути соединения, подчеркнул, что гвардейский стяг звал воинов на подвиги во имя родины. И в Москве на Красной площади боевое знамя дивизии будет олицетворять собой героизм, могучую силу победившего советского народа.

Слушал эти проникновенные слова, и перед глазами вставали картины сражений, в которых участвовал, мои друзья, не дожившие до этого счастливого дня. Не только тех, кто стоял в шеренгах здесь, на лесной поляне, под Прагой, доверили нам представлять на Параде, но и павших в боях за родину.

Перед отъездом гвардии майор Зима принял под расписку объемистый тюк. В нем находились штандарты и знамена разбитых нашей дивизией фашистских частей. Закончили они свое бесславное существование на брусчатке Красной площади перед Мавзолеем В. И. Ленина.

Позади длинная дорога. Поезд прибывает на Киевский вокзал столицы. Раздается команда: «Выходи строиться!» — и вторая: «Расчехлить знамена!» Упругий ветер расправил тяжелый шелк полотнищ, подхватил гвардейские и орденские ленты. Оркестр заиграл марш, и колонна 2-го Украинского фронта двинулась по Большой Дорогомиловской, Арбату, бульварам... Было часов шесть утра, но на московских улицах мы увидели массу людей. Когда поворачивали на улицу Кирова, колонна внезапно остановилась, хотя команды на это никто не давал. Воины оказались в тесном кольце рабочих, которые, видимо, шли с ночной смены. У многих на глазах были слезы радости...

Парад Победы. 10 часов утра 24 июня 1945 года. С неба струится мелкий холодный дождь. Один за другим проходят по Красной площади сводные полки фронтов. Каждый под свой марш. И вот наступает наш черед. Поплотнее обхватил ладонями древко боевого знамени, поднял его выше. «Полк, смирно! Шагом марш!» — раздается команда Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского.

Плечом к плечу идем по древней брусчатке мимо Мавзолея Владимира Ильича Ленина...



ИГОРЬ ДЕДКОВ



## НАШЕ ЖИВОЕ ВРЕМЯ

**И**злюблен и стар торжественный оборот публицистической речи: «В наше время, когда...»

Так что же это такое: наше время? И хорошо ли, плохо ли быть художнику «у времени в плену»? (Помните пастернаковское: «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну, ты — вечности заложник, у времени в плену»?) Или же это касается только «вечности заложников», а всем прочим тут и задумываться нечего? Да и вообще, наверное, быть в плену у времени не хорошо, не плохо, а неизбежно, и вопрос на этот счет звучит наивно, потому что, пленный или плененный, ты — внутри времени, и оно над тобой властно, и ты принадлежишь ему, и тысячами способов оно умеет об этом напомнить и объявить.

Иногда оно напоминает о себе столь мощно, что воображению представляется какой-то полуфантастический инструмент необычайной силы, непременно клавишный, наподобие органа, заставляющий миллионы душ звучать в непостижимом согласии, то восторженно, то гневно, то умиротворенно... Во всяком случае, порою кажется, что такое согласие существует.

Но чаще воздействие времени таково, что похоже на работу гравировальной иглы, настойчиво наносящей свой рисунок. Каждое новое прикосновение как бы затверждает, закрепляет и углубляет его, чтобы он чувствовался и на ощупь.

Но постоянно и разнообразно ощущая, осознавая свою обусловленность временем, свою зависимость от него, всегда ли с той же отчетливостью и ясностью понимаем, что это наше и нам принадлежащее время?

Спрошено было Юрием Карякиным в статье «Не опоздать!»: «...в какое время, до или после данного, ты хотел бы жить, будь твой выбор?» — и отвечено им же было, что «время — тоже роди-

на, и здесь не может быть выбора». Он прав: «есть не только та родина — земля, где мы родились», но и время, «когда мы родились, когда живем, — наше время живое, — тоже есть наша общая родина, которую тоже нельзя предать, которую надо спасать и — спасти, чтобы она навсегда осталась живой и плодотворной».

Образ времени-родины рожден новой и небывалой тревогой за судьбу человека и человечества, угрозой мировой катастрофы. Но есть у него и другой смысл. Он помогает лучше понять человеческое предназначение и ответственность, напоминая о том, что не только мы принадлежим времени, но и оно принадлежит нам, оно — мы сами: оно наше, живое, кровное, неотчуждаемое; не предавать его значит еще — не тратить, не отдавать его беззаботно или безвольно, делая вид, что оно как бы ничье или общее, чуть ли не обобщественное.

Иногда даже те, кто желал бы прослыть «вечности заложником», то есть художником, изобразителем истинного лица человека, даже они, вольно или невольно, способствуют сужению, обеднению отпущенного нам времени.

Я не о том банальном случае говорю, когда время на чтение истрачено зря — настолько книга плоха, а о другом, когда к ощущению напрасной траты прибавляется чувство, что посторонняя воля, посторонняя умственная и эмоциональная сила теснят и теснят тебя под какие-то низкие, душевные своды, к густой, расплзающейся «тьме низких истин», которая якобы и есть весь человек, его нынешняя, подлинная, неприкрашенная суть... И не видишь из-под этих сводов выхода к высоким и чистым небесам, выхода в просторное пространство времени.

Наверное, многие замечали: в детстве, в отрочестве относительно близкие события кажутся глубокой историей. Думалось: ре-

волюция, гражданская война — такая даль, а революция тогда еще не отметила тридцатой годовщины; теперь же я ловлю себя на ощущении, что все давно прошедшее приблизилось и революция с ее людьми чуть ли не входит в сроки моей жизни. Должно быть, это потому, что в малолетстве мы лишены чувства исторического пространства, исторического самосознания, мы заполнены сегодняшним днем и фантазиями о будущем. Возможно, с возрастом совершается какая-то незаметная переориентировка, и однажды обнаруживаешь, что события и лица, от которых духовно, нравственно и даже психологически зависишь, заполняют все более и более обширные пространства времени и современность для тебя отныне отсчитывается чуть ли не с четырнадцатого года, когда, собственно, и начался в мировой истории наш XX век. Это не значит, что за чертой четырнадцатого — прохладные и чинные залы Исторического музея и кто-то, склонившись над экспонатами, высматривает реалии чистого исторического романа. Вспомним «Нетерпение» Юрия Трифонова и «Две связки писем» Юрия Давыдова — романы, сокращающие историческую дистанцию не только в результате своей собственной романной силы, но и потому, что их материал сам отзывается в современности и нужно лишь очистить этот отзвук...

Не старые, пожелтевшие бумаги и ветхие газеты перебираем — свою угадываем судьбу. Или в минувшем веке события остывали быстрее, срок давности был короче и недавняя жизнь словно отставивалась в тихих заводях «Русской старины» и «Русского архива», превращаясь в историю?.. Ныне же что-то непросто выходит, старые угли всё жгутся, давние страсти не отгорели... Но где медлит история — художник рискует, наша ориентировка в историческом пространстве продолжается всю жизнь, и лириката этому помогает. Может быть, художник ближе всех принимает к сердцу вечное, иногда нарастающее беспокойство человека: почему это так, а не этак, где я и с кем, после кого, чем и кому обязан?

Жизнь в сибирском селе Лебяжке летом и осенью восемнадцатого года находится далеко от нас, но ее зальгинское изображение-понимание в «Комиссии» вошло в наше сегодняшнее живое время, раздвинув его пределы и что-то в нем самом уточнив. Живое время, наверное, стремится к расширению, и всякие тому помехи воспринимаются как нечто противоестественное. Живое время — это, должно быть, не только то, как мы живем, работаем, растим де-

тей, но и то, что помним, о чем думаем, чего хотим, что видим и что понимаем.

Мне по душе слова Ж. П. Сартра, сказанные им в сорок пятом, когда были живы идеалы Сопротивления и когда служители муз, озабоченные личным бессмертием, вызывали глубокую неприязнь: «Мы же пишем для современников, мы не желаем смотреть на мир глазами грядущего — это было бы самым верным способом умертвить наш мир, — мы смотрим на него нашими глазами людей во плоти, нашими подлинными бранными глазами. Нам нужно выиграть наш процесс не в высшей апелляционной инстанции, и нас не интересует посмертная реабилитация — процессы выигрываются или проигрываются только здесь, только при нашей жизни».

Живое время — это иногда и сильное желание, порою необходимость «выиграть процесс» при жизни. Разумеется, не бракоразводный, который ныне выигрывает наша проза в десятках и сотнях сочинений, с большим энтузиазмом и захватывающей дух смелостью изображая, где, кто, кого, как любил, перелюбил, переперелюбил, обманул и переобманул и как непрестанно хотелось чего-то лучшего и светлого...

Мы часто вспоминаем Валентина Овечкина, словно, многое приобретя, многого достигнув, что-то существенное все-таки утратили. Может быть, овечкинскую яростную надежду «выиграть процесс» при жизни — завтра, послезавтра, в ближайшие годы? И ведь не был его «процесс» легким, безопасным для «истца», не был...

Или в природе нетерпения не только опрометчивая поспешность и малая основательность мысли? Может быть, тут повинно и острейшее ощущение времени как ни с чем не сопоставимого человеческого достоинства: личного, семейного, народного, государственного?

Ум Овечкина не мог мириться с бесхозяйственным отношением к главному богатству страны — человеческой инициативе, человеческим нереализованным возможностям. В страстном желании писателя, чтобы жизнь стала лучше уже назавтра, находила выход простая мысль: нужно беречь время людей — живое единственное время реализации их сил и надежд.

В записных книжках Овечкина приведены чьи-то услышанные им слова: «У меня не так много времени осталось жить, я не могу уже выносить ни одной глупости. Некогда».

Не ловили вы себя на том, что бывает безмерно жаль нашего, не только отдельного, частного, но и общего времени, когда

отдаем его чему-то необязательному, пустому, уговаривая себя, что оно нужно, важно, неизбежно, хотя в глубине души понимаем, что эта неизбежность — всего лишь усвоенная инерция, какая-то заведенность существования?

Это чувство, это сожаление социально, но в то же время этически и эстетически определено: страдают представления об осмысленном порядке, целесообразности, соразмерности... Истинная литература укрепляет в нас самовыскаательность, помогая различать подлинное и мнимое, действительное и призрачное, реальное и иллюзорное; она как бы расставляет все по местам, обнаруживая горестные заблуждения одних, вздорные амбиции других, неопознанное достоинство третьих и много чего еще...

Иногда поэты сравнивают народ с морем, океаном, с колоссящимся полем. «Колосья под серпом твоим» называется один из романов Владимира Короткевича, посвященный духовному вызреванию восстания 1863 года. Не просто название — сквозной образ книги, и в нем взволнованная, сложная мысль о народной судьбе. Но под чьим серпом? Божьим? Бедности? Войны? Свободы? Барского насилия? Или так: под серпом твоим, жизнь? И что тогда под тем дружным серпом колосья? Или в этом образе есть фатальная готовность ко всему? И как ни укрупняй чей-то малый мир, как ни делай его средоточием жизни и смысла, что толку? Разгуляется серп?! Может быть, и не стоит ничего укрупнять, искать героя, если такова общая участь, общий удел, и в приятии его — своя испытанная мудрость?

Для Владимира Короткевича или для Василия Быкова — в «Знаке беды» хотя бы — такая утешительная мудрость тесна: они чувствуют, что горькая метафора о серпе и колосьях не отменяет в человеке его упрямой, передающейся из поколения в поколение воли перехватить, вырвать, сломать тот серп... «Всему живущему идти путем зерна»? Хорошо, но без этой тотальной жатвы.

Отдадим должное нашей литературе: Игорь Шкляревский («Слово о мире») и Андрей Вознесенский («Из Байрона»: «Я перевел стихотворенье «Тьма» — как „Ядерная зима“») предупреждают о ядерной угрозе, рисуя картины апокалипсического свойства: «Не убий человечество!» — из статьи в статью, как новую заповедь, повторяет Алесь Адамович; политический роман продолжает разоблачать коварные происки заокеанских поджигателей новой войны и т. д. Но есть и другое — не прямое — противостояние литературы тому, что несколько

отвлеченно называют мировым злом: противостояние глубочайшей исходной преданностью человеку и жизни, духовной и нравственной высотой, здравостью взгляда на все искусственное, фальшивое, ненормальное, на всевозможные наркотические средства, прописываемые человечеству во избавление от мук совести, от ясности разума...

Можно сказать и так: противостояние самой художественностью как силой созидающей, животворной, связующей времена и поколения единым волнением соучастия, совместности, единым «преодолением немоты», «невывысканности», единой волей к «счастью и красоте».

Но можно противостоять и самым простым, казалось бы, образом — собиранием памяти. Народной памяти как народного опыта.

Легко и привычно выговаривается: документалистика — предместье литературы, но разве документальное повествование Светланы Алексиевич «У войны — не женское лицо» (журналы «Октябрь» и «Неман») не стало событием минувшего литературного года?

Обдумывая отношения художественного типа и реального прототипа, один из наиболее выразительных критиков 30-х годов, А. Лежнев, считал, что «единичное явление» само по себе «может быть в то же время обобщением», что вообще возможно «чудесное обобщение, созданное самой действительностью». Из этого вовсе не следовало, что художнику остается «снять копию» и т. п. Предполагалось, что это «чудесное обобщение» не каждый разглядит, оценит и выявит. И вообще не каждый обнаружит под «искажающими наслоениями» «типичский рисунок», который есть почти во всяком человеке, так как «огромное большинство людей живет под властью типичских обстоятельств».

Теоретическая конструкция жестковата, не так ли? Но одна крайность бывает не лучше другой. Обнаруживать повсюду одинаковый типичский рисунок — уравнивать, нивелировать людей; не видеть совсем типического рисунка во всем многообразии его вариантов — значит лишать людей общей исторической судьбы, преувеличивать психологическую автономность личности, преуменьшать ее социальную обусловленность...

Еще раз оценим примечательные слова: «чудесное обобщение, созданное самой действительностью».

Разве героини С. Алексиевич — неповто-

римо единственные, неповторимо особенные — не поражают нас удивительным родством, сходством чувств побуждений, самоотдачи? Разве не проглатывает чуть ли не в каждой свой типический рисунок, прочерченный войной, стечением тяжелых обстоятельств, необычайной совестливостью, острым сознанием ответственности за дальнейшую жизнь близких людей и всей страны? И разве это не есть «чудесное обобщение, созданное самой действительностью»?

Обобщение можно понять и как что-то собранное, сведенное воедино; в книге С. Алексиевич сведено воедино столько хороших, чистых человеческих сил, что, кажется, само наше повседневное мироощущение светлеет и становится чище.

Вот странность: чем дальше от войны, тем вроде бы лучше ее видим, крупнее, подробнее; великие, непомерного объема слова мало-помалу обнаруживают свое истинное, конкретное значение. Таково «свойство человеческой памяти», — пишет С. Алексиевич, — через расстояния многих лет одни события и детали укрупняют, другие уменьшают. И укрупняется человеческое, интимное, то, что можно назвать человеческой жизнью в нечеловеческих условиях. Интимное в данном случае — это переживания и трудности, до которых другим, посторонним, не должно быть дела, о которых даже лучше не разговаривать, но они же есть, мучают! И они — тоже война...

Не думаю, что память уменьшает что-то из существенного; уменьшается то, что было укрупнено не по праву и казалось значительнее, чем было. И если теперь все более укрупняется человеческое содержание войны, то в этом есть потребность нашего общего осознания прошлого, знак времени.

Люди, пережившие войну, несут в себе тяжелейшее знание, тяжелейшую правду. «Объявим ее, пока не поздно, пусть знают все!» — не это ли стремление вело собирателей трех бесценных сводов народных свидетельств, народной памяти («Я из огненной деревни», «Блокадная книга», «У войны — не женское лицо»)? Объявим эту правду, и пусть она встанет сегодня рядом со всем, чем заняты, что делаем, что говорим и пишем.

Тяжела правда? Страшно? Зачем беречь раны? Но С. Алексиевич права: «Мы не их, несущих эту тяжелую память, жалеем, а себя. Чтобы по-настоящему пожалеть, надо не отказаться от жестокого знания, а разделить его, взять часть и на свою душу. К тому же это документ, его не переписать, его писали кровью, его писали жизнью...»

Не в том даже дело, что опровергается, отвергается удобная эстетика полуправды, литературная, киншная (на экране медсестра, например, «аккуратенькая, чистенькая... в юбочке, у нее пилоточка на хохолке», а на самом деле: вагные брюки, кирзовые сапоги, тяжелая шинель, «у меня и сейчас не женское лицо»). И не только в том, что можно укорить молодых: «Ничего над нами не было, ничего под нами не было, не было этих ковров, ничего», притащили с задворок кем-то выброшенный диван, отмочили географическую карту — бязевая простыня, ее же потом — на пеленки; а он комбат, а она зенитчица, и начинают с нуля — и счастливы, счастливы!

И даже не в том дело, что в который уже раз жизнь являет свое превосходство над сочинительством. Она вообще бывает сильнее «самого гениального воображения» (С. Алексиевич). Созданные жизнью обобщения, образы, детали спорят с самой изощренной художественной фантазией, но они беспримесны — ни расчета, ни тщеславия, одна правда.

Вот так, сказали себе женщины в медсанбате, кончится война, сделаем что-нибудь невозможное — сядем на стерильный операционный стол, и дождались, и сели; нужно было стрелять — и стреляли, а немцы гнали перед собой женщин и детей, а мать шла в белом платочке, и в партизанской цепи говорили: смотри — твоя мать; «...какой просторный дом, какие высокие потолки!» — удивилась С. Алексиевич, а женщина ответила, что так только кажется, потому что в доме нет — читай: никогда не было! — детей; четыре года водить на фронт эшелоны, и маленький сынок то в теплушке, то рядом на паровозе — под бомбами, под обстрелом, а ныне — вся семья; сын, невестка, внуки всегда вместе, и никто никуда — ни в санаторий, ни на дачу, такая странность, такая высокая болезнь, почти по Александру Кочеткову: «С любимыми не расставайтесь!»

Война — как мужество, как храбрость, как зов совести и долга, как кровь и смерть, как тяжелый труд, как страдание и горе, и говорят об этом женщины, все это прошедшие и победившие. Их голоса, по сей день источающие боль, словно разрушают будничные покровы жизни, отвергают все заниженные мерки, все машинальное, пошрое, нравственно убогое... И открывается высота... Духа, души ли или просто всего лучшего в человеке.

Может быть, самое дорогое, что голоса эти — и вся книга, из них состоящая, ими кричащая, плачущая, ими бесценная и сча-

стливая,— напоминают нам об этой высоте. О том, что наперекор всему тяжелому, противоестественному человек все-таки прекращает, все-таки выстаивает...

Не об исключительных образцах героизма речь — о будничной, тихой самоотверженности, о преодолимых физических муках, о доброте, сострадании и милосердии, о принятой на себя невинной, неженской, непомерной ноше во имя спасения других, во имя отечества и жизни.

Нет, я чувствую, эти привычно высокие, нагнетаемые мною слова малы, не справляются... Они как бы не той тональности — та попроще, пообыденнее, поглуше и — непостижимее, что ли?.. Или в том сложность, что пытаешься определить, забрать в слова все и всех сразу, а это не воинский строй с единым маневром, не хор с согласным звучаньем, а такие разные, несхожие, такие живые каждой подробностью своей доли-участи девчата сорок первого года, матери, бабушки, вдовы, одинокие старые женщины 80-х годов, и сколько их — столько сломанных и счастливых судеб, столько ран, невзгод, утрат, сбывшихся и разбитых надежд, своих радостных и горьких дней, своей неуспокоенной памяти...

Искусство документалиста, искусство отбора и монтажа, наверное, состоит в том, чтобы, укрупняя судьбы и лица в их индивидуальности, замечать, находить обобщения, созданные самой действительностью, выявлять штрихи типического рисунка, черты исторической принадлежности. Типический рисунок тоже может уточняться, приобретая новую резкость в прежде размытых своих частях...

«Как много рядом с нами истории, еще не почувствованной, еще не осознанной как История», — пишет С. Алексиевич. Если так, если не почувствовали, не осознали, значит, история наша — войны или мира — все еще недособрана, недообдумана, неполна и есть еще долг, есть...

Иногда говорят, что документалистика воздействует на чисто художественную литературу как благотворная, заземляющая сила. Возможно. Но и как сила воодушевляющая, наверное, тоже. Именно в документалистике последних лет наше сознание нередко находит недостающую духовную опору и нравственную высоту. Если это заземление, то своеобразное, словно указывающее на источник подлинно духовной энергии... Можно, к примеру, перечитать дневник Юры Рябикина из «Блокадной книги» и заново поверить в чистоту и беззаветность юношеского идеализма. Мож-

но представить себе, как Георгий Алексеевич Князев перемещается на коляске (ноги полупарализованы) из дома на работу в Архив Академии наук по набережной блокадного Ленинграда и вспомнить его записки «среднерусского интеллигента»: «Да, да, чем мы были, тем и останемся... У нас есть еще стыд, совесть...» И кажется, никогда не забыть тот странный шлепающий звук в тишине лестничной клетки (будто идет собака), издаваемый человеком, на четвереньках перетаскивающим домой, на четвертый или пятый этаж, книги... Этот звук услышит его жена, вернувшись с работы и заметив, что саночки у подъезда пусты. Накануне они вместе ходили проведать квартиру родни, опустевшую, распахнутую настежь. И муж взял книги: «Как можно бросить Достоевского? Если бросить, их ведь сожгут!» Сначала он сам вез саночки, потом жена тащила и саночки, и мужа и, еле доведя его до квартиры, уложила в постель. И вот теперь этот шлепающий, собачий звук...

Авторы «Блокадной книги», рассказав эту историю, сочли необходимым заметить, что ту любовь к книгам и Достоевскому не стоит братья объяснять, исходя из представлений нашего «благополучно-сытого времени». Они вполне резонно предположили, что в дни, когда и книги — ходкий товар, этот блокадный факт может быть истолкован превратно. Нового тут мало: идеальное, чистое охотно истолковывают грязня — так удобнее жить. Так мир и человек много проще: на одну колодку.

И тут подумалось: разве есть фильм, отцеживающий сомнительные идеи и оберегающий от них литературу? Или, входя в храм искусства, уличную грязь оставляют за порогом, надевая чистые тапочки?

Тот меркантильный или скептический современный дух, от которого авторы «Блокадной книги» время от времени вынуждены оберегать своих героев, вполне может витать в литературе, надеясь на свое художественное воплощение. Почему бы и нет? И почему непременно опровержение, разоблачение? Почему бы не утверждение, не заявление о своей силе и популярности?

В самом деле, какие-то веяния жизни, пусть не охватывающие большинства, но реально существующие в обширном диапазоне от глубоко материальных, практицистских, утилитарных до иррациональных, мистических или полумистических, не только отражаются в современной литературе, но в иных случаях могут и выражаться ею, то есть осваиваться в искусстве с большим или меньшим успехом.

Не с этим ли освоением пусть косвенно, но связаны возобновившиеся в критике розыски положительного героя? И на этот раз во многих случаях они не кажутся искусственными или навязанными. Причем — в том-то и особенность ситуации — отрицательных героев, которые толпились бы толпами, ели поедом честного человека и заслоняли горизонт, тоже что-то не видно. Торжествует или хотел бы восторжествовать персонаж иной — человек срединный, амбивалентный, противоречивый, неопишуемой, как нам внушают, сложности. Радоваться вроде бы надо. Как можно не радоваться, когда сложность, противоречивость? Наконец-то, говорят, наконец-то дожили до реального, сложного героя, сподобились!

А радости что-то нет. Тем более — ликования. Что-то мешает. Это, должно быть, Абрамов да Белов, Залыгин да Трифонов да еще кое-кто сбили навсегда с толку. Нам же объясняют, вложкоывают: их герои уже прошли, кончились, нету их, оглянитесь, нет больше Пряслиных, Иванов Африканычей, необыкновенных стариков с подпольным стажем, наивных студенточек с троп Алтая, всяких мечтателей середины 50-х годов — нет никого, исчезли, перевелись, новые явились граждане, поумнее, посовременнее, позаковыристее, без шор и предрасудков, — честь им и место! Нравятся, не нравятся — вот они, извольте взглянуть, уж их-то на мякине беззаветности не проведешь, на черный хлеб унылой добродетели не посадишь: реалисты! сложные натуры! не простые, прямолинейные души — лабиринты...

Прекраоно, уговариваю я себя, может быть, это-то и нужно: преодолевается одномерная жесткая моральность, подменяющая собой живую человеческую нравственность, все подвижно и сложно...

Пусть так, но вот в чем беда и разочарование, вот откуда недостаток ликования и тоска о положительном герое: вся-то сложность образуется не из действительных хитросплетений жизни, изображаемой автором, а из их двусмысленной авторской оценки. Такая затеяна игра: «да» и «нет» не говорить, черное и белое не называть... Главное — художническая непредвзятость и непредубежденный подход к человеку. Подлежек, говорите? А вы в душу его заглянули, на его месте бывали? Вас так несло и закидывало?..

И вот во имя полной правды новый главный герой — человек по преимуществу мелкий, часто непорядочный или, говоря по-

старому, нечистоплотный — рассматривается автором не то что объективно, а как бы изнутри, что обеспечивает ему невозможное авторское понимание и сочувствие. Прием как прием, обычный для прозы, выстраивающей мир произведения с опорой на угол зрения героя. Или на угол зрения посредника — благожелательного наблюдателя и знатока героя. И хотя отсчет все-му неизменно идет от главного лица: от его интересов, от интереса к нему, — объективность обязательно пробивается, только в разной степени. Но высока ли эта степень объективности и сложности, когда все другие точки зрения, противоположные или оппозиционные главной, не развернуты, не получают самостоятельного значения или упразднены? Если же возникает противоречие между объективным смыслом деяний героя и их внутренним — через душу героя — оправданием, да и вообще всяким другим авторским истолкованием, то и этот смысл, и это противоречие кажутся какими-то исчисленными, принадлежащими не самому произведению, а читательскому уму, вдруг сообразившему, что его словно бы пытались затуманить, провести, согласить с чем-то, с чем он прежде, допустим, никогда не соглашался... А в самом произведении это противоречие если и не снято вовсе — невозможно бывает онять, — то изо всех сил смягчается, ослабляется, растворяется в концентрированной житейской щелочи... И не тот тут подтекст: не судите — не судимы будете, хотя есть и это. Тут, пожалуй, другое: предлагается своеобразное примирение с действительностью, то есть прежде всего с реальным или, лучше сказать, натуральным человеком, который — от природы? от века? — всякий и, раз и навсегда всякий и не может быть определен через косную моральную патетику («добрый!», «злой!», «порядочный!», «непорядочный!» и т. п.), он от нее ускользает, и не потому, что не хочет ей соответствовать, а потому, что не в его это силах, и единственное, что о нем можно сказать твердо: эгоистичен и грязноват, и тут ничего не поделаешь... И заметьте, если плох герой, то и другие вокруг не лучше, и если он виноват, то и другие перед ним виноваты, и неизвестно еще, кто перед кем больше, и потому не мешало бы почувствовать всем вместе, такова жизнь, и пора бы это знать!

Когда такое или близкое к такому понимание человека и его удела находит талантливое воплощение, то оно кажется неуязвимым. Хотите не хотите, а вот вам истина... Привыкайте.

Но стоит ли преувеличивать неуязвимость? Проведем воображаемый опыт: переменим угол зрения, расслышим голоса молчаливых, задвинутых в дальний угол, взглядом их глазами, пройдем лабиринтами других, спрятанных, утаенных от нас, душ... Не обернется ли неопределенность в конце концов ясностью и определенностью? Не представим ли мы себе героя в новом и беспощадном свете? И захотим ли сочувствовать в прежней, предложенной автором, мере? И если образовался вокруг чела героя какой-нибудь ореол — страдания, непопуганности, неопознанности, — то он быстро исчезает, а остается что-то неприглядное, по-своему пошлое и расхожее...

Пускаться в отвлеченности и не держать в уме что-нибудь конкретное, провоцирующее? Так не бывает. Разумеется, держу и я в уме разные сочинения, недавние и совсем новые, и среди них одну печальную историю, рассказанную В. Маканиным и названную им «Гражданин убегающий» («Урал», 1984, № 9).

Павла Алексеевича Костюкова, героя нового рассказа В. Маканина, жалко. Но имена-фамилии за маканинскими героями удерживаются почему-то плохо, поэтому лучше сказать так: жалко гражданина убегающего. Не следует понимать ситуацию пошло: конечно, он убегает не от алиментов, хотя и от них тоже; конечно, он бежит от пресной жизни, надоевших контор, друзей и знакомых, самого себя, но одновременно — скучный факт! — от бывших и новых жен, от приятельниц, утешительниц, подруг и подружек, от деток малых и от детей взрослых. Наконец на последней странице он убегает окончательно и бесповоротно, и кажется ему в предсмертном видении, что сидит он в гудящем брюхе вертолета и повторяет, улетая: «Дальше, ребята. Дальше. Как можно дальше...»

Немного цинизма, иронии, самоиронии, бравады — той, когда и терять больше нечего, немного философии, интеллигентной тонкости, немного раскаяния и стыда и последней, какой-то экзистенциональной горечи: «Как можно дальше...»

И оправдание, конечное, неоспоримое, неотразимое, объявленное чуть ли не в самом начале и далее только нарастающее, добирающее аргументов, перекрывающее всю глухую, постаревшую и разбросанную во времени и пространстве вину: «Если бы Костюкову, хотя бы и в шутку, сказали, что человечество в целом устроено таким образом, что разрушает оно именно то, что любит, и что в разрушении-то и состоит

подчас итог любви... он бы, пожалуй, поверил и даже принял бы на свой счет как понятное. В конце концов, он — один из людей».

Он всего лишь один из людей и уже много лет «не оправдывал себя ни романтикой таежника, ни судьбой-индейкой, ни свирепостью покинутых женщин и ничем прочим, — он был, каким был». Это даже лучше, чем оправдание, это как упор: был, каким был. И отстайте.

Не отстают. В забвении Костюков видит себя бабочкой, а «дети неумоимо преследуют его с сачками. Их были десятки и сотни, его детей, — сыны-школьвики в ученической мешковатой форме и подростки-девочки в платьицах, они размахивали гибкими сачками и гнались за беляжкой, со свистом рассекая сачками вокруг нее воздух».

И наяву — тоже дети: молодые, здоровые, пьющие парни, денег требуют, грубовато пошучивают, в больницу не повезут, от умирающего отвернутся.

И вправду: подальше, подальше от этих преследователей, от этого жестокого мира.

Жалко бабочку. Не жалеть же толпу деток с их гибкими, рассекающими воздух сачками?!

Жалко умирающего убегающего. Не жалеть же парней этих бесчувственных?!

Автор словно предугадывал возмущенный читательский вопль: «Отец он им, все-таки отец, как можно, откуда такая молодая беспощадность?!»

Упорно выяснять, демонстрировать относительность любви, преданности, верности, доброты и прочего иллюзорного богатства человека и вдруг захотеть, чтобы сыновья были сыновьями в каком-то абсолютном, неопровержимом смысле?

А иначе было нельзя, хотелось сбить со следа ретивых гончих моралистики: ладно, ладно, отец-то он никакой, но детки-то, детки-то каковы!!

Мелькнуло растерянное лицо младшего сына Андрейки. Не за деньгами прикатил, а взглянуть, отец-то — кто? какой? Мелькнуло и пропало.

Но представим себе, что угол зрения переменился, что смотрим глазами этого Андрейки и еще другими детскими и женскими глазами — глазами безотцовщины, бедности, одиночества, заброшенности, покинутости? Не захочется ли тогда переименовать гражданина убегающего в гражданина опустошающего?

Не во имя моралистики взглянуть бы теми глазами — во имя объективности и художественной справедливости. Когда они



есть, то, как ни взгляни, человек в футляре остается человеком в футляре, а хамелеон — хамелеоном.

Вообще же осознание того, что мы такие, какие есть, не делает ни нас, ни наш мир ни лучше, ни хуже, и, хотя, может быть, оно и противостоит какому-то универсальному штатному расписанию человеческих предназначений, оно утверждает данность и примиряет с нею. Если автору кажется, что в нас слишком мало почтения к данности и много нетерпения, то, вероятно, так, как он, и следует писать.

Был, однако, у Костюкова и предшественник — абрамовский Егорша Ставров, браваый, неунывающий парень. Он странствовал и промышлял в тех же широтах («Я всю Сибирь солдатами засеял!»), ну а вернулся домой, его и не признали — «какой-то худавый, потрепанный мужичешко в капроновой шляпе в частую дырочку...». Ни оправданий не искал своему герою Ф. Абрамов, ни новых и строгих укоров, а лишь одно изобразил в полную силу своего реалистического таланта: страшную пустоту саморазрушения, постигшую Егоршу, или, как бы сказали раньше, его богоотставленность; он еще мельтешит, хорохорится, надеется, но на всем, что он делает и говорит, есть печать глубокого человеческого поражения.

«Убегающие граждане» мелькнули недавно и в повести Л. Фролова «Летающие тарелочки» («Наш современник», 1984, № 6). Сюжет ее — из шукшинских, то есть выросший из житейских анекдотов, приключений, скандалов; смесь озорства, блажи, бестолковщины, фантазерства и чего-то серьезного, тревожного, что часто кроется за «игрищами и забавами» взрослых...

От бабушки, от матери мужики хоть и убежали — на Север, на побережье, а от Любы улетел ее Валька Жулькин — и куда! — на какую-то планету Сэнею, и даже газета центральная подтвердила: пролетало что-то такое над Петрозаводском, пролетало... И смех и грех, а ведь задурил девке голову, ненадолго, но поверила... Прогресс налицо: гражданин улетающий. Но феномен мужского бегства или беготни занимает Фролова мало; женские судьбы в повести вполне проясняют однообразную и бедную природу этого явления, этой не новой идеи легкой жизни или жизни налегке. Если Валька Жулькин чудит и куролесит, то не ради злой насмешки и обмана. В нем бродит молодое, непогасшее желание выбиться из серого повседневно, из заданного тона жизни, блеснуть в глазах Любы чем-нибудь необыкновенным, отличиться, ска-

зать наконец что-то вроде своего «фэ»... Ну как Мотя Квасов у Шукшина изобрел вечный двигатель, явился к начальству и скромненько так говорит: «Зашел сказать свое «фэ»...»

Рискованно утверждать, что такой-то писатель усвоил народный взгляд на жизнь; знает ли кто твердо, каков этот взгляд, да и разве он неизменен? И все-таки, думаю, Фролов близок к этому взгляду, в его повести есть что-то от народной комедии, когда, смеясь, преодолевают и собственную слабость, и растерянность, и повышенную серьезность жизни. Здоровые силы человеческого ума и души берут в повести верх над притязанием пошлости всех выравнять, всех переметить одним цветом...

Еще М. Горьким — да и им ли одним? — было замечено: «Со стороны своей «плоховатости» человек мало интересен, и не этим он удивителен». Но любопытство к «плоховатости» не переводится и вряд ли переведется, разоблачительный суд — тоже, хотя взгляд на человека как на ничтожество по природе, как на существо, сводимое к простейшим инстинктам и физиологическим функциям, никогда, кажется, на попроще искусства не преуспевал.

Легкость движения в сторону «плоховатости» обманчива: в таких случаях проверяется, проговаривается одно и то же, разница в степени натуральности, развязности, изощренности. Создается лишь иллюзия движения, так как двигаться, в сущности, некуда.

Движение в противоположную сторону — в сторону «удивительности» человека — много труднее, хотя не оно ли истинно свободно, бесконечно и открыто в будущее?

Когда Чехов рассказал о том, как Иван Дмитрич Червяков, нечаянно чихнувший на лысину статского генерала, скончался от переживаний, то он не дурную и низкую природу человеческую изобличал. Не психологический казус и конфуз изобразил, а глубокую социальную поврежденность, запуганность человеческого сознания.

Так что я не о том, чтобы «удивительность» человека закрывала от нас его реальное состояние, его действительные беды и поражения. Я лишь пробую объяснить, почему тоскливо бывает без положительного героя и почему долгое сопереживание амбивалентным персонажам не усложняет, а упрощает понимание человека и жизни. Сводимость к амбивалентности, якобы природной и, значит, всеобщей, но маскируемой, ничуть не лучше любых других сводимостей, когда человека рассматривают или используют в каком-то сокращенном каче-

стве, в закреплённой, а то и навязанной роли, в каком-то укороченном смысле.

Между прочим, всякая такая сводимость — это и сводимость нашего живого времени к сиюминутности, к ее господству над мыслью и чувствами, к ее целям и ценностям... Она сужает человеческие горизонты. Человек хочет поднять голову, выпрямиться... Да брось ты, не трудись! Миражи и есть миражи, а действительность, брат, проста...

«Не убий человечество»? Неузнанная, неосознанная История — рядом? Защитим наше живое время? Читатель находит в литературе «голос высшего разума и поэзии» (Ч. Айтматов)?

Почти планетарное мышление! Какие пылки, заоблачные отвлеченности! А не хотите ли черпнуть земной, первоизданной правды, чего-нибудь поистине материального, густого, человеческого, захватывающего дух? Прекрасен окуляр замочной скважины, великолепна духовная даль — через дверную щель, и как поэтичен «высший разум», как пикантен, проникая, к примеру, в «тайну женщины» и указывая на связь чуть искривленных ног с возбуждаемостью и коварством, а из обилия родинок в «области шеи и лица» выводя чрезмерную холодность, которую можно сломить только «натяском»...

От дальнейшего цитирования я воздержусь... Хотя как иначе продемонстрировать читателю высокохудожественные образцы современного письма, просто не знаю. Верьте на слово, что в своем роде это выше всяких похвал: персонажи не стеоняются — они же не знают, что их транслируют на всю Россию! — они говорят, что думают и о чем думают, — свобода словоотделения...

Конечно же, это персонаж, а не автор делится своими наблюдениями насчет родинок и кривизны ног. И его можно, его нужно понять, у него «заметный шрам» в психике: его бросила жена, родила двух детей и «уже давным-давно сражалась с переменным успехом за жилье, за зарплату, за красивые тряпки и за крохотное, но свое место под жарким и общим солнцем». Что и говорить, не повезло человеку, мешанка попала, из какой-нибудь разновидности «свирепых женщин»...

Владимир Маканин талантлив и разнообразен, творчество его интересно, а рассказ «Где сходилось небо с холмами» — знак больших возможностей и новых путей; но как быть, если именно В. Маканин предлагает и этот малопривлекательный сюжет в рассказе «Река с быстрым течением»?

Другу травмированного персонажа — глав-

ному герою — не повезло тоже. Он «и сейчас при шальном случае не упускал сладкого, но в общем был он человек, уже набегавшийся в жизни, напробовавшийся и теперь живший ровно и спокойно». И вдруг — на тебе! — загуляла жена, тоже захотелось «сладкого», а у нее рак, а она не знает, а он знает, и устраивает за женой маленькую слежку, и получает донесения от бывшей своей подруги, и разнообразно переживает, и даже впадает в недельный запой, а подруга, помогая в ремонте (еще одна ипостась «свирепости»), уже прикидывает все на свой вкус...

Изучение человека: что делать, если жена изменяет мужу и она же смертельно больна, а общая знакомая и бывшая подруга мужа, соучаствуя, уже набрасывает сеть на будущего вдовца? Что делать и кто виноват? Почти экспериментальное изучение... А если добавить под колбой огня? Еще добавить? Еще? Любопытно-с.

Наверняка кто-то скажет: это же XX век с его стрессами, перегрузками, с его бешеными ритмами и скоростями, с напором информации, с новыми, свободными запросами человека.

А может быть, век тут ни при чем? Впишите чашотку и заглушите автомобильный шум. Во всяком случае, век сказывается не в существе ситуации, а в том, что выбрана именно она со всеми этими добавками п л а м е н и и в каком-то отстраненном, полусочувственном-полубрезгливом ее рассмотрении... Да и век ли все-таки сказывается? Или тут какое-то более тонкое — даже в сравнении с нашей классикой — понимание человека? Новое, более глубокое знание и постижение жизни, ее пружин? Такое многообещающее продление правдоискательской, смелой мысли до упора? Только вот в какую сторону продление — в сторону ли действительной и объективной правды?

Когда-то В. И. Вернадский писал о том, какая «важная вещь гигиена мысли». Был он в ту пору молод, и ему — по неопытности, должно быть?! — казалось, что «кругом стоят густою стеною великие идеалы», что «кругом идет гибель, идет борьба за то, что сознательно сочла своим и дорогим наша личность». Ему очень хотелось, чтобы его мысль не уклонялась, не отвлекалась в сторону дурного, мелкого, это было бы чем-то нездоровым, непозволительным...

«...Мысль, — писал он это слово с большой буквы, — в общей жизни человечества — все, самое главное». «Не есть ли вся красота в чувстве движения мысли, веры в истину?»; мысль неизменно выключившаяся

как великая созидательная сила, продолжающая строить человека, земной мир, будущее.

Художник — не гигиенист и не деятель санитарного просвещения; его герои говорят, чувствуют, действуют, как им заблагорассудится, иначе никто не поверит, что это жизнь. Но разве «высший разум» художника не остерегается тех же уклонов, отвлечений, о которых думал молодой Вернадский? Этой дани мелкому и пошлому? Тем более преувеличенной сосредоточенности на преувеличенно мелком и пошлом? Разве в этом смысле художественный разум не гигиеничен? Разве он лишен чувства такта, достоинства, самодисциплины и не имеет в себе же самом поставленных пределов, разве не подчинен высший целесообразности красоты и нравственного порядка?

В одной из дискуссий на страницах «Литературной газеты» можно было прочесть: «Индивидуальная психология давно перестала себя приструнивать, личность немало озадачена своей многогранностью, а ее по старой памяти потчуют набором воспитательных афоризмов. Или скажем так: либезы свой срок отслужили, а инерция ликбезовского стиля остается» (В. Камянов).

Это широкая формула: она может иметь отношение к человеку к жизни, к художнику, к литературному герою.

Конечно, не убий, не укради, не сотвори себе кумира и т. п.— скучная материя; стоит ли по старой памяти потчевать просвещенного современника «воспитательными афоризмами»?..

Но вот что особенно любопытно: оказывается, «индивидуальная психология... перестала себя приструнивать», а это прогресс; личность, оказывается, ныне «немало озадачена своей многогранностью», а это уже вообще чудеса. Посудите сами: в минувшие века, да и в нашем столетии, бывало ли, чтобы индивидуальная психология себя не приструнивала? А личность могла ли осознать свою «многогранность»?

Пустые вопросы. И переставали себя приструнивать, и осознавали всегда. Это могло быть и благом, и злом, и всем вместе. Остается на нашу долю одна озадаченность. Озадаченность своею «многогранностью». Новых, усложненных, реалистов следует, видимо, понимать так: «воспитательные афоризмы» осточертели, приструнивать себя надоело, и открывшаяся «многогранность» натур поистине способна озадачить.

Правда, судя по тем повестям и пьесам, где действует этот реалист, слухи о «многогранности» сильно преувеличены.

Образуется что-то вроде парадокса: этот неприструенный и свободный от условностей герой оказывается в то же время одним из самых приструенных, однообразных и скучных персонажей нашей прозы. Вся его «многогранность» — это мелькание одной и той же грани, обращенной к «тайнам женщины», к «тайнам» мужчины... Это тот случай, когда читатель бывает обманут, надеясь ощутить в книге присутствие «высшего разума и поэзии».

Почему приструенный, почему однообразный? При всей-то его раскованности, раскрепощенности, разговорчивости? А потому хотя бы, что среди интеллигентных граждан, во множестве гуляющих в садах и парках нашей словесности (писатели, художники, архитекторы, композиторы, журналисты, инженеры, кандидаты и доктора и т. д.), нет или почти нет людей яркой, самостоятельной мысли и этим интересных и привлекательных. И не той мысли, что высказывается за чаем и гаснет, а той, которой следуют и служат, которой живут... Как тургеневский Базаров. Как платоновский Чагатаев. Как залыгинский Устинов. Или как профессор Любищев, герой документальной книги Д. Гранина...

Однажды я прочел: «...ведь люди не только животные, но и мыслящие существа». Это был натерпевшийся женский голос — какой-нибудь из героинь Л. Петрушевской, из ее излюбленного печального мира. Мне показалось, что в том голосе есть усталость... Не хочу говорить: усталость от бездуховности. Может быть, усталость от отсутствия мыслей, с которыми можно жить лучше и чище, которым можно следовать... Усталость от двусмысленности и двойственности, от преобладания материального, от торжества низшего над высшим, идеальным и свободным...

Мыслящее существо. Об этом же, но по-другому, по другой причине: «Не очень-то приятно, когда твои действия просматриваются наперед, оказываешься примитивным устройством — этакая заводная игрушка зеленая лягушка».

Не хочется Антону Максимовичу Дудареву оказаться таким устройством. Ему уже, в общем-то, все равно, что с ним будет и как будет, но этого почему-то не хочется, этого стыдно.

Дударев в повести Д. Гранина «Еще заметен след» — рассказчик, действующее лицо и некоторым образом ее герой; другое действующее лицо — женщина по имени Жанна — тоже некоторым образом ее герой, или, правильнее, героиня, а вот глав-

ный, несомненный герой Сергей Волков — лицо отсутствующее, давно и непоправимо.

У Гранина все обыкновенное, без чудес: да, читают старые письма, разглядывают уцелевшие фотографии, Дударев с трудом, но вспоминает кое-что важное из фронтовой жизни, все-таки вместе воевали. И ничего сверх того.

Даниил Гранин выбрал наименее эффектный путь. Кажется, он думал о другом эффекте. То есть не об эффекте. О таком способе рассказывания, чтобы можно было почувствовать, как проступает след. Чтобы читали и чувствовали: вот проступает. И еще нужно было обеспечить максимально достижимый и необходимый уровень правды. Человек возвращался издалека. Человек, неудобный в обращении. Форма его возвращения, форма повести, не могла быть тщеславной; не та была задача, чтобы осталось место тщеславию; форма была как раз чтобы нести свой груз правды и самой быть правдой.

Вместе с Дударевым следим, видим, как проявляется в его памяти забытое лицо. Проявляется для нового, через десятилетия, узнавания, понимания. Для открытия его неожиданного подлинного смысла. Проявляется до отчетливости, до живого и какого-то непреклонного напряжения всех черт, до материальности, до самого сильного и неустранимого из материальных присутствий — духовного. Это именно так: мир Дударева, просматриваемый, казалось, до конца его дней, обреченный лишь тускнеть и опадать в объеме, вдруг на наших глазах раздвигается, впуская в себя то, что по праву требует места и вынуждает с собою считаться, себя признавать... Сколько угодно Дударев может твердить Жанне: «Волков умер, умер же!» Но в нем самом уже свершилось что-то необратимое, он почувствовал неустранимость Волкова, его вечное отныне присутствие в своем мире. «Новые чувства и мысли» открылись для Дударева и, как обещает последняя фраза повести, «долго еще не будут давать покоя».

Сергей Волков для Гранина — это тоже История, осознаваемая запоздало, но неизбежно. Пусть «неизбежно» — сильное слово, нуждающееся в подтверждении; ничего похожего, неотвратимого в воспоминаниях Дударева о Волкове нет, но вот в появлении Жанны с ее настойчивыми, упрямыми вопросами есть и неизбежность, и справедливость. Автор не закон выводит, а всего лишь рассказывает, что бывает и так, бывают случаи, но не зря же Дудареву кажется, что у Жанны какое-то «непривычное понимание жизни, смерти, души», что Вол-

ков существует для нее «реальнее, чем несколько лет назад, когда он был жив». Объяснять эту реальность женской экзальтацией, запоздалым раскаянием, болью воображения, странным, необычным приливом и отзвуком далекой романтической любви военных лет — по переписке! — когда не суждено было ни коснуться другого, ни услышать его голоса, ни увидеть его глаз? Да, да, конечно, всем этим! Но только ли этим — воскрешающим сегодняшним чувством, сегодняшней энергией совести и памяти, сегодняшним возмещением невольной вины?

Может быть, самое дорогое в повести то, что эта реальность словно обособляется от всего, что ее возвращает и в ней нуждается, она существует и воздействует самостоятельно. На того же Дударева. На нас. Существует и воздействует как целеустремленная духовная сила, как может существовать и воздействовать сильная человеческая личность, выходящая за пределы отработанных, трафаретных представлений, но сообразованная с каким-то своим строгим строем представлений о жизни и похожая — особенно если наблюдать из отдаления лет — на некое непреклонное небесное тело, знающее свою траекторию. Я готов даже прознести слова о теплом свете, якобы излучаемом этим телом. Надо же отличить его как-то и побыстрее от других вариантов силы с их разящими траекториями... Но эти мягкие, вполне вроде бы подходящие слова здесь неуместны; много точнее другие: свет ума, ясного сознания и культуры как ответственности...

В житейской истории Жанны, которую она рассказывает Дудареву, нет ничего похожего на трогательные и бессмысленные легенды о верности мертвым и долго отсутствующим. Она жила бодро и весело, был муж, были другие, всплывали романтические зарницы, но вместе со средними годами явилось стойкое разочарование. «Мужчины были вовсе не так умны, как представлялось ей в молодости. Все больше попадались бесхарактерные, закомплексованные, плохо работающие, а главное, скучные и недалекие». Это сказывались «обычные требования разочарованной женщины средних лет», как шутит Жанна, но словно в ответ на них вспомнился Волков, ее «идеальный возлюбленный». Вспомнился и остался. Когда же она узнала о нем скрытую от нее правду, он стал для нее реальностью, перевернувшей ее сознание и чувства. Вся скопившаяся в ней за жизнь ложь вдруг ожала ее; она увидела себя глазами Волкова в тяжелейшие для него дни: «пре-

дательство!», «низость!» — отныне она нуждалась в очищении, в искуплении. Она отыскала Дударева, ей нужно было, чтобы «кто-то знал»... Чтобы «кто-то знал, почему так вышло». Дударев недоумевал: что это изменит? Он уже пережил непрошеное возвращение Волкова, словно в чем-то выверенном, навсегда усвоенном его потеснившее; его уже обожгла в свой черед старая ложь и привычка к ней, но все равно он недоумевал: что изменит?

Гранин закончил повесть так, чтобы мы попытались ответить на этот вопрос. Проводив Жанну на вокзал, Дударев идет по Невскому: «...фонари не зажигали, было светло илюдно», и нигде не было теней: ни у кого, ни у чего. «Проспект плыл, колыхаясь в этом идущем ниоткуда свете». Никогда прежде Дударев не видел города «таким легким, воздушным»: «Рассеянная неуловимость света придала всему загадочность. Незнакомая мне красота была во всех этих известных мне с детства домах, перекрестках».

Странная Жанна с ее Волковым поправилась Дудареву, это так, и мир просветлел отчасти поэтому, но в открывшемся вдруг торжестве света, в его рассеянной неуловимости было и что-то иное, как-то внутренне связанное с тем, что было узнано и пережито. Это была какая-то возвращающаяся красота, он снова ее видел. Это был свет ниоткуда. Он сознавал, что все это странно, он испытывал «признательность и удивление»; он догадывался, откуда шел свет...

Я не скажу здесь ничего неожиданного: свет шел от Волкова, от Жанны, оттого, что все это было — пусть горестно, неправдиво, но наперекор всему — в каком-то остающемся людям, завершеном, побеждающем смысле прекрасно.

Гранин написал в Волкове то, что пишут теперь редко: духовную жажду, ясное самостоятельное мышление, веру в знания, в культуру, добросовестность в слове и деле. И все это — объективно, без неумеренной авторской любви, почти документально (письма, показания очевидцев) зафиксировав реальность человеческой личности, чья первая и резкая особенность — строгая, едва ли не педантическая дисциплина ума, ищущего прямых ответов и лучших решений. Стоит ли говорить, что это малорасполагающая, неудобная особенность, выдающая слишком серьезное и требовательное отношение к себе, к другим, к мысли, к поступкам...

Своеобразие умственного уклада, стиля, речи... Нечастое достоинство современных литературных героев. Оно есть в письмах

Волкова. Оно есть настолько, чтобы отделить его от автора, от Жанны, Дударева, остальных как другого. Как другой угол зрения и другую систему отсчета. Не как что-то высшее, лучшее, а как другое; этого достаточно. Или профессор Любичев со своей «странной жизнью» научил Д. Гранина так высоко ценить другое, несхожее с собой ли, с нормой, стандартом, и оставлять его таким? Оказывается, мыслящее существо по-прежнему интересно прежде всего тем, что оно существо мыслящее и упорствующее в своих мыслях.

Понять судьбу Волкова — может быть, понять природу высоких и крутых траекторий Высоких? Для кого? Разве что для Волкова, сына прачки и весовщика, приложившего уйму сил, чтобы выбиться из бедности, отгесненности, образоваться и самообразоваться, сочинять музыку, писать рассказы, изобретать, изучать архитектуру, живопись, античную философию, окончить технологический, стать руководителем конструкторского бюро, ополченцем... Или еще для Жанны, полюбившей его... И пусть не сразу — для Дударева...

Дудареву понятие судьбы казалось надуманным. Он не различал в своем прошлом «никакого единства». Были какие-то пестрые «обрывки». «да и те куда-то сдувало». Это ощущение схоже с почти постоянным трифоновским мотивом: его героев куда-то несло, волокло, тащило, сносило, сдувало... Ну а Волков писал Жанне: «Я сам творил свою судьбу...» Задавая себе вопрос: «Не могла же моя жизнь катиться просто так», — Дударев осознает, что отвлеченные вопросы этого рода не надуманы и что судьба в человеке может проступить «с завидной выпуклостью», как что-то счастливое или несчастное, но высокое...

Есть в повести и трезвый взгляд на вещи, на все это романтическое самоутешение: судьба, высота, выбор... Писатель не мог его опустить. Это тот самый пронизывающий потребительский взгляд, от которого приходилось оборонять героев «Блокадной книги».

Захваченный волковскими письмами, Дударев вдруг принимается читать их вслух дочери и зятю. «Зять слушал, опираясь на дверной косяк. Бледно-розовый, рыхлый, скучающий, он был так похож на первого ее мужа, что я не понимал, какой смысл было их менять». Они слушали из вежливости, он читал дальше из упрямства. Когда чтение закончилось, зять сказал: «Мы оставили в коридоре мешок с бутылками», — и Дударев откликнулся: «Ладно... Поезжайте». Разговаривать было не о чем.

Про зятя и дочь Дударев думает нехорошо. Можно съест это старческим ворчанием, непониманием новых реальностей, но думает он так. «Оба они строчили диссертации, оба оценивали свой успех должностью и степенью И чужой успех — так же. Они скучливо доказывали мне, что это показатель объективный и всеобщий майор стремится стать подполковником, полковник генералом, кандидат доктором, доктор членкором. Маленькая должность показывает низкую ценность человека, неспособность подниматься по служебному косоугру. Жаждо восхождения движет прогрессом. Им нравилось восходить, взбираться. Понижение у них означало неудачу, все равно что сорваться с кручи»

С этой точки зрения траектория Волкова — траектория падения. С кручи Да и вообще про его должности написано невнятно. Были ли они достаточно высокими, чтобы обеспечить поистине высокую линию судьбы?

Однажды Жанна спросит у Дударева: почему Волков развелся с женой? Дударев не помнит. Тема не получает развития.

А разве не интересно, какой смысл менять мужей, если они такие одинаковые, бледно-розовые и скучающие? Но и эта тема не получает развития.

Д. Гранив мог свернуть в эту сторону. Продвинулся в известном направлении Но стоило ли? Там такая кипит работа... Такое перетягивание каната... Он продвинулся в ту сторону в «Картине», чуть-чуть, отдал дань, но много ли добился? Он добился, когда привел своего Лосева к отказу от карьеры...

Получает развитие тема человеческой судьбы, тема мыслящего существа, живущего согласно своим идеалам, знаниям и своим мыслям.

Увлекаемся таинственным, чудесным, боимся скуки трехмерного пространства... А вот Дударев вспоминает Волкова, «тяжелое его, вдумчивое спокойствие, словно бы он знал о грозящей ему опасности, но относился к ней как к неизбежному злу, как мы относились к ледяной воде, затопившей окоп... Он решил высказать свое мнение, чего бы ему это ни стоило. То есть он как бы заранее принимал беды, которые грянут над ним» Сколько же неразгаданного, непонятого в человеке встает за этими словами, сколько тайн духовного мужества, его непостижимой природы!

Особая горечь воспоминаний-размышлений о Волкове в том, что обнаруживается, проясняется относительность того, что много лет назад казалось самым твердым, не-

оспоримым, обязательным, даже абсолютным И одновременно — абсолютность того, что выглядело в ту пору чем-то несерьезным, наивным, бессмысленным, опрометчивым.

Может быть, природа духовного мужества в том, что кто-то обнаруживает это несовпадение раньше других?

Вспомнилась прочитанная недавно рецензия: речь шла о Кинге, парикмахере первой величины, герое пьесы В. Арро «Смотрите, кто пришел», хозяине жизни, молодом человеке с запросами и с толстым кошельком. Говорилось, что Кинг такая сильная, яркая личность, что он, хотя и не герой нашего времени, но как бы и герой, почти уже герой, потому что яркий, сильный и чего-то хочет, и даже нашей интеллигенции не мешало бы у него подучиться...

Многое должно сместиться в понимании первооснов жизни, чтобы искать и находить героя там и среди тех, где русская литература героев никогда не искала.

Уже сравнивают Кинга с чеховским Лопухиным: новая сила валит, интеллигентские гнезда скупеет... (в пьесе продают писательскую дачу).

И ничего, в порядке вещей, прекрасная, тонкая параллель: там — русский купец, тут — советский парикмахер, там действует мощная, инициативная социальная сила, здесь — факир на час, гений модной стрижки и славных чаевых...

Другие сопоставления — художественного свойства, — наверное, лишни. Факир на час хорош в своей собственной роли временного и мнимого героя. Может ли серьезный критик не заметить или недооценить этой мнимости, выдавать ее за что-то иное, преувеличенно сильное и активное?

Итак новая сильная личность, свежий ветер в наших коридорах, молодой человек о чем-то, говорят, мечтает, куда-то, говорят, стремится...

Читая критику, призывающую вглядываться в нового героя с почтением и даже некоторым образом брать у него уроки — времена репетиторства! — я испытываю чувство сопротивления. С такой уверенностью и напором пишут о повышенной и завидной сложности, противоречивости, двойственности и тройственности новых реалистов — новая, полная правда о человеке, не иначе! — что порою кажется, пишут, а за жизнь совсем не оглядываются: какая она там? Хватает ближайших впечатлений, и при этом словно надеются, что жизнь подстроится к литературе, будет ей под стать, согласится!

Герои грининской повести или женские голоса в книге С. Алексиевич — не отказ ли жизни от такого согласия? Разве не движет ими сознание, что человека нельзя мерить и выравнивать по нижней отметке, разве не напоминают их судьбы, что высшая отметка существует?

Литературе жизнь возражает через литературу. И многому в себе самой — тоже через литературу. Как бы ни хотелось жизни придерживаться высшей отметки, это трудно исполнимо и порою невозможно. Жизнь, а следом литература знают все уровни существования человека, его усреднения, нивелировки, падения, но при этом сохраняют и поддерживают ощущение нормы, идеала, высокого удела. Когда литература поступает этим, не побоюсь сказать, вечным правилом человеческой жизни, она даже как бы бравирует: вот что я могу! Я вообще могу обойтись без вашей пресловутой, надоевшей четкости, без тусклого света старых фонарей: добро — зло, низкое — высокое, мелкое — крупное. Нет этого ничего, ни порознь, ни вкупе, а есть просто жизнь. Д. Грину не интересно, как его Волков жил с женщинами, и напрасно, многое потерял, может, с этого и следовало начать, с какой-нибудь фронтальной мало-приглядной интрижки — для равновесия, для правды! В «Знаке беды» В. Быкова чего только нет, а о личной жизни Петрока и Степаниды ни слова! Неужто они ни разу друг другу не изменяли, неужто такие святые? И опять же зря, потому что неполная правда выходит, нежизненная! А В. Каверин в «Загадке» изобразил юношескую любовь и ничего истинно впечатляющего, натурального не ввернул — разве это наши дни с их прямоотой, отсутствием всякого жеманства, с их целеустремленностью?..

Действительно, альтернатива В. Быкову или В. Каверину в этом роде существует, мне приходилось писать о ней и прежде (см. «Литературное обозрение», 1981, № 8). Эта альтернатива опирается, как я понимаю, на изображение человека сиюминутного, с обстриженным прошлым, с обстриженными социальными связями. Он помещен в частное и как бы нейтральное время. Нам предложено так его и понять. Войти в его положение. Его не обличают и не возносят, он есть, — и это главное. Причем если он — человек не очень порядочный, то в упрек ли он обществу? Общество может принять его как упрек, а может и не обратить внимания. Если гражданин убегаёт не от гражданства, а от женщин с детьми, то стоит ли обществу терзаться и винить себя? Если кривоваты ноги, а это, как следу-

ет из наблюдений, связано с повышенной возбудимостью, то общество тут ни при чем. И так далее.

Могут сказать: вот истинное время человека и вот истинный человек. Вас угнетает привычка этих людей к дурному? Вам неуютно в благоухающем цветнике «девушек в голубом» Л. Петрушевской? Вас отталкивают пылкие речи персонажа из пьесы А. Ремеза «Что-нибудь одно» о том, что ему ненавистно слово «выбор», что хватит себя обкрадывать, стеснять, обременять, лишать свободы?.. Ничего, именно так приходит прозрение, именно так преодолевается моральный догматизм.

Если не покидать этого частного, «истинного» времени, то можно и преодолеть. Но покидаешь, и тогда возникают препятствия. В виде, например, таких слов из письма Уильяма Фолкнера профессору У. Беку («Советская культура» от 14 июля 1984 года): «Я все время писал о чести, правде, сострадании, уважении, способности вынести горе, несчастье и несправедливость и затем вновь страдать и терпеть. Я изображал людей, которые поступали так не ради награды и не для того, чтобы восхитались ими, а ради самой добродетели. Они поступали так для того, чтобы жить, оставаться самими собой и остаться самими собой, когда пробьет твой час. Этим я не хочу сказать, что каждый лжец, негодяй и лицемер будет корчиться в лапах дьявола. Я думаю, лжецы, лицемеры и негодяи спокойно умирают каждый день в ореоле того, что называют святостью. Я не говорю о них. Я не пишу для них. Но думаю, что есть люди, их не обязательно много, которые читают и будут читать Фолкнера, а они скажут: «Да, все так оно и есть. Лучше быть Рэтлиффом, чем Флемом Сноупсом. А еще лучше быть Рэтлиффом и не знать, что такое Сноупсы».

Возникают и другие препятствия в этом же роде. Их много, и преодолевать их не хочется, потому что препятствуют они не человеку, не искусству, не правде, а каким-то разрушительным силам, активным во все времена.

Якобы истинному сиюминутному времени не желательно, чтобы его покидали. Его герои как в банке с крышкой. Оно и пытается закрепить за собой, по-свойски и даже запанибрата давая понять, что оно-то, если без всяких там церемоний и декламаций, и есть самое захватывающее, всех соединяющее, общеинтересное время и только в нем люди играют, не фальшивя, свои подлинные человеческие, мужские и женские, роли.

Сиюминутное время предпочитает обходиться без времени исторического. Оно его слышит вполуха или не слышит совсем. Оно как бы естественно всеобщее время, а то — искусственно всеобщее. Это Тургенев, то ли по наивности (больше правды!), то ли по чрезмерной привязчивости к своему времени, мог писать, начиная роман: «10 августа 1862 года, в четыре часа пополудни...» Теперь так не пишут; 60-е, 70-е, 80-е годы — не все ли равно, не все ли едино? Истинное время ближе к вечному; сюминутный человек по преимуществу занят вечными делами: любовью и выяснением супружеских отношений... Иногда он прогуливает на поводке собственную тонкую душу... Как какой-нибудь Феденька Луняшин из семеновского «Городского пейзажа». При чем тут ваши 60—80-е? Тем более какое-нибудь августовское или сентябрьское число? Философия человеческого существования формулируется естественно, просто, навсегда: жизнь — цель жизни, жизнь — приятная привычка. Или так: давайте жить как играть и играть как жить. При таких формулах жизнь персонажей освобождается от бремени лишних вопросов и лишних страстей, не способствующих укреплению здоровья, от влияния вчерашних или нынешних дат, от всяких исторических пуг, приобретаемая легкость, раскрепощенность и упоительную самососредоточенность!

Или это в самом деле такие времена? Или героям хочется думать, что это такие особенные, новые времена, а писатель не знает, соглашаться с ними или нет? Не стоит герою (рассказ Г. Семенова «Приятная привычка») обронить фразу: «Это грех, милая Жанночка? Если это грех, то что же тогда самонаводящаяся ядерная боеголовка?» — как мы будем обязаны почувствовать эту особенность века, всю малость и простительность наших заурядных прегрешений, их в некотором роде трогательную пустяшность и беззащитность. И ладно бы герой обронил эти слова шутя, как-то смягчая неловкость ситуации, — так нет же, всерьез! Он, может быть, сам те боеголовки начинает («работает там, куда не проникла еще ни один журналист»)! Но стиль мелодраматически дрогнул и фальшивой преувеличенностью выражений выдал всю игровую пустоту и мнимую значительность эпизода. «„Это грех?“ — спрашивает он, и лицо его искажается страданием падающего, подстреленного на ходу, невинно убиенного человека».

Неплохо? И вы думаете, что эти неизменные страдания как-то связаны с боеголовками? Возможно, но в рассказе тому

доказательств нет. Зато есть знакомые доказательства, что герой и его неприятная жена находятся «в разных измерениях». Жанна предлагает герою себя вместе с дачей, богатством, но богатство поработит, а любовь не нужна; он привык к легким победам над женщинами — сообщается, что ни одна еще не устояла, такой неотразимый! — ну что ж, победил еще раз... А из-за чего страдает? Бог весты! Разве поймешь гуляющего сюминутного человека? Это только кажется, что человек все свое носит с собой. Тут иначе: работа оставлена на работе, прошлое — в прошлом, все прочее — во всем прочем, страдания — страдающим, а он себе налегке, немного загадочный, такой сильный... Что ему годы, десятилетия, ваше «историческое» время?

И в этой, и в других историях, рассказанных Г. Семеновым («Наш современник», 1984, № 5), много точных, уверенных, безупречных описаний жизни, ее своеволия, гибкости, иногда странности. Семенов вообще, может быть, из лучших наших художников, но того особенного рода, что сильны более в частностях, чем в целом. Эти частности могут складываться в рассказы и повести, но удивляют они и радуют сами по себе порою больше, чем в соединении и связке. Что сюжеты, думаешь иногда, что идея и общий замысел, когда так блистательно написан дом, где только что забили, освеживали быка и продают парное мясо... Или как, к примеру, ест, насыщается, не может насытиться некая девица Лизавета, магически привлекательная своей красотой, ленью и способностью не толстеть... Или в какой поэтический ряд вдруг выстраиваются охотничьи ружья разных фирм и систем в рассказе «Запах сгоревшего пороха»!..

Но этот рассказ особый: не из лучших ли рассказов года? И что в нем? Какие непомерные, загадочные, вечные страсти? Одна страсть — охота, ружья, но на дворе сорок седьмой год со всеми его суровыми чертами, и юноша, живя впроголодь, покупает «одностоволку с медово-желтым ложе и плоскими черными щечками замка» — покупка написана с яркой отчетливостью забываемого праздника, — и следом — отстрел ворон в московском зоопарке... Просят стрелять, нужно: объедают вороны хищников... Это же первая охота, ее нервная дрожь, и досада, и страх обмануть ожидания — в том-то и дело! — ожидания голодных братьев обещанного им сытного ужина, и первая удача, и радость, и угар азарта... И наконец за оградой зоопарка, чуть ли же на Садовой, — не заметил как, когда — оч-



нулся над новой счастливой добычей, над большой, «чуть ли не с курицу» птицей, и вдруг увидел удивленный взгляд хмурого милиционера и его подзывающий жест...

Если бы история была как большак, шумящий день и ночь поодаль... Или как Садовая с ее милиционером и возмущенной толпой... Но история в этом охотничьем приключении живет от начала его и до конца, и шестнадцатилетнего героя рассказа от нее не отделить. Да и зачем? Это же только кажется, что что-то происходит поодаль и можно сходить полюбопытствовать, а можно и не ходить... Зачем сочинять миф о независимости человека от обстоятельств его времени, от всепроникающего их влияния? Граверы истории стараются, но типический рисунок на материале разной податливости и чувствительности проступает по-разному, тиражируясь в бесчисленных вариантах. Такая зависимость не означает какой-то всеобщей автоматической подчиненности и предопределенности. Речь всего лишь о том, что человек с его судьбой понятнее, когда прочитан в историческом контексте. Немало посмеялись над тем, что среда заела и четверг заел, но, сколь бы много ни значил сам по себе человек, не стоит, наверное, сбрасывать со счетов среду с четвергом...

У Феденьки Лунышина из «Городского пейзажа» был старший брат. Деятель в области киноискусства. С неиссякаемой выдумкой и щедростью устраивал он для младшего брата какие-то сказочные обеды. Когда плотно и вкусно ешь, внутренняя установка «жизнь — цель жизни» приобретает наивысшую содержательность. Но старшего брата неожиданно посадили.

Когда на телевизионном обсуждении поведи немолодая женщина, известный литературовед, выступавшая почему-то в роли наивного читателя из зала, — такова уж была режиссура! — заметила, что автор напрасно не объяснил старшего Лунышина, ей сочувственно сказали, что объяснения устарели, что это-то и прекрасно и вообще хватит разжевывать...

Устарело, говорят, то, что всегда делала хорошая литература: объясняла людей. Почему они такие, а не такие и что с ними происходит? Объяснения были очень сложными и неокончательными, но были. Да и разве от художника юридической определенности ждут? Если, допустим, человек жил как играл, а играл как жил, то хотелось бы заодно понять, в какой такой замечательной пьесе он был занят, каково игралось, безумствовала ли публика и на сцене какого театра давался спектакль.

Что ж, если это на самом деле театр, сказал Отар Чиладзе, то железный, и новый роман был назван «Железный театр» («Дружба народов», 1984, №№ 7—8).

Можно вообразить: куются мечи, скрепляются сабли, лязгают цепи, гремят кандалы, катятся ядра, позвякивают ордена, клацают затворы, скрежещут танковые гусеницы; во весь задник стальные листы и заклепки — не вырвешься.

И неверно: «пьеса» про любовь, да еще с южными страстями, изломами, разрывами, с неистовством, даже с самоубийствами. Одна семья, другая семья, пересечение путей в одном поколении, соединение — в поколении другом. И, соответственно, время действия: тридцать с чем-нибудь лет, конец одного века — начало другого, не наше вроде бы время... И через все — глубокая, претворенная в редкостной художественной слитности текста авторская убежденность, что сама жизнь — слитность, цельность, единое дыхание...

Не рассоединить, одно другим не заслонить, не выстроить универсальную иерархию значений, надолго не противопоставить, не обособить навек счастье и несчастье, беду и радость, правду и ложь, время и безвремя, низкое и высокое, борьбу и терпение, дом и баррикады, человека и народ и так далее. Или: человека и историю.

Да, это поэтическая слитность; она вдохновлена жизнью, но в еще большей степени привнесена в жизнь художником. Это та национальная и общечеловеческая поэзия, что открывает или возвращает человеку в истории его высокий смысл, одухотворяя, казалось, бессвязные речи обыденщины, обнаруживая в них свой порядок, борьбу, ненаправленность, обещание будущего.

В романе и в самом деле есть театр — батумский, и один из главных героев книги — актер, «неистовый мечтатель и закореный бунтарь», и обе эти роли ему предстоит отыграть наравне с еще одной или тремя — мужа, отца и зятя высокого тбилисского сановника.

Где же сам человек? Что навязано ему в тех ролях, что выбрано им самим — умом, призванием, талантом, всем естественным? Или, может, пустым тщеславием, злым умыслом, низким побуждением?

Старая метафора: жизнь — театр, а человек — актер на сцене. Услышать ее в детстве — не в радости; детство серьезно, оно уверено, что все в жизни по-настоящему.

У О. Чиладзе тоже все по-настоящему. Цинизм притворщиков в этой концепции истории не соучаствует. Роли играть прихо-

дится, но это не свидетельствует против человека и его природы. Еще у маленького Андро не прорезались зубы, а батумский полицмейстер уже развешивает заблуждение его матери «считать своего сына единственным или хотя бы в первую очередь лишь своим сыном, а не еще одним солдатом империи, еще одним ее чиновником или, наконец, еще одним ее бунтовщиком». Все предусмотрено, режиссеры режиссируют на всех уровнях, и другая мать, играя роль дворянки, вытаскивает своего сына в военную гимназию, думая о нем и не забывая о своей «красивой жизни», о пудре, ликере и папиросах до конца дней. И если кто-то играет навязанную, насильственную роль, как послушный сын Саба Лапачи, то это мучительное актерство. Отобран мундир, отнято былое значение, человек использован, выжат, и Саба Лапачи в отчаянии думает, что он и «не годился ни для какой настоящей роли»...

Отставной полковник царской службы Саба Лапачи считает себя маленьким человеком; морская свинка «по приказу рока» вытащила ему из ящика этот листок и это не лучшее время. принесшие ему в конце концов пустоту, разочарование и одиночество; он ссылается на рок, чтобы легче было справиться с отчаянием...

Но не рок хозяйничает на этой грузинской сцене. Роли навязанные или выбранные играют и отыгрываются, но как отчетливо серьезна их психологическая и социальная основа. За суфлера могли бы сойти полицмейстер или тбилисский сановник, но им хочется нашептывать свою излюбленную пьесу, а автор ее и постановщик — все-таки жизнь... Отар Чиладзе повторяет: «Жизнь кипела, жизнь была ключом... жизнь продолжалась, бог весть сколько раз униженная, битая, обманутая, не унывала, не сдавалась и по-прежнему кипела, по-прежнему была через край». И еще, и еще раз: «Жизнь кипела, жизнь была ключом».

Жизнь — это рождения и смерти, детство и старость, гости в доме, треск стеариновых свечей, первые паровозные гудки, нефтяная лихорадка, гарнизонные парады, рука цензора, вымарывающая слово «Грузия», убийство Ильи Чавчавадзе, день его похорон — «день скорби и плача», соединивший нацию, забастовки рабочих, баррикады и уличная стрельба, тринадцать гробов на городской площади, товарные вагоны с людьми и лошадьми — для войны и любовь, наступающая в свой срок...

Эти приливы и отливы бьющей через край жизни и, значит, энергии, надежды, бодрости или равнодушия, бессилия, то-

ски... Эти затяжные «прыступы» ожидания «невесты чего», когда «ждали в бездействии, без веры и надежды», ждали «чего-то без образа и имени», и «бессмысленное ожидание заставляло жить бессмысленной жизнью, хитрить и лицемерить...».

Человек включен в коловращение жизни, подчинен ее авторству, ее разбрасывающим и соединяющим силам, временным и вечным. Выделить и отделить его можно, но не настолько, чтобы он сыграл абсолютно независимую роль. Да и так ли она интересна, эта отделенность, в сущности, всегда мнимая?

Жизнь у О. Чиладзе представлена в ее исторической конкретности (документальной и художественной) и одновременно — в ее всеобщности, в простиупающей типологической «вечной схеме». Описание дня («В Семипалатинске Илья Накашидзе учил юридические ссыльные петь «Мравалжамьер». Полицмейстеру не давали спать мысли о тбилисском артисте...»), а следом с постоянством рифмы к чему-то, что было раньше и всегда, почти писание о вечном порядке человеческого бытия: «Все шло вкривь и вкось, в море не хватало песка, в небе звезд. Нога соблазняющая по-прежнему сбивала человека с истинного пути. Рука соблазненного по-прежнему сама собой тянулась к чужому...»

Вечное обновление и вечная повторяемость. Обновляемая повторяемость, повторяемость обновления, опровергаемая повторяемость. «Лисица сторожила курятник, волк — овчарню»? Так? «Мученик валяется в пыли, а мученический венец увенчивал голову льстеца»? Опровергается сама типология этого вечного зла, его тотальность. Опровергается не только «бегущей стрелой» Истории, все новым и новым отказом трудящегося, подвластного человека от омирения, но и трагической судьбой артиста-бунтаря, его отчаявшейся невестки, погибших, но не согласившихся... Отвергается возвращением в жизнь его сына Гелы, надеждой на его мужество и честь.

Театр, видно, и в самом деле железный, если выстаивает под распирающим, расшатывающим его изнутри, разламывающим напором жизни, ее старых и новых страстей?

Но драма не в этом: железо выдержит. Драма героев романа в другом: человек какое-то время не знает, что пьеса его судьбы разыгрывается на железных подмостках, но однажды он, мягкий и теплый, юный и веселый, натывается на острые грани, на этот холод, эту твердь, слышит это громахьянье...

А. Аннинский пишет, что «в художественном мире Отара Чиладзе нет будущего, настоящего и прошедшего времени, а есть время всегдашнее». Всегдашнее время мифа.

Может быть, и так. Если это миф о «железном театре» истории... Метафора действительно стара и вроде бы даже элементарна, но роман, думаю, отрицает эту элементарность. «Всегдашнее время» хорошо уже потому, что это и наше живое, общее время. Мелькнувшая в глубине романа мысль о том, что «человек, как земной шар, заключен между двумя ледяными полюсами, прошедшим и будущим, и впереди то же самое, что позади — заледеневшая тайна, белая морозная пустота», эта мысль оспаривается и преодолевается живым переживанием давнего, глубокого, вроде остывшего времени, как близкого, нечужого, отогретого воображением и знанием, включенного в нашу сегодняшнюю историческую память, в сегодняшнее наше самоузнавание. «...ибо, как сказал поэт, кто я такой и каков я по совести — это объясняется теми, кто передо мной и за мной» (М. Поздnev).

Или чем дальше назадмотришь, тем больше видишь? Больше вряд ли, но даже «заледеневшую тайну» все-таки можно оттаять, и уж, во всяком случае, человек в его обусловленности обстоятельствами эпохи, в своих сильных или жалких ответах на их вызов бывает виден неплохо...

Без малого полвека отделяет нас от предвоенной поры. Война в литературе нашей, художественной и документальной, все крупнее, различимее, а предшествующее время не то чтобы мельче, но отдаленнее, глуше, как бы в тени, отброшенной войной, словно война никакая еще не история, а то — уже история, нужны архивные поиски, реконструкция...

Конечно, это не так, и тоже нашлись бы живые голоса, чтобы остаться на магнитной ленте, да и сами будущие писатели уходили на фронт воспитанниками тех предвоенных лет. Но, снова и снова возвращаясь на войну в своих книгах, лишь немногие из них захотели подняться еще выше по реке времени. Разве что В. Астафьев («Последний поклон», «Кража») и К. Воробьев («Почем в Ракитном радости», «Тетка Егориха»? Или менее известный костромской писатель-фронтовик В. Корнилов в романе «Семигорье»? Или В. Быков в «Знаке беды»? Или Д. Гранин, через своего Сергея Волкова перебросивший мостик на тот, предвоенный берег?..

Но вот к тому берегу кристалл Борис Ва-

сильев, написавший роман «Завтра была война» («Юность», 1984, № 6).

Самый конец 30-х, канун великой общенародной беды. Хотя и отдаленное, затененное, но слишком задевающее, близкое время, чтобы превратиться, скажем, во всегдашнее. Никакой, разумеется, поэтики мифа, или притчи, или какой-нибудь фантазмагии — реальности повседневного быта, романтические цвета и тона, немного элегической грусти, такой понятной... И немного мифотворческой энергии, тоже легко объяснимой: все-таки они существуют, мифы о босоном детстве, об отчаянной юности, о всякой дорогой, неповторимой поро...

Что ж, все это естественно. Так или иначе, думаешь, а работа художественного познания совершается, воспитанники рассказывают о воспитании, создается образ времени и человека, ему обязанного...

Создается он так.

«От нашего класса, — пишет автор, — у меня остались воспоминания и одна фотография». Фотограф наводил на преподавателя, края расплылись, и теперь автору иногда кажется, что «расплылись они потому, что мальчики нашего класса давно отошли в небытие, так и не успев повзреть, и черты их растворило время».

«Отошли в небытие», «растворило время» — это, вероятно, эпичнее, художественнее, подумалось мне, чем «убиты», «умерли от ран» и т. п. А эпичность — это значит спокойствие, рассудительность, знание того, что неизбежно и чего можно избежать, обретенная мудрость... Мудрость возраста, например... Но пролог романа заканчивается словами о том, что не хочется поддаваться возрасту: «Я хочу вернуться в те дни, стать молодым и наивным...»

Роман, вырастающий из воспоминаний? Скорее всего, что так. В прологе автор (расказчик) знакомит нас со своими школьными друзьями, дает ощутить воздух эпохи: «Мы принесли с этой встречи (с испанскими детьми. — И. Д.) ненависть к фашизму, переполненные сердца и по четыре апельсина».

Может быть, в этом стиле, бойко уравновешивающем очень разное, и воплощается желанная наивность? Впрочем, определить, что наивно, то есть невинно, прямодушно, по-детски чисто, а что нет, порою бывает затруднительно.

Вспоминая, можно преувеличить или преуменьшить наивность героев, а то и выдать за нее свои сегодняшние о ней представления. Особенно это опасно, когда индивидуальное в вероях подменяется или заслоня-

ется коллективным, всеобщим — коллективной наивностью, коллективной единообразной патетикой и т. п.

Воспоминания о далеком тридцать девятом начинаются с того, как девочка, любившая «проворачивать всяческие мероприятия», потащила одноклассников в фотоателье. «Представляете, — ораторствовала она, — как будет интересно рассматривать фотографии, когда мы станем старенькими бабушками и дедушками!» Но детям, а были это семиклассники, не повезло: перед ними «спешили увековечиться три молодые пары, старушка с внучатами и отделение чубатых донцов». Донцы стали в упор разглядывать девочек «бесстыжими казачьими глазами», и любительница мероприятий поспешила увести весь класс в соседний сквер, а там, «чтобы мы не разбежались, не подрались или, не дай бог, не потоптали газонов, объявила себя Пифией» и «начала вещать»: «...каждого ожидали куча детей и вагон счастья». Она вещала: «Ты подаришь людям новое лекарство!.. Твой третий сын будет гениальным поэтом!.. Ты построишь самый красивый в мире Дворец пионеров!..»

Именно так вступаем мы вместе с автором в ту далекую теперь жизнь. Нам обещают удивительнейшую память (три молодые пары), «отделение донцов» и т. п.) и не менее удивительную групповую, хоровую психологию, приподнятое, праздничное ощущение жизни.

Автор рассказывает, что уже в восьмом классе он догнал в росте отца — кадрового командира Красной Армии и старая отцовская форма перешла к нему: гимнастерка и галифе, сапоги и командирский ремень, шинель и буденовка из темно-серого сукна. «Я надел эти прекрасные вещи в один замечательный день и не снимал их целых пятнадцать лет. Пока не демобилизовался. Форма тогда уже была иной, но содержание ее не изменилось: она по-прежнему осталась одеждой моего поколения. Самой красивой и самой модной».

Попробуйте-ка во всем этом разобраться! Например, в том, когда все-таки случился тот «замечательный день», чтобы «надеть» и «не снимать»?.. Вероятно, уже шла война, и «замечательный» и «надел» — это образно говоря? И все остальное — тоже образно говоря?

Искра Полякова, любительница «проворачивать мероприятия», однажды примерила гимнастерку и сказала: «До чего же в ней уютно. Особенно если потуже затянуться ремнем».

Автор говорит, что часто вспоминает эти

слова Искры, потому что «в них — ощущение времени». «Мы все стремились затянуться потуже, точно каждое мгновение нас ожидал строй... Мы были молоды, но жаждали не личного счастья, а личного подвига...» Но еще не знали, что «подвиг надо сначала посеять и вырастить. Что зреет он медленно, незримо наливаясь силой, чтобы однажды взорваться ослепительным пламенем, всполохи которого еще долго светят прадедским поколениям».

Прекрасно вроде бы сказано, возвышенно и образно, но что-то здесь не так, чересчур много образности, уже не жизнью веет, а легендой... С первых же слов об отошедших в небытие накапливается и накапливается — чуть-чуть, и еще чуть-чуть, и еще немного, и еще, и еще — какая-то театральность, бравурность, плакатность... Прото, как «уютно» было девушкам в гимнастерках, мы достаточно прочли у С. Алексиевич...

Не припомнить, чтобы в нашей военной прозе, героической по всему своему духу, говорилось что-нибудь похожее на то, что «подвиг надо сначала посеять и вырастить» и так далее. Рискну утверждать, что лучшие ее страницы всем своим реальным историческим и психологическим содержанием, всей немалой художественной силой противостоят, а иногда противопоставлены риторике именно этого рода. «Мы все», повторяет автор, «весь класс», «все ребята», и ему кажется, что он убедительно говорит о поколении и его монолитности. Но поколения — в жизни, в романах ли — это люди, индивидуальности, личности, и по ним судим, каково поколение, и никогда, по крайней мере в искусстве, наоборот, исходя из каких-то предположений, пожеланий или чрезмерных риторических обобщений.

Итак, герои романа. Школьники, совсем еще дети... Мы расстанемся с ними в канун сорок первого года. В сорок первом они закончат девятый класс. Дальнейшая их судьба в эпилоге: сводка подвигов, потеря, послевоенных успехов. Очень много героического, исключительного, но вполне возможно, что есть прототипы, и сомневаться в чем-то нелегко. До самого конца не оставляет надежда, что имеешь дело с романом-воспоминанием, с романом-свидетельством, пусть уступающим лучшим образцам в этом роде — романам В. Семина, например, — но все-таки что-то свое несущим, outstanding...

Так о чем же свидетельство? Если в эпилоге — время итогов, время после жатвы, то в романе — время посева подвига, его взращивания. Вы свой «первый бой выдержали»

ли», говорят юным героям романа, вы теперь «обстрелянные» парни и девчата, знаете, почему фунт лиха. Вы — «второе поколение нашей великой революции!» Значит, в романе, опять-таки образно говоря, время первого боя, время закалки.

Поначалу автор сомневался, справится ли он со своей задачей: «...уже не сама действительность, а лишь представление о ней сегодня властвует надо мной». Опасения были преодолены, да и сквозила в них некоторая преувеличенность. Разумеется, той действительности в полном объеме больше нет, но в то же время она и есть, потому что наши дни — ее продолжение, да и вообще, так ли она далека, чтобы нельзя было сверить хотя бы некоторые из своих представлений? Важнее, какова природа исходных авторских представлений, велика ли их основательность и в каких отношениях находятся они с той самой отдаленной действительностью?

«Вот оно как было!» — должны подумать миллионы юных читателей романа. Из авторских представлений в свой черед вырастут и укрепятся их исторические представления. Не скудные, скупые строки школьного учебника перед глазами, а роман, его даль, живые голоса, характеры, поступки сверстников; не отвлеченности, а конкретность, соприсутствие в другом времени и, значит, новое осознание себя, хоть самую малость, да новое, позволяющее видеть и понимать больше... И если в самом деле так? Если в идеале всегда так? Разве такое уж частное и безобидное дело — авторские представления, из которых вырастают роман или повесть? Разве природа их и направление могут быть безразличными критике?

А события в романе Б. Васильева совершенствуются драматические... Впрочем, иначе какая закалка? Кто-то читает Есенина — скандал, дознание, чуть ли не вражеские проiski, разложение молодежи. Директор школы, добрый человек, исключен из партии: ошибочную ведет линию. Один из городских руководителей — орденоседец, герой гражданской войны — и вдруг арестован. Его дочь, девятиклассница, кончает жизнь самоубийством. Ее грозили исключить из комсомола, она не хотела отречься от отца...

«Какие непростые представления о жизни! — наверное, думает читатель. — Какие ужасные события!»

Ужасные и сложные. Но они таковы только в том случае, если их отделить от романа. В контексте романа они выглядят иначе, и механика их проще, чем представляется сразу. Посудите сами: не успеем мы узнать, что директор исключен, как он уже

восстановлен; орденоседец, подозреваемый, оказывается, в растрате, вскоре выпущен на свободу; преследует за Есенина, доносит на директора, грозит исключением из комсомола и вообще всемерно, без устали воплощает злое начало и всяческую несправедливость некая учительница литературы; остальные взрослые люди все как один благородны и смелы: вступаются за орденосеца, хлопчут за директора...

Все живы-здоровы, а Вики Люберецкой — так звали погибшую девочку — больше нет. Много драм, а действительная-то — одна. Вернее, могла стать действительной, если бы автор сколько-нибудь серьезно на ней сосредоточился и дал нам почувствовать ее мучительную неизбежность. Впечатление такое, что автор принес свою героиню в жертву сюжету, идее, идейной сбалансированности, роману в целом. Он так спешил с самоубийством Вики, что не очень-то озаботился психологическими и прочими мотивировками. Вот и вышло: какие-то считанные дни после ареста, идет следствие, Вика убеждена, что отец никакой ни растратчик, весь класс ей сочувствует, а она: «...в смерти моей прошу никого не винить». Девочка, объясняют нам, не захотела откалываться от отца. Но разве кто-нибудь заставлял ее откалываться? Тем более от отца-растратчика? Вроде бы замышляла это проделать злое, всемогущая, неодолимая Валентина Андроновна, та самая учительница литературы. Но отец Вики еще не осужден, он растратчик только по слухам, и это что-нибудь да значит в возникшей ситуации даже для Валентины Андроновны... Или самоубийства не должно быть, или для него должны быть иные причины — вот что выходит. А иные причины — это другая мера правды: исторической и художественной.

О каком же первом бое речь? С кем, за что? Да и разве хоть что-нибудь похоже происходящее на бой?

Героические деяния Искры Поляковой и ее друзей, видимо, заключаются в том, что они участвовали в похоронах самоубийцы, а сама Искра, не убоявшись материнского ремня, прочла над могилой подружки несколько есенинских строк.

В определенных условиях героическими могут выглядеть и самые простые, даже элементарные поступки. Беда в том, что определенные условия не написаны.

Ну хорошо, не бой, так закалка. Это есть: юные герои сталкиваются с печальными событиями, несколько отвлеченно, но узнают, почему фунт лиха, открывают для

себя сложность и даже запутанность жизни. Они незаметно приучаются к мысли, что бывает все, всего можно ожидать, и злого и несправедливого, но в свой черед и то и другое будет исправлено, устранено, и совершается это как бы само собой, словно срабатывает какой-то совершенный и безотказный механизм. Может, даже и к лучшему, что не все так гладко: крепче будут нервы, дисциплинированнее ум и воля...

Что же войдет в исторические представления читателей этого романа? Тогдашняя закалка воли и чувств? Твердое сознание того, что все и всегда само собой образуется? Это странное отсутствие желания что-либо понять? Или та удивительная наивность, с какой чуть ли не все мыслимое зло воплощено в одинокой, дочерна зачерненной фигуре учительницы?

Думаю, что этот роман не раздвинет нашего времени, хотя, кажется, он к этому стремился. Мы остаемся при старом и неполном знании, при том, что имеем, а урок, что нам преподан, — урок повторения, или повторения повторения, при котором точность утрачивается, и общее, основное, важнейшее конкретное, единственное, и год сороковой, и год тридцатый готовы чуть ли не слиться в образе единого, мифологизированного, предвоенного времени, чьими постоянными, невыцветающими приметами служат чюновская кожаная куртка, буденовка, стремление «затянуться потуже», любовь к авиации, к поэзии Э. Багрицкого, слово «комиссар» как «символ веры, символ чести»... Как бы ни были хороши сами по себе эти знаки преемственности, но, воспроизведенные в романе Б. Васильева с чрезмерным литературно-романтическим нажимом, они, кажется, подменяют собой какие-то другие, более конкретные и новые черты движущейся истории. Конечно, кое-какие другие черты есть: разговаривают о доверии к человеку, о презумпции невиновности, осуждают слабовольных людей, есенинщину, заклиная не отрекаться от отцов. Но и в этой злободневности чувствуется что-то знакомо приблизительное, какая-то обязательность, привнесенность, какое-то благое намерение и, может быть, литературная инерция. Или все это — качества самого стиля романа? Стиля, удовлетворяющегося приблизительным? Полуправдой, полуполуправдой? Стиля, как бы опьяненного легкостью рассказывания? Легкостью монтажного искусства? И потому утратившего художественную сосредоточенность и самовызискательность?

Не могу забыть авторского признания:

«Я хочу вернуться в те дни, стать молодым и наивным...»

Вернуться значило в чем-то главным взглянуть на мир своими тогдашними глазами, глазами своих друзей, мальчишек и девочек тех лет. И автор попытался это сделать: он стал каждым и увидел каждого. И воспользовался своим могуществом...

Как известно, истинно художественное произведение, помимо прочего, независимо: от поветрий, веяний и моды. И не поддается разного рода эпидемиям...

Тут другой случай. Припоминаю роман, где на первых страницах героиня бежит бегая во ржи. Это как-то сразу захватывало. Здесь у Б. Васильева все начинается с того, что девочка Зиночка раздевается дома перед зеркалом. Воспроизведен этот акт с тонкими и популярными у нынешних мастеров художественного письма — от Е. Евтушенко до Р. Киреева — подробностями и с немалой психологической неправдой всего описания, где вместо наивности искушенность...

Где там нашим классикам было понять девичью психологию! Да и была ли в минувших веках эта психология? Но в нашем-то, передовом и прогрессивном, она точно есть! И вот, перевоплотившись в Зиночку-одноклассницу, автор вводит нас в переживания из-за того, что бедра Зиночки никак не хотели «наливаться», но все-таки «хоть чуточку да раздались». Ну и для полноты реализма — в девичьи страдания из-за теплого белья, которое заставляют надевать родители... И белье это, и сопутствующие неудобства написаны автором с энергией и тщанием...

Популярный постэротизм. Способен ли он что-нибудь добавить к нашим представлениям о людях предвоенной поры? Или еще точнее — о детях тех далеких лет?

Есть в этом романе и отзвук амбивалентности в том ее варианте, когда сложности вроде избыток, а концы с концами не сходятся и сводить их автор то ли не хочет, то ли не может... Мать Искры Поляковой — работник горкома партии — ходит в сапогах и кожанке, призывает к беспощадной борьбе с врагами революции, отвергает расхождения дочери о доверии к человеку, обличает рефлектирующий интеллигентов, но застывает за одного из них в тяжелую минуту и, наконец, время от времени полосует дочь широким солдатским ремнем. При этом она кричит «коротко и зло, будто отстреливаясь»: «Лечь! Юбку на голову! Живо!» После порки девочку «мучительно долго трясло», на теле оставались «жгучие красные полосы», наказания были необъяс-

нимы, но Искра как ни в чем не бывало не чаяла в матери души. считала ее идеалом комиссара... Странно? Невероятно? Вы пытаетесь все это как-то связать, обнаружить какую-нибудь логику в поступках, в чувствах, — пустое занятие. Сказано же: *разжевывать незачем!* Или эта наша растерянность признак того, что, как говорит поэт, «форма трещит на плечах содержания» неминуемо сложного? А может быть, само это содержание небрежно и бесформенно нагромождено, недостаточно обдуманно и понято, не уложено? И в итоге — бесформенность формы, ее внутренняя неосновательность, беглость и описательность, преуспевающие в частности, но бессильные в постижении целого и связанного, действительно сложного? Да и упомянутый нами эротизм с его мнимой смелостью, навязчивостью и почти непререкаемой пошлостью не есть ли замещение, прикрытые каких-то существенных пробелов в знании и понимании человека, его обстоятельств, стремлений, возможностей и судьбы? И даже элементы мифологического толка, как бы соединяющие и осмысливающие времена, всегда ли свидетельствуют о глубоком и самостоятельном социально-историческом мышлении, о развитом и последовательном художественном мировосприятии?

У Б. Васильева энергия несправедливости и тупого фанатизма сосредоточена в той частичной учительнице литературы. В этом, кстати, тоже есть что-то мифологическое.

Такая персонификация зла встречается нередко. Из живого сцепления обстоятельств выделяется и обособляется какое-нибудь одно, иногда самое из всех подчиненное. В романе-сказке Анатолия Кима «Белка» это упрощенное миропонимание отвергнуто. Как отвергнуты и многие другие, примитивные, на взгляд автора, представления о природе зла, об устройстве жизни, о человеческой сущности. Если признать, что документалистика («У войны — не женское лицо» С. Алексеевич и др.) заземляет литературу, то «Белка» А. Кима —вольный полет художественной фантазии, высочайший порыв духа. Первые рецензии указывают именно на эту особенность книги: автор развернул «панорамную картину современного мира, где реальное перепелось с ирреальным, бытовое с фантастическим... На самые мучительные вопросы времени писатель ищет и нередко отыскивает ответы в тайниках человеческих душ». Текст романа насыщен притчами, фантастикой, чудесами, философичностью; **не роман — глобальная метафора: «...звез-**

ри, хищные и кровожадные, принимают людской облик, стремясь вытеснить с планеты подлинных людей.. против человечества зреет заговор оборотней».

Метафора без преувеличений глобальна: она пытается объять всю жизнь, всего человека и все человечество. Она явлена и неоднократно формулируется с такой настойчивостью, что ясно: в ней — центральный ответ на «мучительные вопросы времени».

Есть смысл проследить, как выстраивается эта метафора. Главные герои романа — молодые художники, талантливые, неординарные люди, их четверо — «созвездие друзей». Один из них наделен даром чудесного перевоплощения в кого угодно; он-то и ведет рассказ, верткой белкой — он чувствует в себе это беличье начало — перебрасываясь из одной души в другую... Преимущественно это души друзей — при жизни, в полном здравии, в безумии, а то и после жизни. Даже так. Но при давнем ожидании и призывании нашей критикой чего-то необычайного эти посмертные скитания души как-то не удивляют: ждали — и дождались. Удивительное в другом: четыре души, четыре сознания, четыре таланта едины, едины в своем восприятии окружающего их мира. И единство это, проступающее с возрастающей отчетливостью, в том, что они-то четверо — «созвездие», а люди не видят этого, не чувствуют, не понимают и, занятые собой, заслоняют или гасят свет таланта... Собственно, люди ли гасят?

Оглянись в мизантропическом раздражении с чувством превосходства и ты увидишь рядом с любимой «здоровенную и добродушную моржиху с усиками», в магазинной толпе — клацающее когтями «мохнатое семейство бурых медведей», а в некоем футболисте — «помесь бульдога с унитазом»... Старик сторож, посмеявшийся тебе перечить, мигом превращается в хвостатого, «с ошейником на длинной жилистой шее» пса, вдоволь порывавшего по помойкам... Мать твоей учительницы, потрясенная любовной связью дочери с учеником, всполошенная, препятствующая, конечно же, «крапчатая курица», «несчастливая клуша», разновидность «широко распространенного оборотня»...

Ну и далее еще и еще оборотни: прохожие, знакомые, должностные лица, родственники, чем-нибудь да не угодившие, чем-нибудь да оттолкнувшие, раздражающие... Разбежавшийся московский зоопарк: этот напоминал «суслика, вставшего на задние лапы», тот был «обыкновенный поросенок», старая художница кашляла, «как тигрица», и бегала с «дрвороством бегемота», с

визгом промчались «две здоровенные девачки, молодые, гладкие антилопы... трясая грудями»; собственная жена оказалась «буйволицей», перетирающей «жвачку... тягучих дней», и т. п.

Но вот что странно: не сюжетные козни нарастают (истинно крупное событие — убийство Акутина — представлено как случайность, хотя в нем и замешана черная свинья), а философствование о кознях. Оно несколько однообразно, не блещет новизной, но напора и страсти хватает: «множество самых разных оборотней снует меж людьми», неисчислимые скопления оборотней «кишат между подлинными людьми и зверьями»; «вы лучше подумайте о коварстве тех, которые весьма успешно прикидываются людьми»; «по-прежнему звери, столь удачно маскируясь под людей, портят жизнь, и поэтому вся земля кипела ненавистью и злобой».

Шутка моя о разбежавшемся зоопарке явно неуместна: это оборотни. Их заговор.

Но метафора, неубедительная в своей конкретности, наберет ли убедительности и силы, приняв глобальный и тотальный размах?

Е. Юкина, высказавшая свои сомнения по этому поводу в отзыве на роман А. Кима («Новый мир», 1984, № 12), пожалуй, права; мне хотелось бы лишь сильнее оттенить внутреннюю несообразность и неоправданность глобальной метафоры.

Нас, к примеру, спрашивают: не хотим ли мы знать, «в чем выражается высшее коварство звериного заговора?»

Разумеется, хотим. А выражается оно в том, что мать одного из героев, сельская учительница, в старости заболела: с «животной алчностью» набрасывалась на еду, «со страхом и ненавистью» следила за каждым куском, перепавшим сыну, прятала продукты, а на людях «вопила и жаловалась», что сын морит ее голодом. Сын ходил за обезумевшей матерью до конца ее дней, но любовь к ней «переродилась в нечто противоположное», позволявшее иногда вязать ее вожжами...

Тяжелая история, тем более тяжелая, что заболел и сам герой. Художественность в таких случаях — это величайшая деликатность в назывании и умалчивании. Безмерная боль человеческая, отчаяние, муки совести, невозможность спасения, глубоко уходящие корни психического расстройства... Но боль сокращена: герой захвачен мыслью, что в ужасной болезни матери и в том, что он не состоялся как художник, повинны «зерна бесовского заговора» «врагов человеческих».

Мыслью о заговоре мир в романе как бы упорядочивается и упрощается. Хвостатые полпотовцы должны быть понятнее своих бесхвостых прототипов. «Подлинных людей» помимо «созвездия друзей» в романе ничтожно мало, но что поделать, если друзьям не повезло и заговор направлен не столько против человечества, сколько против них, или, возможно, против человечества в их лице. Для ясности картины противоборства «подлинные люди» сильно «сокращены», как бы подразумеваются.

А как же Белка? Тоже заговорщик? Он существо особое: хоть и зверь, во «мирный, не хищный»: «...я не могу быть с оборотнями в одной стае». Главный герой, убивший в себе белку, также не состоится как художник, превратившись в «чиновника невысокого ранга». Убить белку — убить художническую интуицию, воображение, фантазию, а это непоправимо.

Отдадим должное смелой и богатой фантазии Белки, его нередкой пронизательности, но сны его разума породили не столь уж страшных чудовищ, как может показаться... И глобальная метафора вряд ли раздвинет пределы нашего понимания человека, жизни и времени, тех опасностей, что им угрожают. Переименовав человеческие козни в звериные, многое ли объяснишь? Да и чрезмерное настаивание на метафоре заговора пошло ли на пользу роману как художественному произведению?

В одном из рассказов Х. Л. Борхеса спрашивается: «Какое слово не произносится в тексте загадки, если загадано слово «шахматы?» Ответают: «Шахматы». И поясняют, что в романе ли, притче, загадке «задуманный предмет» не упоминается, его проблема не дебатруется: «...избегать какое-то слово, употреблять неловкие метафоры и заведомо надуманные перефразы и есть... лучший способ натолкнуть на мысль о нем».

Возможно, в романе А. Кима будет отыскано это неназванное слово. Пока же в нем преобладает названное той глобальной метафорой, и эта новая сводимость реальной сложности мира опять же ничуть не лучше прежних.

Кто как, а я предпочитаю метафору «железного театра» Отара Чиладзе, выстроенную на твердом фундаменте социальной истории во времени и пространстве и указывающую лишь на место и характер действия, но оставляющую «задуманный предмет» неназванным...

Роман А. Кима можно рассмотреть иначе: как объективное свидетельство о состоянии современного художественного сознания, о его внутренних противоречиях, о по-



исках выхода и самостоятельности, но об этом, вероятно, еще будет кем-нибудь написано.

Пока же, проникнувшись поэтической риторикой эплога, призывающей «работать для накопления всеобщей энергии добра», особенно пожалеем лишь об одном: торжествуют отвлеченности, современная ситуация мифологизируется, истина не проясняется, реальности времени и места ускользают...

Это только кажется, что мифов не хватает; мифов-то, может быть, переизбыток, от них устают, ищут достоверности, невыдуманности, соприкосновения с ускользающей реальностью.

Не потому ли чтима документалистика, что говорит о действительном времени всех, о реальностях неопровержимых, наполненных историческим смыслом, несущих необходимую, еще неизвестную весть?

Не тем ли дороги нам лучшие произведения военной и деревенской прозы, что через них в нас отгесняется мелкое и возрождается лучшее — лучшие силы подлинного, общественного человека, человека для других, для общества и страны? Возрождается или поддерживается чувство времени, соединяющего всех, восполняется его подлинно историческое реальное содержание?

Для других — надо, вероятно, оговориться — вовсе не означает какого-либо противоестественного и невозможного, по сути, отказа от себя, от своей личности, передачи себя, так сказать, в общественное пользование, скорее наоборот — это то, чего часто недостает человеку для его подлинного самораскрытия и осуществления.

Герои А. Кима не сбываются как художники, может быть, потому, что велика их самопоглощенность; заговор тут, пожалуй, ни при чем.

Иногда хорошо понимаешь Александра Проханова: он ценит реальности дня, видит в них знаки и черты эпохи. пишет романы о стройке в Сибири, о творцах городов будущего, о социально-политической борьбе в разных концах света. Он знает, что сознание современного человека так или иначе всю эту злободневность вмещает или должно вмещать, и не как беглую, постовонную информацию, а как нечто действительно серьезное, способное задеть и растравить ум, потребовать каких-то решений.

В романе А. Проханова «Африканист» («Знамя», 1984, №№ 3—4) советский кинорежиссер обдумывает в Мозамбике свой новый фильм. Поначалу этот герой похож на

почетного зрителя в ложах экзотического театра, потом сам вовлекается в драматическое действие, идущее на раскаленных железных подмостках... Все очень похоже на правду, изложено энергично, с журналистской сметкой и наблюдательностью, страстно и даже горячо. Но, думаю, прохановскому герою и здесь и в других романах вредит усвоенный им стереотип мышления, особенно какое-то облегченное, бравурное чувство времени. В ощущении и истолковании 60—80-х годов преобладает патетическое начало; видима полная историческая конкретности порою обманчива. Автор и его герои — люди одного поколения; оно кажется им замечательным. Они охотно вспоминают молодость, чтобы объяснить нам себя, а заодно ход истории. Они воссоздают в памяти время молодости, как «всеобщее время», то есть «все его так понимали и чувствовали». Это было время, когда «небывало долгая передышка, дарованная историей», позволила им, «детям, проживающим жизни убитых в сражениях отцов», кинуться «жадно в познания, в развлечения, в творчество». Они торопились «наговориться, наспориться, налюбиться, напутешествоваться. Зачитывались Хемингуэем и Авакумом, слушали роки и крестьянские песни, путешествовали в Псков и в Париж. Покидали коммуналки и заросшие московские дворники, въезжали в малогабаритки, казавшиеся в ту пору хоромами, с крохотной кухней, где сидели, сбившись на своих вечеринках, неутомимые в пересказе азов, казавшихся тогда откровениями Песни Пахмутовой и яркая улыбка Гагарина. Много часовые монологи Фиделя. Вышли в космос и освоили целинную степь. Отыскивали сибирскую нефть...»

Вы чувствуете, как вас подхватило и несет?! Не следует спрашивать, куда они так спешили, на что жили, на какие кровные катали в Париж, словно во Псков, и за какие труды праведные получали палаты каменные. Не следует также спрашивать, почему в конце тирады поколению, да еще в его московском и очень частном варианте, вдруг приписано сделанное всем народом.

Но, словно предугадав наши вопросы, другой герой романа, думающий и чувствующий одинаково с первым («душа в душу, мысль в мысль»), тотчас возразит: «В нас, Кирюша, в нашей молодой судьбе, если подумать, народу был дан как бы роздых. Нет, не праздность! Наоборот — трудились, да как! Это вранье, что бездельничали, что развлекались! Может, так никогда и не трудились. Пол-Казахстана распахали, это тебе не аллею лип посадить! Океанский флот

построили... Это еще потомки поймут. К другим планетам рванули, улыбочка-то наша белоснежная, гагаринская, просверкала над миром. Новые города заложили. Нефть из болот достали. Да что там! Вкалывал народ как никогда...»

Нет, лучше не спрашивать... Заметьте: «народу был дан как бы роздых» — в их молодой судьбе... Тут все характерно: и лексика, и логика, и пафос. И закончена эта речь знакомо: народ «вкалывал».

Что ж, типовой прохановский герой, чрезвычайно близкий автору по мироощущению — иначе не объяснить постоянства, с каким оно воспроизводится, — тоже входит в состав нашего литературного самосознания и самооценки. Но пока он таков и пока он ключевая фигура в прохановском мире, вряд ли он сумеет выразить то, на что претендует: «всеобщее время» в его реальной исторической конкретности.

В год сорокалетия великой народной победы над фашизмом многие, думаю, благодарно вспомнят нашу военную прозу, художественную и документальную, избравшую своим героем подлинного, достойного человека. Как знать, может быть, в немалой мере именно военной прозе обязано наше общество высотой и бескомпромиссностью многих нравственных убеждений, стойким стремлением к исторической истине, своим возрастающим, укрупненным знанием о героизме народа в годы войны.

Лучшая военная проза раздвигает наше живое время: с нею дальше видим, лучше понимаем человека в истории, с нею духовно сильнее.

Там, в ее жестоких пределах, не очень-то уютно сегодняшней душе, но там высокое небо, там люди при жизни «выигрывают процесс», который непременно нужно выиграть, чтобы жить, чтобы общее время народа не прервалось

Я вспоминаю Федора Абрамова, Чингиза Айтматова, Сергея Залыгина, Гранта Матевосяна: а разве у них не так же? И во многих других книгах, где есть народная жизнь, увиденная художником, — у Белова, Астафьева, Быкова, Бакланова, Бондарева, Можаяева, Распутина разве не так?

Люди разные, пестрые, не сводимые ни к какой упрощающей, якобы универсальной, убогой схеме, зарабатывают на хлеб,

растят детей, строят дома, пасут скот, пахут и сеют — живут и действуют, отстаивая свое понимание долга, совести, чести, справедливости и народного интереса.

Сильный художник поражает нас нормальностью и чистотой своего зрения, своего восприятия всего содержания, всех форм жизни; иногда он возвращает нам эту нормальность и отчетливость. Разве не есть искусство — укрупнение людских лиц, слов, чувств, поступков, спасаемых от рассеивания и забвения, от все смыывающих волн смерти и заново воссоединенных для новой, как бы концентрированной жизни, дающей нам шанс все случившееся разглядеть и во всем разобраться... Укрупнение способствует отчетливости и пониманию: человек выпадает из счета на миллионы-миллиарды и независимо от своего положения на лестницах успеха, престижа, дарований становится центром пусть малого, но мира; циркуль сюжета все круги описывает вокруг него; он неделимая единица, а не какая-нибудь многомиллионная часть, мельчайшая дробь. Эта особенность перемещает все, возникает свой внутренний счет времени внутри всяких больших и глобальных счетов и периодизаций, не противопоставленный, скажем, им, а наполняющий их сложным, живым смыслом и подлинной содержательностью в противовес жесткому схематизму и упрощению.

Это тоже не новость, но почему-то сегодня ценишь именно эти качества: противостояние искусства смерти и насилию, его гуманность и демократизм, его способность чувствовать основное историческое движение жизни, слышать ее живые голоса, нередко перекрываемые шумом так называемого информационного взрыва.

Образ нашего живого времени в литературе не может не быть противоречивым. Это естественно. Он и написан будет неравномерно, с разной искусностью и правдой. И это тоже естественно.

Лишь бы наше время в литературе осталось живым и неискаженным, все помнящим и все несущим с собой — нашим общим домом, местом нашего действия, нашей родиной. И чтобы над головой оставалось высокое небо...

Кострома.

# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**О. Новикова, Вл. Новиков.** В мире простых истин.— **Светлана Соложенкина.** «...поэзия — это биография...».— **Алла Марченко.** Поэты и портреты.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**В. Острогорский.** Амнистии не подлежат.— **Ф. Новиков.** Пионеры советской архитектуры.

## Литература и искусство

### В МИРЕ ПРОСТЫХ ИСТИН

**В. Каверин.** Собрание сочинений в 8-ми томах. М. «Художественная литература». 1980 — 1983.

**В. Каверин.** Наука расставания. Роман. «Октябрь», 1983, № 5.

**К**ритика и литературоведение пока больше говорят об отдельных произведениях Каверина, чем о его творчестве в целом. В результате складывается парадоксальная картина: место писателя в литературном процессе чуть ли не каждая статья или рецензия определяет по-своему. Автор «Двух капитанов» стабильно числится среди ведущих мастеров литературы для детей и юношества, попадая в различной длины обоймы в историческом интервале от Гайдара до Алексина. «Открытая книга», «Двойной портрет» и «Двухчасовая прогулка» дали основание объединять Каверина с Граниным, Грековой, Кроном и другими прозаиками, изображающими жизнь науки и ученых. Не раз оказывался Каверин и с теми, кто посвятил свои произведения художественной интеллигенции: еще в 1928 году В. Гоффеншефер разбирал в рецензии роман Каверина «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове» и «Козлиную песнь» К. Вагинова; роман «Перед зеркалом» в литературном сознании 70-х годов связывался с повестями Нагибина, Трифонова, Битова о писателях, художниках и актерах. «Освещенные окна» нередко упоминались в одном ряду с мемуарными книгами М. Шагинян, В. Катаева, Л. Мартынова. Новый роман Каверина «Наука расставания» в купе с давней повестью

«Семь пар нечистых» обеспечил автору надежное место в когорте представителей военной темы. Но и это еще не все: на основании последних повестей Каверин был удостоен некоторыми критиками звания «сорокалетнего» — это сближение заявлено А. Байгушевым («Литературная Россия» от 20 апреля 1984 года) и аналитически обосновано М. Амусиным («Нева», 1983, № 10), отнесшим сказочную повесть «Верлюка» к характерным явлениям современной фантастико-бытовой прозы вместе с романом В. Орлова «Альтист Данилов» и книгой Валерия Попова «Жизнь удалась»...

Можно ли сфокусировать эти разрозненные представления? Где подлинное и реальное место творчества Каверина на карте отечественной литературы?

Прежде чем попытаться ответить на эти вопросы, уточним, что сама карта литературы меньше всего похожа на обзорный список, на перечисление имен через запятую. Настоящих писателей действительно отделяет друг от друга нечто большее, чем запятая, и в то же время существуют связи и притяжения, основанные не на внешних тематических совпадениях, а на сходстве реальной роли в движении литературы. Добавим также, что литературная карта должна быть достаточно широко развернута во времени, что на нее нужно нанести прошлое, настоящее и будущее. Нередко

критика, замкнутая в границах сегодняшнего дня, принимает за уход в прошлое поиски новизны, а в художественном эксперименте не умеет усмотреть его традиционные корни. Произведения Каверина на протяжении шести десятилетий не раз были объектами поверхностных интерпретаций и оценок. Иные статьи 20-х и 30-х годов, где идет речь о Каверине, сегодня нельзя прочесть без грустной улыбки, однако и в последнее десятилетие куда более профессиональные и корректные рецензии повторяют, по сути, те же историко-литературные aberrации. Обобщая суть критических претензий к работе Каверина в масштабе полувека, мы обнаруживаем, что все это время писатель от кого-то «отстает». Недовольство то старомодностью, то чрезмерной литературностью каверинских произведений высказывали даже те, кто вполне благосклонно оценивал творчество менее ярких писателей. Впрочем, такой парадокс восприятия наблюдался уже не раз, причем в роли отстающих нередко бывали авторы, которым было суждено надолго остаться в литературе. Может быть, это один из типологических способов построения литературной судьбы — «отстать», чтобы остаться?

Так или иначе, писательский путь Каверина — дистанция стайерская, и судить о нем надлежит не по стометровым отрезкам. Молодой Каверин субъективно ориентировался на западноевропейскую романтическую традицию. «Из русских писателей больше всего люблю Гофмана и Стивенсона», — эпатазирующе заявлял он на страницах журнальной анкеты «Серапионовы братья о себе» в 1922 году. Однако сама фактура ранней каверинской новеллистики восходит к романтикам русским: В. Одоевскому, Вельтману, Марлинскому. Система резких контрастов, рельефная и разветвленная фабульность, гротескность характеров и ситуаций, скептическая ирония в сочетании с юношеским доверием к таинственности жизни — все это ощущается в новеллах Каверина «Пятый странник», «Пурпурный палимпсест», «Столяры», в фантастической повести «Большая игра» и в сатирическом обозрении «Ревизор». Что же касается Гофмана, то он для Каверина, как и для других серапионовых братьев, был скорее паролем, условным символом, чем конкретным образцом.

Воскрешение опыта русских романтиков не было для Каверина стилизаторской задачей, поскольку оно осуществлялось с поправкой на опыт реалистической классики. Уже тогда определилась важнейшая

черта каверинской прозы — сталкивание в одном произведении приемов, восходящих к разным литературным эпохам, парадоксальное применение исторической поэтики к свежему, злободневному материалу. Такой способ работы нередко вызывал упреки в книжности, в том, что Каверин идет от литературы. Но важнее все же не от чего идти, а куда, к чему. Осваиваясь в мире литературы, очерчивая в нем собственное место, писатель неизбежно выходит на новые жизненные пространства. В то же самое время случается, что литераторы, добросовестно воспроизводящие житейскую эмпирику и не задумывающиеся над проблемой творческого определения, попадают во власть беллетристических шаблонов. Уважение к литературе, вера в ее возможности не отдаляют писателя от жизни, а приближают к ней, к ее непознанным сторонам. Сопоставление собственной работы со всем объемом понятия «литература» неизменно давало Каверину заряд плодотворного недовольства собой, помогало оттолкнуться от себя прежнего.

Романтическая история роковой страсти, рассказанная писателем в повести «Конец хазы», неожиданно обрела житейскую достоверность, психологическую мотивированность, а главный персонаж — байронический Сергей Веселаго — стал первым понастоящему живым человеком в прозе Каверина, прообразом героев-максималистов его последующей романистики. Сам конфликт обыденности и мечты, реального и ирреального лег в основу каверинского способа познания действительности. М. Чудакова писала однажды о «правильной» литературной юности Каверина. Эта формула имеет и нравственный и эволюционно-исторический аспект. С точки зрения последнего, думается, эта правильность состояла в том, что овладение реалистическим письмом было для Каверина не принудительной мерой, не насилием над собой, а плодотворным переходом к более широкому спектру творческих возможностей. Каверину удалось в пору своей литературной молодости вынести важный творческий урок из отстоявшей по времени на столетие молодости русской реалистической прозы.

Когда говорят о связи того или иного современного писателя с литературой века минувшего, ищут обыкновенно сходство тематических мотивов, вольные или невольные реминисценции, переключки. Такого рода литературоведческие пасьянсы легко сходятся, но мало что проясняют. Нам кажется, что целесообразнее искать в самой динамике творческого развития пи-

сателей нашего века отражение каких-то граней русской классики как единой системы, как целостности. Индивидуальное каверинское «чувство пути» сформировалось не без влияния той стремительной эволюционности, той постоянной напряженной борьбы, которой отмечен весь облик нашей классики, если ее видеть без хрестоматийного глянца.

Присмотримся к закономерностям творческого пути Каверина. После романтической повести «Конец хазы» он внезапно переходит к жесткой фабульной новеллистике, где все эмоции отодвинуты в подтекст («Голубое солнце», «Сегодня утром», «Друг миадо»). Освоив спринтерскую литературную дистанцию, он тут же берется за большой роман «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове», где ведет обстоятельный и серьезный спор со своим героем — колким и артистичным литературоведом-новатором Виктором Некрыловым. Затем Каверин отказывается от выработанной поэтической манеры и погружается во внутреннюю логику обыденной жизни, пытается отыскать в ее глубине источник поэтичности (повесть «Черновик человека»). Следующий шаг — к двуплановому фантастико-реалистическому повествованию романа-диспута «Художник неизвестен», романа, ставшего своеобразным памятником нашему дерзновенному искусству 20-х годов, в сторону музыкальной, приближающейся к стиху фразы.

Казалось бы, к началу 30-х годов Каверин окончательно определился как прозаик-эксцентрик, парадоксалист и выдумщик. Однако в романе «Исполнение желаний» он словно бы отходит от своих прежних вещей и начинает учиться точности психологического рисунка, спокойной, тургеневской интонации. Одни сочли это за отступление, другие решили, что писатель наконец «исправился». И те и другие ошибались: традиционнейшее «Исполнение желаний» было для самого автора экспериментом — попыткой соединить острую фабульность с пристальной диалектикой души. Эта нелегкая задача была решена, однако, только в следующем произведении — романе «Два капитана». Унаследованная от русской классики идея «самостоянья» человека, нравственного сопротивления личности обстоятельствам соединилась в «Двух капитанах» с той сюжетной целеустремленностью, с той упругостью фабульной пружины, которая свойственна романам Вальтера Скотта и Диккенса. Такая закрученность повествования не всем по душе, тем

более что она внешне расходится с обликом отечественного романа прошлого века. Что можно возразить на это? Да, для нашей классики фабула была делом второстепенным, на первом плане находился всегда внутренний драматизм личности, ее духовное бытие. Но дело в том, что действительность века двадцатого явила нам небывалое множество сюжетов, закрученных самой жизнью, множество человеческих биографий, внутренний драматизм которых сочетается с почти детективной напряженностью обстоятельств. Опубликовано немало писем читателей, которые в истории Сани Григорьева увидели обобщенное отражение своих судеб, а иные из читателей рассказывают о том, как они создавали свою биографию по сюжетной модели судьбы главного героя. В годы войны отклик на роман появился в американской прессе, причем изумление журналиста вызвали бескорыстие и одухотворенность главного героя, внутренняя стойкость «загадочной русской души».

Следующий роман Каверина оказался опять не похожим на предыдущий. «Открытая книга» строится на постепенном преодолении драматического начала, уступающего размеренному эпическому ритму. В жизни главной героини Татьяны Власенковой немало напряженных моментов, но на первый план автор выдвигает другое измерение судьбы — каждодневный мучительный труд, десятки и сотни ошибок и прозрений, малых поражений и побед, из которых постепенно складывается путь ученого, как, впрочем, и путь писателя. Много в этом романе требовало продолжения: к «Открытой книге» тесно примыкают роман «Двойной портрет», повести «Косой дождь» и «Семь пар нечистых». В творчестве Каверина второй половины 50-х — 60-х годов усиливается публицистическое начало, интерес к достоверным историям, к фактическим и документальным свидетельствам. Меняется и положение его в литературе: если прежде он ощущал себя «очень отдельным писателем» (слова В. Шкловского о молодом Каверине), то теперь его работа становится, по собственному выражению, более «соборной». Единомышленниками Каверина были в ту пору прозаики с ярко выраженным общественным темпераментом: Э. Казакевич, В. Тендряков, И. Эренбург, А. Яшин. Острая конфликтность мышления в сочетании с юношеской верой в справедливость объединяет этих не похожих по почерку писателей. «Во имя простых истин сражается Дон Кихот, в мире простых истин существуют

дети» — эти слова Каверина о Яшине характеризуют и его собственные принципы.

Говоря о пути писателя, надо учитывать, что не только он сам куда-то идет, а и жизнь порой устремляется ему навстречу. Так случилось с Кавериним: в конце 60-х годов его нашли (именно так!) письма одной почти неизвестной русской художницы и ее друга, ученого-математика, на основе которых Каверин написал неожиданный для себя самого роман «Перед зеркалом». История создания произведения исчерпывающе изложена автором в открывающем собрание сочинений «Очерке работы», отметим только своеобразную символичность данной истории: тема искала писателя, живой и нестандартный материал нуждался не в элементарной литературной записи, а в освоении по законам искусства. Присущая документу энергия подлинности заработала благодаря смелой трансформации самого документа. Так родился образ художницы Лизы Тураевой, примечательный необычным сочетанием женственности и творческой воли, так вдруг задышала по-новому почти ушедшая в прошлое форма эпистолярного романа.

Ну а потом автобиографическая трилогия «Освещенные окна». Вещь опять новая для Каверина — и по жанру и по теме — и в то же время закономерно связанная с предыдущей работой. Систему кристального исследования жизни другого человека писатель перенес на себя, перед зеркалом точного и беспощадного слова предстал собственный характер автора в процессе его формирования: от первых детских впечатлений до «второго рождения» — литературного дебюта. Чтобы правильно прочесть «Освещенные окна», надо понять, что никакие это не мемуары. Это роман без применения вымысла — жанр, который, что называется, редко, но бывает. Главное здесь — полнота памяти, доступная только художественному слову, не мемуарному. И характер автобиографического героя, открывшийся автору с полувековой дистанции, интересен как таковой, даже если вынести за скобки, что это будущий известный писатель. Достаточно вспомнить, скажем, попытку ложного самоутверждения героя на посту председателя школьного совета.

Или тема первой любви — казалось бы, что нового можно сказать на этот счет в русской прозе? Оказалось, что можно, если довериться подлинности, как это сделано в описании отношений героя с Валей К. В общем, точность не помеха художест-

венности. Хотя, быть может, художественность без вымысла дается только тем писателям, которые искусством вымысла владеют достаточно свободно...

Роман «Двухчасовая прогулка» был в какой-то мере возвращением к неисчерпанной проблематике «Открытой книги», однако новой в нем оказалась не борьба биолога Коншина за научную истину, а история любовная, даже, если угодно, идиллическая, — о том, как люди встретились, полюбили друг друга, поженились и, как в сказках говорится, стали жить-поживать и добра наживать. Идиллия — жанр рискованный, совершенно счастливый герой, как правило, отпугивает и читателей и критику, хотя, если задуматься, и эти мотивы имеют право на существование и развитие. Так или иначе, интерес к идеальным структурам был у писателя не случайным, и он переносит его на сказочную почву — заканчивает книгу «Ночной Сторож» и пишет повесть «Верлиока».

Любопытно, однако, что повесть эта, написанная в 1981 году и помещенная в восьмом томе собрания сочинений, более всего близка фантастическим новеллам 1922—1924 годов, открывающим том первый. Круг замкнулся — выявилось единство многолетних поисков: постоянно отталкиваясь от себя самого, писатель вернулся к исходному пункту.

Чем же обеспечено единство не похожих друг на друга произведений Каверина? Главная особенность созданного писателем образа мира — резкая и отчетливая антитетичность. Трудно назвать в современной литературе другого прозаика, для которого противопоставление было бы столь же важным способом создания сюжетов и характеров. Некрылов — Ложкин («Скандалист»), Архимедов — Шпекторов («Художник неизвестен»), Григорьев — Ромашов («Два капитана»), Власенкова — Крамов («Открытая книга»), Веревкин — Аламасов («Семь пар нечистых»), Токарский — Аникин («Косой дождь»), Остроградский — Снегирев («Двойной портрет»), Тураев — Карновский («Перед зеркалом»), Коншин — Осколков («Двухчасовая прогулка»), Вася — Пещериков («Верлиока»), Незлобин — Мещерский («Наука составления»).... Противопоставленность этих характеров не нуждается в аналитическом вычленении, она ясно и открыто дается читателю. Причем дается не как дидактическая подсказка, а как условие художественной задачи, как тема, подлежащая осмыслению. Эмоционально-смысловой диапазон этой галереи «двойных портретов»

широк — от сказочного противопоставления доброго и злого волшебников в «Верлиоке» до сравнения двух творчески-созидательных натур в романе «Художник неизвестен», двух разных типов нравственного благородства в «Науке расставания» или постижения индивидуально-неповторимых отличий двух любящих друг друга людей, каждый из которых по-своему близок и дорог автору («Перед зеркалом»).

Поэтика «двойного портрета» — гиперболическая условность, восходящая к романтической традиции. Каверинские контрастные пары персонажей даются не под знаком эмпирического правдоподобия, а под знаком авторского вторжения в жизнь, творческого заострения ее движущих противоречий. Характеризуя каверинский мир, было бы точнее говорить не о положительных и отрицательных героях, а о художественном сравнении двух видов человеческой активности — активности созидательной и разрушительной, граница между которыми не всегда отчетлива: для точности сюжетно-нравственного эксперимента Каверину и понадобилась такая тема, как жизнь людей науки. На этом материале особенную отчетливость приобретает образ истины. В науке не проходит вечная уловка фарисеев — легендарный вопрос «что есть истина?». Скажем, если права оказалась Татьяна Власенкова в споре с Крамовым о лечебных свойствах плесени, то мы имеем дело с полной и окончательной победой истины — не важно, что биологической, нам важно посмотреть, какое лицо бывает у истины, и запомнить на будущее. Пеницилин уйдет в прошлое, появятся другие лекарства, но мешавший его открытию Крамов никогда не будет оправдан. Много бывает в жизни промежуточных случаев, но для того, чтобы нравственно ориентироваться в амбивалентных ситуациях, надо иметь представление о полюсах, понимать природу противоборствующих крайностей. Есть свой час для сомнений и сложностей и свой час для мужественного подчинения единственной истине. Можно быть научным противником Остроградского, но нельзя — ни при каких условиях — быть союзником Снегирева, поскольку снегиревы ведут не научную борьбу, а борьбу с наукой. Воздадим должное литераторам, постигающим взаимодействие явлений, но сейчас мы говорим о писателе, исследующем их отдельность. И на этом пути реализующем творческую неповторимость. Жизнь бывает категоричной, а значит, нужны и художественные системы, категоричные в своей основе.

Категоричность, антитетичность каверинского мира проявляются и в отчетливой противопоставленности сюжетных концов и начал, завязок и развязок конфликтов. Невероятные совпадения, неожиданные встречи, жестко проведенные лейтмотивы — эти гиперболические особенности ранней новеллистики Каверин перенес на реалистическую почву, что вызвало претензии критиков, причем в ходе полемики нередко использовались аргументы типа «такого в жизни не бывает». Не будем тратить время на доказательство той очевидной истины, что в жизни бывает все. Задумаемся лучше о роли сюжетной гиперболы, о том, откуда берутся завязки и развязки. В жизни всегда что-то происходит, и это что-то можно передать разными повествовательными способами. В современных романах и повестях количественно более распространен такой способ построения, когда берется несколько линий, из которых складывается панорама или мозаика, причем завязки и развязки либо ослабляются, либо обрубаются. Акцент делается на сопоставление линий, а финал носит открытый (как в жизни) характер. Но едва ли стоит подобную сумму приемов абсолютизировать и возводить в норму. Более того, можно заметить, что боязнь острой фабульности приводит многих нынешних прозаиков к инерции и штампам. Избегая резких повествовательных движений, они невольно множат скучноватую совокупность будничных отчетов о событиях вполне правдоподобных, но ничего не добавляющих к литературному опыту осмысления жизни. Почитая завязки и развязки старомодной условностью, иные прозаики начинают свой сюжет с любого случайного места и в любом случайном месте его заканчивают. Рамки повествования при этом определяются либо стандартами книжно-журнального листажу, либо чисто календарными представлениями: день, прожитый героем, — рассказ, месяц — повесть, год — роман. Такие куски жизни при всей их похожести на повседневность отнюдь не всегда способны стать многозначной моделью жизни.

Нет, жизнь не бесфабульна. Мы живем и тем и этим, но в моменты серьезных раздумий наша биография то и дело выстраивается в строгую фабулу, жизнь обнаруживает свой действительно-результативный срез. Каждому человеку когда-то приходится размышлять над такими материями, как цель и смысл собственной жизни, решать, удалась она или не удалась. Каверинский мир — это концентрированное отражение именно этих минут, этой жизненной грани.

Старомодность сюжетов Каверина кажущаяся. Думаем, что присущая произведениям писателя энергия противопоставления будет осознана как один из перспективных путей развития русской прозы.

Наш разговор о творчестве писателя был бы неполон без обращения к еще одному измерению каверинского мира — измерению словесному. Каверинское слово прошло за шесть десятилетий трудный путь, постоянно переключаясь на решение новых задач. От саркастичной манеры ранней новеллистики, от беззаботной игры различными языковыми стилями и каскадами реминисценций писатель шел к стилю не столь эффектному внешне, но зато более индивидуализированному, личностному. Каверинский почерк узнается не столько по отдельным фразам, сколько по самому способу их соединения. Прочная слитность речи, умение владеть читательским вниманием на протяжении всего повествования — такова внутренняя задача каверинского письма: «Первая фраза связывается со второй, вторая с третьей — их ведет таинственная нить, без которой люди перестали бы доверять друг другу, без которой жалкая трусость заставила бы их думать только о себе, низкая злоба восторжествовала бы, а доброта металась бы, не находя себе места». Этот финал романа «Наука расставания» можно считать каверинским стилистическим автопортретом. Энергия юношеского макси-

мализма, звучащая в беспощадно-категоричных утверждениях, сочетается со спокойной умудренностью, с пониманием всей сложности жизни, таинственности ее глубинных связей. Смысл подтвержден интонацией, авторской словесной походкой.

Критика постоянно спорит об авторской позиции в прозаических произведениях. Однако внесловесной авторской позиции не существует. Вопрос о достоинстве тона, о внутренней правдивости художественной речи носит отнюдь не академический и не абстрактно-филологический характер. Как соединить большое и малое, низкое и высокое, как избежать патетического нажима и растворения в мелочах — над этой вечной задачей прозы бьется и новое поколение литераторов. Каверинский опыт сопряжения крайностей может быть в этом смысле поучителен.

Суть каверинского творчества раскрывается только через его поэтику и стиль. Острая фабульность — это движение самой жизни, не прекращающееся ни на минуту. Резкая очерченность характеров — отражение этической активности, недовольства человеком будничным и мечта о человеке будущем. А гибкость и разнообразие языка, сотканного из живой разговорной речи и книжной культуры, — это знак постоянного желания автора основательно и честно разобраться в жизни, знак мужественной готовности видеть вещи такими, каковы они на самом деле.

О. НОВИКОВА, Вл. НОВИКОВ.



### «...ПОЭЗИЯ — ЭТО БИОГРАФИЯ...»

Марк Лисянский. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. Стихотворения. 463 стр. Т. 2. Стихотворения, поэмы. 399 стр. М. «Художественная литература». 1983.

Марк Лисянский. Сигнальный огонь. Новая книга стихотворений. М. «Советский писатель». 1983. 160 стр.

**З**адумаемся над парадоксальностью сложившегося положения: М. Лисянский — одновременно поэт очень популярный и... Все знают М. Лисянского — автора песен, среди которых такой лирический шедевр, как «Моя Москва» («Я по свету немало хаживал...»). Едва ли и сам М. Лисянский, набросавший стихотворение на блокнотном листке осенью 1941 года и оставивший его в редакции «Нового мира», где оно впервые было напечатано, мог тогда предполагать, сколько людей будут повторять как свои эти слова:

И врагу никогда не добиться,  
Чтоб склонилась твоя голова,

Дорогая моя столица,  
Золотая моя Москва!

И уж конечно не знал он, что через много лет прочтет эти строки — «И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова» — не на бумаге, а на граните, на барельефе-монументе Славы защитникам столицы. Такую новеллистическую концовку могла придумать только сама жизнь.

Широко известна и другая песня на слова М. Лисянского, «Моя родина» («У Черного моря прошло мое детство...»). А кто из нас не напевал хоть однажды «Осенние листья шумят и шумят в саду»?..



Но есть и иной, мало знакомый мас-сово й аудитории М. Лисянский:

Я все преодолел: огонь и дым,  
Последнее «прости» тому, кто дорог,  
Желание казаться молодым,  
Когда тебе уже давно за сорок..

Не скажи я, что автор этих мужественно-сдержанных, горьких строк все тот же М. Лисянский, читатель вряд ли об этом догадался бы. А ведь поэт не стоит на месте — он напряженно ищет, пробует... Но по-прежнему при фамилии Лисянский слушатели оживляются: «Как же, знаем — «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!»

А критика? Нельзя сказать, чтобы поэт был обойден ее вниманием — о нем и писали и пишут. Причем уже на первый сборник М. Лисянского, вышедший за год до войны в Ярославле («Берег»), откликнулся в «Литературной газете» Ярослав Смеляков. С трудом себе представляю, честно говоря, чтобы сейчас на чей-то дебют, да еще не в столице, написал бы добрую рецензию маститый поэт. Да не для кого-нибудь — для «Литературной газеты»! То ли времена пошли иные, то ли расположение звезд было тогда как-то особенно благоприятно для М. Лисянского. Но звезды звездами, а значит, было что-то в этой первой книжке, заставившее обратиться на себя внимание и читателей и поэтической критики

Что же это такое, как определить как назвать? Критики и назвали — их с самого начала привлекла в М Лисянском именно его «обыкновенность» Иначе говоря, естественность поэтического дыхания. Кстати сказать, сам М Лисянский и посегодня продолжает утверждать что «естественность — самое прекрасное самое великое состояние человека, а значит и поэзии».

Казалось бы, все понятно и все правдиво. И то, что «биография еще не поэзия, но поэзия — это биография, это жизнь, даже больше, чем жизнь» (М Лисянский). И то, что естественность, бесхитрость, искренность, доброта — качества очень привлекательные. И в людях и в стихах.

Но что-то мешает мне принять безыскусственность («поет, как птица») за высшее мерило в искусстве. Тем более за единственное. Так не бывает, воля ваша, чтобы поэт «пел, как птица». Категория простоты в искусстве едва ли не самая сложная.

Ведь что же получается: читаешь одну рецензию о М. Лисянском, вторую, третью — и узнаешь о нем только следующее:

а) он естествен и прост; б) он хороший, добрый и порядочный человек. Я менее всего собираюсь отрицать это очевидное. Но я хочу еще хоть что-нибудь узнать о поэте Марке Лисянском! Я хочу в чем-то поспорить и с ним самим. Поскольку он сам с собой тоже нередко спорит. Он не прост, не благостен! И наконец, он не равен самому себе.

Кто подтвердит мои слова? Прежде всего М Лисянский. Вернемся к его высказыванию о том, что «биография еще не поэзия, но поэзия — это биография...». Сказано точно и броско. И, пожалуй, иному критику удобнее будет на этом цитирование прервать. Но я обращаю особое ваше внимание на последующие слова: «...это жизнь, даже больше, чем жизнь» (разрядка моя.— С. С.). Обратимся теперь к стихотворению М. Лисянского «Ах, как врут очевидцы!» Они, эти очевидцы, «не для кривды и лести в правду вставят деталь», и поэт недвусмысленно... что? осуждает их? Ничуть не бывало! — поддерживает: «Я скажу вам по чести: мне нисколько не жаль!» И продолжает:

А бывает: в забытом,  
Где и нет ничего,  
Ты придумал событие  
И поверил в него.  
Книга века пылится,  
Память шарит впотьмах,  
И живет небылица  
От тебя в двух шагах.

Вера в небылицы, живущие в двух шагах, естественна для поэта. Вот о такой естественности применительно к М. Лисянскому и следует говорить. Совершенно недостаточно констатировать тот факт, что в стихах его действительно широко — шире, может быть, чем у многих других, — используются биографические, взятые прямо из жизни реалии. И не то главное, что поэт правдиво их воспроизводит. Важно, как, какими художественными средствами он этого впечатления правдивости, достоверности добивается. И тогда мы не сможем не заметить, что М Лисянский — поэт не просто искренний, но и достаточно искусственный, прежде всего в выборе характерной поэтической детали.

Скажем, стихотворение «Отец» — о грузчике Лисянском, человеке совершенно конкретном и, понятное дело, весьма близком поэту. Но эта конкретность отнюдь не мешает автору вести поэтический рассказ обобщенно, укрупненно. Перед нами судьба не только индивидуальная, но и типичная: так жили до революции многие и

многие, непосильно трудясь за кусок житняка. А вот и точно найденная деталь:

Он обиделся на жизнь чертовски  
И грозил кому-то кулаком...  
Мне всегда казался горб отцовский  
Затвердевшим на плечах мешком.

Другой пример. У М. Лисянского, поэта-фронтовика, естественно, немало стихов о войне. И немало точных, жизненных подробностей, обобщенных поэтически. Стихотворение «Холм»:

Мелом на куске фанерном  
Написали год, число,  
А фамилию, наверно,  
Разрывным огнем снесло.

Здесь само отсутствие «детали» — фамилии погибшего солдата — и есть деталь реалистическая и символическая одновременно.

Присмотримся теперь к большому лирическому циклу М. Лисянского о Ленине. Эти стихи составляют особый — и весьма заметный — раздел в двухтомнике, названный «Навсегда».

Создание образа Ленина — задача огромной трудности. И, надо сказать прямо, далеко не каждый может добавить что-то к той поэтической лениниане, которая уже есть. Нередко в стихах о Ленине сбиваются и на риторику и на лжемонументальность...

Ленин в стихах цикла «Навсегда» у М. Лисянского живой, масштабность достигнута не за счет принесенных в жертву конкретных деталей, напротив — благодаря им. Сразу обобщение не возникает. Если хочешь добиться того, чтобы образ получился живым, а не плакатным, ищи значимые штрихи к портрету. Это и два «обыкновенных пятака», усилиями путиловского рабочего превращенные в «золотые кольца»: без колец поп в Шушенском отказывался обвенчать молодых — Ульянова и Крупскую; и предметы ленинского обихода в его квартире на парижской улице Мари-Роз: «Старая лампа светила ему, служила чернильницей чашка»; и венок из колосьев (в ледяном январе!), перевитый траурной узкой каймой с надписью: «От жителей деревни Березовки любимому, родному Ильичу». Здесь то же свойственное М. Лисянскому сочетание конкретности и символичности, стремление к биографичности, понимаемой расширительно.

И уж конечно, говоря о «простоте» М. Лисянского, нельзя оставить в стороне его строки из ленинского цикла:

Недаром пред самим собою,  
Как перед ним, начистоту,

Его великой простотою  
Я измеряю простоту.

Такая простота одномерной и плоскостной быть не может. И тут одной фактографической правдой — без поэтического обобщения, без того, что «даже больше, чем жизнь», — не обойтись.

К стихам о Ленине органично примыкает и поэма «Добрый путь». Образ матери Ленина дан здесь также в конкретных биографических подробностях и вместе с тем это, по замыслу автора, «памятник всем матерям»:

...Мать Саши Кузнецова справа  
С моей стоит в одном ряду.  
Он был мой друг.  
Он под Полтавой  
В сорок четвертом пал году.  
Мать Бонивура. Молодая.  
Мать Зои с ней. Судьба к судьбе.  
Мать Павла Когана. Седая.  
Мать Маяковского в толпе.  
Мать Зорге вдаль глядит с тревогой,  
И мать Гагарина бледна,  
И в платье черном,  
В платье строгом  
Мать Ленина — она, она!..

Наивно было бы думать, что перед нами любительская карточка, «случайно» вываченные вспышкой аппарата лица... Перед нами обдуманый и по всем художественным законам написанный групповой портрет. Холст — время. Грунт — биография. Сам портрет как бы поверх нее, но грунт проступает, время же словно входит в состав красок... А внешне да, вроде бы все просто. Обыкновенное перечисление. Однако несомненно, что в поэтике, которой придерживается М. Лисянский, и перечисление может стать средством художественного воздействия, не уступающим по силе ни метафоре, ни гиперболе.

Замечу, кстати, что в рецензиях на стихи М. Лисянского слово «поэтика» как-то даже и не произносится. Отчего? По бедности изобразительных средств, к которым прибегает поэт? Нет, скорее от их невидимости. Что я имею в виду?

М. Лисянский неоднократно и настойчиво повторяет: «поэзия — воздух, которым дышу», «как воздух и как хлеб, полезная, туда, где душно и темно, приходит запросто Поэзия и открывает в мир окно». Прделаем такой психологический опыт. Поставим на стол стакан, в который ничего не налито. Спросим затем любого: «Что это?» — и немедленно получим ответ: «Пустой стакан». Но пустых стаканов, строго говоря, вообще не бывает, в них воздух! В такую же «оптическую» ошибку впадают и критики, обращаясь к стихам ясным,

прозрачным и понятным. Но ведь и у «пустого» стакана есть своя форма — он гра-  
 неный или округло-цилиндрический, ника-  
 кой стакан — это абстракция.

Здесь медь — на лазоревом.  
 Охра — на синем,  
 Здесь праздник  
 Соцветий, созвездий и линий,  
 И рядом с зеленым.  
 Оранжевый лист —  
 И мир неожиданно ясен и чист.

«Неожиданно ясен» совсем не то же,  
 что просто «ясен». Это сложнее. И инте-  
 реснее.

Впрочем, М. Лисянский может достичь  
 художественного эффекта и в пределах  
 одного цвета, тона Скажем, в стихотворе-  
 нии «Пейзаж» читаем:

Не шелохнут ветвями елки,  
 Такая тишина вокруг,  
 Что слышно, как летят иголки  
 На чистый снег из белых рук.

Возникает «звукоцвет» — картина рож-  
 дается из тишины и белизны...

Аскетически строг рисунок и в стихо-  
 творении «Август»: «Неслышно ветер по-  
 дошел, улегся возле окон. Химическим ка-  
 рандашом очерчен лес далекий» Здесь со-  
 блюдено то чувство меры, без которого,  
 по словам самого поэта, «умирает иску-  
 ство и кончается красота».

Дальше М. Лисянский, правда, почему-  
 то добавляет:

Это значит: не больше, не меньше,  
 Не вчера, а сегодня как раз.  
 Это реже бывает у женщин,  
 Это чаще бывает у нас.

Я с интересом думаю: рискнул бы ав-  
 тор этих строк прочесть их скажем,  
 Ахматовой, чьи стихи являются признан-  
 ным образцом лаконизма?

Однако самому М. Лисянскому чувство  
 меры тоже случается, изменяет. Я вижу  
 например, реальную возможность вдвое,  
 а то и втрое сократить такие стихотворе-  
 ния, как «Голубая роза» «Мухтар» «Алый  
 парус», да и некоторые другие Многова-  
 то и стихов-эпюлов — каждый в отдель-  
 ности возражений не вызывает, но следуя  
 друг за другом, создают ощущение моно-  
 тонности Ждешь картины — а ее нет этю-  
 ды, этюды... Характерные подробности  
 размываются просто подробностями. Воз-  
 никает и впрямь некий повторяющийся  
 круговорот: «Зима сменяет осень, а там

опять весна. То холодно не очень, то хо-  
 лодно весьма».

Забыв о поэтической «экономии», автор  
 рискует тем, что читателю на какой-то миг  
 станет от этого круговорота ни холодно,  
 ни жарко.

Не уверена я, например, что М. Лисян-  
 скому стоило ставить перед собой такую  
 задачу в стихотворении «Паланга»: «Горо-  
 док стоит в лесу, опишу его красу». А  
 дальше идет не столько краса, сколько кра-  
 соты: «Соловьи поют в садах, ветки в сол-  
 нечных плодах, и плывут навстречу лю-  
 дям павы-лебеди в прудах» Не обошлось,  
 конечно, и без традиционного: «Над водой  
 горит заря, словно слиток янтаря. Это див-  
 ное сравнение мне на ум пришло не зря». Могло бы и не приходиться, да не оби-  
 дится на меня поэт... Конечно, и простое  
 (в данном случае без кавычек) описание  
 иногда бывает необходимо. Более того: мы  
 не имеем, скажем, никакого определенно-  
 го понятия о том, что представляло собой  
 одно из прославленных семи чудес света —  
 колосс Родосский: в свое время это чудо  
 было столь общеизвестным, что никто не  
 счел необходимым сделать его описание.  
 Но то колосс Родосский. А то Паланга.

Этюд этюду, впрочем, тоже рознь. Ска-  
 жем, сколько писали о снегирях! А вот  
 читаешь у М. Лисянского о «снегирьке-  
 пузырьке в красненькой жилетке» и ра-  
 дуешься непосредственности, точности,  
 обаятельности этой немудреной вроде бы  
 зарисовки.

Одна такая деталь — и мир опять «не-  
 ожданно ясен и чист». А ведь, кажется,  
 столько пережито. Такие ноты и утраты  
 позади...

Я столько друзей проводил,  
 Прощался в печали глубокой  
 И столько над бездной могил  
 Стоял сиротой одиноко...

И все-таки «всюду жизнь». И не зря,  
 наверное, признается поэт: «Я люблю кар-  
 тину Ярошенко...» Именно эту картину —  
 «Всюду жизнь».

И пахнет земля травой —  
 Весенней, зеленой, живою,—  
 И, обгоняя года,  
 Летит над моей головою  
 Непрошенная звезда.

Как знать: может быть, и вся поэзия —  
 такая «непрошенная звезда»? Но что бы  
 делали мы в мире без звезд?

Светлана СОЛОЖЕНКИНА.

## ПОЭТЫ И ПОРТРЕТЫ

Сергей Чупринин. Крупным планом. Поэзия наших дней: проблемы и характеристики. М. «Советский писатель». 1983. 287 стр.

Сергей Чупринин. Рубеж. Взгляд на русскую поэзию конца 70-х — начала 80-х годов. «Вопросы литературы», 1983, № 5.

**В**споминая о поре, когда «начинают жить стихом», автор «Крупного плана» С. Чупринин признается: «Помню... жар в крови — с ним раскрывались очередные выпуски «Дня поэзии», свежие номера «Юности» и «Смены», «Нового мира» и «Молодой гвардии». Помню... лихорадочное, нездоровое возбуждение, с которым мчался в библиотеку, в книжный магазин, чтобы ухватить тощий сборничек того или иного... лирика». Так вот: и жар и возбуждение не миновали, как отроческая хворь, не вытеснились многознанием, а вошли в состав таланта, осудив на любовь, точнее — страсть к литературе, литературе вообще, а не к той ее частице, к какой привязан энергией «избирательного сродства». В какой-то мере С. Чупринин, намеренно выбравший универсальную точку обзора (наблюдения), дабы видно было литературное древо целиком, — белая ворона в нашей «истой» и «нетерпимой» критике. На мой взгляд, именно этим обстоятельством объясняется разногласия в оценке его творчества. Одним видится доведенная до предела избирательность в пользу «интеллектуальной струи», другим, В. Кожинуву например, — сугубый профессионализм. По утверждению В. Кожинова, С. Чупринин из тех критиков, которые никого не критикуют, а «только вышивают литературные узоры на полях стихотворений любого так или иначе, в тех или иных кругах «признанного» поэта. И в конце концов под их пером оказываются до странности похожими Станислав Куняев и Юнна Мориц, Андрей Вознесенский и Владимир Соколов, Арсений Тарковский и Юрий Кузнецов...».

Так кто же Сергей Чупринин на самом-то деле? Неистовый ревнитель или холодный профессионал, которому безразлично о чем писать, лишь бы писать? Думается, С. Чупринин прежде всего талантливый и благодарный читатель. Больше того: читатель, прошедший главную — начальную — школу стиха не в узком кружке, а в том университете народной культуры, в какой поэзия середины века обращала любую, очную или заочную, аудиторию. Читательский опыт первоначальных лет, по всей вероятности, и лег в основу тех правил, какими руководствуется Чупринин-критик: «Критик, даже наступая на горло собственной песне, обязан... перевоплотиться в

автора, перенять его — да, чужой, да, иногда чуждый социальный, нравственный, эстетический опыт... уяснить... логику его мысли, направление и вехи его пути, причем уровень объективности должен быть тем выше, чем круче путь автора расходится с путем, единственно верным по представлению критика».

Сам факт возникновения подобного намерения и знаменателен и отраден, хотя надо честно признать: подтвердить теоретическую установку практикой, то есть доказать личным примером, что критик и обязан и может быть «полиглотом», «свободно переходящим с одного «языка» на другой». С. Чупринин порой не в состоянии. Если наблюдению сопутствуют сомнение и сочувствие, он действительно способен схватить сущность модели «в краткий миг». Вот как точно, к примеру, охарактеризован Арсений Тарковский: «Отношения, складывающиеся между поэтом и миром в лирике Арсения Тарковского, верно было бы... назвать средневековыми. Таковы отношения сюзерена и вассала, владыки и прихожанина, Прекрасной Дамы рыцарских преданий и странствующего стихослагателя. Ни о какой взаимности, ни о каком равноправии и речи быть не может: слишком велика иерархическая дистанция, разводящая мир и человека, слишком несоизмеримы их уделы».

Еще точнее о Юнне Мориц: «Зачем эта лавина отдаленных друг от друга уподоблений и ассоциаций, зачем торжественность интонации, какой трагедии суждено разрешиться в... предгрозовой, демонически-мрачной атмосфере? Нет, не поиск одного-единственного, точного имени... заботит поэта. Не стремление передать... образ природы, увиденный как бы со всех мыслимых и немислимых точек зрения одновременно. И не пустая страсть к пышному красноречию. Чего нет, того нет. А есть своего рода вулканическое извержение тревожной страсти, магматической энергии, долго и не напрасно дремавшей в ожидании урочного часа... все затмила собою не лавина, а лава слов, схожих не по смыслу... не по сообразности с предметом речи, а по хищной огненности».

Но и Ю. Мориц и Ар. Тарковский — словотворцы, чей язык С. Чупринин понимает без словаря (если продолжить предложен-

ную им метафору); необходимость в посредничестве, переводе усложняет контакт, и порой настолько, что критику изменяет даже главный его дар — интуитивная проницательность. Это особенно ясно видно на примере очерка о творчестве Ю. Кузнецова («До последнего края»).

Верный принятому правилу: объективность превыше всего,— С. Чупринин стоически пытается удержаться от изъяснения антипатии. Однако первая же строка выдает его, мягко говоря, нерасположение: «У этого лирического героя — все замашки и повадки гения». Дальше — пуще: по мере углубления в предмет наблюдения вполне корректное сопротивление «чужому» и «чуждому» переходит в почти открытое осуждение: «...в понятиях Кузнецова «воздушный Блок» ничуть не выше безвестного виршеплета... Да что Блок, и сам Пушкин неизменно возникает в каком-то сомнительном, обидном контексте».

Сергей Чупринин защищает от Кузнецова не Пушкина. Пушкина наверняка не обидело бы навязанное ему автором «Золотой горы» общество — Гомер, Эсхил, Данте. Он защищает пиетет, святость предания, литературные приличия — короче. все то, что Кузнецов действительно ни в грош не ставит. В обиходе и бытовом и литературном столь независимый стиль творческого поведения, тем более если он исповедание веры, а не самореклама, как у Северянина, или эпатаж, как у раннего Маяковского, вещь малоприятная в этическом плане. Но ведь и другое уразуметь пора: то именно что Юрий Кузнецов — по высшему счету — имеет право на подобную лирическую дерзость, ибо тут не просто поэт «беспорно одаренный» (как полуснисходительно формулирует С. Чупринин) а явление. В какой бетон (по кожииновскому ли, по чупрининскому ли рецепту замешанный) ни одень эту не нашедшую берегов стихию, остается некий избыток, и этот избыток и сам себя — изнури! — не рассекречивает, и снаружи не просматривается Воистину:

Глянешь с морды — в отсутствие  
вводит,  
Глянешь с тылу — того мудреней,  
А внутри ум за разум заходит...

Недоказанным осталось и утверждение С. Чупринина, будто самым авторитетным критическим жанром является сегодня жанр творческого портрета.

Вслед за Ст. Рассадным он полагает, будто наступило время конкретного разговора о конкретном опыте конкретных поэтов, интересных как раз своей непохо-

жестью друг на друга, своей «особенностью». Увы, ларчик открывается просто: конкретных разговоров о конкретных поэтах больше, чем обзорно-проблемных, потому только, что написать серьезную проблемную статью сегодня намного труднее, чем двадцать и даже десять лет назад. К тому же и объем подлежащей наблюдению поэтической продукции вырос, и пестроты, пусть в рамках стандарта, прибавилось. Из проблемных, да еще полемических статей нелегко, а порой и просто невозможно смонтировать якобы целенаправленное, якобы научное вроде как исследование. Да и стареют они (не по сути — в деталях) быстрее, чем мини, миди, макси-монографии. Впрочем, и критиков понять можно. Профессиональный литератор без книги — существо социально неполноценное, недостаточное, в издательствах же сборник критических работ примет к рассмотрению лишь при одном условии: если автор загримируется под литературоведа. Требование заведомо нелепое — прозаика ведь не предлагают переделать цикл рассказов в повесть или роман! И тем не менее оно существует — «царует» — на правах неписанного, но непреложного закона, и исподволь, десятилетиями «экономического нажима» формирует самосознание критики в нужном издательству направлении. Подчеркиваю: издательству, а не реальному литературному процессу, и это подтверждается следующим фактом. Сборники лучших критических статей года — «Литература и современность», «Собеседник» — исчезают с книжных прилавков в одночасье, а лжеисследования, наскоро сляпанные из причесанных тематической гребенкой журнальных и газетных публикаций, лежат в магазинах годами... (Я не решилась бы вынести эту внутрилитературную проблему, что называется, на публику, если бы не активный читательский отклик на введенную «Литературной газетой» рубрику «Чего ждет читатель от критики?» и ядовитую статью А. Ланщикова «Ищу собеседника!», свидетельствующую, что широкий читатель плохо осведомлен о специфике критического производства.)

К С. Чупринину, спровоцировавшему меня на производственное отступление, оно не относится. Его книга «Крупным планом» конкретна и монографична совсем по другой — внутренней, а не внешней причине.

По природе своего дарования автор «Крупного плана» — портретист. Причем в отличие, скажем, от Льва Аннинского, который и портрет решает как жанровую сценку, где, кроме именинника, присутст-

вуют, соучаствуя, и иные — званые, где интерьер прописывается с не меньшим тщанием, чем центральная фигура, Чупринин пишет собственно портреты. И притом не парадно-нарядные — в рост, а поясные, справедливо полагая, что эта демократическая разновидность полнее других отвечает назначению жанра: утверждать индивидуум. Вроде как по старинке работает, в манере старых мастеров: фон — нейтральный, размер — скромный, палитра — мягкая, сдержанная, похоже, раз и навсегда найденная, без модных антагонизмов-контрастов, диссонансов, парадоксов и т. д. и т. п. Короче, ничего, что отвлекало бы от лица. Именно лицо, взятое анфас, крупным планом, ряд его изменений является для Чупринина главным. В лицо вчитывается, всматривается, вживается; на лице (лике, облике, образе) сосредоточивает внимание читателей; потому, видимо, и избегает новаций в постановке модели, отказываясь от всего, что могло бы это внимание развлечь, пуще всего дорожа сходством, а не выразительностью в ущерб сходству.

И вот что интересно: несмотря на ограниченный объем (лист максимум), чупрининские портреты на редкость подробны; и достигается эта подробность не «сцеплением мелочей», а тщательностью выделки. Когда-то, в начале 60-х, А. Кушнер воззвал: «Поэт, усилил не жалей и будь подробен, как Линней». Похоже, что С. Чупринин призыв услышал.

Не задавшись вопросом, во имя чего С. Чупринин формально как бы уравнивает своих героев, В. Кожин забил тревогу. Слыханное ли дело, чтобы парсуна значительного лица ничем — ни размером холста, ни затейливостью рамы, ни качеством исполнения — не отличалась от изображения просто лица! Но как иначе мог Сергей Чупринин решить ту трудоемкую задачу, какую сам на себя взвалил? Создать портретную галерею «начальников» наших поэтических сил? Галерея ведь тоже жанр, и у нее, как у всякого жанра, свои возможности, какие она не может обменять на возможности иного, пусть смежного, жанра. Поскольку собрание предполагает и единство и соразмерность, то и собиратель не только вправе, но и обязан подвести каждую из экспонируемых единиц к некоему знаменателю, как некогда сделал Доу с героями первой Отечественной войны:

Толпою тесною художник поместил  
Сюда начальников народных наших  
сил,  
Покрытых славою чудесного похода  
И вечной памятью двенадцатого года.

(Ассоциация, конечно, далековатая, но более подходящего, то есть сугубо литературного, прецедента не нахожу.)

Вот и ходим по славной палате, по бывшим царским чертогам, всматриваемся в урезанные, уравненные законом выставочной стены поясные портреты и не возмущаемся тем, что значительность, допустим, Петра Багратиона в сравнении, скажем, с незначительностью Ивана Панчулидзева, командовавшего бригадой в армии «богатыри», создатель эрмитажной галереи ни размером холста, ни разнообразием палитры не подчеркнул. И даже к тому, что в тесной толпе героев оказался не принимавший участия в боях «фрунтовой солдат» Аракчеев, относимся спокойно, как к исторической данности — характеристической примете времени, понимая, что Александр I и в веках не пожелал расстаться с другом и братом... Деталь эта, кстати, куда нагляднее объясняет горячность юношеских эпиграмм Пушкина на «всей России притеснителя», чем иные — словесные — свидетельства.

Но вернемся к автору «Крупного плана». В точном соответствии со своим взглядом на современную поэтическую ситуацию: нет лидеров, но зато не так уж мало поэтов заметных, по-настоящему значительных — С. Чупринин формирует галерею. Экспозиция предварительная, на выставочной стене еще слишком много пустых мест, оставленных под портреты, которые критик еще не успел написать. Но мы и сами можем ее расширить. Уже после того как вышла в свет книга «Крупным планом», ее автор опубликовал и очерк об Александре Межирове, и монографическую рецензию на новый сборник Новеллы Матвеевой. Уверена: из той же мастерской выйдет немало превосходных портретов. Но и та часть поэтической панорамы, что открыта для обозрения, — значительный факт нашей культурной жизни. Чупрининское собрание опровергло широко бытующее мнение об оскудении русской поэтической нивы. Оказалось, что мы гораздо богаче, чем предполагали.

Алла МАРЧЕНКО.

## Политика и наука

### АМНИСТИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ

Лев Безыменский. Разгаданные загадки третьего рейха. Книга не только о прошлом. М. АПН. 1984. Книга первая (1933—1941). 368 стр. Книга вторая (1941—1945). 398 стр.

Г лавари гитлеровского государства весьма гяготели к уголовщине. По этой причине в истории нацизма немало загадок, а точнее. тайн криминального голка Писателю-историку приходится их даже не разгадывать, а расследовать, брать на себя миссию криминалиста.

Лев Безыменский вел свое расследование и в архивах, и, в основном, «на местности», прежде всего в ФРГ. Здесь ему удалось найти благополучно здравствующих участников интриг, заговоров, преступлений нацистского режима. Он знакомит читателя с вереницей бывших генералов, высокопоставленных дипломатов, чиновников, а также бесчиновных, но в свое время очень влиятельных закулисных деятелей рейха. Это своеобразная публика. В их сознании «мир нацизма еще существует как нечто само собой разумеющееся», а крах рейха — по «странному капризу истории ушедшее в прошлое», констатирует автор. Мы верим Безыменскому, когда он пишет, что ему было крайне тягостно общаться с вечно вчерашними, как называют их в демократических кругах ФРГ, и понимаем, сколько понадобилось автору терпения, настойчивости и психологического искусства, чтобы получить информацию у этих свидетелей страшной поры в истории Германии.

Игра, однако, стоила свеч. Хорошо разработанные в исторической литературе события Безыменскому удалось показать в новом ракурсе. О мюнхенском стоворе между нацистами и англо-французскими «умиротворителями» написаны сотни говов. Автор вновь сопоставляет и анализирует факты, извлеченные из глубин памяти его собеседников — участников подготовки встреч в Берхтесгадене и Мюнхене. Даже не самые существенные из этих фактов оказываются важными уликами против преступников. Детали подготовки и проведения мюнхенской «конференции» свидетельствуют о том, что раздел страны чехов и словаков не был импровизацией. Предательство готовилось исподволь. На встрече Гитлера, Муссолини, Чемберлена и Даладье были лишь поставлены точки над «и». Поэтому встречавшиеся в резиденции Гитлера государственные мужи капиталистической Европы могли преспокойно обмениваться плоскими анекдотами, толковать о пого-

де и охоте. Между тем на Западе и поныне жива легенда о наивном идеалисте Чемберлене, угодившем в ловушку коварного Гитлера. Она на руку тем, кто выступает ныне в роли «защитников» стран Восточной Европы и предает анафеме Ялтинское и другие межсоюзнические соглашения.

Любопытная деталь. Вернувшись в Лондон, английский премьер показал толпе восторженных обывателей на Кройдонском аэродроме некий документ и торжественно провозгласил: «Я привез вам мир!» Оказывается, Чемберлен размахивал наспех составленным им англо-германским заявлением о «воле двух народов никогда не вести войну друг с другом». Как стороны в действительности оценили это заявление, Безыменскому поведал один из его собеседников, бывший адъютант Риббентропа: «Клочок бумаги».

Как известно, Мюнхен не был изолированным эпизодом, случайным грехопадением буржуазных политиков Запада. Мысль о стоворе с Гитлером постоянно соблазняла их и в дальнейшем, даже после того, как в Европе заговорили пушки и между гитлеровским рейхом и западными державами пролегла линия фронта. В свою очередь фюрера и его окружение не покидала надежда на развал антигитлеровской коалиции. Попытки повторить Мюнхен на более широкой основе раздела всей Европы (а то и всего мира) предпринимались постоянно. Отсюда и саботаж Западом советских предложений о коллективном отпоре агрессору летом 1939 года, и перелет заместителя фюрера Р. Гесса в Шотландию, его переговоры с английским правительством весной 1941-го, и германо-американские контакты весной 1945-го...

Зондажу в Швейцарии посвящена одна из самых интересных глав второй книги «Разгаданных загадок...». Автору удалось распространить об этом бывшего эсэсовского генерала Вольфа, знакомого нам хотя бы по популярному телевизионному сериалу «Семнадцать мгновений весны». Встречи с ним и с другими участниками событий со рокалетней давности позволили Безыменскому приподнять покров тайны над одной из самых опасных для судеб послевоенной Европы операций секретных служб США и гитлеровской Германии.

Не следует думать, что, поскольку до нового Мюнхена дело не дошло, переговоры между главой европейской резидентуры американской разведки Алленом Даллесом и доверенным лицом заправил третьего рейха Карлом Вольфом не дали плодов. Дали — и какие еще ядовитые! Правда, героизм советского народа и подъем антифашистского движения в западных странах сорвали попытки украсть у человечества победу над гитлеровским варварством, оплаченную столь высокой ценой. Но тайная дипломатия империалистов в годы войны уже готовила послевоенный курс Запада на возрождение германского милитаризма и реваншизма. Именно поэтому книга Льва Безыменского «не только о прошлом».

Читая ее, постоянно переносишься мысленно от событий минувшей войны к событиям сегодняшнего дня. Заставляют задуматься страницы, посвященные амбициям Ватикана, где помышляли, как доказывает автор, о том, чтобы на свой лад заполнить «вакуум» после крушения нацистского господства в Западной Европе. Ватиканские политики явно предпочитали гитлеровскую диктатуру демократии, рождавшейся в недрах движения Сопротивления. Пусть Гитлер, не терпевший рядом с собой даже господа бога, не очень жаловал церковь, — его власть гарантировала тот социальный порядок, который устраивал Ватикан. Поэтому фашизму многое прощалось. Поэтому же Ватикан оказывал важные услуги нацистам, в особенности после того, как они стали покидать тонущий корабль рейха. А движение Сопротивления, в котором наряду с его ведущей силой — коммунистами участвовали и группировки верующих, Ватикан стремился перевести в русло антикоммунизма и антисоветизма. Так же как пытается сделать это с нынешним антивоенным движением на Западе.

К числу «разгаданных загадок» Безыменский относит и разоблаченные мистификации нацистской пропаганды. Например, легенду о «лице пустыни» Роммеле, одержавшем якобы беспрецедентные победы в Северной Африке. Наши западные союзники раздули разгром Роммеля чуть ли не в решающее событие всей войны. Это далеко не единственный и вовсе не случайный пример переключки нацистской и англо-американской пропаганды. Другой, не менее актуальный, связан с высадкой в Нормандии. Нацистская пропаганда безмерно преувеличивала мощь своего так называемого Атлантического вала. Тем самым она не только успокаивала тыл вермахта, но и давала повод Лондону и Вашингтону не

торопиться с открытием второго фронта. Прошло сорок лет, и миф военного времени возродился в пышном спектакле, устроенном на нормандском побережье. В роли режиссера выступал на этот раз Р. Рейган, черпавший из нацистской мифологии не только стилистику, но и сюжеты...

Особенно скверный привкус у выдвинутых на Западе версий о причинах сокрушительных провалов нацистской стратегии на советско-германском фронте. Западная пропаганда плетется здесь прямо-таки в хвосте у Геббельса. Лаврами победителей она украшает «генералов Грязь и Мороз», как это практиковали нацистские пресса и радио. Другой ее излюбленный прием, опирающийся на лжесвидетельства бывших гитлеровских генералов, — ссылки на некачественное вмешательство фюрера и просчеты его фаворитов в вермахте. Если бы, дескать, кадровые полководцы прусской военной школы могли без помех руководить ходом военных действий в России, результаты были бы иными.

Одним из свидетелей, уличающих фальсификаторов истории, выступает у Безыменского Вальтер Варлимонт. Нацистский генштабист высокого ранга, заместитель генерала Йодля — ближайшего военного советника фюрера, он принадлежал к той самой элите, которую якобы затирали нацистские выскочки и недооценивал фюрер. Впервые Безыменский обстоятельно беседовал с ним в 1945 году и еще тогда убедился, что коренные разногласия между Гитлером и генералитетом вермахта — миф. Первый вовсе не третировал представителей прусской военной школы, напротив, считался с ними. А генералы, в том числе и те, что не расставались с моноклем, отнюдь не всегда стремились сдержать фюрера, подчас даже толкали его на авантюры.

Первая легенда о причинах провала блицкрига, которая опровергается в книге Безыменского показаниями Варлимонта, и множеством других свидетельств, связана с наступлением вермахта на Москву осенью 1941 года. Она гласит, что группа армий «Центр» под командованием Бока могла взять советскую столицу с ходу, но Гитлер помешал ей приказом о передышке. Из высказываний нацистских генштабистов и документов с очевидностью следует: чепуха! Бок был вынужден остановиться. Советские войска уже в первые месяцы войны оказывали упорное сопротивление на всех фронтах. Поражение вермахта было обусловлено не более или менее случайными просчетами и неувязками в «Волчьем логове», а закономерным ходом истории, не подвласт-



ным ни фюреру, ни его советникам из прусской военной элиты.

В этой и других частях книги, посвященных опровержению пропагандистских мифов, есть одна примечательная особенность. Поиск исторической истины автор перемежает личными воспоминаниями о войне. И это уместно. Для большинства читателей война — уже история, пусть волнующая, героическая, но всего лишь история. Для автора — это еще и юность, памятный отрезок жизни. Мемуарные вкрапления в «Разгаданных загадках...» важны и сами по себе, и как подступы к исследовательским частям книги.

Книгу Льва Безыменского читают за рубежом. С наших книжных прилавков «Разгаданные загадки...» исчезли почти мгновенно Историк, публицист, военный переводчик, участвовавший в допросах нацистов различного ранга вплоть до рейхсмаршала Геринга, автор сумел создать увлекательное произведение, сочетающее детективные методы поиска истины с масштабностью научного исследования.

**В. Острогорский,**

*кандидат исторических наук.*



## ПИОНЕРЫ СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

**С. О. Хан-Магомедов.** Архитектор Константин Мельников. 1981. 48 стр.;  
**Александр Веснин.** 1983. 64 стр.; **Николай Ладовский.** 1984. 64 стр. («Строительство и архитектура») М. «Знание».

**С**оветские зодчие 20-х годов. Сознавали ли они исторический смысл своей работы, ее ценность для будущего? Трудно сказать. Бесспорно, что они сознавали другое — исключительность момента и задач, стоящих перед архитектурой. Оттого и значимы теперь плоды их творчества.

В конце 40-х, когда многие из них еще здравствовали, о прошедшем времени принято было говорить с иронией. И мы студенты архитектурного, проходя по Кривоарбатскому переулку и поглядывая на «странный» дом Мельникова не испытывали желания постучаться в дверь, за которой жил тогда мудрый мастер. А ведь он мог бы о многом поведать.

Совсем недавно в афинской таверне я с интересом слушал рассказ Жоржа Кандилиса, замечательного греческого архитектора, о его работе с Ле Корбюзье. Он темпераментно с юмором говорил о мастере. В то время, о себе. Когда Ле Корбюзье и Пикассо приехали на стройку знаменитого впоследствии дома в Марселе, чтобы задумать и осуществить что-либо совместно. Пикассо спросил: «Кто будет архитектором — ты или я?» — я сам ответил. «Я». «А кто будет художником — ты или я?» — спросил Ле Корбюзье. «Ты», — ответил Пикассо. Однако после непродолжительной дискуссии оба мастера отказались от подобной затеи. И Пикассо сказал в заключение: «Если я буду архитектор, а ты художник, мы сотворим чудовище».

О подобных содержательных встречах в 20-е годы, диалогах и диспутах между выдающимися архитекторами и художниками мало кто может теперь рассказать. Однако

в этом нуждается современная архитектурная молодежь, для которой те времена — далекая история.

Доктор искусствоведения, архитектор Хан-Магомедов имеет право на такой рассказ. Для него 20-е годы не увлечение, не просто одна из тем, а главное дело жизни. Еще в 1972 году вышла его книга о Гинзбурге позднее — о Леонидове (написанная совместно с П. Александровым). Его перу принадлежит множество статей о Лисицком. Голосове и других мастерах творчества в то время. И вот теперь в издательстве «Знание» одна за другой вышли книги о Мельникове, Веснине, Ладовском.

Последовательно рассматривая проекты и постройки Мельникова, Хан-Магомедов раскрывает их оригинальность и новизну. Необычным явлением был деревянный павильон «Махорка» на сельскохозяйственной выставке 1923 года. Пожалуй, первым в советской архитектуре Мельников создал проект дома-коммуны.

Мировую славу Константину Мельникову принес советский павильон на международной выставке 1925 года в Париже. Право на строительство мастер завоевал по конкурсу, в состав жюри которого входили Луначарский и Маяковский. Этот павильон — важная веха в развитии зодчества XX века — был вместе с тем выходом советской архитектуры на мировую арену. «Его открытие превратилось в политическую демонстрацию парижских трудящихся, которые приветствовали первые успехи молодого Советского государства», — пишет Хан-Магомедов,

Мельников спроектировал и построил в Москве серию клубов — зданий невиданного прежде типа. Здесь много новых приемов, новых форм, изобретений мастера. В их числе трансформация зрительных залов, получившая широкое распространение в наши дни. К этому можно добавить уже упомянутый собственный дом мастера — смелый эксперимент, обстоятельно анализируемый в брошюре; остроумный проект гаража для Парижа, автор которого выступил с идеей размещения многоэтажного паркинга над мостом через Сену... Каждая работа содержала острую, оригинальную идею. Мы знаем сколько упреков «в оригинальничанье, в фантастике, в утопичности» выслушивал Мельников, сколько резких слов было сказано, к примеру, по поводу консольных выносов балконов зрительного зала знаменитого клуба имени Русакова (теперь это широко распространенный архитектурный прием). «Тот, кто идет первым, кто своими новаторскими проектами ломает многие привычные представления, безусловно, способствует преодолению психологического барьера восприятия новой формы», — замечает Хан-Магомедов.

Помню знаменательный юбилей Мельникова в 1965 году. Переполненный зал стоя долгой овацией приветствовал возвращение мастера. Илья Эренбург говорил о том ярком, потрясающем впечатлении, которое вызвал в Париже павильон Мельникова.

Хан-Магомедов обстоятельно и последовательно излагает и анализирует взгляды мастера на важнейшие проблемы архитектурного творчества. Много свежо и остро воспринимается и сегодня. Можно сказать, что суждения Мельникова и его проекты в равной мере отличает индивидуальность мастера. Не случайно он говорил: «Творчество там, где можно сказать — это мое». И еще: «Как бы техника ни кичилась, ей никогда не достичь того храма, который она строит, и не перекричать застенчивый шепот Искусства».

Советская архитектура 20-х годов была авангардным явлением мирового зодчества не только в социальном, но и формально-эстетическом плане. Отмечая это обстоятельство, Хан-Магомедов подчеркивает, что важное значение имело возникновение сразу нескольких новаторских течений. Александр Веснин — лидер одного из них, конструктивизма.

Младший в творческом коллективе братьев Весниных, Александр занят не только зодчеством. Он как бы уходит от архитектуры в живопись и графику: участвует

в оформлении Красной площади к революционным праздникам, экспериментирует на театральных подмостках. Как художник он ставит спектакли в Малом, Детском, Камерном театрах. Именно в Камерном творческие взгляды Александра Веснина как художника с архитектурно-пространственным мышлением в полной мере сошлись с позицией А. Таирова. Здесь художник оформляет спектакли «Благовещение», «Федра», «Человек, который был Четвергом». В последнем на сцене не было декораций. Там помещалась конструктивная установка, которая отделялась от сценической коробки и превращалась в автономную подвижную площадку, как бы сцену на сцене. «Это уже была архитектура в полном смысле слова, которая легко вышла из театра прямо в жизнь», — пишет Хан-Магомедов.

Конструктивизм стал архитектурой после ряда конкурсов, на которых проекты, выполненные братьями Весниными, имели шумный успех. Первым был проект Дворца труда. Впоследствии академик Щусев о нем говорил: «Пусть вспомнят 1923 год, когда совершился в архитектуре перелом, пусть вспомнят, что нельзя дать Весниным премию за Дворец труда, потому что архитектура пойдет по ложному пути, тогда дали премию архитектору Троцкому — однако, несмотря ни на что, архитектура пошла по новому пути». Александр Веснин, бывший до тех пор для большинства только живописцем и театральным художником, «становится кумиром архитектурной молодежи, возглавляет Объединение современных архитекторов, журнал «Современная архитектура», архитектурную мастерскую во ВХУТЕМАСе».

Автор брошюры всесторонне рассматривает конструктивизм как архитектурное течение, художественное явление, явление культуры, характеризует творческую атмосферу тех лет, остроту споров и дискуссий (интересна, в частности, полемика между Н. Бруновым и А. Весниным). И хотя, по словам Хан-Магомедова, «конструктивизм в 30-е годы был как бы выведен за пределы архитектуры», авторитет Александра Веснина оставался очень высоким в том числе среди зарубежных его коллег. Ле Корбюзье называл его в своих письмах братом Весниным, духовным отцом молодой русской архитектуры (кстати, в 30-е годы и Ле Корбюзье подвергался в нашей печати предвзятой критике). Веснин, подчеркивает автор, оставался «бескомпромиссным, не меняющим своих творческих по-

зий и симпатий в угоду временной конъюнктуре», что снискало ему прочное уважение архитекторов и художников.

Николай Ладовский был лидером еще одного своеобразного творческого явления в советской архитектуре 20-х годов — рационализма. Генератор архитектурных идей, он имел мощное влияние на своих учеников, создававших оригинальные произведения, «спровоцированные» формообразующими концепциями мастера. «Ладовский обладал каким-то удивительным даром максимально обострять и стимулировать творческие потенции практически любого своего ученика», — пишет Хан-Магомедов.

Главное содержание школы рационализма состояло в поисках принципов формообразования, вытекающих из объективных закономерностей восприятия архитектуры человеком. Такой подход был новаторским. Как же сложилась судьба нового направления? В книге подробно рассмотрены сложные и противоречивые обстоятельства, при которых оно возникло, своеобразные организационные формы, в которых развивалось. Наиболее благодатной почвой для рационализма оказалась высшая архитектурная школа. Здесь, в стенах ВХУТЕМАСа, по инициативе студентов-старшекурсников сложилась творческая мастерская Ладовского, по-новому поставившая обучение архитектуре, воспитавшая плеяду последователей мастера.

Увлечение педагогической деятельностью, которой вместе с Ладовским занялось и первое поколение его учеников, не могло не ослабить позиции рационализма в архитектурной практике. Тем не менее заметные успехи намечались и здесь. Так, на известном уже нам конкурсе на лучший выставочный павильон в Париже Ладовский получает вторую премию. В другом случае, сомневаясь в объективности жюри (как мы теперь знаем, основания к тому были), группа Ладовского отказывается от участия в конкурсе на проект Дворца труда. «Получилось так, — пишет Хан-Магомедов, — что сами рационалисты как бы добровольно отдали конструктивизму козыри в борьбе за популярность в среде широкой

архитектурной общественности, особенно молодежи».

Позднее группа Ладовского оформилась в Ассоциацию новых архитекторов. Им же было создано объединение архитекторов-урбанистов. Книга рассказывает о различных градостроительных и архитектурных идеях, с которыми выступали рационалисты. Стоит пожелать о том, что по разным причинам лишь немногие из них были реализованы. Отметим из построек Ладовского надземный вестибюль станции метро «Лермонтовская», а также станцию «Дзержинская» — единственную, не имевшую центрального подземного зала и потому позднее перестроенную. Однако наследие рационализма, идеи Николая Ладовского остаются нашим творческим багажом, интерес к которому возрастает.

На этом можно было бы завершить обзор трех интересных работ, посвященных творческому пути выдающихся советских зодчих XX столетия, пожелав лишь, чтобы в серии вышли книги о других архитекторах 20-х годов — Голосове, Лисицком, о мастерах последующих поколений, если бы... Если бы на моем столе рядом с небольшими книжечками не лежал весьма почтенный фолиант (более 600 страниц текста и более 1500 иллюстраций), на титульном листе которого стоит набранное латинскими буквами имя С. О. Хан-Магомедова, а название в переводе с немецкого звучит так: «Пионеры советской архитектуры». Книга, которую сам автор считает главной, издана в Дрездене в 1983 году, переиздана в Вене, готовится к печати в Италии. В Париже вскоре увидит свет другая работа автора — объемистая монография об Александре Веснине. Издательства многих стран стараются удовлетворить общественный интерес к творчеству выдающихся мастеров советской архитектуры. А наши? У нас есть издательство, специально к этому призванное, — Стройиздат. Его долг дать такие книги нашим читателям, прежде всего новой плеяде архитектурной молодежи. Хочется надеяться, что скоро мы сможем прочитать «главную книгу» Хан-Магомедова на родном языке.

**Ф. НОВИКОВ.**

---

---

# ИЗ РЕДАКЦИИ И ОННОЙ ПОЧТЫ

## ДВА ИСТРЕБИТЕЛЯ ФЕРАПОНТА ГОЛОВАТОГО

**И**о радио передают концерт по заявкам фронтовиков. Знакомые песни, давно полюбившиеся мелодии. Но вот эта... Величественная, торжественная. Каждый звук, каждый аккорд доходит до самого сердца. И до боли волнуют слова, поднимавшие на ратные и трудовые подвиги людей моего поколения:

Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой  
С фашистской силой темною,  
С проклятою ордой...

И память невольно возвращает меня к событиям давно минувших лет, к дням Великой Отечественной войны против гитлеровских полчищ.

...Шел к концу 1942 год. Морозная утренняя дымка окутала Саратов. Лишь пару часов назад закончилась очередная бомбежка этого крупного промышленного центра Поволжья, к тому времени ставшего уже прифронтовым городом. По нескольку раз в сутки фашистские стервятники делали попытки сбросить на предприятия и жилые кварталы свой смертоносный груз. Когда им удавалось прорваться сквозь заградительный огонь наших зенитных батарей, полыхали пламенем промышленные корпуса, жилые здания...

Поздно вечером мне, тогда работавшему корреспондентом Совинформбюро, позвонили из обкома партии: «Только что нам сообщили из Новопокровского района, что один колхозник решил внести в фонд Красной Армии 100 тысяч рублей. Завтра утром сможете с ним познакомиться». Я тут же сообщил эту новость в Москву, в Советское Информбюро. Мне поручили держать редакцию в курсе этого дела.

На следующее утро еще до начала рабочего дня я уже стоял у входа в отделение Госбанка. Вскоре среди первых посетителей увидел высокого, атлетической стати пожилого мужчину в потертом полушубке, плотно обтягивавшем его широченную спину и могучие покатые плечи. В кирзовых сапогах. На голове серая барашковая шапка. В руках он держал самодельный фанерный чемоданчик, перетянутый веревкой. Я представился и спросил:

— Вы колхозник из Новопокровского района, который...

Не дав мне закончить, он протянул широкую, как лопата, руку и, до боли сжав мою ладонь, просто сказал:

— Ферапонт Петрович Головатый. Будем знакомы.

Через несколько минут в кабинете управляющего отделением Госбанка за большим столом кассиры считали деньги. Закончив это дело, старший кассир доложил:

— Точно сто тысяч рублей. Как одна копеечка.

Все заулыбались, стали подходить к владельцу этой огромной суммы, тепло жали ему руку. Управляющий, вручая колхознику квитанцию, сказал:

— Здесь, Ферапонт Петрович, указано, что вы передаете в фонд Красной Армии на строительство боевого самолета сто тысяч рублей.

— Все так, правильно,— ответил, смущенно улыбаясь, Ферапонт Головатый.— Теперь можно показать эту квитанцию и секретарю обкома.

В кабинете секретаря обкома партии беседа была радушной и краткой. Ферапонт Петрович рассказал: ему пятьдесят три года, в армию его не берут, на фронте воюют его сыновья и зятья; теперь надо поскорее возвращаться в свой колхоз «Стахановец», чтобы ударным трудом помогать Красной Армии в ее героической борьбе против сильного и коварного врага.

А вскоре в «Правде» было опубликовано письмо Ф. П. Головатого на имя Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина. Колхозник писал:

«Провожая своих двух сыновей на фронт, я дал им отцовский наказ — беспощадно бить немецких захватчиков, а со своей стороны я обещал своим детям помогать им самоотверженным трудом в тылу. Советская власть сделала меня зажиточным колхозником, и сейчас, когда Родина в опасности, я решил помочь ей всем, чем могу. Все, что я своим честным трудом заработал в колхозе, отдаю это в фонд Красной Армии. 15 декабря я внес в Государственный банк 100 тысяч рублей и заказал боевой самолет в подарок защитникам родины. Пусть моя боевая машина громит немецких захватчиков, пусть она несет смерть тем, кто издевается над нашими братьями, невинными советскими людьми. Сотни эскадрилий боевых самолетов, построенные на личные сбережения колхозников, помогут нашей Красной Армии быстрее очистить нашу священную землю от немецких захватчиков».

На следующий день после появления в печати этого письма в колхоз «Стахановец» на имя Ф. П. Головатого пришла телеграмма из Москвы. Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин писал: «Спасибо Вам, Ферапонт Петрович, за Вашу заботу о Красной Армии и ее воздушных силах. Красная Армия не забудет, что Вы отдали все свои сбережения на постройку боевого самолета».

Зима в тот год выдалась суровой. Стояли, как говорили в старину, крещенские морозы. В прифронтовом Саратове шла напряженная трудовая жизнь. В заводских цехах рядом с опытными рабочими самоотверженно трудились тысячи женщин и подростков, заменивших ушедших на фронт мужей, отцов, старших братьев. По ночам в сторону Сталинграда уходили эшелоны с самолетами, танками, орудиями. На поездах и пароходах отправлялись на фронт все новые и новые полки и дивизии бойцов..

Через неделю я приехал на авиационный завод, где был в тот день Ферапонт Головатый. Здесь же собрались руководители области и города, рабочие и инженеры, журналисты. На фюзеляже красноезвездного истребителя, стоявшего на небольшом аэродроме, читаю надпись, сделанную четкими крупными буквами: «Летчику Сталинградского фронта гвардии майору т. Еремину от колхозника колхоза «Стахановец» т. Головатого».

— Наши рабочие постарались, машина отличная!— сказал, выступая на митинге, директор завода.— Не подведет она вас, товарищ Еремин. А надпись пусть читают в небе фашистские стервятники, которых вы будете сбивать из пулемета.

Головатый крепко обнял и трижды поцеловал боевого летчика и под аплодисменты присутствующих дал ему наказ:

— Бей, сынок, крепко фашистских гадов. За землю нашу, за советских людей, за кровь и слезы народа.

Через несколько минут легкрылый самолет взмыл в небо и взял курс на Сталинград.

Вскоре по заданию редакции я побывал в колхозе, где работал человек, о гражданском подвиге которого с восхищением говорили миллионы людей в Советском Союзе и за рубежом.

...На равнинных степных просторах, в стороне от больших дорог раскинулись владения колхоза «Стахановец». Въезжаем в село. Мужчин почти не видать, на фермах, в мастерских трудятся в основном старики, женщины и подростки. На окраине села в окружении высоких деревьев расположена колхозная пасека. А рядом с ней крепкий бревенчатый дом. Здесь, уже в домашней обстановке, я снова встретился с колхозным пчеловодом Ферапонтом Головатым. Гостеприимный хозяин угощает душистым медом. вкусным черным хлебом домашней выпечки и солеными огурцами. На длинной деревянной лавке домочадцы: рослые дочери, невестки, крепыши внуки..

— А мы все от природы такие здоровушие,— смеется глава семьи.— Головатых хворь не берет. От земли родились, крестьянская косточка..

Вырос Ферапонт Петрович в семье крестьянина-бедняка. Мальчишкой батрачил у кулака. Когда пришло время, призвали в царскую армию. За высокий рост и богатырскую силу зачислили в лейб-гвардии гусарский полк.

— Собачья жизнь была тогда у солдата,— вспоминает Головатый.— Ведь никто его и за человека не считал. Муштрой замучили, наказывали по любому поводу.

В первую мировую войну Ферапонт Петрович заслужил Георгиевский крест. В гражданскую войну защищал Царицын. Я попросил его рассказать, как к нему пришло решение отдать свои сбережения в фонд Красной Армии.

— А дело было так,— оживился Головатый.— Лежу я как-то ночью, от разных мыслей глаз сомкнуть не могу. Думаю: идет жестокая война, топчет поганый враг нашу землю на Украине, в Белоруссии, к Москве рвется. А чем ты, Ферапонт, лично помог своей родине? Вот с этими мыслями и пришел на другой день на колхозное собрание, где обсуждался вопрос, как лучше помочь фронту в разгроме врага. Встают люди, вносят предложения. Один дает в фонд Красной Армии пять пудов хлеба, другой — бычка на мясо, третий — две пары валенок. Нет, думаю, этого для меня мало. Поднимаюсь, прошу слова. «Хочу подарить Красной Армии боевой самолет». Народ заулыбался. А председатель меня, значит, подначивает: «Может, я ослышался, Ферапонт Петрович? Так ты дело говори и назови, какую сумму вносишь. Пять тысяч записать?» «Нет,— отвечаю,— за пять тысяч самолет не купишь. Пиши: даю сто тысяч рублей!» Так и записали. Весь мед, что мне причитался на трудодни за год, я продал, насобирал еще деньжонок и в Госбанк. Ну а что было дальше, вы знаете.

Через полтора года колхозник купил Красной Армии второй боевой самолет.

Патриотический поступок Ф. П. Головатого нашел широкий отклик среди трудящихся нашей страны. 25 мая 1944 года «Правда» в передовой статье, озаглавленной «Патриотизм колхозного крестьянства», писала: «Советские патриоты, подобно Кузьме Минину, не жалея своих трудов и сбережений, принесли огромные средства на алтарь отечества, в арсенал, где ковалась мощь страны... За время войны трудящиеся СССР внесли в фонд обороны и в фонд Красной Армии свыше 14 миллиардов рублей деньгами, много платины, золота, серебра, более чем на 4 миллиарда рублей облигаций государственного займа, много продовольствия и ценных вещей... В историю Великой Отечественной войны это могучее всенародное движение, выражающее заботу советских людей о Красной Армии, о ее вооруженных силах, войдет как одна из самых драгоценных страниц».

В те дни я побывал на многих собраниях трудящихся в городах и селах и видел, с каким энтузиазмом советские люди отдавали свои сбережения в фонд борьбы во имя скорой победы над врагом.

Ну а как летал самолет Головатого, подаренный летчику Сталинградского фронта? Какова его судьба? Как сложилась судьба его пилота — гвардии майора Бориса Еремина? Долгие годы я об этом ничего не знал, хотя часто вспоминал и рассказывал друзьям о событиях, свидетелем которых мне посчастливилось быть.

Помог случай. Недавно я узнал, что в Москве проживает генерал-лейтенант в отставке Борис Николаевич Еремин. Не тот ли, который сорок два года назад получил от Ферапонта Головатого красноезвездный истребитель? Звоню. С волнением вслушиваюсь в слова на другом конце провода:

— Да, я тот самый летчик, который воевал на самолетах, подаренных Ферапонтом Петровичем. И не только под Сталинградом. Если интересуетесь — приезжайте ко мне, вспомним былые дни...

— Конечно интересуюсь!

...На высоком этаже дома на Гончарной набережной тихо и уютно, не слышно автомашин, что мчатся вдоль широкой Москвы-реки. В комнате на серванте, книжном шкафу, на телевизоре — маленькие модели самолетов, напоминающие о романтической профессии хозяина. На стене металлический чеканный барельеф пилота в шлеме, под ним выведено только одно слово: «Сталинград». Оно особенно памятно человеку, чья судьба неразрывно связана с этим легендарным городом. Высокий, подтянутый, с молодежавым лицом, словно за плечами и нет семидесяти с лишним лет, он мне живо напомнил того молодого широкоплечего летчика.

— Вы, конечно, помните,— стал рассказывать генерал,— как я, прощаясь с Ферапонтом Петровичем, дал слово выполнить его наказ — беспощадно громить врага. Сев в кабину самолета, взял курс на Сталинград... Поездке в Саратов предшествовали такие события. Осенью сорок второго года полк истребительной авиации, которым я тогда командовал, базировался на одном из полевых аэродромов под Сталинградом. Мы непрерывно вели тяжелые бои. Однажды вечером позвонил мне командующий воздушной армией генерал Тимофей Тимофеевич Хрюкин: «Как дела, майор?» «Докладываю обстановку, товарищ командующий...» «Понятно. А теперь слушайте: решением Военного совета фронта вам приказано завтра утром лететь в Саратов и получить новый истребитель — подарок колхозника Ферапонта Головатого. Летчиком этого самолета будете вы». Я оторопел: «Разве может частное лицо купить боевой самолет? Ничего подобного до сих пор не слышал». В трубке послышался легкий смешок, а за-

тем слова, сказанные по-военному четко и строго: «Значит, может. Выполняйте приказ!» Всю ночь глаз не сомкнул, все думал: за что мне такая честь? Может, учли, что я саратовец, родился и вырос в этом городе, первую трудовую закалку получил за токарным станком на металлургическом заводе «Серп и молот»... На рассвете я уже сидел в «ЛИ-2».

В Саратове меня встретили, привезли в обком партии. Затем мы поехали на самолетостроительный завод, где я впервые встретился с Ферапонтом Головатым... На новом самолете я уже на другой день приступил к выполнению боевых заданий: вел разведку, летал над глубокими тылами противника, участвовал в воздушных боях. В небе Сталинграда лично сбил три фашистских самолета. Как самую дорогую награду ношу орден Красного Знамени, полученный за участие в Сталинградской битве. А всего у меня орденов Красного Знамени шесть...

Воспоминания уводят нас в далекие 30-е годы, когда молодой рабочий Борис Еремин по комсомольской путевке поступил в Вольское авиационное училище. Затем служил на Дальнем Востоке, участвовал в боях в районе озера Хасан, на Халхин-Голе. Решив стать летчиком-истребителем, добился направления в Качинское авиационное училище: манила мечта летать на легкокрылых машинах, обладавших огромной скоростью и большой маневренностью.

В первые дни войны заместитель командира эскадрильи Еремин на своем истребителе прикрывает от налетов вражеской авиации железнодорожные эшелоны с войсками и боевой техникой. В конце первого месяца войны в районе Знаменки сбивает первый фашистский самолет.

— Однажды начальник штаба полка приказал мне: «Полегишь ночью, надо отогнать немецкие самолеты. Они уже зажгли элеватор и наверняка будут бомбить и другие объекты». Сложно тогда было летать ночью, но обстановка того требовала, и мы полетели. Было это тринадцатого июля сорок первого года... Беру курс на горящий элеватор. Вдруг чувствую — тряхнуло самолет, вижу кинжальные полосы прожекторов, вокруг ухают разрывы зенитных снарядов. Один из них попал в мою машину. Гарь, задыхаюсь. Забарахлил мотор. Выпрыгнуть с парашютом не могу — малая высота. Только бы подтянуть машину поближе к лесу... Сильный удар. На миг очнулся — вишу головой вниз. Все лицо в крови. Опять потерял сознание... Кто и когда вытащил меня из разбитой машины, так до сих пор и не знаю, как не могу найти и того врача, который оказал мне первую помощь. Позднее, уже находясь в госпитале, услышал, как врач говорил медсестре: «Лицо ему удалось сохранить, а вообще очень тяжелый. Вам поручаю его выводить...» Вскоре к Кировограду, где находился госпиталь, подошли немецкие танки. Бомбардировщики сбрасывали на город зажигательные бомбы. Наш санитарный поезд с ранеными с трудом пробился в Днепропетровск, затем в Ростов. Здесь подлечили, челюсть срослась, начал ходить.

Ранней весной 1942 года на Юго-Западном фронте под Харьковом семеро летчиков во главе с комэском Ереминым атаковали 25 «юнкерсов» и «мессеров». 7 вражеских машин, объятых пламенем, рухнули на землю, остальные обратились в бегство. Эскадрилья капитана Еремина без потерь вернулась на свой аэродром. За этот бой командир был награжден орденом Красного Знамени.

Всего за войну летчик совершил более 340 боевых вылетов, дважды был тяжело ранен, горел в самолете. В личных и групповых схватках уничтожил 23 самолета противника. Грудь ветерана украшают более 40 боевых орденов и медалей. 15 Героев Советского Союза воспитал красный воздушный ас Борис Еремин.

— И знаете, — с гордостью подчеркивает Борис Николаевич, — моя боевая биография в основном связана с самолетами Ферапонта Головатого — на них я провоевал почти всю войну. Вспоминается такой эпизод. После очередного воздушного боя сели мы с товарищем вблизи небольшого шахтерского поселка на Украине. Подбежали к нам местные жители, и среди них старик, в руках у него букет полевых цветов. Обошел он мой самолет, прочитал надпись на фюзеляже и спрашивает: «Кто из вас Еремин?» «Ну я», — отвечаю. «Тогда, — говорит, — дорогой товарищ летчик, вот что скажу я тебе: мы еще не имеем возможности покупать на свои сбережения самолеты и танки для Красной Армии, лишь недавно освободили наш поселок от фашистских захватчиков. А пока прими от нас этот букет цветов и передай своим товарищам, что скоро мы откачаем затопленную немцами шахту и будем давать людям наш советский уголек».

— Борис Николаевич, расскажите подробнее о судьбе самолетов, подаренных вам Ферапонтом Петровичем Головатым.

— Сразу отвечу: им выпала счастливая судьба. Как говорится, живы они и здоровы. Воевал я на первом самолете под Сталинградом и Ростовом, Таганрогом и Мелитополем, Никополем и в Крыму. А когда выработался на машине моторесурс, доставил я ее в Саратов, с сорок четвертого года стоит она в областном краеведческом музее.

Ферапонт Петрович узнал, что первый его подарок передан в музей. И тогда он обратился с письмом к Верховному Главнокомандующему, в котором сообщал, что решил вновь отдать сто тысяч рублей на покупку для Красной Армии еще одного истребителя самой последней конструкции. Просил вручить этот самолет майору Борису Еремину. И. В. Сталин, передав Ферапонту Петровичу свой привет и благодарность Красной Армии за заботу о воздушных силах, сообщил, что его желание будет исполнено.

— Так я стал хозяином нового замечательного подарка советского патриота.

На втором истребителе Головатого Б. Н. Еремин провоевал до конца войны — участвовал в воздушных боях под Киевом и Львовом, в Польше и Румынии, Венгрии и Австрии, Чехословакии и Болгарии. Ныне этот самолет находится в Москве, в одном из залов музея конструкторского бюро Генерального конструктора А. С. Яковлева. При входе в музей сразу обращает на себя внимание темно-серый камуфлированный истребитель «ЯК-3», широко распластавший могучие крылья. Во всю длину его фюзеляжа надпись: «От Ферапонта Петровича Головатого 2-й самолет на окончательный разгром врага!» И сбоку 14 небольших звездочек: число сбитых на нем вражеских самолетов.

— Как дорогую реликвию храним мы эту машину,— сказал мне смотритель музея.

После войны Ферапонт Головатый и Борис Еремин встретились в Москве...

После войны Б. Н. Еремин возглавлял Качинское авиационное училище, занимал командные посты в военных округах, в Министерстве обороны СССР. Сегодня этого энергичного человека часто можно видеть в Советском комитете ветеранов войны, по поручению которого он занят укреплением дружеских связей с ветеранами социалистических стран. Нередко Борис Николаевич бывает в тех странах, которые он освобождал от фашизма. С радостью встречают его многочисленные друзья в Варшаве и Софии, Праге и Будапеште, в Бухаресте... Он является почетным гражданином советского города Никополя и польского города Кельце, над которым в годы войны сбил фашистский самолет, о чем до сих пор помнят старожилы. Из многих городов нашей страны приглашают к себе в гости прославленного воина и замечательного патриота Бориса Николаевича Еремина. И конечно же всегда ждут своего земляка на берегах Волги, в Саратове — там, где ему вручал боевые самолеты славный русский патриот Ферапонт Головатый.

Советский народ готовится отметить большой праздник — сорокалетие Великой Победы. Думаю было бы хорошо, если бы к Дню Победы на одной из площадей Москвы на вечную стоянку был бы водружен самолет Ферапонта Петровича Головатого. Подобных памятников воинам-победителям на нашей земле немало. На постаментах стоят танки, самолеты, орудия. Пусть к ним прибавится еще одно мемориальное сооружение — самолет, подаренный армии простым колхозником.

**Александр КАМИОНСКИЙ.**





## КОРОТКО О КНИГАХ



**А. ЕГОРОВ. Мы — танкисты. Ю. ШИШЕНКОВ. Был отец рядовым.** М. «Молодая гвардия». 1984. 256 стр.

У мемуарного жанра есть свои опасности. Воспоминания могут, к примеру, показаться слишком личными, частными, волнующими только автора. Новая книга молодого гвардейской серии «Летопись Великой Отечественной» не такова. И не потому, что авторы, как говорится, выстроили сюжет. Как раз очень многое в повествованиях и А. Егорова и Ю. Шишенкова — от реального жизненного потока с его крутыми, подчас непредсказуемыми поворотами. Однако общее направление потока определено в книге четко: чувство победы, рожденное атакой. Памятной до сих пор.

А. Егоров — генерал-майор бронетанковых войск. А тогда, в сорок втором — сорок третьем, командир танкового полка, затем бригады. Даже ему, комбригу, известна не вся стратегическая логика происходящих военных действий. Понятна высшая логика войны — она в самом человеке. И есть приказ, конкретный, который надо выполнять. Сегодня, завтра необходимо форсировать такую-то речку; сегодня, сию минуту — прорвать оборону противника на таком-то участке. Но этот малоизвестный участок — станица, хутор, по-военному говоря, населенный пункт — может стать (и нередко становился) исторической вехой великой войны («...Константиновскую надо брать. Может быть, там, в штабе фронта, а может быть, в Ставке на эту треклятую станицу очень надеются»). В повести А. Егорова показан только штаб бригады, бои, как их видит комбриг то с КП, то из командирского танка. И все же из этого лично увиденного возникает если не стратегическая, то психологическая картина битвы. Сталинградской битвы. И главное в ней для А. Егорова и его танкистов — наступательный порыв. И невозможность, нежелание останавливаться, как бы ни было трудно...

Отец Ю. Шишенкова, автора второй повести книги, Федор Ильич Шишенков был рядовым-пулеметчиком, участвовал в той же Сталинградской битве, переходил ту же реку Маныч, что и танкисты Егорова. Погиб. И только тридцать пять лет спустя сыну удалось достоверно выяснить, где погиб, как. Ю. Шишенков и рассказывает о перипетиях своего розыска. Об отцовском военном пути, когда наскоро подготовленные части совершили шестисоткилометровый

марш-бросок через пустынные калмыцкие степи, в мороз — к фронту. До девяноста километров в день. Даже участник этого марша говорит: «Почтенная цифра! Мыслимо ли такое? Бросьте вы смешить меня! Школьник простейшей арифметикой докажет вам, что это невозможно». Но так было. А потом был Маныч, бои и гибель отца. Автор приводит архивную справку о потерях пулеметного батальона в январе сорок третьего года. За шесть дней от батальона в 238 человек, вступившего в Сталинградскую битву, в живых осталось 82 человека. Погиб и Федор Шишенков. По одному из свидетельств, первым поднялся в атаку, увлекая вперед остатки своей роты, заменив погибшего командира.

И вот что понял для себя автор повести, пройдя дорогами отца: «Я ошибался, когда, зная конец, сгущал мотив обреченности. Мне казалось, что было отчаяние, упрямство... Я думаю, что месяц войны был для отца тягчайшим, страшным месяцем, но это был месяц огромного взлета воли и духа... Иначе я не могу объяснить все факты. Отец не был физически сильным человеком, он не был и духовно непоколебим. Но 19 января 43-го года он поднялся в атаку».

Эти мысли Ю. Шишенкова, сына фронтовика, объединяют его повесть с воспоминаниями фронтовика А. Егорова. В наши дни все больше ощущается, что дети фронтовиков — родня им не только по крови, но и по памяти, по отношению к жизни. Пожалуй, одним из первых в искусстве сильно заявил эту тему художник Виктор Попков. Я говорю о его знаменитой картине «Шинель отца». Сын надевает, примеривает, погружается?... — трудно определить одним словом, что он совершает с отцовской шинелью. Но речь здесь о единстве мыслей, общности судьбы, продолжении жизни.

И. Завьялова.



**ГРИГОР МАРГАРЯН. Поэмы. Перевод с армянского. Ереван. «Советакан грох». 1984. 52 стр.**

Истинная поэзия всегда предполагает в себе сюжет страсти и рожденной ею мысли. А вот пример, когда и внешний сюжет поражает воображение масштабом, когда самое его начало сулит великое противоборство:

В незапамятные времена,  
в хаосе  
солнечной стихии,  
в яростных толчках земного чрева  
(даже клетки моей не было в ткани  
природы) —

вселенная восстала из тумана  
небьггия.  
И, обезумев в муках родовых,  
земля-праматерь  
сердце распахнула.  
И чудо совершилось! Человек  
из мрачных недр шагнул навстречу  
солнцу.

Как в капле море, отразилось в нем  
движение совершенства, жизни гений.  
Но в страхе отшатнулась от него  
вселенная, почувствовав, что сутью  
природы  
человек овладевает.  
В бессильном гневе вспенилась она,  
пытаясь поглотить его в пучине.  
Но поздно.

Когда-то Горький сказал: человек есть все-  
ленная... Он имел в виду бесконечность поз-  
нания человека, загадку его внутренней  
жизни. Григору Маргаряну, автору поэмы  
«Разговор с вечностью», близки эти слова  
Горького Человек — во вселенной, вселен-  
ная — в человеке. Ситуация, по крайней  
мере, равная или даже превосходящая по  
замыслу противоборства, известные из гре-  
ческих трагедий. Из нее возникает трагедий-  
ный пафос произведения, его философская  
концепция. Философские абстракции пред-  
стают в живой оболочке искусства. Та-  
кое встречается нечасто. И когда семь лет  
назад поэма «Разговор с вечностью» появи-  
лась в печати, то она была замечена, но  
многие все же отнеслись к ней насторожен-  
но: что же это такое — не архаика ли? — в  
конце XX столетия предлагать читателю  
поэму, напоминающую по стилю классици-  
стическую драму, не возврат ли это к фило-  
софско-поэтическим урокам Нарекани?

Григор Маргарян, по-видимому, не сомне-  
вался в законности такого жанра, такого  
стиля: армянской поэзии на ее многовеко-  
вом пути — от «Рождения Ваагна» — в раз-  
ные века были свойственны напряжение  
мысли, поиски истины. А может быть, и  
сомневался, но Маргарян — поэт-мыслитель,  
поэт неторопливых и высоких дум и стрем-  
лений. И он написал еще одну поэму —  
«Единоборство богов», снова и более на-  
глядно напомнив нам о давних традициях.

Редкий довольно случай: поэма вначале  
была написана в прозе — как рассказ или  
скорее философско-поэтическое эссе — и  
была напечатана на русском и армянском  
языках. Я читал эту прозу, уже тогда в  
ней слышалось ритмическое, музыкальное,  
поэзное начало. Это и была, пожалуй, по-  
эма в прозе. Но Маргарян выстроил ее за-  
тем как поэму в стихах, отчего она, как мне  
кажется, выиграла в эмоциональности. так  
как: уплотнился сюжет, облетели лепестки  
риторики, осталась поэтическая квинтэссен-  
ция.

«Единоборство богов», как и ранее напи-  
санный «Разговор с вечностью», диалогично,  
его драматургия — в движении мысли, в  
конфликте идей, обретающем современное  
звучание применительно к экологическим  
и космическим проблемам сегодняшнего  
дня.

Спор идет между человеком и природой.  
Человек предстает в облике поэта, Великого  
Мастера, а природа принимает облик пре-  
красной женщины, совершенство и красота

которой как бы подтверждают красоту и  
совершенство природы. Здесь снова слы-  
шатся отголоски идеи познания мира, поз-  
нания природы из «Разговора с вечностью»,  
иногда даже кажется, что поэт в чем-то  
повторяет себя. Однако в «Единоборстве  
богов» человек и природа выступают на  
равных. Но надо пройти искус, надо пере-  
жить, испробовать на зуб мысль о возмож-  
ности стать над природой, покорить ее сво-  
ей власти, прежде чем умиротворенно вос-  
кликнуть: «Земля моя, начало всех начал!»  
И не просто утешиться этим, но умом и  
сердцем своим сблизить землю с образом  
Родины, родной земли.

Лирико-философские поэмы армянина  
Григора Маргаряна отдаленно перекликают-  
ся с драматическими поэмами литовца Юс-  
тинаса Марцинкявичюса. Конечно, это весь-  
ма отдаленная перекличка, в поэмах Мар-  
цинкявичюса действует история, народ, у  
Маргаряна история только угадывается, про-  
слушивается. Объединяет обоих высокий  
строй души, веско, подчеркнуто значитель-  
но сказанное слово, крупно заявленная  
мысль. В этом есть потребность времени.  
Поэт услышал ее: «Жизнь восславь, и  
смерть пред ней отступит. Спой нам песню  
о новом человеке!»

Ал. Михайлов.



**АНТОНИНА БАЕВА.** Тобол — степная ре-  
ка. Стихи. Алма-Ата. «Жазушы». 1983.  
135 стр.

**АНТОНИНА БАЕВА.** Голосники России.  
Стихотворения и поэмы. М. «Советская  
Россия». 1984. 174 стр.

Судьба Антонины Баевой повторяет судь-  
бу прикованного к постели Николая Остров-  
ского, и потому на первом плане ее сти-  
хов — мужество, а сам писатель-боец стал  
примером всей ее жизни. Умей воспитывать  
мужество, как он, перо приравнять к  
штыку, «чтоб от себя за многих рассказать,  
что это значит жить, а — не страдать», пи-  
шет А. Баева. За поэму «Твой вечный бой»,  
посвященную Николаю Островскому, по-  
этессе была присуждена премия Ленинского  
комсомола.

Твердость в стихах Баевой неизменно со-  
седствует с нежностью, публицистический  
призыв — с лирикой. Таковы и новые сбор-  
ники, где много внутреннего тепла и света,  
человеческой доброты и отзывчивости —  
того, что сближает людей. С этими стихами  
хочется побыть наедине, всмотреться в  
них, вслушаться. Чтобы понять то, что стре-  
мится понять сама поэтесса:

О, как звенит, как поет в вышине!  
Или вблизи? Или, может, во мне?

Поэтический мир Антонины Баевой — это  
родные тобольские просторы, мать, которая  
учила ее доброте, и юная дочь, не представ-  
ляющая еще, как быстротечно время де-  
вичьих зорь...

Задумываясь над смыслом жизни и поэ-  
зии, Антонина Баева пристально вглядыва-  
ется в окружающий мир. Вот не броская с  
виду березка, но она, «взойдя на костер,  
так долго горит!». Даже камень-кремень не  
просто камень, но «эталон крепости». А

сердце человека «просторней самых ска- зочных степей». И как следствие поэтиче- ских наблюдений — стихотворение «Наш век», век, который «неистово стремится к Идеалу!».

Антонина Баева работает много и плодотворно. Недавно в журнале «Огонек» была опубликована ее новая историческая поэма «Ермаков поклон», в которой поэтесса пред- стала перед читателем как мастер больших полотен, тонкий знаток народных обычаев и старины. Поэма эта, думаю, требует осо- бого критического разбора.

Есть, к сожалению, в творчестве А. Бае- вой и слабости: повторы, навязчивые «ветры с Тобола», проходные, информационного плана стихи, стертые сравнения, но больше все-таки удач, и веришь, что у нее «завтрашнее солнышко в руке», а оно озаряет стихи только трудолюбивых и неординар- ных поэтов. Антонина Баева — среди них.

Владимир Осинин.



**ВИКТОР МАНУЙЛОВ. Стихи разных лет. 1921—1983. Л. «Советский писатель». 1984. 183 стр.**

Виктор Мануйлов — известный литерату- ровед, доктор филологических наук, иссле- дователь творчества Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Льва Толстого и Чехова, автор мно- жества книг и статей, ученик Вячеслава Иванова и Максимилиана Волошина. У Ма- нуйлова-литературоведа обширная читатель- ская аудитория. О Мануйлове-поэте знают немногие. Почти всю жизнь он писал сти- хи, но от случая к случаю. Около шести десятилетий назад по рекомендации Сергея Есенина его приняли во Всероссийский со- юз поэтов, и еще в конце 20-х годов моло- дой автор мог издать первую книгу стихов, но, по его собственным словам, предпочел «проверить временем свое дарование». В итоге получилось, что настоящий сборник является одновременно и первой книгой поэта и его «Избранным».

В юношеских стихах Мануйлова нельзя не заметить следы различных влияний: Брюсова, Есенина, Пастернака, Тихонова. Вместе с тем они привлекают свежестью и непосредственностью авторского мировос- приятия и отточенностью стихотворной тех- ники.

В. Мануйлов получил образование на ис- торико-филологическом факультете Азер- байджанского университета в Баку, и мно- гие его ранние стихи связаны с этим горо- дом. В бакинских пейзажных зарисовках немало ярких, пластически выразительных строф. Поэт прекрасно чувствует «смуглый восток» и даже «в Москве, необъятной и гулкой, забывающей плен старинь», слышит «зовы далекой зурнь» и вспоминает «уз- ры арабского шрифта» голубых минаре- тов.

Большая часть жизни поэта прошла в Ле- нинграде. Любимому городу посвящено не- мало его стихов. Лучшие из них воскреша- ют трагическую пору блокады. В. Мануйлов пишет об Эрмитаже, который «зимой сорок второго года» предстает по-новому «в бом-

боубежищах его подвалов, в продрогшем сумраке, в чаду коптилок», а стихотворение «Огороды на Марсовом поле» заканчи- вается такими строчками:

Пройдут года. Мы восстановим парки,  
И голубь мира в триумфальной арке  
Из рук возьмет отборное зерно,  
Но и тогда нам будет суждено  
Благоговейно помнить эти грядки,  
Взлеянные в боевом порядке.

Есть в сборнике стихотворение о «ручном зеркале в простой оправе», которое сопро- вождало поэта всю жизнь. Оно «видело и помнит» картинки из детства его владель- ца, и встречи с любимой, и все поездки по стране, и даже все то, что он сам «давно забыл». В этом образе — живое восприятие минувшего, энергия которого и сегодня пи- тает сердца.

Игорь Михайлов.

Ленинград.



**СОВРЕМЕННАЯ КИТАЙСКАЯ ПРОЗА. М. «Известия». 1984. 240 стр.**

Сборник современной китайской прозы знакомит нас с писателями среднего поко- ления — Ван Мэном, Шэнь Жун и Фэн Цзи- цаем, которых объединяет общий историче- ский опыт («...десятилетнее великое бедст- вие культурной революции») и настойчивое стремление этот опыт осмыслить. Их выст- раданные произведения проникнуты той высокой гражданской ответственностью, которая превращает литературу в явление общественного самосознания.

Большая часть сборника посвящена се- годняшнему Китаю, но прошлое, подобно незаживающей ране, постоянно напоминает о себе. Все персонажи книги — жертвы «культурной революции»: у одних излома- ны судьбы, у других — души. Герой расска- за Ван Мэна «Весенние голоса», преуспева- ющий инженер, едет навестить отца, с которого наконец сняли ярлык «помещик». Но радость предстоящей встречи омрачена годами унижительного самобичевания (два- дцать лет инженеру пришлось каяться за четыре дня, проведенных в отчем доме), горестные голоса прошлого то и дело втор- гаются в повествование.

В дальнейшем минорная тема книги звучит с нарастающим драматизмом. Герой другого рассказа Ван Мэна, переводчик ино- странной литературы, много лет провел в заключении по подозрению в шпионаже. Теперь его реабилитировали и отправили на курорт. Но лучшие годы пропали, друзья погибли, «душа завалена зимними сугроба- ми», и море, о котором он мечтал всю жизнь, ему уже не по силам: ногу сводит судорога — память о тюрьме. Эта судорога, наступающая героя среди вольной морской стихии, — материализованное прошлое. Так же как паралич, разбивший высокую жен- щину из рассказа Фэн Цзицая (уже после реабилитации ее мужа), и инфаркт, от кото- рого едва не умирает героиня повести Шэнь Жун «Средний возраст».

Эта маленькая сорокалетняя женщина долгие годы мужественно тянула на себе



Замечено: дорога приводит в движение мысль, рождает метафору. Дорога рождает поэтов.

В поэзии Бэгзийна Явуухулана — суровая жизнь родного края, огонь семейного очага, свет которого от «юрты-лебедя» достигает золотистой россыпи звезд. «Ветер юрты белую вдали, видно, хочет унести с земли: машет юрта белым подолом, точно лебедь белая крылом» (перевел И. Федорин).

Б. Явуухулан — поэт гражданского звучания. Многие его строки обращены к родине. Родина видится ему в кипенном цветении садов. Поэт мечтает о преображенном будущем древней земли, которая предстает в его творчестве многоцветной, во всей своей степной красе, в озарении солнца над «раскосым», как глаза монголки, горизонтом.

Поэт прожил нелегкую жизнь. В одном из стихотворений он сказал: «Я, родная, жил немало. Жизнь рвалась в пути. Ты опять ее сшивала — мне с тобой идти» (перевод В. Ширали). Грустно звучат эти строки сегодня. Все в этом мире тленно. Бессмертно лишь слово. Стихам Бэгзийна Явуухулана, поэта-коммуниста, лауреата Государственной премии МНР, заслуженного деятеля культуры республики, суждена долгая жизнь.

Владимир Лесовой.



**ЯКОВ ГОРДИН. Три войны Бенито Хуареса. Повесть о выдающемся мексиканском революционере. М. Политиздат. 1984. 366 стр.**

«Между людьми, так же как и между нациями, уважение права другого — это мир». Так говорил национальный герой Мексики, выдающийся общественный и политический деятель страны Бенито Хуарес Пабло. Эти слова, сказанные в конце прошлого столетия, высечены сегодня золотыми буквами на белом мраморе в здании Национального конгресса. Именно они определяют политику Мексики в течение вот уже многих десятилетий.

Понятен поэтому интерес, который вызывает славное революционное прошлое Мексики в нашей стране.

Книга Якова Гордина — о тех, кто стоял у истоков национально-освободительного движения в этой стране. Среди них Бенито Хуарес играл особую роль. Он возглавил борьбу патриотов Мексики с реакционерами, церковниками, англо-франко-испанскими интервентами. Экономические кризисы, контрреволюционные мятежи, угроза вторжения со стороны иностранных держав, предательства союзников — ничто не сломило воли индейца из горного селения, ставшего вождем мексиканского народа. Выходец из бедной семьи, он закончил жизненный путь на посту президента страны и вошел в историю как стойкий борец за демократию.

Гордин показывает сравнительно небольшой отрезок жизни Бенито Хуареса. Мы видим его губернатором штата Оахака, министром юстиции и культов, председателем Верховного суда. В чем сила Бенито Хуареса, отчего к нему неизменно приходит ус-

пех? Эти вопросы задают себе его сторонники, ими же мучаются его противники. Автор как бы предлагает читателю разобраться в этом самостоятельно. Прослеживая жизнь и деятельность революционера шаг за шагом, он приводит нас к выводу: его сила — в связи с народом, в постоянной поддержке народных масс. Именно это позволяет Бенито Хуаресу одержать победу в трех войнах. Первая из них — гражданская. Вторая — война против французов, внутренней и внешней реакции. Третья, которую Бенито Хуарес ведет ежедневно и ежечасно, направлена против тех, кто мешает ему перестраивать жизнь народа, опираясь на законы развития истории. Вот как говорит о нем один из героев книги: «Хуарес... шел туда, куда указывала жизнь. И за это свое право бился жестоко и непрестанно. И как он в этой третьей войне побеждал, так не мог не победить в двух других...»

Книга «Три войны Бенито Хуареса» выпущена Политиздатом в серии «Пламенные революционеры». Первая книга из этой серии увидела свет в конце 60-х годов. За последующие годы была создана обширная художественная летопись освободительной борьбы всех времен и народов. Небольшие томики с эмблемой «ПР» давно пользуются у читателей заслуженным вниманием. При самобытности каждого из героев этих книг всех их объединяет гражданственность, чувство высокого долга, ответственность перед человечеством.

Такие книги помогают оценить и осмыслить прошлое, они открывают новому поколению, подрастающей молодежи, нравственный смысл революций, помогают ему с позиций сегодняшнего дня взглянуть на историю своей страны, всего мира.

А. Курбатов.



**ПЕРВОПРОХОДЦЫ. Сборник. («Жизнь замечательных людей») М. «Молодая гвардия». 1983. 352 стр.**

Сибирь — ее прошлое, настоящее, будущее — вызывает особый интерес в наши дни.

Открытие и освоение сурового края требовало максимальной отдачи сил. Книга рассказывает, как труд первопроходцев — самоотверженный, продиктованный преданностью отечеству — становился нравственным подвигом. едва ли широко известны имена шести ее героев, но каждый из них внес неоценимый вклад в историю освоения Сибири.

Семен Ульянович Ремезов — первый создатель «чертежных книг» Сибири, автор знаменитой летописи, в которую вошли сведения о границах расселения народов этого края, об их орудиях охоты, одежде. Ремезовская летопись была снабжена рисунками. Семен Ульянович исследовал природные богатства Урала и Западной Сибири, искал «селитрянные» земли, строил каменный Тобольск, пороховой завод. Уже в наши дни наследством Ремезова заинтересовались картографы, литературоведы, историки архи-

тектуры. Десять лет назад его летопись была опубликована в Лондоне, японские и американские ученые активно изучают ремесленные чертежи...

С юности мечтал Гавриил Андреевич Сарычев о Севере, его землях и морях. В сентябре 1785 года молодой лейтенант Сарычев отправляется в географическую и астрономическую экспедицию для исследования северо-востока России, включая Чукотку, северную часть Тихого океана и Русскую Америку, открытую Берингом и Чириковым. Суровой зимой в Верхнеколымске строятся два судна. Командиром «Ясашны» стал Сарычев. Отважные мореплаватели описали значительную часть берегов Охотского моря, Авачинской губы, Русской Америки, некоторые острова Алеутской гряды, в частности Уналашку. Сарычев создал «Атлас северной части Восточного океана»...

Двадцать пять лет прожил Иннокентий Вениаминов среди алеутов на том самом острове Уналашка, который впервые описал Сарычев. Жизнь Вениаминова — миссионера, просветителя, ученого, первопроходца — овеяна легендами и полна катастрофических ситуаций. Являясь архиепископом Камчатским и Якутским, он был инициатором создания училищ и школ для коренного населения, ратовал за сохранение животного мира Алеутских островов, активно участвовал в освоении Амура и Приморья...

Открывая Сибирский отдел Русского географического общества, генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев заявил, что общество является не только географическим и не только ученым, но прежде всего русским и патриотическим. Муравьева, как и Вениаминова, заботило укрепление Петропавловской гавани, которая героически отбила в августе 1854 года нападение англо-французской эскадры. Может быть, события на Амуре, закончившиеся мирным Айгунским договором с Китаем, были бы менее успешными, если бы в то время на Дальнем Востоке не оказалась этого «облеченного огромной властью, необыкновенного по тем временам генерал-губернатора»...

В 1853 году Воин Андреевич Римский-Корсаков на шхуне «Восток» продолжает исследование Невельского в Татарском проливе, чтобы выяснить, годен ли он для маневров русских военных кораблей, защищающих дальневосточные рубежи России. Попутно мореплаватели открывают каменный уголь на Сахалине и впервые добывают его для нужд российского парового флота. Через три года на корвете «Оливуца» Римский-Корсаков привозит в Японию для обмена ратификационную грамоту, закрепив тем самым заключенный адмиралом Путятиным договор с Японией. В очерках, дневниках и письмах родным Римский-Корсаков рассказал о событиях на Камчатке, в устье Амура и Татарском проливе, об отношениях с Японией, об Амурской экспедиции своего друга и единомышленника адмирала Невельского.

В предисловии к сборнику академик Яншин пишет: «Когда книга «Первопроходцы» готовилась к печати, скоропостижно скончался один из ее авторов, академик Алексей Павлович Окладников. Редакция и кол-

лектив авторов решили посвятить сборник памяти А. П. Окладникова и пополнить его заключительным очерком о самом Алексее Павловиче».

Более пятидесяти лет Герой Социалистического Труда Окладников «охотился» за погребениями и стоянками первобытного человека в Якутии, на Чукотке, Охотском побережье и Амуре. Почти каждая его экспедиция приносила уникальные открытия.

Авторы очерков — историки, географы, археологи. Их отличает истинная влюбленность в своих героев. Сборник приближает к нам далекую историю, делает ее достигаемой и ощутимой.

**Н. Макарова.**



**В. О. ПЕЧАТНОВ. Гамильтон и Джефферсон. М. «Международные отношения». 1984. 335 стр.**

Показать преломление эпохальных исторических событий в судьбах выдающихся личностей — извечно манающая исследователей задача. Впрочем, книга историка-американиста В. О. Печатнова заметно отступает от канонов жанра исторической биографии. Не только сразу двумя именами в заглавии, но и тем, что в центре внимания автора оказываются не Гамильтон и не Джефферсон, а конфликт между ними.

Еще не рассеялись пороховые дымы на полях войны за независимость США (1775 — 1783), а верхушка американской буржуазии уже делила плоды победы, за которую пролили кровь тысячи революционных солдат. Вожди молодой республики образовали два лагеря, в каждом из которых своему представляли будущее Соединенных Штатов. Социально-экономические корни разногласий между крупной торгово-промышленной буржуазией Северо-Востока, чьи интересы выражал Гамильтон, и буржуазно-плантаторским, фермерским населением Юга, чьим рупором стал Джефферсон, довольно хорошо изучены (например, в 1983 году вышла обстоятельная книга В. А. Ушакова «Америка при Вашингтоне»). Однако у Печатнова знакомый конфликт предстает в существенно ином ракурсе. Мы видим, как объективные противоречия Америки, стоявшей на перепутье, становились системами политических взглядов, формировали идеологию утверждавшегося у власти класса.

В мировоззрении Гамильтона воплощались воинствующе-антидемократические своекорыстные интересы крупнейших собственников, стремившихся с помощью конституционных и государственно-бюрократических барьеров надежнее защитить свои привилегии, а с помощью военной силы утвердиться на командных позициях сначала в Западной полушарии, а затем и в Старом Свете. В политических взглядах и в философских мечтаниях Джефферсона находили выражение стихийная тяга фермерства к свободной от классовых конфликтов, идиллической аграрной республике — земному раю для мелких собственников — и заблуждения просвещенного плантатора, способного той

самой рукой, которая начертала знаменитую Декларацию независимости, подписывать указы о поимке беглых рабов. Процесс идейного размежевания американской буржуазии предстает в книге во всем богатстве эмоционально окрашенных коллизий, как исторически неизбежная, но полная противоречий политическая драма, в главных ролях которой выступали колоритнейшие фигуры той переломной эпохи.

Печатнов удачно сочетает историзм с острой публицистичностью. Параллели с современностью не оставляют ощущения натяжки. Так, Гамильтон рассматривается как идейный предтеча некоторых нынешних лидеров США, объявивших силу главным инструментом своей внешней политики и «цинично попирающих общепринятые нормы взаимоотношений между государствами в своих имперских целях». Джефферсона же автор обоснованно считает «первым американским партийным лидером современного толка», который обогатил политическую практику США «искусством объединения разнородных экономических и политических интересов под эгидой одной партии».

Автор книги демонстрирует не столь уж частое среди профессиональных историков умение гармонично сочетать анализ исторических эпох с экскурсами во внутренний мир своих героев. Думается, что удалась книга и в отношении языка, а отдельные страницы порадают даже самого придирчивого стилиста.

Вместе с тем хочется поделиться своим опасением. Стремясь сделать книгу интересной для всех, Печатнов обращается к неопределенно широкой аудитории. Не повредила ли книге такая всеохватность? Разбор ряда философских и юридических вопросов, на наш взгляд, слишком основателен для неподготовленного читателя, но мало добавляет к тому, что уже известно специалистам по истории США.

С. Станкевич.



**АЛЕКСАНДР ЛИПКОВ. Все краски экрана. Ташкент. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 1983. 287 стр.**

Сначала не могла понять: почему эта интересная книга читается так медленно? Больше главы в день — ну никак... А после разобралась — все в точности так же, как с просмотром фильмов. Сколько можно подряд? Два, от силы — три, а лучше все-таки один-единственный. Чтобы почувствовать его до конца, как следует подумать... Именно так — вдумчиво, внимательно, пристрастно — смотрит созданные советским многонациональным кинематографом в 60—70-х годах ленты и анализирует их вместе со своим читателем кинокритик Александр Липков.

Фильмов — десятки. Многосерийные и обычные, телевизионные и предназначенные для кинопроката, снятые на студиях почти всех наших республик режиссерами разных поколений, в разных жанрах, на разные темы. Но есть, по крайней мере, два

пункта, где сходятся направления поиска всех мастеров кинематографа, два признака, позволившие критику объединить все эти картины под одной «крышей» — переплетом.

Скажем о них словами самого автора: «...при всей непохожести и фильмов, и их авторов нетрудно обнаружить в них и близость друг к другу. И совсем нередко оказывается, что художники говорят, хоть и по-разному, но об одном... о человеке, о человеческом в человеке, о его любви и надеждах, о смысле жизни и смысле самого искусства».

Действительно, практически любая из рассматриваемых Липковым лент — будь то «Как закалялась сталь» или «Дворянское гнездо», «Сто дней после детства» или «Транссибирский экспресс», «Белорусский вокзал», «Листопад» или «Белое солнце пустыни», — любая лента по-своему отвечает на вопросы: что есть человек? кто достоин называться этим именем?

Это первое, а второе? В главе, где речь идет о Сергее Урусовском, Эмиле Брагинском, Эльдаре Рязанове, Суйменкуле Чокморове, Алле Демидовой, Никите Михалкове, Липков пишет: «Чем интересен художник? Фильмами, которые он создал? И ими, конечно. Но лучше сказать: фильмами, которые, кроме него, никто бы не смог создать. Только тогда, когда мы ощущаем на экране вот эту неповторимость личности, неповторимость авторского взгляда на мир, перед нами не просто очередной в текущем репертуаре фильм, но явление искусства». Не только в этой главе — во всей книге к каждой из картин, которые анализирует автор, он подходит именно с такой точки зрения: почему она могла быть создана лишь этим художником и никем иным? в чем индивидуальность, неповторимость данного художника? Причем разбор его творчества Липков дает не комплиментарный, а строгий и серьезный, без скидок на звание или, наоборот, на молодость и неопытность. И при этом — очень доброжелательный.

Читая книгу, мы знакомимся не только с фильмами, но узнаем их авторов. Липков не просто «смотрит» вместе с читателем фильмы, но и рассказывает о процессе создания многих из них, выступая уже не как кинокритик — как журналист, побывавший по заданиям редакций в Средней Азии, Молдавии и Сибири, на Украине и Дальнем Востоке, в киноэкспедициях на равнинах России и в горах Кавказа... Критический анализ соседствует с репортажем, дневником съемок, интервью. В этой книге нет в оценках безличного «мы» — в ней не только о других, но и о себе: «...о своем отношении к людям, к жизни, к человеческим ценностям — обо всем том, что помогли мне понять, прояснить для себя размышления над кинематографом». Читая «Все краски экрана», я могу согласиться с автором или не согласиться, могу и поспорить, но он мне безусловно интересен.

Книга «Все краски экрана» заканчивается не точкой — многоточием. Снимаются и выходят на экран новые фильмы — значит, идет творческий поиск и самих художников, и пристрастного к ним критика. Заполняются новые блокноты, наплаиваются

ся магнитофонные ленты. Многогочие означает, что продолжение следует. Что ж, пожелаем ему быть успешным.

**Наталья Василькова.**



**ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МАТЕРИИ.** Перевод с английского. М. «Мир». 1984. 312 стр.

50-е годы были эпохой научного энтузиазма, удивительного прорыва в космос, первой атомной и дубненского ускорителя, газетных статей об элементарных частицах. Получив в руки ядерную энергию, люди ждали чудес и от теории: хотелось узнать чуть ли не все об устройстве микромира. Со временем интерес широкой публики к физическим открытиям несколько понизился. Элементарных частиц оказалось слишком много, так что создалось впечатление, будто этих «осколков» можно получить сколько угодно и каких угодно (существовала ученая шутка по поводу открытого мюона: «Кто заказал его?»). Может быть, изучение все более мелких структур даже вызывало досаду, как вызывает ее ребенок, ломающий игрушку с целью посмотреть, что у нее внутри.

Между тем «чудеса» все-таки происходили. О новейших открытиях в области физики элементарных частиц обобщенно и в самой доступной форме рассказывает сборник лекций зарубежных ученых «Фундаментальная структура материи» — одна из лучших популярных книг по этой теме за последние годы.

Легко представить себе часы, стрелки которых движутся в обратную сторону, «против часовой стрелки»: тут все дело в привычке и исторической случайности. Но вот сенсация: элементарные частицы безразличны к стороне вращения, различают право и лево! Ранее такое было известно лишь в живой природе: сердце у человека за реаким исключением всегда слева, молекулы ДНК имеют правую спиральность и т. п. Сама Вселенная, оказывается, выбирает одну из двух симметричных возможностей (вещества и антивещества): известная нам ее часть состоит из вещества, хотя имеется полный набор античастиц, причем наблюдения доказывают их абсолютное равноправие с частицами.

Одно из «чудес» совершилось при сортировке частиц. Когда стали складывать из них (конечно, мысленно) различные геометрические фигуры вроде тех пирамидок из

кубиков и брусочков, что строят дети, обнаружилось пустоты, для заполнения которых не хватало «деталек» вполне определенной «формы». И что же? — недостающие частицы вскоре были открыты, как это раньше случилось в химии с предсказанными Менделеевым элементами. Особенно большое впечатление произвела омега-минус — частица, открытая в начале 60-х годов и замкнувшая вершину одной из пирамидок.

Помимо рассказов об открытиях и увлекательных сюжетов из области физики в книге можно найти немало интереснейших справочных данных: каковы размеры протона, сколько времени живет нейтрон, насколько удалена от нас ближайшая звезда, велики ли галактики и далеко ли они друг от друга, где расположены крупнейшие в мире ускорители элементарных частиц и какой гигантский ускоритель строится в СССР...

Хорошая книга всегда наводит на размышления о проблемах, относящихся к ней, казалось бы, лишь косвенно. Например, о языке, каким пользуется наука. Здесь в применении к элементарным частицам мы встретим непривычные, волнующие термины: аромат, странность, очарование... Оказывается, эти слова не только красивы, но и наиболее удобны и точны в научном обиходе. Злоупотребление иными автором малопонятными наукообразными терминами (вроде рецессивный или толерантный), полученными, как правило, в результате искажения иностранных слов, свидетельствует не только о неуважении к родному языку и слабом знании чужих, но и, пожалуй, о недостаточном углублении в свою науку. К счастью, в фундаментальной физике термины устанавливали люди, способные противостоять дурным вкусам и моде.

Читатель найдет в книге статьи разных уровней сложности, однако все они рассчитаны на неспециалиста. Здесь много иллюстраций, в том числе развлекательного и даже юмористического характера. Невозможно не рассмеяться шуткам Гелл-Мана, лауреата Нобелевской премии по физике, лекцией которого заканчивается сборник. Кстати, издание предпринято четыре года спустя после чтения лекций, так что некоторые сведения устарели. Как ни странно, книга от этого выиграла, отразив драматичность ситуации. Гелл-Ман говорит о промежуточных бозонах: «Их должны найти!» — а в примечании сообщается, что эти частицы уже открыты в 1983 году...

**Владимир Яковлев,**  
кандидат физико-математических наук.



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Шаг вперед, два шага назад. 222 стр. Цена 30 к.

**Л. Вольнов.** Ливан: эхо агрессии. 112 стр. Цена 20 к.

**Н. Давыдов.** Выбор оружия. Повесть об Александре Вермишве. («Пламенные революционеры») 269 стр. Цена 95 к.

**М. В. Зимянин.** Под знаменем ленинизма. Избранные статьи и речи. 383 стр. Цена 1 р.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**В. Астафьев.** Повести и рассказы. 687 стр. Цена 2 р. 70 к.

**Ф. Видрашку.** Набережная Надежды. Роман. 287 стр. Цена 2 р. 30 к.

**М. Магауин.** Змеиное лето. Повести. Перевод с казахского. 350 стр. Цена 1 р. 40 к.

**П. Нилин.** Варя Лугина и ее первый муж. Рассказы. 464 стр. Цена 2 р. 50 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**И. Вазов.** Под игом. Роман. Перевод с болгарского. 319 стр. Цена 2 р.

**М. Каноат.** Избранное. Стихотворения, поэмы. Перевод с таджикского. 192 стр. Цена 1 р. 40 к.

**И. Лендел.** Избранное. Рассказы. Перевод с венгерского. 287 стр. Цена 2 р. 40 к.

**Я. Судрабали.** Избранное. Стихотворения, миниатюры. Перевод с латышского. 344 стр. Цена 1 р. 90 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**А. Айлисли.** Сезон цветастых платьев. Повести и рассказы. Перевод с азербайджанского. 316 стр. Цена 1 р. 40 к.

**А. Балин.** Суровая нежность. Стихи. 303 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Ю. Коваль.** Самая легкая лодка в мире. Повесть, рассказы. 335 стр. Цена 60 к.

**К. Симонян.** Микаэл Налбандян. («Жизнь замечательных людей») 366 стр. Цена 1 р. 60 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**С. Сергеев-Ценский.** Аракуш. Рассказы. 48 стр. Цена 10 к.

**М. Твен.** Правдивая история. Избранное. 320 стр. Цена 1 р.

**Г. Федосеев.** Тропюю испытаний. Повесть. 330 стр. Цена 70 к.

**К. Чуковский.** Сказки. 159 стр. Цена 1 р. 10 к.

## «СОВРЕМЕННОК»

**С. Городецкий.** Жизнь неукротимая. Статьи, очерки, воспоминания. («О времени и о себе») 256 стр. Цена 80 к.

**А. Кондратович.** «Ровесник любому поколению». Документальная повесть о А. Т. Твардовском. 383 стр. Цена 95 к.

**В. Распутин.** Повести и рассказы. 736 стр. Цена 3 р.

**А. Тимонен.** Мы карелы. Роман. Перевод с финского. 463 стр. Цена 2 р. 10 к.

## «РАДУГА»

**Испанская поэзия в русских переводах.** 1789—1980. 720 стр. Цена 2 р. 80 к.

**И. Скала.** Вестник приходит пешком. Избранная лирика. Перевод с чешского. 214 стр. Цена 1 р. 30 к.

**П. Скотт.** Жемчужина в короне. Роман. Перевод с английского. 464 стр. Цена 3 р. 20 к.

**Чехословацкая повесть.** 70-е—80-е гг. Сборник переводов с чешского и словацкого. 703 стр. Цена 4 р. 30 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**С. Гудзенко.** Дальний гарнизон. Стихотворения, поэма. 159 стр. Цена 75 к.

**С. Маршак.** Стихи для детей. Рисунки М. Митурича. 191 стр. Цена 1 р. 20 к.

**М. Цагараев.** Дым родного очага. Рассказы, повесть. Перевод с осетинского. 191 стр. Цена 90 к.

## «ИСКУССТВО»

**В. Балдин.** Загорск. («Архитектурно-художественные памятники») 285 стр. Цена 2 р. 20 к.

**Ф. Мальцев.** Федор Александрович Васильев. 1850—1873 гг. 271 стр. Цена 3 р. 10 к.

**И. Попов.** Почему «город» пал? Страницы истории американского радиотеатра. 151 стр. Цена 60 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 12. Тел. 200-08-29

Сдано в набор 26.12.84 г. Подписано к печати 04.02.85 г. А 10415.  
Формат бумаги 70×108<sup>1/8</sup>. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)  
26,25 уч.-изд. л.

Тираж 430 000 экз. (1-й завод 1—200 000 экз.) Зан. 4404.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
Москва К-6 Пушкинская пл., 5

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636